ВЛАДИМИР
БУШИН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Главные герои романа – К. Маркс и Ф. Энгельс – появляются перед читателем в напряженные дни революции 1848 – 1849 годов. Мы видим великих революционеров на всем протяжении их жизни: за письменным столом и на баррикадах, в редакционных кабинетах, в беседах с друзьями и в идейных спорах с противниками, в заботах о текущем дне и в размышлениях о будущем человечества – и всегда они остаются людьми большой души, глубокого ума, ярких, своеобразных характеров, людьми мысли, принципа, чести.
Публикации автора о Марксе и Энгельсе: – отдельные рассказы в периодической печати (с 1959); – «Ничего, кроме всей жизни» (1971, 1975); – «Его назовут генералом» (1978); – «Эоловы арфы» (1982, 1983, 1986); – «Я все еще влюблен» (1987).

- Владимир Бушин.
- Напутствие
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  - Глава первая.
  - Глава вторая.
  - Глава третья.
  - Глава четвертая.
  - Глава пятая.
  - Глава шестая.
  - Глава седьмая.
  - Глава восьмая.
  - Глава девятая.
  - Глава десятая.
  - Глава одиннадцатая.
  - Глава двенадцатая.
  - Глава тринадцатая.
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - Глава первая.
  - Глава вторая.
  - Глава третья.
  - Глава четвертая.
  - Глава пятая.
  - Глава шестая.
  - Глава седьмая.
  - Глава восьмая.
  - Глава девятая.
  - Глава десятая.

- Глава одиннадцатая.
- Глава двенадцатая.
- Глава тринадцатая.
- Глава четырнадцатая.
- Глава пятнадцатая.

- Сноски
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

Владимир Бушин.
Я ВСЕ ЕЩЕ ВЛЮБЛЕН
(*Роман в новеллах*)

Напутствие

Памяти сына Сергея (1956 – 1980)

В 1956 году на могиле Маркса в Лондоне на Хайгетском кладбище поставили памятник. То была трудная и сложная пора современной истории. Во Вьетнаме уже давно шла война, Египет отражал англо-франко-израильскую агрессию, в Венгрии произошел контрреволюционный мятеж, Алжир дрался за свою свободу. Словом, в мире не было покоя и благословенной тишины. В разных его концах лилась кровь, рвались бомбы, в смертельных поединках ревели моторы, стонали раненые… И однако же, среди всей этой адской музыки раздался внятно, не затерялся, был услышан во всем мире и заставил вздрогнуть миллионы сердец негромкий звук разбитого стекла: в недавно сооруженный памятник Марксу бросили бутылку с кислотой. В последующие годы на памятнике делали гнусные надписи, малевали свастику, пытались взорвать бомбой с часовым механизмом – повредили гранитный пьедестал, а в июле 1974 года массивный бюст сбросили на землю…

В последние годы памятник, кажется, не трогали, но не оставили в покое самого Маркса – его учение и его личность. В 1983 году все прогрессивное человечество отмечало 165-летие со дня рождения и 100-летие со дня смерти основоположника научного коммунизма. На свой манер эти даты отметили и мракобесы всего мира: они издали много книг, опубликовали вороха статей, извергли потоки слов перед микрофонами, и всё с одной целью: извратить марксизм, очернить облик его создателя. Западногерманский профессор Лёв из-за скудости аргументов дошел при этом до того, что с ученым видом стал доказывать, будто Маркс был эгоистом по отношению к своим детям. Ну, допустим, старшая дочь, став взрослой, исполняла некоторые обязанности секретаря своего великого отца, – разве не чудовищный эгоизм с его стороны! Вот он, профессор Лёв, не дозволяет своей дочке даже подать ему шлепанцы – такой он гуманист, демократ и чадолюбец…

Ненавистники марксизма, надо думать, горько сожалеют о том, что у Энгельса могилы нет: согласно завещанию, урна с прахом опущена в море у английского побережья близ его любимого мыса Истборн. Враги, пожалуй, готовы были бы выпить море, чтобы добраться до урны, но это все-таки сложновато. И в конце концов они придумали нечто гораздо более простое и

хорошо проверенное: в ночь, когда все честные люди встречали добрыми надеждами новый, 1973 год, подожгли музей Энгельса в его родном городе Вуппертале, бывшем Бармене (ФРГ). Гробокопатели-пироманы хотели разгромить и расположенное поблизости помещение местной организации компартии, но получили отпор и бежали.

В 1985 году исполнилось 165 лет со дня рождения и 90 лет со дня смерти Энгельса. И опять все передовые люди мира широко отметили эти даты. И опять, конечно же, воспользовались случаем лёвы из разных стран.

Трудно писать о тех, кому ставят памятники. Еще труднее, если эти люди даже спустя столетие после смерти остаются в сознании миллионов живыми. Маркс и Энгельс – живые. Для одних они живые друзья, для других – живые враги.

В 1978 году в Воениздате вышла моя повесть «Его назовут Генералом», главным героем которой был Энгельс. В ней рассказывалось, как он в качестве одного из редакторов «Новой Рейнской газеты», а затем офицера добровольческой армии вспыхнувшего в Бадене и Пфальце восстания принимал участие в революции 1848 – 1849 годов. Образ Маркса, с которым многие дни революции Энгельс жил и действовал рука об руку, также занимал в повести большое место.

Эта повесть имела и предысторию и продолжение. Предысторией были рассказы о Марксе и Энгельсе, которые я печатал с 1959 года. Продолжением является настоящая книга – единое цельное повествование о жизни и деятельности моих героев от 1848 года до их смерти. А жизнь их – это труд, волнения и бури, великие и яростные. В своей докторской диссертации Маркс писал: «Обыкновенные арфы звучат в любой руке; эоловы арфы – лишь тогда, когда по их струнам ударяет буря». Именно такими прозвучавшими в бурю эоловыми арфами я хотел показать главных героев моей книги.

На ее последних страницах читатель встретится с молодым В. И. Лениным, предпринявшим в 1895 году первую поездку за границу. Он тогда мог еще – и мечтал! – побывать у Энгельса, но тот был уже смертельно болен, да и другие обстоятельства этому помешали. В какой-то мере возмещением за неудачу послужили встречи с Полем Лафаргом и его женой Лаурой – дочерью Маркса, с другими деятелями рабочего движения, лично знавшими великих учителей.

Никто не дал столь глубокую оценку Марксу и Энгельсу, их трудам и всей их жизни, как Ленин. Для него они тоже были людьми живыми, он остро ощущал их как современников и товарищей по борьбе. Когда ему было уже под пятьдесят, он

однажды написал в письме к другу: «Я все еще „влюблен“ в Маркса и Энгельса, и никакой хулы на них не могу выносить спокойно. Нет, это – настоящие люди!» Ныне, когда ненависть врагов к ним, оставаясь чувством классовым, открыто обрела черты яростной личной страсти, доходящей до такой «хулы», как взрывчатка и кислота, я особенно рад выходу моей книги. И мне хочется, чтобы, шествуя со мной по ее страницам, читатель помнил и слышал как зловещий звон разбитой бутылки, грохот бомбы с часовым механизмом, шум вуппертальского пожара, так и слова сердечного признания: «Я все еще „влюблен“…»

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая.
Наступает наше время

Двадцать четвертого февраля 1848 года в Брюссель не пришел поезд из Парижа. Естественно, не было и почты, не было парижских газет. Это еще больше усилило напряженность, в которой жила все последние дни бельгийская столица, как и многие другие столицы Европы. Ходили бесчисленные разноречивые слухи, но никто ничему по-настоящему не верил. Доподлинно было известно лишь то, что старый Луи Филипп под напором широкого недовольства парижан сместил Гизо и сформировал новое правительство. Что последует за этим в Париже? В Брюсселе? Во всей Бельгии? Определенно никто ничего не мог сказать, однако весьма отчетливое ощущение неотвратимости революционной грозы распространилось повсюду: оно жило и крепло в летучих толпах народа, возникавших то там, то здесь, в редакциях газет, в переполненных кафе, особенно в кафе «Сюисс», где собирался чуткий и всеведущий коммерческий люд, в мрачных кабинетах и коридорах департамента полиции, в строгих министерских залах и даже в сияющих чертогах короля Леопольда… Но всего отчетливей и сильней ощущение надвигающейся грозы было в комнатах отеля «Буа-Соваж», в которых недавно вновь поселилась семья Маркса…

Эти меблированные комнаты, как и все прежние квартиры Марксов в Брюсселе, были одним из самых убогих жилищ столицы, но сейчас, в дни ожидания революции, они словно осветились праздничным светом. И временные их хозяева и многочисленные ежедневные посетители жили тревожной и веселой мыслью: вот-вот начнется!..

Двадцать пятого февраля к вечеру на перроне брюссельского вокзала в ожидании вестей из Парижа собралось много народа. Люди здесь были самые разные: рабочие, эмигранты-революционеры, чиновники, дипломаты, полицейские… Одни пришли, чтобы услышать вдохновляющий возглас: «В Париже революция!»; другие всей душой мечтали получить подтверждение своим зыбким, но страстным надеждам на то, что все тихо и мирно в прекрасной Франции. Одни лица, обращенные в сторону пограничной французской станции Валенсьен, горели радостным нетерпением, предвкушением торжества, другие, обращенные туда же, – каменели настороженностью, страхом, сдерживаемой ненавистью.

Минул час, другой, третий… Поезд все не шел и не шел. В многолюдной толпе бросалось в глаза одно особенно напряженное, бледное, злое лицо старика – это был маркиз де Рюминьи, посол Луи Филиппа при дворе короля Леопольда. Весть, которую мог доставить парижский поезд, была для него так важна, что господин посол не направил сюда кого-либо из секретарей, а, пренебрегая высоким рангом, не считаясь с возрастом, явился сам, не побрезговал смешаться с разношерстной толпой, и ждал, ждал… Казалось, он мог ждать вечность. Вот если бы только не этот высокий, крепкий, военной выправки малый, что стоит рядом. Старику непереносимо видеть, как сияет предвкушением радостной вести его открытое, смелое, нет, наглое, крупных плебейских черт лицо, как то и дело он весело теребит свою короткую щегольскую – от виска до виска – шкиперскую бороду. Старик сжимает слабой рукой трость. Так бы и хлестнул сейчас по этим светлым смеющимся глазам.

Иногда колебания толпы прижимают шкипера и посла вплотную друг к другу. Старик думает: «Конечно, хлестнул, если бы не был стиснут со всех сторон, если бы руки не были прижаты к телу». Но когда волна злобы немного спадает, освобождая разум, он сознает, что дело не только и не столько в стиснутых руках, – дело прежде всего в том, какую весть привезет парижский поезд. Если он привезет ту весть, которую ожидает посол, то, право же, еще неизвестно, удержится ли он от того, чтобы не хлестнуть по этим глазам.

Великан со шкиперской бородкой все понимает, ему ясно, что он и его невольный сосед принадлежат к противоположным лагерям, что ждут они совершенно разных вестей. Но уверен, что придет именно его весть, и потому на душе у парня не только радостно – ему, пожалуй, даже немного жаль бледного старика… Вот толпа вновь шевельнулась, и шкипер вновь надавил своей широченной грудью на худенькое плечико посла. «Пардон, мосье, пардон, пардон», – добродушно и весело улыбается шкипер. Старик с брезгливой и бессильной ненавистью отворачивается: только бы не видеть эти наглые, смеющиеся глаза.

Вдруг нестройный говор толпы прорезал истошный крик: «Идет! Идет!» Толпа, как один человек, подалась навстречу крику и замерла в напряжении. Через несколько минут показался поезд. Он шел еще довольно быстро, но с подножки первого вагона соскочил кондуктор и, обгоняя паровоз, бросился к перрону. Он размахивал над головой форменной фуражкой и звонко кричал: «На башнях Валенсьена красное знамя! Во Франции республика!» В толпе произошло какое-то противоречивое движение, в разных концах послышались неясные выкрики, начал нарастать шум, и

вдруг из всего этого возник зычный, торжествующий, дружный возглас: «Да здравствует республика!» Через несколько секунд он прогремел снова, потом еще и еще, каждый раз делаясь все уверенней, смелей, шире. Шкипер рявкал так, и притом каждый раз на другом языке – то на французском, то на немецком, то на английском, то еще на каком-то, – что у Рюминьи зазвенело в ушах, а голова, и без того готовая лопнуть от прозвучавшей вести, начала дергаться.

С неожиданной для шестидесятипятилетнего старика ловкостью и удивительной для аристократа бесцеремонностью маркиз принялся работать своими остренькими локтями, стремясь выбраться из толпы на привокзальную площадь, где его ожидал экипаж. Как ни энергичен, как ни проворен был посол – теперь уж не бывший ли? – но на площадь он выбрался, конечно, далеко не первым. При взгляде на нее у Рюминьи с тошнотворной слабостью замерло сердце. На площади царил хаос: люди метались, ржали перепуганные лошади, кто-то запевал «Марсельезу»… Маркиз не увидел своего экипажа на том месте, где оставил, и понял, что найти его в такой сумятице дело безнадежное. Надо было искать хоть что-нибудь. Хорошо бы встретить коллегу дипломата, но если попадется обыкновенный городской извозчик – черт с ним, маркиз поедет и на извозчике! Если уж простоял весь день в этой толпе…

Протолкавшись минут пятнадцать по площади и уже впадая в отчаяние, Рюминьи неожиданно увидел в нескольких шагах от себя свободного извозчика. Но едва он направился к нему, дрожа от радости и боясь, что прекрасное видение в облике тощей кобылы и обшарпанного кабриолета исчезнет, как кто-то длинноногий легкой, стремительной тенью обогнал его и с маху плюхнулся на потертое сиденье. Посол остолбенел от досады и злости: в кабриолете сидел тот самый малый! Тот самый, черт подери!

– Сударь! – Рюминьи подошел ближе. – Я направлялся к этому извозчику. Вы обогнали меня, пользуясь преимуществом своих ног.

Малый улыбался во все лицо.

– Я дипломат, я спешу. У меня нет времени… Меня ждут важные особы.

– Вы правы, – глаза у малого сияли. – Я обогнал вас. Вы еще более правы в том, что у вас нет времени. Наступает наше время.

– Что вы хотите сказать? – Голова маркиза непроизвольно дернулась.

– Да ничего, сударь, кроме того, что действительно наступает наше время. Но даже при такой ситуации я не могу транжирить

часы и минуты и потому, пардон, не уступлю вам извозчика, честно добытого мной, как вы верно заметили, благодаря преимуществу моих ног. Хотите, – он стукнул широкой лапой рядом с собой, – хотите, можем поехать вместе. Вам, конечно, в Верхний город?

– Разумеется, – гордо ответил маркиз, прекрасно понимая, как все ужасно: посол великой Франции, аристократ, поедет в двухколесном кабриолете, запряженном клячей, рядом с этим мерзким плебеем… Но выхода не было. Он несколько секунд помолчал, подавляя колебания, и сухо сказал:

– Хорошо. Едемте вместе. Но неужели вам тоже в Верхний город? – В голосе его было презрительное недоумение.

– Мне на площадь Сент-Гюдюль.

– Надеюсь, извозчик прежде отвезет меня, а потом вас.

– Увы, я лишен приятной возможности оказать вам такую любезность. Я уже сказал, что тоже очень тороплюсь. И меня тоже ждут очень важные особы…

Шкипер дружелюбно помог послу взобраться на сиденье и шлепнул по плечу извозчика:

– Отель «Буа-Соваж»!

Кое-как выбравшись из сутолоки привокзальной площади, экипаж, в котором восседали веселый молодой человек и унылый старец, республиканец и монархист, революционер и враг революции, устремился по многолюдным и взбудораженным улицам на площадь Сент-Гюдюль.

Поездка оказалась гораздо более мучительной, чем предполагал маркиз де Рюминьи… С каким облегчением он вздохнул, когда малый слез наконец с извозчика, шутливо сделал маркизу ручкой и быстро исчез в подъезде отеля. Извозчик повернул, и маркиз поехал домой.

А молодой человек тем временем вихрем ворвался в квартиру Марксов. Дома были только жена Маркса и дети, уже собиравшиеся спать.

– Госпожа Маркс! Дети! В Париже революция! Луи Филипп сброшен!..

Женни захлопала в ладоши, воскликнула «о-о-о!», счастливо засмеялась. Старшая дочь – тоже, как и мать, Женни, – которой не было еще и четырех лет, младшая Лаура – ей около двух с половиной – и годовалый Эдгар, конечно, ничего не понимали, кроме того, что дядя принес какую-то очень добрую и веселую новость, что можно, следовательно, пока не ложиться спать, а визжать, прыгать и даже кувыркаться.

– Дети! – поднял руки неожиданный гость. – Я должен срочно написать, вернее, закончить статью. Именем революции, именем

республики прошу тишины.

Тишина, конечно, не настала, но все-таки дети немного угомонились, и пришелец, сев за письменный стол Маркса, достал из бокового кармана несколько листков бумаги. Это была написанная вчера для газеты статья о событиях во Франции. Он быстро пробежал глазами последний абзац: «Буржуазия совершила свою революцию: она свергла Гизо и вместе с ним покончила с безраздельным господством крупных биржевиков. Но теперь, в этом втором акте борьбы, уже не одна часть буржуазии противостоит другой: теперь буржуазии противостоит пролетариат».

Второй акт борьбы начался. И сейчас надо о нем написать несколько слов. Оставляя за собой четкие, как воинский строй, буквы, перо побежало по бумаге:

«Только что пришло известие о том, что народ победил и провозгласил республику.

Благодаря этой победоносной революции французский пролетариат вновь оказался во главе европейского движения. Честь и слава парижским рабочим! Они дали толчок всему миру, и этот толчок почувствуют все страны одна за другой, ибо победа республики во Франции означает победу демократии во всей Европе».

Он задумался, ему вспомнилась толпа на перроне, бледное лицо вельможного старика, разговор с ним, он обмакнул перо и продолжал: «Наступает наше время, время демократии. Пламя, полыхающее в Тюильри и Пале-Рояле, это утренняя заря пролетариата. Господство буржуазии теперь всюду потерпит крах или будет ниспровергнуто…» Перо бежало легко, быстро и радостно. Потом оно перечеркнуло старое название статьи – «Первый акт борьбы» – и размашисто вывело новое: «Революция в Париже».

…Двадцать восьмого февраля статья «Революция в Париже» появилась в «Брюссельской немецкой газете». Одним из первых и, естественно, самых внимательных читателей статьи был, конечно, маркиз де Рюминьи. Когда он дошел до фразы «Наступает наше время», у него неожиданно дернулась голова и уши заложило звоном. Он вспомнил, где и когда слышал эту фразу, он помнил человека, сказавшего ее. Маркиз проворно скользнул по статье до конца и уперся глазами в подпись: «Фридрих Энгельс».

– Фридрих Энгельс… Фридрих Энгельс, – медленно проговорил он, двигая бледными губами. – Надо запомнить это имя.

Свержение монархии во Франции явилось словно сигналом к действию для всей революционной Европы. Во многих столицах и

крупных городах континента – в Вене и Берлине, в Милане и Кельне, в Мюнхене и Генте – запахло Парижем. Но раньше всего это почувствовалось, естественно, в самой близкой к Парижу столице – в Брюсселе.

Многотысячные митинги и демонстрации следовали здесь друг за другом, и все они требовали одного – установления республиканского строя.

Двадцать седьмого февраля Маркс получил из Лондона резолюцию Центрального комитета Союза коммунистов о передаче своих полномочий Брюссельскому окружному комитету Союза, поскольку брюссельские коммунисты во главе с Марксом находятся ближе к разворачивающимся революционным событиям.

…Бельгийский трон зашатался. Двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого февраля многим казалось, что он вот-вот рухнет. Но человек, восседавший на нем, король Леопольд – многоопытно-хитрый, видавший виды Кобург – быстро учел печальный конец своего незадачливого тестя Луи Филиппа. Он смиренно заявил министрам, депутатам парламента и пэрам, что готов отречься от престола при условии, если того пожелает народ. Это так тронуло и умилило поддавшихся было революционным веяниям отцов народа, что они, в свою очередь, тотчас отреклись от всяких бунтарских затей.

Двадцать восьмого февраля, когда в «Брюссельской немецкой газете» появилась статья Энгельса «Революция в Париже», когда на улицах и площадях столицы было особенно многолюдно, шумно и радостно, уже начались репрессии. Монархисты перешли в контрнаступление.

В числе первых арестованных оказался друг Маркса и Энгельса, секретарь Немецкого рабочего союза в Брюсселе Вильгельм Вольф.

Репрессии нарастали с каждым днем, с каждым часом. Фактически было введено военное положение. Митинги и открытые собрания стали невозможны, деятельность Союза коммунистов и других прогрессивных организаций сделалась крайне затруднительна. В любой момент можно было ожидать ареста Маркса и жестокой расправы над ним.

В такой обстановке вечером третьего марта срочно собрался новый Центральный комитет Союза коммунистов. Было пять человек: Энгельс, Жиго, Фишер, Штейнгенс и сам Маркс.

Заседание вел Энгельс, протокол поручили писать Жиго. Перед началом заседания Энгельс ознакомился сам и дал прочитать другим два документа, полученных в этот день Марксом. Первый пришел еще с утренней почтой. Он гласил:

«Временное правительство.
Французская республика.
Свобода, Равенство и Братство.

От имени французского народа.
Париж, 1 марта 1848 г.

Мужественный и честный Маркс!

Французская республика – место убежища для всех друзей свободы. Тирания Вас изгнала, свободная Франция вновь открывает Вам свои двери, Вам и всем тем, кто борется за святое дело, за братское дело всех народов… Привет и братство.

Фердинан Флокон, член временного правительства».

Второй документ получен Марксом, точнее, церемонно вручен ему лишь два часа назад, в пять вечера. Это было предписание властей: в течение двадцати четырех часов Маркс должен был покинуть Бельгию.

– Как видите, господа, – сказал Энгельс, поглаживая свою шкиперскую бородку, – оба документа, столь разные по своему происхождению и целям, имеют для нас один и тот же конечный смысл: они побуждают принять решение о возвращении Маркса в Париж, откуда три года тому назад его выслали по настоянию прусского правительства.

Затем Энгельс обрисовал положение в Бельгии, во Франции, высказал уверенность, что революция вот-вот вспыхнет в Берлине и Вене, обратил особое внимание на опасность, грозящую лично Марксу здесь, в Брюсселе.

Члены Центрального комитета высказывались кратко и дельно. Все были единодушны: Марксу надо немедленно ехать в Париж и там создать новый дееспособный Центральный комитет Союза. Маркс согласился с товарищами.

– В таком случае, господа, – сказал Энгельс, подводя итог, – давайте примем следующую резолюцию… Пишите, Филипп.

Он встал из-за стола и, медленно прохаживаясь, начал диктовать, а Жиго записывал.

– Пролетарии всех стран, соединяйтесь! – как стихотворную строку произнес Энгельс первую фразу. – Центральный комитет Союза коммунистов, принимая во внимание, что руководящие

члены Союза в Брюсселе либо уже арестованы или высланы, либо же с часу на час ждут высылки из Бельгии; что Париж в данный момент является центром всего революционного движения; что нынешние обстоятельства требуют чрезвычайно энергичного руководства Союзом, постановляет…

Энгельс помедлил, обвел всех взглядом и, увидев на лицах согласие и одобрение, продолжал:

– Первое. Центральный комитет переносится в Париж.

Второе. Брюссельский Центральный комитет уполномочивает члена Союза Карла Маркса осуществлять в данный момент, действуя по своему усмотрению, центральное руководство всеми делами Союза.

Третье. Брюссельский Центральный комитет поручает Марксу, как только позволят обстоятельства, образовать в Париже по собственному выбору новый Центральный комитет в составе наиболее подходящих для этого членов Союза и для этой цели вызвать туда же тех членов Союза, которые не проживают в Париже.

Четвертое. Брюссельский Центральный комитет распускается.

Все участники заседания нашли, что резолюция хороша и правильна, но Маркс сказал:

– Считаю необходимым второй пункт, где говорится о наделении меня полномочиями осуществлять руководство всеми делами Союза, дополнить словами: «за что он – то есть я – несет ответственность перед новым Центральным комитетом, который должен быть образован, и перед ближайшим конгрессом».

Добавление приняли, и все поставили свои подписи. Энгельс подписался первым, Маркс – последним.

Очень скоро участники заседания разошлись. У каждого были срочные, неотложные дела, а Марксу предстояло немедленно заняться приготовлениями к отъезду.

•

Дразнить гусей всю жизнь было одним из любимых занятий Маркса. Много лет спустя, уже на шестом десятке, в Лондоне он писал: «Здешние эмигранты-демагоги любят нападать на континентальных деспотов из безопасного далека. Для меня же это имеет лишь тогда свою прелесть, когда совершается перед лицом самого тирана». И каждое слово здесь подтверждалось фактами его биографии. Но сейчас на примере Вольфа и других друзей Маркс видел, что власти способны на любую жестокость, и он не имел права рисковать собой после партийного решения,

возложившего на него обязанность создать в Париже новый действенный Центральный комитет Союза коммунистов. Поэтому все согласились на том, что сперва он уедет в Париж один, а Женни с детьми и служанкой Еленой, по-домашнему Ленхен, приедут туда через несколько дней, необходимых на улаживание всех дел в Брюсселе.

…Был уже поздний ночной час, и подготовка к отъезду шла полным ходом. Маркс и Женни отбирали книги, рукописи, которые надо взять ему с собой, служанка хлопотала с вещами. Вдруг за дверью послышался топот, говор, в дверь постучали.

– Открывать? – тревожно спросила Елена.

– А что же делать? – развел руками Маркс. – Открой и иди к детям.

В комнату ввалилось десять полицейских во главе с помощником комиссара.

Маркс не удивился. Этого следовало ожидать.

– Я уполномочен свыше произвести у вас обыск, – деревянным голосом сказал полицейский чиновник. – Ведь вы доктор Маркс?

– Да, меня зовут так, – спокойно ответил Маркс. – А вы, конечно, Иисус Навин? Рад познакомиться.

– Какой еще Иисус? – оторопело пробормотал помощник комиссара.

– Как это какой? Надеюсь, тот самый, библейский, который, имея на то полномочия свыше, остановил на небе солнце, чтобы при его свете завершить избиение ханаанеян.

Чиновник все еще ничего не понимал и обалдело хлопал глазами. Маркс насмешливо разъяснил:

– Всем известно, как свято в Бельгии чтут закон. И если вы пришли ко мне с обыском, то я уверен, что сейчас на дворе сияет солнце, которое до такого позднего часа мог задержать на небе лишь один Иисус Навин.

– Ах вот вы о чем! – помощник комиссара сообразил наконец, что собеседник намекает на закон, запрещающий нарушать неприкосновенность жилища после захода солнца. – Нет, господин Маркс, я не Иисус Навин, а солнце действительно давно село, и тем не менее, – он ухмыльнулся, – вот вам ордер на обыск.

Маркс понимал, что в ордере, конечно, все в порядке, а если что-то и не так, то протестовать, сопротивляться сейчас все равно бесполезно. Но он взял ордер и долго-долго рассматривал его. Так долго, что чиновник не выдержал.

– Ну?

Маркс перевернул ордер вверх ногами и с серьезным видом продолжал тщательно изучать его в таком положении. Ему не

только хотелось позлить непрошеных гостей, он старался также дать время Женни и Ленхен прийти в себя.

У помощника комиссара все клокотало внутри. Наконец его терпение лопнуло.

– Мы начинаем! – раздраженно сказал он.

Маркс положил ордер на скатерть.

– Ну что ж, если отныне король во дворце или господин Оди в своем ведомстве заменяют солнце на небе, то начинайте.

– Солнце, господин Маркс, – едва владея собой, проговорил чиновник, – завтра взойдет, как всегда, но вам оно едва ли будет светить так же, как всем.

– Не надо пророчествовать, – поднял руку Маркс. – Это опасное дело. На нем ломали себе головы не только помощники комиссаров. Начинайте-ка лучше.

Полицейские разошлись по комнатам и принялись обшаривать все закоулки. Это длилось около часа. Бумаги, рукописи, письма их почему-то не интересовали. Видимо, искали оружие. Ничего не найдя, полицейские обозлились.

Чиновник потребовал у Маркса паспорт. Повертев его в руках, он сказал:

– Ваш паспорт не в порядке.

– Чем? – почти равнодушно спросил Маркс.

– Мы знаем чем. – Тон ясно давал понять, что спорить бесполезно. – Я обязан арестовать вас и препроводить в полицейское управление.

Женни вздрогнула и крепко ухватила Карла за рукав.

Маркс спокойно сказал:

– Я получил предписание в двадцать четыре часа выехать из Бельгии. Ваше намерение арестовать меня находится в противоречии с этим предписанием, вы лишаете меня возможности выполнить его своевременно.

– Предоставьте нам самим разбираться в противоречиях такого рода… Одевайтесь и следуйте с нами.

Делать было нечего. Маркс оделся, поцеловал встревоженных детей, жену, похлопал по плечу Ленхен, сказал:

– Не волнуйтесь. Они ничего не посмеют сделать. Завтра отпустят.

Несколько минут после того, как Карла увели, Женни была словно парализована происшедшим. Но Елена не дала ей долго цепенеть в бездействии. «Надо что-то немедленно делать!» – твердила она. Но что? К кому пойти? Первой мыслью было, конечно, бежать к Энгельсу.

– Нет, Энгельс тут не поможет, – возразила Елена. – Хотя они и выдали ему паспорт, но он такой же эмигрант, его самого вот-

вот арестуют, если уже не арестовали.

Действительно, это бесполезно: к Энгельсу Женни, конечно, сходит потом, а сейчас… Вдруг ее осенило: надо бежать к Жотрану. Во-первых, он президент Демократической ассоциации, он может привлечь к аресту Карла внимание общественности. Во-вторых, он юрист, и, следовательно, у него можно получить толковый деловой совет.

Елена одобрила решение Женни, и та, наскоро одевшись, ушла.

Но вот в дверь опять постучали. Это вновь явился Жиго. По профессии архивариус, он был, несмотря на молодость – года на полтора моложе Маркса, – человеком очень аккуратным и даже педантичным. Можно представить себе его волнение, когда, придя домой, он обнаружил, что одного листка протокола, который он вел, нет. Сломя голову Жиго помчался обратно, к Марксам, надеясь, что листок выпал у него там, где проходило заседание. Действительно, листок был здесь – он лежал под стулом. Только схватив его и спрятав на груди, Жиго стал способен выслушать рассказ Елены. Узнав о происшедшем, он решил дождаться возвращения госпожи Маркс, чтобы в случае необходимости помочь ей.

Была уже глубокая ночь, когда Женни, уставшая и продрогшая от весенней сырости, возвращалась домой. В темноте она не заметила у подъезда полицейского и потому вздрогнула, когда рядом раздался голос:

– Госпожа Маркс?.. Госпожа Маркс, я послан из полицейского управления за вами… простите, точнее, к вам, – полицейский чуть поклонился.

– Что вам угодно?

– Я послан сказать, что если вы хотите видеть своего мужа, то можете это сделать немедленно.

– Да? Это правда? А где он? Почему его увели? – засыпала Женни полицейского вопросами.

– Все это вы можете узнать от него самого. Итак, вы идете со мной? – вытянувшись в струнку, он всем видом выражал готовность помочь бедной женщине.

– Да, да, разумеется, только я на минутку зайду к себе, посмотрю, спят ли дети… Я сейчас…

Спал только Эдгар. Девочки проснулись – в тревоге и страхе ждали мать, хотя, конечно, мало что понимали в происходящем.

– Госпожа Маркс, – сказал Жиго, застегивая пальто, – даже если вы будете против, я пойду вместе с вами. Этим канальям ни в чем нельзя доверять.

Поняв, что господин Жиго идет вместе с мамой, девочки

немного успокоились. Поцеловав их, пожелав покойной ночи, Женни заторопилась – ведь там ждал Карл. У самой двери Елена протянула ей какой-то сверток.

– Что это?

– Пригодится.

– Боже, это передача? – Женни произнесла последнее слово трудно, врастяжку. – Неужели ты думаешь, что еще и завтра Карла не освободят?

– Я только думаю, что люди везде хотят есть. Бери. Ты-то еще никогда не встречалась с людьми, которых уводили полицейские, а мне приходилось. Всякое они рассказывали. – Елена устало свела брови, и по ее высокому молодому лбу пролегла чуть заметная тонкая морщина.

Женни судорожно обняла ее, взяла сверток и шагнула через порог.

Вежливый полицейский не возражал, что госпожу Маркс будет сопровождать господин Жиго. Напротив, он, кажется, был этому рад.

В управлении пришедших сразу препроводили к комиссару полиции.

– Господин комиссар, – радостно сказал вежливый полицейский, вводя в его кабинет обоих, – вы посылали меня за одной птичкой, а вот – сразу две. Надеюсь, мне это зачтется. – И он, как там, на улице, вытянулся в струнку.

Женни изумленно посмотрела на полицейского. Встретив ее взгляд с наглым спокойствием, полицейский вышел.

Комиссар сидел за столом. Пожилой, грузный человек с очень юркими, пронзительными глазами, которые казались чужими в его монументальном облике. Не предложив вошедшим сесть, мельком, но цепко оглядев их, он сначала обратился к Жиго:

– Кто вы такой, сударь?

– Филипп Шарль Жиго, архивариус.

– Бельгиец?

– Да.

– Что у вас, бельгийца, общего с заезжими смутьянами?

– Какими смутьянами? Карл Маркс – известный общественный деятель, ученый и публицист. Я близкий знакомый его семьи. Если позволите, я хотел бы сопровождать госпожу Маркс до конца.

– Что значит – до конца?

Вежливый Жиго несколько смешался:

– Ну, после свидания с мужем я намерен проводить ее домой. Ведь время уже очень позднее.

– Никого провожать вам не придется.

– Что вы хотите сказать?

– Вы кто такая? – чиновник перевел глазки на Женни, не удостаивая Жиго ответом.

Женни коробила грубость допроса, но она мысленно поклялась себе все стерпеть ради того, чтобы увидеть Карла.

– Вам известно, господин комиссар.

– Какое вам дело до того, что нам известно или неизвестно. Я спрашиваю, кто вы такая? – брезгливо поморщился чиновник.

Женни чувствовала, что она слегка ссутулилась от усталости, волнений или от тона комиссара. Она расправила плечи, подняла выше голову и спокойно, медленно, с легкой иронией в голосе проговорила:

– Иоганна Берта Юлия Женни Маркс, урожденная фон Вестфален, жена Карла Генриха Маркса, доктора философии.

– Как вы это докажете? Как докажете, что вы чья-то жена?

– Господин комиссар, – не стерпел Жиго, – я протестую против такого тона и таких вопросов. Перед вами женщина, перед вами жена европейски известного общественного деятеля, мать троих детей.

– Кто вас уполномочил протестовать? Не суйтесь, когда вас не спрашивают, иначе я вас выставлю вон.

– Успокойтесь, господин Жиго, – Женни дотронулась до его руки. – Брачного контракта, господин комиссар, у меня с собой, конечно, нет.

– А какие вообще у вас документы с собой?

– Никаких.

– Почему?

– А почему они должны быть со мной?

– Действительно, – опять возмутился Жиго, – кому в Бельгии когда-либо раньше приходило в голову спрашивать документы у женщины!

– Вы же знали, что идете в полицейское управление. Здесь все основано на документах, – чиновник даже не взглянул на Жиго. – Зачем вы ходили сегодня вечером к Жотрану?

– Я пошла к нему тотчас после того, как полицейские увели моего мужа…

– Не успел простыть след законного супруга, – перебил комиссар, ухмыляясь, – как вы, несмотря на позднее время, бросив возлюбленных чад своих…

Женни сделала шаг к столу, она бы подошла и непременно залепила наглецу пощечину, если бы Жиго не схватил ее крепко за руку, не остановил. Но с собой Жиго совладать не смог.

– Вы ответите за это! – крикнул он. – Мерзавец! – Было очень похоже, что вежливый архивариус произнес это слово впервые в

жизни.

Комиссар поднял звонок и позвонил. Вошел дежурный полицейский. Начальник загадочно сказал:

– Этого горлопана – к господину Анри.

– Как вы смеете! Я буду жаловаться министру Госси! – продолжал негодовать Жиго, но полицейский вытолкал его из кабинета и закрыл дверь.

Некоторое время комиссар молчал. Потом предложил Женни сесть. Возможно, он понял ее намерение, когда она сделала шаг к столу, и теперь рассудил, что сидя она станет не так подвижна. Женни сесть отказалась. Тогда чиновник спросил:

– Где вы жили кроме нашего города?

– В Германии – в Зальцведеле, в Трире, Крейцнахе, Кельне, Франкфурте-на-Майне, – перечисляла Женни, – потом в Париже, в Брюсселе…

– Ого! А вот я всю жизнь прожил в одном городе… Чем вы занимались во всех этих городах?

– Я помогаю моему мужу.

– Помогаете? В чем? – прищурился комиссар.

– Во всем, – отрезала Женни.

Видимо уже не зная, что бы еще спросить, чиновник кивнул головой на сверток, который Женни держала в руках:

– Что это у вас?

– Принесла мужу. Съестное.

– Пригодится самой.

– Что это значит?

– А то значит, сударыня, что никакого Маркса у нас здесь нет. И я вообще не знаю, кто это такой.

– Как так нет? В таком случае зачем меня сюда пригласили? – изумилась Женни.

– Пригласили? – комиссар иронически склонил голову набок. – Вас привели сюда, милостивая государыня, – он с радостной злобой глядел прямо в глаза Женни и словно выплевывал каждое слово, – потому что вы, не имея никакого определенного занятия, разъезжаете по разным городам Европы. Одним словом, мы задерживаем вас на основании закона о бродяжничестве… – Комиссар позвонил в колокольчик. – Сержант, распорядитесь, чтобы арестованную препроводили в одиннадцатую камеру.

– В одиннадцатую? – не смог сдержать удивления дежурный: он знал, что в этой камере содержатся действительно бродяги, нищие да бездомные проститутки.

– Да, в одиннадцатую. Начальник тюрьмы уже осведомлен.

Женни все еще не верила тому, что слышала. Ей казалось, что начальник и подчиненный еще продолжают разыгрывать глупый,

издевательский фарс. Она думала, что в одиннадцатой камере встретит и обнимет своего Карла. С этой уверенностью через полчаса Женни и переступила порог ратушной тюрьмы Амиго и ее одиннадцатой камеры.

…В камере было почти совсем темно, особенно с непривычки, однако чувствовалось чье-то присутствие. «Неужели он спит?» – подумала Женни. Через несколько минут при слабом свете мерцающей коптилки она разглядела нары вдоль боковых стен. Полная надежды, Женни негромко позвала:

– Карл!..

На нарах кто-то шумно зашевелился, и сиплый со сна, грубый женский голос спросил:

– Кого это принесло в такую пору? Новенькая! О, интересно! И кажется, высокого разряда, не то что мы.

Должно быть, обладательница сиплого голоса хорошо привыкшими к темноте глазами видела вошедшую гораздо лучше, чем та ее. От этого Женни почувствовала себя еще беспомощней, чем в первое мгновение, когда поняла, что Карла здесь нет.

Она вдруг ощутила легкий приступ тошноты. Это, конечно, от спертого воздуха, от вони, или внезапная реакция на все пережитое сегодня. Женни приложила платок к губам. Ей хотелось сесть, еще бы лучше – лечь, она чувствовала слабость. Проснувшаяся женщина, видно, заметила ее состояние. Она поднялась, уступая Женни место на нарах.

– Что с тобой? Мутит? Лишку хватила? Девки, вставайте! – продолжала она громко. – У нас пополнение.

Поднялись еще две встрепанные фигуры; в дальнем углу лежал кто-то четвертый, но не пошевелился.

Три женщины, запахиваясь в грубые тюремные халаты, приблизились к Женни, сели рядом. Одна из них была совсем молода и весьма привлекательна даже в таком полуночно-тюремном виде; вторая – тоже молода, но толста и некрасива; третья, та, что проснулась раньше всех, явно доживала уже последние годы короткого бабьего века.

– Откуда явилась? Как звать? Видно, больших господ обслуживала, да чем-то не угодила? А что это у тебя в свертке? – спрашивала старшая.

Женни развернула сверток. Она ведь и сама не знала, что именно в нем находится. Там оказалась белая булка с большим куском жареной телятины и полдюжины вареных яиц. Женни взяла булку и примерилась разломить ее на три части, но старшая запротестовала:

– Э, нет, дели на четверых. Еще неизвестно, когда тебя покормят, хотя хорошо известно чем. И дай нам всем по яйцу,

себе тоже возьми, а эти два съест, когда проснется, вон та соня, что в углу.

Женни не чувствовала враждебности со стороны этих женщин, а их грубоватая фамильярность после того, что́ она встретила в кабинете комиссара полиции, ее не пугала. Поэтому она кратко, сбивчиво, но в общих чертах довольно ясно рассказала, кто она и как попала сюда.

Поедая телятину, предназначенную для Карла, обитательницы одиннадцатой камеры внимательно слушали Женни. В ее рассказе их, кажется, больше всего заинтересовало то, что у нее есть муж и дети.

– Трое, – уточнила Женни, впервые улыбнувшись за этот день.

– Ах, как бы я хотела хоть одного-единственного, – вздохнула самая младшая, – но, видно, у меня никогда не будет детей. В четырнадцать мне пришлось травить плод от хозяйского сынка. С тех пор вот уже шесть лет ни разу не понесла.

– Дура, – прервала ее старшая, – куда бы ты делась с ребенком? Чем бы ты его кормила? Одна-то не можешь…

– А у меня был и муж и ребенок, – сказала толстуха. – Только муж в шахте погиб, а мальчик вскоре умер от простуды.

Женщина, которая до сих пор спала, вдруг проснулась, села на нарах, оглядела всех сонно-безразличными глазами. Старшая протянула ей два яйца: «Ешь, тебе оставили». Она молча очистила их, съела, даже не посолив, и снова легла.

Младшая спросила:

– А вы давно замужем?

– В июне исполнится пять лет. А до свадьбы мы были более семи лет тайно помолвлены.

– Семь лет! Тайно! – всплеснула руками младшая. – Неужели так бывает! Все эти семь лет вы любили друг друга? И сейчас любите?

– Дура несмышленая, – перебила старшая, – ты сообрази только: пять лет еще не женаты, а уже три ребенка! Разве без любви так бывает?

Женни почувствовала, что краснеет, услышав такую аргументацию, против которой, однако, возразить, пожалуй, было нечего.

– Свадьба у вас была, надо думать, богатая? – спросила толстуха.

– Нет, очень скромная, но веселая. Ведь муж мой далеко не богат.

– Уж это ясно, – сказала догадливая старшая. – Богачей в тюрьмы не сажают.

– А свадебное путешествие у вас было? – не могла

угомониться младшая. Ее, видимо, сильнее, чем подруг, захлестывали волны любопытства и горькой женской зависти.

– Было. Небольшое, но было… По Пфальцу…

– Ну хватит, девки, – неожиданно и резко скомандовала старшая. – Скоро светать начнет, спать ложитесь.

Все легли. Женни – не раздеваясь, ей страшно было подумать, что придется притронуться голым плечом или голой коленкой к этой простыне, к этому одеялу. А что, если завтра ее облекут в такое же арестантское рубище?

Все лежали молча, но никто не спал. Женни думала о Карле, о детях, об этих несчастных женщинах; они думали о ней, о себе, о ее любви, о своем несчастье и позоре.

Женни даже не задремала. А проститутки, когда уже начало светать, одна за другой уснули. Последней уснула младшая…

Вопреки всем традиционным представлениям о тюрьме дверь в одиннадцатую камеру открывалась и закрывалась почти бесшумно. Она открылась утром, не разбудив спящих женщин, и на пороге появился тюремщик. Он собрался, видимо, во весь голос что-то сказать, но Женни, приподнявшись с нар, таким властным жестом остановила его, что он замер с открытым ртом. Женни встала с нар и подошла к двери.

– Что вам угодно? – спросила она шепотом.

– Вас к следователю, – против своей воли, внутренне изумляясь себе, тоже шепотом ответил тюремщик.

– Я готова, – сказала Женни и вышла в коридор.

Он осторожно закрыл дверь камеры, осторожно запер ее, и они пошли.

Выйдя во двор, тюремщик остановился, словно кого-то ожидая. Женни обвела взглядом окна камер. Они были пустынны, заключенные еще спали. Вдруг в одном окне она заметила перечеркнутое решеткой, мертвенно-бледное печальное лицо. Вглядевшись, ахнула – это был Жиго! Как и она, он, видимо, провел бессонную ночь.

Женни подняла руку, чтобы помахать, но заметила, что Жиго сам делает ей какие-то знаки и показывает в дальний левый угол тюремного двора. Она повернула туда голову и увидела Карла! Вооруженные конвоиры вели его к воротам. Женни хотела крикнуть, но не могла – перехватило горло. Она лишь молча провожала мужа глазами…

Издевательства над женой Маркса продолжались и сегодня. Ее решили доставить из тюрьмы Амиго во Дворец правосудия к судебному следователю. Конечно, это можно было сделать рано утром, когда улицы безлюдны, а если позже, то в закрытой карете. Но полицейский комиссар распорядился иначе. До

одиннадцати часов Женни продержали во дворе тюрьмы, потом посадили в открытую карету, окружили карету эскортом вооруженных полицейских и как какую-нибудь опаснейшую государственную преступницу повезли к следователю в самую людную пору дня.

Более того, комиссар позаботился, чтобы спектакль длился подольше и чтобы зрителей было побольше. От тюрьмы до Дворца правосудия путь довольно короток и прям, но комиссар выбрал другой маршрут, строго-настрого приказав начальнику эскорта точно его соблюсти, – путь оказался длиннее обычного раза в три и проходил по самым оживленным улицам, мимо самых людных мест и зданий. Выехав с тюремного двора, карета с Женни проследовала по рю Амиго мимо городской ратуши, выехала на узкую рю де-ла-тет-д'Ор, свернула на Гран-Плас, отсюда мимо кафе «Осинь» – к площади Сент-Гюдюль, далее вдоль здания парламента, мимо парка – к королевскому дворцу, от дворца – к университету и только отсюда – мимо городского музея – к Дворцу правосудия.

Наконец Женни предстала перед следователем. Допрос был чисто формальным. Вся вина арестованной состояла, конечно, лишь в том, что, принадлежа к прусской аристократии, она разделяла революционные убеждения мужа.

– Как можете вы, баронесса фон Вестфален, быть заодно со смутьянами и вертопрахами?! – возмущался следователь.

– Господин следователь, – устало проговорила Женни, – вы свое дело сделали, обвинить меня вам не в чем, а уж мое происхождение и мои взгляды – это не ваше дело. Я прошу вас побыстрее меня освободить, дома остались трое маленьких детей, они, как вы, надеюсь, понимаете, ждут мать.

– Бедные малютки одни? О, какая бесчеловечность! – воздев руки, воскликнул следователь. – Вы свободны, фон Вестфален, можете идти. Я обещаю вам, что в следующий раз такого безобразия не повторится. В следующий раз для вашего удобства и в интересах ваших детей их заберут вместе с вами, твердо вам обещаю.

– Еще неизвестно, – усмехнулась Женни, – что будет в следующий раз, кто кого будет судить. Посмотрите, в какое переменчивое время мы живем. Но, во всяком случае, имейте в виду, когда придет наш черед, мы не будем прикрывать свои справедливые действия по отношению к вам лицемерными фразами.

Следователь зябко поежился в кресле.

– Мы крепко сидим на своих местах, – веско сказал он.

– У Луи Филиппа было гораздо больше оснований так думать,

чем у вас или у полицейского комиссара, с которым я вчера познакомилась, – усмехнулась Женни.

– Вы свободны, госпожа Маркс, – следователь широко махнул рукой. – Идите, идите, – ему захотелось поскорей избавиться от нее.

Женни вышла…

Ее усмешка при словах следователя о том, что «мы крепко сидим», имела, как оказалось, гораздо больший смысл, чем можно было ожидать.

Маркс, которого освободили в тот же день, рассказал на страницах французской газеты «Реформа» о том, какое издевательство учинили над ним и его женой в столице Бельгии – «образцовой конституционной стране». Об этом же громовую, по его собственному выражению, статью опубликовал Энгельс в лондонской чартистской «Северной звезде». В брюссельской газете «Освобождение» была статья польского революционера Людвика Любринера; были выступления Жотрана и Жиго в Демократической ассоциации; были парламентский запрос и выступление в палате представителей депутата Жана Брикура, требовавшего наказания виновных; была угроза юриста Карла Майнца, профессора Брюссельского университета, возбудить судебное дело против полиции… Словом, общественное негодование поднялось огромное. Министр юстиции Госси и министр внутренних дел Рожье вынуждены были дать в парламенте объяснения. Более того, они уволили со службы помощника комиссара, арестовавшего Маркса, комиссара, который допрашивал Женни, и следователя. Скрепя сердце об этих увольнениях правительство объявило в прессе.

Но все это было позже, несколько дней спустя, а сейчас, выйдя за ворота тюрьмы, Женни, то радуясь свободе, то обмирая от страха за Карла и детей, спешила домой…

Дверь ей открыл Карл. Она упала ему на грудь и наконец-то расплакалась. Он гладил ее нечесаные, спутавшиеся волосы, целовал мокрое от слез лицо, говорил: «Ну, ну, это на тебя непохоже…» У них не было сейчас времени даже на то, чтобы подробно поведать друг другу обо всем, что каждому пришлось пережить за эти тревожные часы разлуки: срок предписания о высылке уже истек, и надо было спешить, чтобы не оказаться вновь в лапах королевской полиции. Женни лишь рассказала о мужественной поддержке Жиго, а Маркс – о том, что сидел в одной камере с буйно помешанным, от которого ежеминутно приходилось обороняться.

– Мне показалось, что он свихнулся от чтения Прудона, – попытался Маркс вызвать улыбку жены. – И потому я встретил его

как давнего и хорошего знакомого.

Женни не улыбнулась: хотя эта нелепая и чудовищная опасность была уже позади, ей все равно сделалось страшно.

Не взяв с собой даже самые необходимые вещи, семья Маркса отправилась на вокзал.

Четвертое марта, день их отъезда в Париж, был мрачным и холодным днем. В вагоне поезда стоял почти такой же холодный сумрак, как на улице. Дети зябли, взрослые старались хоть чуть-чуть их согреть, растирая им руки, кутая их ноги, плечи.

Когда поезд тронулся, дети, немного согревшись, уснули, а взрослые под мерный стук колес задумались… Подумать было о чем, было что вспомнить.

С самого начала жизнь в Брюсселе не была легкой и приятной: частое безденежье, жалкие квартиры, преследования реакции… Много досады и горечи доставил разрыв с Вейтлингом и Прудоном – ведь они были первыми пролетариями современности, давшими доказательства высокого духа своего класса. В начале пути Маркса они оказали бесспорное влияние на него, и он осыпал их тогда бесчисленными похвалами. Вспомнились и другие утраты подобного рода…

Но при всем том выпадали и светлые дни, были и радости. В Брюсселе Маркс еще теснее, чем в Париже, сблизился с рабочими, на деле узнал силу их классового содружества; сюда к нему приезжали, здесь познакомились с ним многие замечательные люди, бесстрашные борцы. Здесь вокруг него сплотилась прекрасная плеяда единомышленников и друзей. Здесь же Маркс и Энгельс установили тесные связи с Союзом справедливых, находившимся в Лондоне, который при их деятельном участии скоро был реорганизован в Союз коммунистов. Оставаясь неутомимым искателем научных истин, Маркс стал в эти годы революционным руководителем живого движения масс.

Именно в Брюсселе, оказавшись с семьей в очень трудном положении, Маркс до конца понял, какого искреннего, доброго и преданного друга обрел в Энгельсе. В первые же дни изгнания Энгельс предоставил в распоряжение друга гонорар за свою работу «Положение рабочего класса в Англии» и писал ему о тех, кто изгнал его из обжитого Парижа: «Эти собаки не должны, по крайней мере, радоваться, что своей подлостью поставили тебя в затруднение с деньгами». В Брюсселе Энгельс почти целый год жил по соседству с Марксом, и ничто не мешало им видеться едва ли не каждый день.

Здесь, в самом начале изгнания, они вместе написали два огромных тома – в пятьдесят печатных листов! – «Немецкой идеологии». В конце изгнания, совсем недавно, они вместе

работали над «Коммунистическим манифестом».

– Сюда мы приехали вчетвером, – ни к кому не обращаясь, тихо проговорила Женни, – а отсюда уезжаем шестеро!

– Да, шестеро, – как эхо повторил Маркс.

Елена дремала рядом с детьми. Женни минуту помолчала, потом спросила:

– Ты помнишь, где мы жили, когда родилась Лаура?

За три года семья Маркса несколько раз меняла жилье. Как правило, делалось это в поисках более дешевых квартир, в надежде на выход из долговых тупиков. Сначала Марксы поселились в центре города в отеле «Буа-Соваж», но очень скоро, через две-три недели, переехали на окраинную рю дю-Пашено. Там прожили месяца два и перебрались в еще более отдаленное от центра жилище на бульваре Обсерватории; через год вернулись в «Буа-Соваж», где квартировали с весны до осени сорок шестого года; осенью поселились на совсем уж окраинной рю д'Орлеан, в рабочем предместье, эта квартира оказалась самой долговременной, здесь прожили почти полтора года, до тревожно-радостного февраля сорок восьмого; в феврале Маркс получил наконец (спустя десять лет после смерти отца) свою долю отцовского наследства, изрядную часть ее он отдал на приобретение оружия для брюссельских рабочих, на остальные деньги решено было вновь, в третий раз, поселиться в отеле «Буа-Соваж», чтобы в эти дни быть ближе к друзьям и единомышленникам из Союза коммунистов, Демократической ассоциации, Немецкого рабочего общества, чтобы быть доступнее для них и удобнее направлять их порой весьма разрозненные усилия в одно русло.

– Конечно, помню, – медленно ответил Маркс, напрягая память. У него была блестящая память специфически научного характера – на цифры, даты, термины и тому подобное, – но памятью на житейские факты, бытовые обстоятельства Маркс похвастать не мог. Поэтому ему трудно было сразу ответить на вопрос жены, тем более что переездов с квартиры на квартиру было так много. Но он отчетливо вспомнил, что Лаура появилась на свет в дни, когда полным ходом шла подготовка к работе над «Немецкой идеологией», а все, что было связано с такого рода работой, запомнилось ему крепко. Так, ухватившись за «Идеологию», он и вытащил в памяти все остальное. – Конечно, помню, – сказал он уверенно, – мы жили тогда на бульваре Обсерватории.

– А Эдгар? – Женни оторвалась от окна и взглянула на Карла, видимо удивленная тем, что он вспомнил.

Ну, это уж совсем просто – Эдгар! Он родился всего год с

небольшим назад и именно там, где были написаны «Нищета философии» и «Манифест», то есть…

– Тогда мы жили на незабвенной рю д'Орлеан.

Усмехнувшись про себя ходу воспоминаний, Маркс хотел было раскрыть Женни свою маленькую хитрость, но побоялся: не обидится ли? А потом подумал: «Что ж, ведь „Идеология", „Нищета", „Манифест" – это тоже мои дети, мои родные детища брюссельских лет, они тоже дались мучительно, с кровью и тоже дороги мне, любимы». И он повеселевшим голосом сказал:

– Нет, Женни, мы едем из Брюсселя не вшестером. А книги – разве они не дети этих же лет?..

Она сразу поняла его, согласилась с ним и, тоже просветлев, сказала:

– Но почему только книги? А Союз коммунистов, дружба с Энгельсом, с Вольфом и Вейдемейером, Дронке и Веертом, – и это все родилось в Брюсселе. Смотри какими многодетными, с какой большой семьей возвращаемся мы в Париж!

– Ты права! Значит, это не были потерянные годы? А то ведь ровно через два месяца мне стукнет уже тридцать.

– Пусть тебе всю жизнь сопутствуют такие потери. – Она поклонилась и по-матерински поцеловала его в лоб.

Глава вторая.
Два исполняющих обязанности

Энгельса одолевало множество дел и забот. Почти две недели назад, двадцать третьего августа, Маркс уехал из Кёльна в довольно длительное и далекое путешествие по делам газеты, переложив на плечи друга все многосложные и многотрудные обязанности главного редактора «Новой Рейнской газеты». Надо чуть не ежедневно писать статьи в очередной номер, поддерживать связь с корреспондентами, следить за немецкой и зарубежной прессой, думать о том, где найти деньги, чтобы своевременно заплатить авторам и сотрудникам, но прежде всего, конечно, приходится читать огромное количество рукописей и редактировать, редактировать, редактировать… А тут опять дурацкий вызов к следователю! Бросить бы эту бумажку в корзину. Весной, в апреле, когда после всего лишь месячного пребывания в революционном Париже они с Карлом, влекомые успешными мартовскими восстаниями в Вене и Берлине, как и всем вдохновляющим ходом революции на родине, поспешили снова сюда, в Кёльн, чтобы издавать ежедневную политическую газету, задуманную как рупор революции, – весной, в апреле или мае, он, конечно же, бросил бы эту бумажку в корзину. Но теперь, в сентябре, увы, невозможно: контрреволюция набирает силы, наглеет, всюду переходит в наступление, и потому надо сделать все, чтобы сохранить за собой газету. Уж так и быть, придется потратить на каналью следователя часа полтора-два бесценного редакторского времени…

Энгельс почти выбежал из здания на Унтер-Хутмахер, 17, где находилась редакция, и широко зашагал к Дворцу юстиции. По дороге старался вспомнить, какой это по счету вызов. Шестого июля первыми вызвали Маркса и Корфа, ответственного издателя. Дня через три-четыре – владельца типографии Клоута и всех одиннадцать наборщиков. Потом – уже порознь – опять Маркса и Корфа. Третьего августа – Дронке и его, Энгельса. Дронке не было тогда в Кёльне, поэтому он явился один. Дней через десять побывал там и Дронке. И вот наконец снова вызван он. Это сколько же получается? Семь вызовов. А сколько человек? Шестнадцать! А сколько времени убито? Тут уж и не подсчитать… «Обер-прокурор Кёльна господин Цвейфель и шесть жандармов, которых наша газета якобы оклеветала пятого июля в статье „Аресты“, право же, со всеми своими потрохами не стоят таких дорогих человеческих затрат», – зло усмехнувшись, подумал

Энгельс.

…Не дожидаясь медлительного швейцара, он рванул входную дверь и, перемахивая через две ступеньки, поднялся на второй этаж, где находился уже знакомый кабинет уже знакомого следователя.

Постучал. Вместо ожидаемого «войдите!» за дверью послышались шаги, и она распахнулась.

– Прошу извинить, господин Энгельс, – тоном искреннего сожаления сказал появившийся на пороге следователь, – но исполняющий обязанности полицей-директора господин Гейгер распорядился, чтобы вы, не задерживаясь у меня, прошли прямо к нему.

– Это еще зачем? – спросил Энгельс, доставая из бокового кармана повестку. – У меня же вызов к вам.

– Не могу знать. Таково распоряжение исполняющего обязанности. Поверьте, я весьма сожалею, что буду лишен удовольствия новой беседы с таким интересным человеком, как вы.

– Верю, верю, охотно верю, – грубоватой скороговоркой пробормотал Энгельс. – Где кабинет Гейгера?

– Кабинет исполняющего обязанности полицей-директора в самом конце коридора.

Вильгельм Арнольд Гейгер в «Новой Рейнской» был всем хорошо известен. Это он в самом начале расследования, в июле, будучи тогда еще рядовым следователем, допрашивал многих сотрудников газеты. Это он после первого допроса Маркса и Корфа вместе с прокурором Геккером и полицейским комиссаром принимал участие в обыске помещения редакции. Это он же, наконец, во время обыска обнаружил злополучный листок бумаги с тезисными записями для статьи «Аресты». Видимо, за эту находку, за рвение в расследовании дела «Новой Рейнской газеты» и получил он такое повышение по службе. Его имя уже не раз мелькало на страницах газеты. Энгельс вспомнил, шагая по коридору, что весьма насмешливо Гейгер был затронут в той самой статье «Аресты», из-за которой загорелся весь сыр-бор, и еще несколько раз потом. Встреча с таким человеком не обещала ничего хорошего. Но Энгельса сейчас гораздо больше занимало то, почему его вызвал следователь, а хочет с ним говорить сам исполняющий обязанности полицей-директора. Видимо, предстоящему разговору или допросу придается особое значение. Но какое? И почему?..

– А-а, господин Энгельс, – с преувеличенной радостью и любезностью поднялся навстречу из-за стола Гейгер. – Вы очень пунктуальны. Четыре часа четыре минуты. Четыре минуты вы,

конечно, потратили на разговор со следователем Лёйтхаусом?

Это был крупный, чиновного вида мужчина лет сорока пяти, уже несколько отяжелевший, рыхловатый, с выражением заученного доброжелательства на бледном, очень подвижном лице.

Пока он поднимался, стремительный посетитель уже пересек весь кабинет и, подойдя к столу, кивнул головой. Но Гейгер все-таки вышел из-за стола, легонько тронул молодого человека за локоть и с таким видом, словно предлагал на выбор занять трон турецкого султана или китайского императора, сказал:

– Садитесь хоть в это кресло, хоть в это – как вам удобнее.

Энгельс заметил на столе несколько последних номеров своей родной «Новой Рейнской», благонамеренно-верноподданной «Кёльнской газеты», венской демократической газеты «Радикал» и еще какие-то издания с мелкими заголовками, прочитать которые он не смог.

– Ваша точность – прекрасное начало для нашей встречи. Как говорится, точность – вежливость королей. Это замечательное качество может вам очень пригодиться в будущем, – Гейгер ободряюще улыбнулся, – когда вы станете королем.

– О да! – усмехнулся Энгельс, поняв намек. – Сплю и вижу себя текстильным Фридрихом Великим. – Его раздражало многословие Гейгера, ему не терпелось опять в редакцию, к письменному столу, к рукописям и корректурам, а тот продолжал витийствовать:

– Я тоже всегда и во всем стараюсь быть пунктуальным. Особенно с тех пор, – на подвижном лице Гейгера появились одновременно и сожаление, и печаль, и усмешка, – как недели три тому назад мое назначение на нынешнюю должность «Новая Рейнская газета» назвала восшествием на престол, которое она приветствует.

– Да, было такое дело, – спокойно подтвердил Энгельс.

– Но посмотрите, какой же это престол! – Гейгер указал на свое действительно довольно скромное кресло черной кожи. – Это жесткое сиденье для человека, который знает в жизни лишь одно – труд во имя справедливости и которому неведомы никакие житейские услады, даже такие невинные, как игра на скрипке.

В последних словах содержался новый намек – на то, что недавно «Новая Рейнская газета» пустила гулять по городу весьма язвительный каламбур, построенный на прямом значении слова «гейгер» – «скрипач».

Исполняющий обязанности полицей-директора был доволен своим вступлением в предстоящий разговор, так как считал, что, с одной стороны, ему удалось очень ловко и непринужденно

польстить молодому человеку, с другой – полушутя-полусерьезно показать, что он помнит все выпады газеты против него, но не держит на сердце зла и настроен вполне доброжелательно. Ему казалось, что он сумел задобрить Энгельса и создать предпосылки для плодотворной беседы, – это и входило в его расчеты. Дело в том, что Гейгер вот уже полтора месяца был исполняющим обязанности полицей-директора, а окончательное утверждение в должности все откладывалось и откладывалось. Это начинало беспокоить его. Он не только тревожился за самое должность, но и прекрасно понимал, что слишком длительное пребывание в положении исполняющего обязанности может впоследствии губительно сказаться, даже непременно скажется, на его престиже полицей-директора, если он им станет. Поэтому он решил во что бы то ни стало форсировать дело. Для этого нужно отличиться в глазах начальства. А так как начальство питает исключительный интерес к «Новой Рейнской газете» с первого дня ее появления, то лучше всего, как и в прошлый раз, проявить себя именно здесь. Вот если бы помимо всяких следователей самому вызнать, кто же, в конце концов, автор распроклятой статьи «Аресты»! Гейгер надеялся, что удача может прийти к нему именно теперь и именно через Энгельса. Почему теперь? Потому, что Маркс, этот диктатор газеты, державший в жесткой узде всех ее сотрудников, находится в отъезде. Через Энгельса – потому, что он жизнелюбив, а главное – хоть и ближайший друг Маркса, но все-таки сын крупного текстильного фабриканта и торговца. А это не пустяк…

– Прошло два месяца со дня нашей встречи в редакции, – как будто сообщая радостную весть, сказал Гейгер, садясь в кресло. – И что это было за время! Какие кругом перемены! В Париже наконец-то опять восторжествовала законность, в Милан снова вошли изгнанные оттуда весной австрийские войска и усмирили бунтовщиков…

– То, что вы, господин Гейгер, именуете торжеством законности, мы называем победой котрреволюции; тех, кого вы клеймите словом «бунтовщик», мы величаем революционерами и патриотами, – сухо и четко проговорил Энгельс. – И кстати будь сказано, трагические события в Париже произошли еще до вашего милого визита к нам в редакцию. Более того, есть все основания полагать, что если бы восставшие парижские пролетарии не были разбиты и утоплены в крови двадцать шестого июня, то шестого июля вы с прокурором Геккером не осмелились бы явиться с обыском в нашу редакцию.

«Какой, однако, грубиян», – почти спокойно подумал Гейгер и, миролюбиво улыбаясь, ответил:

– Не скрою, решиться пойти в вашу редакцию было не так легко. Со своими наборщиками в красных якобинских колпаках, с ружьями для всех членов редакционного комитета, с ящиком боеприпасов она имеет вид крепости, которую голыми руками не возьмешь.

– Оружие мы держим на основании мартовского закона о всеобщем вооружении народа, – отрезал Энгельс.

– Да, да, есть такой закон, – с печалью в голосе, прикрывавшей досаду, согласился Гейгер. – Но не об этом я хочу с вами говорить – не о ружьях, не о патронах… Вы же видите, что после страшных дней безумств и кровопролитий повсеместно наступает умиротворение.

– Да, контрреволюция воспряла. Позавчера она победила в Париже, вчера – в Милане, завтра и послезавтра она может предпринять решительный штурм в Вене и Берлине. Мы это понимаем.

– Господин Энгельс! Торжествуют законный порядок и справедливость. Кругом разительные перемены!

– Между прочим, разительная перемена в вашей личной судьбе находится в одном ряду со всеми остальными разительными переменами, так восхищающими вас.

– О чем это вы? – едва совладал со своим подвижным лицом, чуть было не сорвался с принятого любезного тона Гейгер, сразу поняв, на что намекает собеседник.

– Разумеется, о назначении вас исполняющим обязанности полицей-директора.

Гейгер проглотил и эту дерзость: «Ну что ж, пусть, пусть пока порезвится». Он даже два раза хохотнул и довольно неплохо нашелся:

– Но ведь и вы, господин Энгельс, в данное время исполняющий обязанности. Разве не так? Разве не вас оставил вместо себя шеф-редактор Маркс, находящийся ныне, как сообщают газеты, в Вене?

Энгельс ощутил почти физическую брезгливость при мысли, что между ним и Гейгером может быть нечто общее.

– Вот я и хочу, – с шутливой улыбкой на губах и с серьезным выражением во взгляде продолжал Гейгер, – поговорить с вами как исполняющий с исполняющим…

– Совпадение невелико.

– И все же!

– А из бесчисленных баррикад, которые разделяют нас, обращу ваше внимание хотя бы на одну. Вы, разумеется, мечтаете избавиться от слов «исполняющий обязанности» и стать просто полицей-директором?

– Плох тот солдат, который…

– Конечно, конечно. Но вот я стать главным редактором «Новой Рейнской газеты» не желаю.

– Но почему? Это неестественно! Ваши блестящие способности, редкая образованность…

– По той простой причине, что лучшего редактора, чем доктор Маркс, невозможно себе представить. Ему «Новая Рейнская» в первую очередь обязана тем, что стала самой известной и авторитетной немецкой газетой.

– Да, по всей Германии вас перепечатывают, на вас ссылаются.

– И не только в Германии, господин Гейгер.

– Не только, не только… И тираж у вас…

– Вы можете назвать еще хотя бы пять немецких газет с таким тиражом?

– Пожалуй, только в Берлине… две-три.

– Но они существуют десятилетия, а мы – четвертый месяц. Они получают субсидии и всяческую иную поддержку правительства, а нам мешают всеми возможными способами, нас ежедневно преследуют.

– Полно, господин Энгельс, кто вам мешает, кто преследует! Да вы никого на свете не боитесь и печатаете бог знает что! Как говорит один персонаж напечатанных у вас стихов, – Гейгер быстро нашел в пачке газет нужный экземпляр «Новой Рейнской», развернул его и прочитал сатирические стихи Георга Веерта:

Редакторы этой газеты дрянной –
Чертей опасная свора:
Совсем не боятся ни бога они,
Ни Цвейфеля-прокурора!

– Да, господин Гейгер, – охотно подтвердил Энгельс, что касается Цвейфеля, бога и страха, то все эти три персонажа в нашей редакции не пользуются популярностью.

«Персонажа!» – хотел было вслух возмутиться Гейгер, но вовремя вспомнил о своей роли.

– Справедливо и то, что этот герой говорит о ваших политических целях:

Как средство от всех неурядиц земных
Хотят они первым делом
Республику красную провозгласить
С имущества полным разделом…

– Не стану отрицать, республику мы провозгласили бы с величайшим удовольствием, – тут согласился Энгельс.

– Очень любопытные строки дальше, – с игривой улыбкой продолжал Гейгер:

> Возьмутся они и за женский вопрос,
> Тотчас отменив все браки:
> В союз свободный – «ad libitum»[1]
> Отныне вступает всякий!..
> Да, эти реформы новейшие вмиг
> Все в мире снимут запреты, –
> Красивейших женщин, конечно, возьмут
> Редакторы «Рейнской газеты»…

Гейгер весело посмотрел на Энгельса и как посвященный посвященному сказал:

– Я, конечно, понимаю, это сатирический прием, гротеск. Да и к тому же, по слухам, у вашего шеф-редактора такая красивая жена, что никакая другая женщина…

– Оставим эту сторону жизни доктора Маркса вне рассмотрения, – холодно прервал Энгельс.

– Хорошо, хорошо, – тотчас пошел на попятный Гейгер, хотя был весьма не прочь узнать кое-какие любопытные подробности о личной жизни шеф-редактора «Новой Рейнской газеты». – Так кто же вам мешает, господин Энгельс, кто вас преследует?

– По-вашему, следствие, начатое против нас, бесконечные вызовы в суд, обыски – это все не помеха? Вы дошли до того, что запретили доступ нашей газете даже в кёльнскую тюрьму!

Гейгер откинулся в кресле и засмеялся:

– Почему – даже?

– Да потому, что в тюрьме-то человек уж вовсе безопасен для вас, а вы всё боитесь. Что же вы разрешаете там читать? «Кёльнскую газету»? Если так, то за каждый прочитанный арестантом номер вы должны сокращать ему срок заключения на месяц. Ведь там на каждой странице опасная для здоровья доза пошлости, глупости и скуки!

Гейгер продолжал тихо смеяться, глядя на Энгельса так, словно перед ним расшалившийся проказник.

– А что, господин исполняющий обязанности шеф-редактора, если разрешить доступ вашей газеты во все тюрьмы Пруссии, это еще более повысило бы ее тираж?

– Бесспорно! Ведь с каждым днем в тюрьмах все больше оказывается честных людей и настоящих революционеров, которые с удовольствием стали бы читать нашу газету.

– Так, так, так, – неопределенно промямлил Гейгер.

Они оба помолчали. Энгельс подумал: «Какого черта он тянет! Ведь я еще не все статьи сдал в завтрашний номер». Гейгер решил: «Ну что ж, пора приступать к главному».

– Господин Энгельс, – сказал он проникновенным тоном, – вы умный человек и вы прекрасно понимаете, что мятежи, беззакония, рост тиража вашей газеты, сатирические антиправительственные стихи – все это уходит в прошлое. Посудите сами, – он взял из пачки еще одну газету, то была вчерашняя, за третье сентября, «Газета кёльнского Рабочего союза», – даже среди ваших рядов начинают раздаваться трезвые и разумные голоса. На недавнем заседании Рабочего союза член Союза Левис заявил, – Гейгер нашел на странице нужное место и внятно прочитал: – «Многого можно достичь при современных отношениях без больших трудностей; если уделять особое внимание воспитанию, то можно устранить различия между сословиями»… Вы слышите, господин Энгельс, ваши единоверцы говорят уже не о ружьях и баррикадах, а о воспитании. Воспитание – вот локомотив прогресса, утверждают они!

– Я знаю об этом выступлении, – махнул рукой Энгельс. – Мне о нем рассказывал наш корректор Карл Шаппер.

– Корректор «Новой Рейнской» и одновременно заместитель председателя Рабочего союза? – не без лукавства спросил Гейгер.

– Да, и заместитель. – Это был факт, общеизвестный в Кёльне. – Рассказывал и о том, какой отпор он дал воспитательной речи Левиса.

– Смею вас уверить, – Гейгер осторожно протянул по направлению к собеседнику руку, – это прежде всего потому, что сам Шаппер чрезвычайно невоспитанный человек. И вообще, господин Энгельс, вы никогда не задумывались, в какую компанию вы угодили в редакции «Новой Рейнской газеты»?

– Что вы хотите этим сказать, господин исполняющий обязанности? – настороженно спросил Энгельс.

– Я хочу сказать, задумывались ли вы о том, что за люди окружают вас в редакции… Тот же Шаппер! Он дважды сидел в тюрьме. А Вильгельм Вольф, член вашего редакционного комитета! Тоже два раза сидел, причем первый раз его осудили на восемь лет, но помиловали через пять лет из-за болезни. И оба они не закончили курса в университетах. А Веерт даже не окончил гимназии. Неучи!

– В таком случае, к числу неучей отнесите и меня, – с насмешливой покорностью склонил голову Энгельс. – Ведь я, как Веерт, тоже не окончил даже гимназии.

– Как? – изумился Гешер. – А ваша всем известная в Кёльне

эрудиция, знание языков…

– Да, кое-что мне удалось приобрести, но все это – шутливо, вне наших прекрасных официальных очагов просвещения, как-то так, между делом. – Энгельс покрутил пальцами перед глазами.

– Ах, ну, конечно же, не в этом суть, – подавив изумление, как ни в чем не бывало продолжал Гейгер. – Вы не кончали университетского курса, но вам, талантливому, трудолюбивому человеку, это не помешало стать и образованным, и воспитанным.

«Ну и ну! – подумал Энгельс. – Вот я у него уже и воспитанным стал. Интересно, куда он клонит?»

– А Дронке! – явно щеголяя своей осведомленностью, продолжал Гейгер. – Хотя он и получил в Боннском университете звание доктора юридических наук, но это же разбойник разбойником! За оскорбление в своей книге «Берлин» его величества короля Пруссии он был приговорен к двум годам заключения. Вы знаете все это?

– Первый раз слышу! – воскликнул Энгельс с таким видом, что трудно было понять, смеется он или говорит правду. Гейгер решил, что ему выгоднее принять его слова за чистую монету.

– Вы не знаете и о том, что в ваш редакционный комитет он угодил прямо из крепости Везель, откуда бежал вскоре после известных февральских событий в Париже, – у Гейгера не поворачивался язык произнести слово «революция», – и незадолго до столь же известных событий в Берлине?

– Что вы говорите! Кто бы мог подумать! На вид такой скромный парень, и ведь очень молодой. К тому же пишет стихи и прекрасно знает латынь. Если б вы слышали, как он произносит речь «О величии римлян»!

Теперь было совершенно ясно, что Энгельс насмешничает, он устал от Гейгера, и ему захотелось немного развлечься. Гейгер решил, что такое нарушение благопристойности он уже не может оставить незамеченным, и потому довольно строго сказал:

– Латынь и величие римлян здесь ни при чем, господин Энгельс.

– Пожалуй, – легко согласился тот, – но как бы то ни было, а лишь только Маркс вернется, я тотчас доложу ему, что под видом доктора юридических наук у нас в редакции скрывается беглый каторжник.

– А я на вашем месте, – уже с прежней доброжелательностью в голосе сказал Гейгер, – еще до возвращения Маркса внимательно посмотрел бы вокруг себя в редакции. Одни из ваших редакционных сотоварищей были изгнаны из университетов, другие сидели в тюрьмах и бежали, третьи – тот же Дронке, Шаппер и сам шеф-редактор, – по сути дела, являются

иностранцами…

– Карл Маркс – иностранец! – засмеялся Энгельс.

– Да, иностранец, – твердо повторил Гейгер. – Все названные мною лица не имеют прусского подданства.

– Разве слово «подданство» не было сдано в архив революцией? И разве первый, уже утвержденный параграф германских основных прав не гласит, что всякий немец имеет общегерманское право гражданства?

– К таким вопросам мы подходим чрезвычайно серьезно. – На подвижном лице Гейгера боролись волны притворной доброты и подлинной суровости.

– Да, я знаю. Настолько серьезно, что вот уже несколько месяцев известный всей Германии и Европе общественный деятель не может добиться восстановления своего прусского гражданства; настолько серьезно, что, если бы не протест рабочих, вы еще две недели тому назад выслали бы из Кёльна и из Пруссии Карла Шаппера с женой и тремя детьми. Как видно, упомянутый первый параграф в вашем толковании означает, что всякий немец может быть выслан из всех тридцати шести немецких государств. Видно, наряду с законодательством Национального собрания существует и ваше личное законодательство, господин Гейгер.

– Я это уже слышал со страниц «Новой Рейнской газеты».

– Извините, что повторился, но в таком случае хотелось бы узнать, уж не располагаете ли вы сведениями о том, что Национальное собрание, это хилое, но все же законное дитя революции, скоро будет задушено?

– Я не пророк, – уклонился Гейгер.

– Тогда, чтобы покончить с этим вопросом, позвольте мне высказать одно пророчество. – Энгельс не сводил глаз с лица Гейгера, на котором суровость наконец победила доброту, но, в свою очередь, уже теснилась настороженностью. – Я вам скажу то, что хорошо следовало бы знать прусскому правительству и его чиновникам.

Гейгер сложил руки на груди, внутренне напрягся, ожидая очередной дерзости.

– Германия, – продолжал Энгельс, – со временем будет гордиться тем, что Карл Маркс ее сын. А у вас, господин Гейгер, имеется лучезарная перспектива остаться в истории человеком, который всячески препятствовал Марксу получить права прусского гражданства.

– Ах, как мы далеко ушли от темы нашего разговора! – воскликнул Гейгер почти радостно, так как ожидал гораздо большей неприятности. – История… Будущее… Вернемся к

нынешнему дню. – Его лицо опять залила доброта.

– Ну, вернемся. – Энгельс и сам не хотел говорить об этом, ведь завтра в газете должна быть напечатана статья «Маркс и прусское подданство». Там все будет названо своими именами. Статья состоит из нескольких фраз от редакции и довольно большого письма Маркса министру внутренних дел Пруссии Кюльветтеру. Письмо это – резкий и возмущенный протест на ответ Гейгера, полученный Марксом в связи с его просьбой о предоставлении ему прав прусского гражданства. Ответ включен в письмо, и завтра его будут знать в Кёльне все. Лишь бы вовремя вручить наборщикам!..

– Интересно, господин Энгельс, – с отличной профессиональной выучкой продолжая держаться доброжелательного тона, сказал Гейгер, – не чувствуете ли вы себя в редакции… как бы это выразиться?.. Ну, белой вороной, что ли?

– Не могу даже предположить, – пожал плечами Энгельс, – с какой стороны в вашу голову залетела такая мысль.

– Эта мысль родилась из естественного сопоставления фактов. – Гейгер опустил скрещенные на груди руки и широко развел их вдоль стола, как бы показывая, что намерен сейчас вывалить на стол все упомянутые факты. – О том, что представляют собой ваши коллеги по редакции в настоящее время, я уже говорил. А кто они по происхождению? У двух отцы бедные сельские священники, у третьего отец учитель гимназии в маленьком городке, у четвертого – крепостной крестьянин!..

– Ну и что? – нетерпеливо перебил Энгельс.

– Как – что? А вы-то сын едва ли не самого богатого человека в Бармене…

– Самого богатого.

– Вы наследник крупнейшего дела. У вашего отца есть предприятия даже за границей, в Англии. Вы богаты! А кроме того, вы молоды, вы чуть ли не моложе всех остальных в редакции, во всяком случае, Шаппер и Вильгельм Вольф лет на десять старше вас, Маркс тоже старше…

– Зато я на год старше Веерта и почти на два старше Дронке, – усмехнулся Энгельс.

– Пусть! Но у Веерта, как и у Вольфа, нет здоровья, Дронке – смешной коротышка, у вас же здоровье хоть куда, а ваша внешность – это внешность настоящего немца: высокий и стройный, голубоглазый и русый… Зигфрид, и только!

Энгельс встал, хотел что-то сказать, но, как иногда с ним случалось в минуты волнения, он начал заикаться и не мог сразу выговорить то, что вертелось на языке.

– Что же касается вашего паспорта, господин Энгельс, – Гейгер торопился говорить, опасаясь, что будет сейчас перебит, – то он в полном порядке, и ваше прусское подданство ни у кого не вызывает сомнений. К тому же далеко не пустяк и то, что вы ниоткуда не высылались и не сидели в тюрьмах, подобно большинству ваших коллег.

– Во-первых, – справился наконец с заиканием Энгельс, – относительно высылок, ссылок и тюрем Зигфрид сохраняет прекрасные перспективы.

– Ах, не шутите так, господин Энгельс! – Гейгер даже прижал руки к груди.

– А во-вторых, что вам, в конце концов, от меня надо, господин исполняющий обязанности?

Гейгер тоже встал, подошел к Энгельсу и ласково взял его за пуговицу.

– Я хочу только одного. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы совершенно случайный человек в этой компании. У вас великолепное будущее, а у них – ни у одного! – нет никакого завтра.

Гейгер вернулся к креслу, взял со стола небольшой листок бумаги и хотел было вслух прочитать, что на нем написано, но почему-то не решился, а протянул листок Энгельсу. Это опять были стихи Веерта. Конечно, произнести их вслух Гейгер никак не мог, язык не повернулся бы. А Энгельс с удовольствием продекламировал:

Почтенный король-бездельник,
Узнай о нашей беде:
Ели мало мы в понедельник,
Во вторник – конец был еде.

Мы в среду жестоко постились,
Четверг был еще страшней,
Мы в пятницу чуть не простились
От голода с жизнью своей…

– Достаточно, достаточно, – поморщился Гейгер, ему и слушать-то такие стихи было истинным наказанием.

– Нет уж, давайте дойдем до конца недели, – возразил Энгельс.

Окончилось наше терпенье!
Дать хлеб нам в субботу изволь.
Не то сожрем в воскресенье

Мы тебя самого, король!

– Вот, сударь, кто работает у вас в газете, вот что вы печатаете и еще жалуетесь, что вас притесняют! – укоризненно покачал головой Гейгер. – Но сейчас я хочу сказать не об этом. Веерт писал искренне. Во всяком случае, с большой долей вероятности можно предположить, что в основе стихов лежат личные переживания. Очевидно, Веерту и в многодетной необеспеченной семье отца-священника, и здесь, в Кёльне, где он работал жалким бухгалтером, и позже не раз приходилось переживать голодные недели. Но ведь вы, господин Энгельс, никогда не знали ничего подобного! Вам известен не голод, а аппетит – его вы обычно испытывали после урока фехтования или после верховой езды… Так что же вас объединяет с этими людьми? Неужели вам интересно работать с ними в красной газете?

– Этих людей, – жестко сказал Энгельс, – моих боевых товарищей, я ни на кого не променяю. Что же касается работы в газете, господин Гейгер, то в революционное время это одно наслаждение.

Каждое слово было произнесено с таким азартом и убежденностью, что Гейгер понял: с этого бока к нему не подступиться, и вся игра в доброжелательность и любезность тут ничего не даст. Но все-таки он решил предпринять еще одну прямую и открытую попытку.

– Скажите, – спросил Гейгер, словно и не слышал только что произнесенных страстных слов, – кто-нибудь в редакции знает, что вы сейчас здесь?

– Какое это имеет значение? – удивился Энгельс.

– Но все-таки?

– Кажется, нет. Я торопился и никому не успел сказать, куда иду.

– Ну и прекрасно! – Гейгер снова сел в свое кресло, жестом пригласил сесть Энгельса и спокойно, медленно, как нечто весьма естественное и обыденное, произнес: – Значит, если вы сейчас сообщите мне, кто автор статьи «Аресты», то никто из ваших коллег даже не заподозрит вас.

– Если бы я не знал, – сразу ответил Энгельс, – что ваша должность включает в себя профессиональный расчет на человеческую подлость и предательство, я сейчас вызвал бы вас на дуэль.

– Лихо, лихо! – едко усмехнулся Гейгер. – К барьеру выходят полицей-директор и обвиняемый…

– Вы не полицей-директор, а я не обвиняемый! – резко перебил Энгельс.

– Да, милостивый государь! – впервые за все время Гейгер повысил голос, и по его лицу метнулась тень бешенства. – Я еще не полицей-директор, но вы уже обвиняемый, а не свидетель, как в прошлый свой визит сюда. Вы привлекаетесь к этому делу как соответчик вместе с Марксом и Корфом.

– Ах вот оно что! – почти весело воскликнул Энгельс. – С этого и надо бы начинать.

– Я рассчитывал на ваш здравый смысл, на ваше чувство реальности. – Голос у Гейгера, когда он перестал притворяться, оказался вовсе не мягким. – Вот вы тут распространялись насчет наслаждения работать в революционной газете. Это напомнило мне стихи Фрейлиграта о наборщиках, которые переливают свинцовые шрифты на пули…

– Чтобы драться за свободу печати.

– Да, чтобы драться… Но вы знаете, где сейчас ваш друг Фрейлиграт?

– Конечно. Вот уже шестой день как он арестован и сидит в дюссельдорфской тюрьме.

– И вас это не пугает?

– Ничуть. Фрейлиграта, как только его освободят, мы пригласим в редакционный комитет нашей газеты.

– Только его у вас и недоставало!.. А что, если не освободят?

– Будет же суд.

– Конечно, суд будет! Но разве вам не известно, как сейчас работают суды?.. Вы всё читаете в своей собственной газете? – Гейгер схватил вчерашний номер «Новой Рейнской» и бросил его на стол перед Энгельсом. На первой странице, подчеркнутый красным карандашом, ярко выделялся заголовок: «Смертные приговоры в Антверпене». – Надеюсь, вам знакомо это произведение?

Еще бы незнакомо! Ведь его автором был он сам, о чем Гейгер не мог знать, так как статья опубликована в качестве редакционной, без подписи.

Гейгер снова схватил газету и, порыскав по ней глазами, торопливо прочитал:

– «…Обвиняемые предстали перед антверпенскими присяжными, перед избранной частью тех фламандских пивных душ, которым одинаково чужды как пафос французского политического самопожертвования, так и спокойная уверенность величавого английского материализма, предстали перед торговцами треской, которые всю свою жизнь прозябают в самом мелочном мещанском утилитаризме, в самой мелкотравчатой,

ужасающей погоне за барышом».

– Неплохо сказано, – спокойно улыбнулся Энгельс.

– Да, неплохо, – зло метнул взгляд Гейгер. – Но я должен откровенно предуведомить, что когда будут судить вас, то не надейтесь, что в числе присяжных окажутся сторонники «французского политического самопожертвования» или «великого английского материализма».

– Вы хотите сказать, что преобладать будут, как и в Антверпене, пивные души, торговцы, охотники за барышами?

– И если там, – не отвечая на вопрос, возбужденно продолжал Гейгер, – из тридцати двух подсудимых к смертной казни приговорены сразу семнадцать, то подумайте, что может произойти здесь, когда перед судом предстанут лишь трое: вы, Маркс и Корф, а обвинение – и не только в клевете на власть – будет поддерживать прокурор Геккер или обер-прокурор Цвейфель, оба оскорбленные вашей газетой!

– Господин исполняющий обязанности, – сказал Энгельс, снова вставая, – я очень тороплюсь. Вы, вероятно, исчерпали все свои доводы, и, кажется, я могу быть свободен?

– Подумайте и о том, – опять не обращая внимания на реплику собеседника, продолжал Гейгер, – что время нынче такое, страсти так накалены, что смертный приговор вынесен даже восьмидесятидвухлетнему генералу Меллине, освободителю Антверпена. С одной стороны, это, конечно, свидетельствует о суровости суда, с другой – примите во внимание, что старцу умирать не так уж горько и страшно. Но двадцать восемь – это не восемьдесят два…

Они помолчали несколько секунд. Один, напряженно и выжидательно вцепившись руками в подлокотники, сидел в кресле; другой, свободно заложив руки за спину, смотрел на него с высоты своего большого роста.

– Итак, господин Энгельс, – неожиданно тихим, усталым голосом, в котором все еще слышался, однако, намек на надежду, сказал Гейгер, – я обращаюсь к вашему здравому смыслу последний раз. Что вы мне ответите?

– Я вам отвечу вот что, господин исполняющий обязанности, – Энгельс взял со стола газету со статьей «Смертные приговоры в Антверпене». – Если с нами, с Марксом, Корфом и мной, произойдет все именно так, как вы сейчас предрекали, то, я надеюсь, найдется орган печати, который напишет о нас, имея для этого все основания, что-нибудь подобное этому. – Он близоруко поднес газету к лицу и прочитал из своей вчерашней статьи: – «Мы гордимся правом называть себя друзьями многих из этих „заговорщиков“, которые были приговорены к смерти только

потому, что они являются демократами. И если продажная бельгийская печать обливает их грязью, то мы, по крайней мере, заступимся за их честь перед лицом немецкой демократии. Если их родина отрекается от них, то мы признаем их своими!»

– Не тешьте себя пустой надеждой! – Гейгер тоже встал. – К тому времени такого органа печати уже не будет, ибо ваша «Новая Рейнская» – это едва ли не один из последних очагов сопротивления.

– Позвольте, я не кончил, – Энгельс предостерегающе выставил вперед ладонь и продолжал читать: – «Когда председатель огласил вынесенный им смертный приговор, они воскликнули с энтузиазмом: „Да здравствует республика!“ В продолжение всего процесса, а также и во время оглашения приговора они держали себя с истинно революционной непоколебимостью».

Энгельс бросил газету на стол, четко повернулся через левое плечо и направился к двери. Гейгер с оторопелой злобой глядел ему вслед. Ведь это уходил не только обвиняемый Энгельс – уходила еще и надежда на должность полицей-директора.

– Минутку! – крикнул Гейгер, сам не зная, что скажет в следующее мгновение.

Энгельс обернулся. Неожиданно для самого себя, видимо стремясь найти хоть какие-то новые ниточки для разговора, Гейгер спросил:

– Скажите, пожалуйста, а когда возвращается доктор Маркс?

– О его возвращении, – Энгельса подмывали и злость, и озорство, и досада, – вы будете извещены артиллерийским салютом.

Очень подвижное лицо Гейгера застыло каменной маской…

•

Примчавшись в редакцию, Энгельс кинулся к письменному столу. На нем лежала статья «Маркс и прусское подданство». Все остальное для завтрашнего номера неутомимый Вольф уже отредактировал и отправил в типографию. Энгельс пробежал еще раз статью. Злоба на Гейгера распирала его. Найдя в конце статьи подходящее место, он вписал в письмо Маркса еще один абзац: «…Я считаю совершенно недопустимым, что здешнее королевское окружное управление или исполняющий обязанности полицей-директора г-н Гейгер употребляют в присланном мне извещении слово „подданный“, в то время как и предшествующее и нынешнее министерство изгнали это определение из всех

официальных документов, заменив его всюду названием „граждане государства“. Столь же недопустимо, даже оставляя в стороне мое право на прусское гражданство, называть меня, германского гражданина, „иностранцем“».

– Вот так! – сказал он весело и, потрясая рукописью над головой, крикнул Вольфу: – Вильгельм! В набор!

Глава третья. Арьергардный бой

Секретарь суда читал скучным монотонным голосом:

– «Третьего июля 1848 года рано утром семь жандармов явились на квартиру Аннеке, грубо оттолкнули в дверях служанку и поднялись по лестнице. Трое остались в передней, четверо проникли в спальню, где спали Аннеке и его жена, которая скоро должна родить. Из этих четырех столпов правосудия один немного покачивался, уже с раннего утра взбодрив себя спиртным. Блюстители законности потребовали, чтобы Аннеке скорее одевался, и не позволили ему даже поговорить с женой. В передней они от понукания переходят к рукоприкладству, причем один из жандармов вдребезги разбивает стеклянную дверь. Аннеке сталкивают с лестницы. Четыре жандарма отвозят его в тюрьму, трое остаются при госпоже Аннеке, чтобы караулить ее до прибытия государственного прокурора…»

Шел суд над Марксом, Энгельсом и ответственным издателем «Новой Рейнской газеты» Германом Корфом. По требованию обвинения секретарь читал статью «Аресты» – именно ее инкриминировали подсудимым. В статье говорилось о беззаконных действиях, предпринятых жандармерией с благословения обер-прокурора Цвейфеля в отношении руководителей комитета кёльнского Рабочего союза Фридриха Аннеке, Христиана Эссера и других членов этой организации.

Поводом для ареста Аннеке послужила его мятежная речь, произнесенная на народном собрании в городском зале Гюрцених.

Да, не столь давние угрозы господина Гейгера не были пустым и праздным сотрясением воздуха: властям все-таки удалось посадить на скамью подсудимых главного редактора «Новой Рейнской» и его ближайшего помощника…

– «Через полчаса, – продолжал секретарь, – для производства обыска прибыли государственный прокурор Геккер и судебный следователь Гейгер. Они конфисковали большое количество бумаг. Кстати, господин судебный следователь Гейгер намечается на должность директора полиции Кёльна».

– И уже стал им! – раздался озорной голос из зала.

– Господа! – председатель суда стукнул по столу молотком. – Прошу соблюдать тишину и не мешать чтению!

Маркс и Энгельс сидели на скамье подсудимых рядом – слева от председательского стола на двухступенчатом возвышении за

решетчатым деревянным барьером. Все присутствующие то и дело бросали на них внимательные, заинтересованные взгляды. Внешне они были очень различны.

Марксу тридцать лет. Это среднего роста, широкоплечий, крепко сложенный человек. Его жесты энергичны и угловаты, они запоминались. Но самое выразительное и характерное в облике – высокий лоб, оттененный шапкой иссиня-черных волос, быстрый взгляд темно-карих глаз, от которых, казалось, ничто не могло утаиться, и прекрасно очерченный волевой и насмешливый рот.

Сейчас, слушая секретаря, Маркс сидел неподвижно, как изваяние, лишь на губах порой вспыхивала язвительная улыбка.

Энгельс моложе на два с половиной года, но можно подумать, что на все пять, а то и на семь. Высокий, аккуратный и подтянутый, держащийся всегда очень прямо, стремительный в движениях, он, скорее, был похож на энергичного гвардейского лейтенанта, чем на революционера, ученого, публициста.

Герман Корф сидел на дальнем конце скамьи. Неподалеку расположились адвокат Шнейдер, защитник Маркса и Энгельса, и адвокат Хаген, защитник Корфа.

Напротив подсудимых и защитников, через довольно широкое пространство, на таком же двухступенчатом возвышении, тоже за оградой, но не решетчатой, а сплошной, находились присяжные заседатели. Прямо, на своего рода сцене, стоит длинный, покрытый свисающим до пола зеленым сукном стол; за ним – председатель суда Кремер – небольшого роста, круглолицый, совершенно лысый человек. Когда он наклонялся к лежавшим перед ним бумагам, его голова казалась шаром, готовым вот-вот покатиться по столу хоть справа налево, хоть слева направо. За отдельной конторкой недалеко от председательского стола – прокурор Бёллинг. Он худ, как жердь, и его мрачное, болезненного серого цвета лицо не предвещало ничего хорошего.

Секретарь закончил нудное чтение, и председатель Кремер объявил, что приступает к допросу подсудимых. Допрос, вопреки ожиданиям многих, получился очень кратким, так как, во-первых, факт опубликования статьи «Аресты» не нуждался в доказательствах; во-вторых, и Корф, и Маркс, и Энгельс – их допрашивали в такой очередности – наотрез отказались назвать автора статьи и решительно пресекали попытки председателя и прокурора хоть как-нибудь подступиться к этому вопросу; в-третьих, все подсудимые сразу заявили, что признают свою прямую причастность к опубликованию статьи и готовы нести за это полную ответственность.

Когда такое заявление делали Корф и Маркс, председатель

молчал. Он, видимо, собирался с мыслями, что-то обдумывал. Когда о том же самом сказал Энгельс, мысль, над которой бился председатель, наконец созрела.

– Подсудимый Энгельс, – начал Кремер спокойным, уверенным голосом, как бы исключавшим всякую возможность несогласия или протеста, – из ваших слов следует, что вы признаете себя виновным? – Он, видимо, рассчитывал на то, что Энгельс моложе и неопытней своих товарищей.

– Не совсем так, господин председатель. – На полных губах Фридриха заиграла добродушная улыбка. – Мои слова надо понимать в том смысле, что я готов нести ответственность лишь в том смысле, если жюри присяжных признает меня виновным не в опубликовании статьи «Аресты» – никто из нас своей причастности к этому не отрицал, – а в том, что я содействовал опубликованию статьи клеветнической, противоречащей закону, то есть преступной.

Председатель помолчал, поморщился.

– Подсудимый Маркс, в таком же духе следует толковать и ваше аналогичное заявление?

– Разумеется! – почти весело ответил Маркс.

– И ваше, подсудимый Корф?

– Так точно, господин председатель! – отчеканил, вскочив, Корф, и в зале послышались всплески смеха, так как многие помнили, что еще совсем недавно, года полтора назад, Корф был офицером прусской армии.

Встал прокурор Бёллинг.

– Подсудимый Энгельс, – сказал он почти дружелюбно, – как вы знаете, во время обыска, произведенного в редакции «Новой Рейнской газеты», была обнаружена заметка, содержащая мысли, которые легли в основу статьи «Аресты». У следствия возникло подозрение, что заметка написана вашей рукой. Вначале вы это категорически отрицали, а позже признались, что так оно и есть. Не объясните ли вы суду столь разительное противоречие в вашем поведении?

– Все очень просто, господин прокурор. – Энгельс даже пожал недоуменно плечами. – Первый раз меня пригласили к следователю в качестве свидетеля, pro informatione[2], а не для допроса под присягой. Но было совершенно очевидно, что вы собираетесь привлечь к ответственности если не всех редакторов газеты, то по крайней мере нескольких, ибо каждый из нас мог оказаться автором инкриминируемой статьи. Поэтому, естественно, в первом приглашении к следователю я увидел ловушку: вы могли бы потом использовать против меня сведения, полученные от меня же при этой первой беседе. А вам не надо

объяснять, что я не обязан давать показания против самого себя. Когда же меня привлекли к делу в качестве соответчика, я тотчас признался в своем авторстве, потому что отпираться было бессмысленно: простейшая графологическая экспертиза уличила бы меня в недостаточном уважении к истине.

– Вы сказали, – попытался незаметно передернуть прокурор, – что автором статьи «Аресты» является один из редакторов газеты.

– Я сказал, что им мог быть каждый из нас, редакторов, но вполне возможно также, – Энгельс широко развел руками, – что ее написал кто-то из наших корреспондентов. Читая «Новую Рейнскую», вы же видите, что корреспондентов у нее множество, они всюду, а не только здесь, в Кёльне. Новейшую и достовернейшую информацию мы получаем от наших корреспондентов в Берлине и Франкфурте-на-Майне, в Дюссельдорфе и Кёнигсберге, в Дрездене и Мюнхене, в Дармштадте и Бреслау, в Мюнстере и Гейдельберге…

Маркс, да и многие присутствующие, а среди них и некоторые присяжные заседатели, улыбались той находчивости, с какой Энгельс превратил ответ прокурору в похвалу и рекламирование своей газеты. Прокурор, досадуя на себя за свой вопрос, уже сел, а подсудимый между тем все продолжал перечислять:

– В Праге, Цюрихе, Вене, Париже…

– Достаточно, хватит! – перебил председатель.

Он едва ли не был уверен, что подсудимый вот-вот воскликнет: «Подписывайтесь на „Новую Рейнскую газету“, лучшую газету Германии!»

– К чему этот перечень, подсудимый Энгельс? – уже совсем недружелюбно спросил прокурор. – Неужели вы надеетесь уверить кого-нибудь здесь в том, что корреспондент, находящийся в Париже или Вене, мог поместить в вашей газете пятого июля статью о событиях, имевших место в Кёльне третьего июля?

– Как знать, господин прокурор, как знать! – покачал головой Энгельс. – Среди журналистов есть весьма расторопные ребята…

В зале раздался смех.

– Господа! – строго сказал председатель. – Еще раз прошу соблюдать порядок. Здесь не театр.

Допрос свидетелей Аннеке и Эссера оказался еще более кратким, чем допрос подсудимых. Они твердо держали сторону защиты и полностью подтвердили все обстоятельства, изложенные в статье «Аресты». Казалось, председателя и прокурора это не очень-то и беспокоит и они даже довольны, что дело идет так быстро. Как видно, оба были совершенно уверены в

угодном для них решении жюри присяжных.

Для такой уверенности, увы, имелись весьма веские основания, и самым веским было то, что на дворе стоял не обнадеживающий март, не благоухающий май сорок восьмого, а пасмурный февраль сорок девятого. Вот уже несколько месяцев, как революция шла на спад, а контрреволюция яростно наступала по всей Европе. Переломным моментом явилась прошлогодняя июньская кровавая победа французской буржуазии над пролетариатом Парижа. Теперь там восседает президентом ничтожный лже-Бонапарт. «Победой в Париже, – писал Маркс в „Новой Рейнской газете“, – европейская контрреволюция начала справлять свои оргии». За Парижем последовала Вена. Двадцать третьего октября мятежную столицу Австрии атаковали войска Виндишгреца, Елачича и Ауэршперга.

Фрейлигрaт, только что вошедший в состав редакционного комитета «Новой Рейнской», стихотворение, написанное в те дни о событиях в Австрии, начинал словами:

Мы стали б на колени,
Склонились до земли,
Молились бы за Вену,
Когда б еще могли.

Но молиться было уже поздно. После восьми дней ожесточенных боев «императорские бандиты», как их назвала «Новая Рейнская», овладели городом и потопили его в крови. Первого ноября над собором святого Стефана развевалось черно-желтое знамя Габсбургов. «А европейская буржуазия, – писал Маркс, – из своих бирж и прочих удобных мест для зрелищ рукоплещет этой неописуемо кровавой сцене».

Он назвал поражение революции в Париже первым актом трагедии, Вену – вторым и предсказал: «В Берлине мы скоро переживем третий акт». И действительно, очень скоро, восьмого ноября прошлого года, в Берлине к власти пришло архиреакционное правительство Бранденбурга. В город вступили гвардейские полки генерала Врангеля. «Новая Рейнская газета» назвала Бранденбурга и Врангеля «двумя субъектами без головы, без сердца, без собственных взглядов и только с усами…». Но чтобы устрашить трусливое учредительное Национальное собрание Пруссии, этого жалкого недоноска революции, оказалось достаточно и одних усов: оно было изгнано из столицы в маленький провинциальный городок и тем парализовано вовсе. Пятого декабря прусский король издал указ об окончательном роспуске учредительного собрания и в этот же знаменательный

день пожаловал своему возлюбленному народу конституцию. Конституция содержала много громких обещаний, но королю опять предоставлялась неограниченная власть, а сословные привилегии юнкерства сохранялись. Вскоре был учрежден Высший трибунал, который оказался над конституцией и над законностью.

Хотя Рейнская провинция – часть Пруссии, но здесь еще со времен французского нашествия действует кодекс Наполеона. Это, конечно, несколько облегчает положение «Новой Рейнской газеты» и ее редакторов, но и здесь контрреволюция захватывала одну позицию за другой по всему фронту. И этот суд – убедительное тому доказательство…

Опять поднялся прокурор Бёллинг. Он взял слово для обоснования обвинения. Сначала в зале воцарилась полная тишина. Но прокурор не счел нужным утруждать себя подробным анализом инкриминируемой статьи и был так откровенно озабочен тем, чтобы обелить обер-прокурора Цвейфеля и прокурора Геккера, и говорил так скучно, что интерес к его речи довольно скоро упал.

– Господа присяжные заседатели! – несколько более живо и энергично заканчивал Бёллинг. – Статья «Аресты» – не случайность. Это преднамеренное издевательство над властью и оскорбление ее. Я мог бы привести в подтверждение сказанного множество фактов, но ограничусь лишь одним. Вот номер «Новой Рейнской газеты» от двадцать второго ноября минувшего 1848 года. – Он вынул из роскошной папки газету и потряс ею, потом развернул и положил перед собой. – Здесь опубликована статья «Обер-прокурор и „Новая Рейнская газета“». Нет никакого сомнения, что она принадлежит перу подсудимого Маркса. В этой мерзкой статье господин обер-прокурор Цвейфель назван «старым сотрудником» газеты, «коллегой»…

По рядам пробежали смешки. Кёльнцы хорошо помнили и эту статью, и то, как «Новая Рейнская газета», предоставив страницы для письма прокурора Геккера по поводу статьи «Аресты», тотчас нарекла всю прокуратуру своим «новым, многообещающим сотрудником».

– Здесь же, – продолжал прокурор, – мы читаем об «инквизиторском рвении» господина Цвейфеля. А о всеми уважаемом обер-президенте нашей провинции в данной статье написано: «Отдачей под суд за государственную измену рано или поздно должным образом завершится карьера господина Эйхмана…» Из всего этого совершенно очевидно, что газета ставит своей целью уничтожить всякое почтение к авторитетам и подорвать существующий порядок. Поэтому я считаю, что всем

трем подсудимым должен быть вынесен обвинительный приговор.

Бёллинг важно сел на свое место. Настала очередь защитников.

Маркс и Энгельс знали, о чем будут говорить, на что сошлются, какие факты приведут в своих речах Хаген и Шнейдер, и потому слушали их вполуха. Время от времени они тихо переговаривались.

– Ты только взгляни на эту рожу! – Энгельс показал взглядом на присяжного, сидевшего за барьером напротив, крайним справа. Физиономия присяжного действительно была примечательна полным отсутствием всякого выражения, всякой мысли, всякого чувства. Приплюснутый лоб, оловянные глаза, уныло неподвижный рот. – Ведь такой проголосует за все, что угодно прокурору…

Суд присяжных, действовавший на территории Рейнской провинции, разумеется, был предпочтительнее ветхозаветного коронного суда, охватывавшего всю остальную Пруссию. Но оба друга понимали, что и суд присяжных, как он организован сейчас, – это не гарантия справедливости.

– Было бы настоящим чудом, – ответил Маркс, мельком взглянув на «рожу» и усмехнувшись, – если бы при нынешнем устройстве суда присяжных люди, открыто выступающие против власти, не попали прямо в руки своих беспощадных врагов. Но сегодня, по-моему, есть кое-какие шансы на это чудо.

– Я не думаю, что оно может совершиться в результате пробуждения совести у присяжных.

– Я тоже имею в виду не это… Совесть! У человека, у которого нет других данных, чтобы стать присяжным, кроме ценза, и совесть цензовая, подобно тому, как совесть привилегированных – это всегда привилегированная совесть.

– Может, ты рассчитываешь, что присяжные и не решатся сказать «Виновны!», поскольку в кодексе Наполеона нет статей, которые можно было бы применить к нам?

– То, чего не предусмотрел разум законодателя, – Маркс подбросил на ладони пухлый томик кодекса, взятый с собой в суд, – то может наверстать совесть присяжных. В сущности говоря, суд присяжных именно для того и учрежден, чтобы заполнить возможные пробелы закона широтой буржуазной совести.

Маркс хотел сказать что-то еще, но в это время защитник Хаген неожиданно повысил голос и заглушил его.

– В тот самый день, наверное, в тот же самый час, когда вышла газета со статьей «Аресты», – возбужденно говорил Хаген, – прокурор Геккер настоял на том, чтобы немедленно был

произведен обыск в редакции с целью изъятия рукописи злополучной статьи, а редакторы и издатель газеты немедленно же арестованы. Арест вследствие нанесения морального ущерба обер-прокурору! Я говорю об этом только потому, что на процессе, где дело идет о свободе печати, я обязан не просто защищать своего подзащитного, но и представить общественности картину беззаконий, к которым прибегают власти в борьбе с прессой.

– Молодец, – сказал Маркс и продолжал развивать прерванную мысль: – Я не отрицаю, на какой-то момент буржуазная совесть присяжных может быть поколеблена. И это во многом зависит от речей защитников и от наших с тобой. Возможно, она заколеблется, если нам удастся разоблачить перед их глазами интриги властей. Но, поверь мне, в следующее мгновение они подумают, – Маркс указал глазами в сторону присяжных, – что если власти применяют к подсудимым такие гнусные и рискованные меры, если они, так сказать, поставили на карту свою репутацию, то, значит, подсудимые действительно крайне опасны, хотя и малочисленны. Они искренне решат, что власти нарушили все законы Уголовного кодекса лишь для того, чтобы защитить их самих от этих преступных чудовищ. И тогда уже с легким сердцем, даже с сознанием исполняемого долга они скажут себе: «Запачкаем же в свою очередь немного и мы нашу крохотную честь, чтобы спасти власти».

– Конечно, так оно и будет, – согласился Энгельс. – Но тогда откуда же все-таки взяться чуду? Ведь общая политическая обстановка в провинции и во всей стране нам также вовсе не благоприятствует?

– Погоди, Хаген кончает, а речь Шнейдера будет недлинной. Очевидно, сразу после него слово предоставят мне. Я хочу собраться с мыслями. – Маркс вытащил из бокового кармана сюртука листки с набросками своей речи. – Советую и тебе сделать то же. Кстати, не вздумай хоть как-то, хоть чем-нибудь задеть присяжных. Наоборот, постарайся сказать им что-то приятное, лестное.

– Всенепременно, – с готовностью пообещал Энгельс.

Действительно, после Шнейдера, речь которого свелась, в сущности, к дополнительной аргументации того, что сказал Хаген, слово предоставили Марксу. Он начал уверенно и негромко:

– Господа присяжные заседатели! Все вы знаете, с каким особым пристрастием прокуратура преследует «Новую Рейнскую газету». Но до сих пор, несмотря на все ее старания, ей не удалось возбудить против нас обвинение в других преступлениях, кроме

предусмотренных в статьях 222 и 367 Уголовного кодекса. Я считаю поэтому необходимым в интересах печати остановиться подробнее на этих статьях.

В зале воцарилась чуткая тишина. В облике, в голосе и в словах говорившего было что-то такое, что заставило людей стать предельно внимательными, многие даже невольно подались в его сторону.

– Но прежде чем приступить к юридическому анализу, позвольте мне сделать одно замечание личного характера. Прокурор назвал низостью, – Маркс выговорил слово «низостью» с сильным нажимом, – следующее место инкриминируемой статьи. – Он взял один из листков своих набросков и прочитал: – «Разве господин Цвейфель не объединяет в своем лице исполнительную власть с законодательной? Быть может, лавры обер-прокурора должны прикрыть грехи народного представителя?»

Зал одобрительно зашумел. Цвейфель в самом деле был одновременно и обер-прокурором Кёльна, и депутатом прусского Национального собрания, теперь, правда, уже разогнанного.

Выждав, пока зал утих, оратор спокойно, как само собой всем ясное, произнес:

– Можно быть очень хорошим обер-прокурором и в то же время плохим народным представителем. Вероятно, господин Цвейфель именно потому хороший обер-прокурор, что он плохой народный представитель.

– Ни одна девушка не может дать больше того, что имеет, – вполголоса по-французски проговорил на скамье подсудимых Энгельс.

Карл с чуть заметной улыбкой взглянул в его сторону. В сущности, он был очень доволен тем, что раз уж прокуратура вместе с ним и Корфом решила привлечь к суду еще одного сотрудника газеты, то им оказался именно Фридрих. В редакции, где почти все сотрудники талантливые, яркие и смелые люди, нет второго столь же бесстрашного и стойкого товарища, такого эрудита, как он…

Подтверждая свою вроде бы шутливую мысль, подсудимый на живых примерах парламентской истории Франции, Бельгии, отчасти Англии показал, что в основе так называемого «вопроса о несовместимости» лежит естественное опасение, что представитель исполнительной власти – и, конечно, такая фигура, как прокурор! – будет в парламенте слишком легко приносить интересы общества в жертву интересам правительства, и потому он менее всего пригоден для роли народного представителя. Дебаты по этому вопросу – в частности, о весьма

противоречивом совмещении в одном лице генерального прокурора и депутата – всегда велись довольно широко и никогда, нигде не влекли за собой судебного преследования.

– Господин Бёллинг, – Маркс, не оборачиваясь, кивнул в его сторону, – хочет вычеркнуть целый период парламентской истории с помощью избитых фраз о морали. Я решительно отвергаю его упрек в низости и объясняю этот упрек его неосведомленностью.

Серое лицо Бёллинга сделалось совсем землистым, он невольно ссутулился. А Маркс был на вид спокойным и даже, как показалось многим, удовлетворенным. Это нетрудно понять: дело против «Новой Рейнской газеты» тянется уже семь месяцев. И сколько было за это время вызовов к следователю едва ли не всех сотрудников редакции, сколько допросов, обысков, очных ставок… Суд назначался, потом переносился, и это, конечно, опять рождало досаду, озабоченность, опять отвлекало от работы, мешало сосредоточиться. И вот – наконец-то! Наконец-то встреча не в кабинете следователя за плотно закрытой дверью, а на людях, где можно дать открытый бой этой с каждым днем наглеющей контрреволюционной сволочи!..

– Теперь я перехожу к разбору юридической стороны дела. Господа присяжные заседатели! Прокурор утверждал, что мы оскорбили господина Цвейфеля, что мы нарушили статью 222 Уголовного кодекса. Но совершенно очевидно, что эта статья к нам неприменима, ибо в ней речь идет о словесном, устном оскорблении, в то время как в данном случае перед нами газетная статья, то есть если и оскорбление, то печатное, а не устное.

– Какая разница, в какой форме нанесено оскорбление?! – крикнул кто-то из публики. – Оскорбление – это всегда оскорбление.

Маркс увидел, кто крикнул. Это был некто Дункель, один из первых буржуазных акционеров «Новой Рейнской», завербованных Энгельсом в Бармене и Эльберфельде в пору создания газеты. Чуть позже, едва раскусив, что это за газетка, Дункель тотчас забрал свои несчастные пятьдесят талеров обратно. Маркс его помнил. Он посмотрел на Дункеля и, помолчав немного, в напряженной тишине зала сказал, обращаясь к бывшему акционеру:

– Как вы считаете, есть разница между оскорблением и клеветой?

Дункель, конечно, уже сожалел, что у него вырвалась возмущенная реплика. В его расчеты вовсе не входило полемизировать с Марксом, ничего хорошего для себя от такой полемики он не ожидал. И сейчас лучше было бы не отвечать,

отмолчаться, скрыться за спиной сидевшей впереди красивой дамы с вуалью, но несколько ободряло то соображение, что здесь, в Кёльне, его почти никто не знает, ведь он из Эльберфельда, и потому он все-таки ответил:

– Какая тут разница? Что в лоб, что по лбу.

– Законы для того и пишутся, чтобы не валить все в одну кучу, – тихо, но так, что в зале услышали все, сказал подсудимый. – Кодекс Наполеона, который, слава богу, в Рейнской провинции еще не отменен, проводит четкое различие между клеветой и оскорблением. Вы можете это найти в статье 367. Клевета есть поношение, которое вменяет в вину тому или иному лицу вполне определенные, конкретные факты. А оскорбление – это поношение общего характера, обвинение не в конкретном действии или бездействии, а в каком-то пороке. Если я скажу: «Вы, господин Дункель…» – Маркс сделал паузу, чтобы все услышали и запомнили это имя.

Произнесенное неожиданно и презрительно при таком стечении публики в этом зале, где Дункель так хотел остаться инкогнито, оно словно плетью по лицу хлестнуло бывшего акционера. «Откуда он знает? – растерянно метались его мысли. – Неужели запомнил по единственному визиту в их редакцию?»

– Если я скажу, – каждым своим словом вдавливая бывшего акционера в кресло, повторил Маркс: – «Вы, господин Дункель, отняли у человека, который остро нуждается, пятьдесят талеров», а вы этого не делали, то в понимании кодекса Наполеона я возвожу на вас клевету.

– Господин председатель! – взвился Бёллинг. – Я протестую против подобных ораторских приемов!

– Господин прокурор, – вмешался защитник Шнейдер, – вам следовало протестовать, когда подсудимого перебили. А теперь он лишь дает разъяснения тому, кто его перебил.

– Протест отклоняется, – бесстрастно промолвил Кремер, твердо держа голову.

– Если же я скажу, – продолжал оратор так, будто все происшествие не имело к нему никакого отношения: – «Вы, господин Дункель, вор или изменник, у вас воровские или предательские наклонности», а на самом деле вы ангел во плоти, то я оскорбляю вас.

Все были удивлены еще больше, чем Дункель, когда Маркс назвал того по имени. А видя, как подсудимый отхлестал Дункеля, большинство присутствующих радовались сейчас не меньше, чем тот негодовал!

– Статья «Аресты», – Маркс говорил неторопливо, четко, казалось, он читал лекцию, – вовсе не бросает господину

Цвейфелю обвинения в том, что он предатель народа или что он сделал некое гнусное заявление. Нет, в этой статье сказано: «Говорят, будто господин Цвейфель заявил еще, что в течение недели покончит в Кёльне с мартовской революцией, со свободой печати и другими порождениями злополучного 1848 года». Таким образом, господину Цвейфелю вменяется в вину вполне определенное заявление. Поэтому, если бы пришлось выбирать, какую статью нужно применить в данном случае, то следовало бы остановиться не на статье 222 – об оскорблениях, а на статье 367 – о клевете.

«Вам от этого легче не стало бы», – подумал про себя, но уже ничего не сказал вслух Дункель.

– Почему же прокуратура вместо статьи 367 применила к нам статью 222? – таким тоном, словно это имело чисто академический интерес, спросил Маркс. Но вдруг голос его стал жестким, и, впечатывая в мозги слушателей каждое слово, Маркс ответил на свой вопрос: – Потому, что статья 222 гораздо менее определенна и дает больше возможности обманным путем добиться осуждения человека, раз хотят, чтобы он был осужден.

– Господин председатель! – нетерпеливо воскликнул прокурор. – В интересах дела я прошу огласить статью 222.

– У вас нет возражений? – обратился председатель к защитникам.

– Никаких. Но, может быть, это сделает сам подсудимый? – ответил Шнейдер.

– Вы не против? – осведомился председатель у прокурора.

– Нет. В некотором смысле это даже полезно, – загадочно ответил Бёллинг, видимо рассчитывая поймать подсудимого на неточности перевода.

Маркс раскрыл кодекс Наполеона и сначала прочел по-французски, а потом перевел на немецкий:

– «Если одному или нескольким должностным лицам административного или судебного ведомства при исполнении… ими своих служебных обязанностей будет нанесено какое-либо оскорбление словами с целью затронуть их честь или их деликатность, то лицо, оскорбившее их таким образом, карается тюремным заключением сроком от одного месяца до двух лет».

При всем желании Бёллинг не мог придраться к такому переводу. Но он спросил:

– Что же вы находите в этой статье неопределенного, подсудимый Маркс?

– Никакому точному определению, господин прокурор, – Маркс протянул в сторону Бёллинга раскрытый кодекс, – не поддаются посягательства на деликатность и честь. Что такое

честь? Что такое деликатность? Что такое посягательство на них? Это целиком зависит от индивида, с которым я имею дело, от степени его образованности, от его предрассудков, от его самомнения. Одно понимание чести было, например, у Александра Македонского или Аристотеля и совсем другое…

Дункель вжался в кресло, ожидая, что Маркс опять назовет его имя. Но тот все-таки нашел его взглядом и беспощадно закончил:

– …И совсем другое – у генерала Врангеля или у присутствующего здесь господина Дункеля.

Публика захохотала. Слабая улыбка возникла даже на лице той мумии среди присяжных, на которую обращал внимание Энгельс.

– Господин председатель! – стараясь перекрыть шум, негодующе воскликнул Бёллинг. – В своей газете подсудимый Маркс уже неоднократно поносил славное имя старого генерала Фридриха Врангеля. Он продолжает это и здесь. Из совершенно очевидных соображений личной мести за что-то он опять глумится и над господином Дункелем, человеком, который по возрасту годится ему в отцы. Это недопустимо!

– Господин прокурор, – едва Маркс открывал рот, как тотчас воцарялась тишина, – у меня нет никаких личных счетов ни с господином Дункелем, ни с генералом Врангелем. Просто у каждой революции есть свой Врангель и есть свой Дункель. Только в этом всемирно-историческом аспекте меня и интересуют названные фигуры.

– Что значит «свой Дункель»? – осторожно спросил Кремер.

– Разъяснение этого вопроса, господин председатель, увело бы нас слишком далеко. – Маркс понимал, что возиться сейчас с личностью бывшего акционера, представлять его фигурой, типичной для революции в Германии, – фигурой буржуа-предателя, хотя это действительно так, было бы неуместно. – Позвольте ограничиться разъяснением того, что такое «свой Врангель». В любой революции Врангель – это человек, который мечтает въехать на белом коне в столицу, залитую кровью восставшего народа. В прошлом году, в июне, такую мечту осуществил французский Врангель – Луи Эжен Кавеньяк, в ноябре ее удалось осуществить и нашему Врангелю, Фридриху. Будут новые революции – будут новые Врангели. Но рано или поздно великая революция будущего пресечет их древний род.

– Благодарю за разъяснение, – тоном, который можно было одновременно посчитать и серьезным, и ироническим, сказал Кремер. – Вернемся к существу дела.

– Вернемся, – охотно согласился подсудимый. – Как я уже

сказал, господа присяжные заседатели, статья 222 в данном случае неприменима. Прокурор настаивает, чтобы вы при вынесении вердикта руководствовались не только этой статьей кодекса Наполеона, но и прусским законом от пятого июля тысяча восемьсот девятнадцатого года. Но этот закон имел своей целью дополнить, а вовсе не отменить статью 222. Он распространяет кары статьи 222 за оскорбления в письменной или печатной форме. Естественно, он может это сделать лишь в том случае, лишь при наличии тех условий, той обстановки, при которых статья 222 карает оскорбление словесное, устное…

Без труда можно было заметить, что все больше людей в этом зале вольно или невольно восхищались неотразимой логикой рассуждений Маркса, его спокойствием, иронией. Но сильнее всех была захвачена сидящая в третьем ряду, перед Дункелем, дама в вуали, чутко отзывавшаяся на каждый логический или эмоциональный поворот речи.

– Статья 222 предусматривает наказание за устное оскорбление чиновника лишь в том случае, если такое оскорбление наносится, во-первых, в личном присутствии чиновника, во-вторых, во время исполнения им своих служебных обязанностей. – Маркс выставил вперед правую руку и загнул на ней сперва один, потом второй палец. – Следовательно, кара за письменное или печатное оскорбление возможна при наличии тех же условий. Поэтому ни статья 222, ни закон 1819 года не могут ни под каким видом быть применимы к газетной статье, пусть даже и «наносящей оскорбление», но через продолжительное время после исполнения чиновником своих служебных обязанностей и в его отсутствие. А ведь именно так обстоит дело в данном случае: когда инкриминируемая статья была опубликована, господин Цвейфель исполнял обязанности не обер-прокурора, а депутата Национального собрания и находился в это время не в Кёльне, а в Берлине. Он не мог подвергнуться оскорблению или поношению как обер-прокурор, находящийся при исполнении своих обязанностей.

– Казуистика! – выпалил Бёллинг. – Я глубоко убежден в этом!

– Убежденность, господин прокурор, – холодно отрезал Маркс, – прекрасная вещь лишь при одном непременном условии: если она не заменяет способности рассуждать.

Зал одобрительно загудел.

– Господа! Прошу соблюдать порядок! – опять возгласил председатель.

В это время один из присяжных, назвавшийся Отто Хюбнером, купцом, спросил разрешения задать подсудимому

вопрос. В виде исключения – допрос подсудимых давно закончился – председатель разрешил.

– Господин Маркс! – с искренним недоумением начал Хюбнер. – При том толковании, какое вы даете статье 222, получается, что нельзя безнаказанно оскорбить, например, не только председателя суда или прокурора, но и любого, самого незначительного судебного чиновника, присутствующего здесь, и в то же время есть полная возможность совершенно безнаказанно оскорблять короля, ибо он не здесь, а в Берлине. Это же поразительная нелепость!

Дункель выпрямился и вылез из-за спины красивой соседки, решив, что наконец-то – и так неожиданно! – подсудимого поймали в ловушку.

– Я искренне сожалею, – оратор чуть заметно подался в сторону присяжных, – что, перед тем как идти на сегодняшнее судебное разбирательство, не все господа заседатели полистали кодекс Наполеона. Кодекс Наполеона, конечно, является кодексом деспотической власти. Но, хотя это и будет, возможно, оспаривать господин Дункель (бывший акционер сделал было движение, чтобы встать, уйти, но тотчас сообразил, что едва ли сможет пробиться через переполненный да еще смеющийся над ним зал), деспотизм деспотизму рознь. Прусский деспотизм противопоставляет мне чиновника как некое высшее, священное существо. – Маркс иронически воздел над головой руки. – Свойство чиновника срастается с ним, как благодать священства с католическим священником. Прусский чиновник всегда является для прусского мирянина, то есть нечиновника, священнослужителем. Оскорбление такого священнослужителя, даже и не при исполнении им своих обязанностей, даже отсутствующего, вернувшегося к частной жизни, остается все же осквернением религии, кощунством. Чем выше чиновник, тем более тяжко осквернение религии. Поэтому величайшим оскорблением государственного священнослужителя есть оскорбление короля, оскорбление величества.

– А вам такой взгляд, конечно, очень не нравится! – снова не стерпел бывший акционер.

– Ах, Дункель, Дункель, – покачал головой Маркс, – вы действительно темный[3]. Мало ли кому что не нравится или нравится! Может быть, вам нравится моя жена, а мне – ваша…

Напряженная тишина взорвалась хохотом: с одной стороны, многие в Кёльне знали красавицу Женни Маркс, а с другой – нетрудно было представить себе, какая жена у этого старого хрыча. Дама в вуали смеялась вместе со всеми.

– Однако, – улыбнувшись, продолжал Маркс, – из этого зала

вы направитесь по окончании суда к своей супруге, а меня ждет моя. Так что дело совсем не в том, кому что нравится. Нравится нам или нет, но в Рейнской Пруссии вот уже четвертое десятилетие действует кодекс Наполеона. Да, этот кодекс тоже деспотический. Но его утонченный деспотизм, вышедший из недр французской революции, как небо от земли, отличается от патриархально-мелочного деспотизма прусского права. Наполеоновский деспотизм сокрушает меня, раз я действительно мешаю государственной власти, хотя бы только путем оскорбления чиновника, который, исполняя свои служебные обязанности, осуществляет по отношению ко мне государственную власть. Но вне исполнения этих служебных обязанностей чиновник становится обыкновенным членом гражданского общества без каких бы то ни было исключительных средств защиты, без каких бы то ни было привилегий.

Поскольку король, – Маркс указал рукой на окно, – никогда не поступает по отношению ко мне лично, не исполняет сам обязанности чиновника, а всегда поручает исполнение их своим представителям, – он кивнул в сторону прокурора, – то с точки зрения наполеоновского кодекса оскорбление короля просто невозможно, и поэтому, господин Хюбнер, этот кодекс – в отличие от прусского права – действительно не предусматривает кары за оскорбление короля. Это выглядит нелепостью лишь на первый взгляд. На самом же деле здесь та утонченность, о которой я упоминал.

Я надеюсь, – опять чуть заметное движение в сторону присяжных, – что, отвечая господину Хюбнеру, я не сообщил ничего нового остальным членам суда, как и господину прокурору.

Бёллинг сделал вид, что не заметил едкости последних слов.

– Господин председатель! – на этот раз почему-то довольно тихо и смирно сказал он. – Прошу дать мне слово для краткой справки.

– Только с согласия защиты и самого подсудимого, – ответил Кремер. – Мы и так превратили последнее слово подсудимого в прения сторон.

– Я не возражаю, – с готовностью сказал Маркс.

Адвокаты заколебались, видимо полагая, что подзащитный поспешил, сделав красивый, но необдуманный и опасный шаг. Они решили посоветоваться с Энгельсом.

– Карл знает, что делает, – сказал тот.

– Мы тоже не возражаем, – все-таки с некоторым сомнением в голосе проговорил Шнейдер.

– Я лишь хочу обратить внимание присяжных заседателей, –

тоном злорадного предвкушения эффекта сказал Бёллинг, – что подсудимый Маркс широко пользовался и пользуется отсутствием в кодексе Наполеона статьи, предусматривающей кару за оскорбление короля. Например, пятого ноября минувшего года в «Новой Рейнской газете» можно было прочитать: «Почва колеблется под ногами коронованного идиота…»

Смех и шум перекрыли вдруг обретший мощь голос председателя:

– Господин Бёллинг, я дал вам слово не для того, чтобы вы воспроизводили здесь выражения подобного рода.

– Позвольте заметить, – поднял руку Маркс, – что данное выражение действительно имело место в газете, но оно относится не к королю Пруссии, а к австрийскому императору.

– Ах так! – облегченно вздохнул председатель.

– Я знал, что вы это скажете, господин редактор, – усмехнулся прокурор, хотя в душе он надеялся, что его подтасовка останется незамеченной. – Но эта цитата характеризует ваше общее отношение к законной монархической власти.

– Да, господин прокурор, – невозмутимо глядя в глаза Бёллингу, ответил Маркс, – я не принадлежу к числу адептов такой власти.

Проделка прокурора, как видно, мало кому понравилась, в зале зашумели, но он продолжал:

– Господа присяжные заседатели! Я приведу еще лишь одну маленькую цитату из «Новой Рейнской газеты». Да, там шла речь об австрийском императоре. Но послушайте, о ком говорится здесь: «Король Пруссии» существует для нас лишь в силу решения берлинского Национального собрания, а так как для нашего нижнерейнского «великого герцога» никакого берлинского Национального собрания не существует, то и для нас не существует никакого «короля Пруссии».

– Вы правы, господин прокурор, – все так же глядя ему в глаза, согласился Маркс, – и это было на страницах нашей газеты. Но и здесь, как и в первом случае, мы не нарушили законности, оставаясь в рамках кодекса Наполеона.

– Вас послушаешь, так вы самый большой законник во всей Пруссии! – сквозь зубы процедил Бёллинг, раздосадованно садясь.

– Господа присяжные заседатели! – Подсудимый оставил без внимания реплику прокурора. – Итак, я старался доказать вам, что к нашему делу неприменима статья 222 об оскорблении, взятая и сама по себе и в совокупности с законом 1819 года. Но здесь неприменима и статья 367 о клевете.

– Ну и законник! – опять не сдержался прокурор.

– Дело в том, что эта статья, – продолжал Маркс, – предполагает клеветническое обвинение в совершении определенных действий, которые, если бы они действительно имели место, повлекли бы для виновного в них преследование со стороны уголовной полиции или, по крайней мере, возбудили бы презрение или ненависть граждан к этому лицу.

– А разве в данном случае дело обстоит не так? – кажется, вполне искренне изумился прокурор.

– Совсем не так, – ответил Маркс. – Ведь господин Цвейфель не обвиняется газетой в том, что он отменил свободу печати, уничтожил завоевания революции. Ему ставится в вину лишь простое заявление. Но заявление о намерении сделать то-то и то-то не может послужить поводом для преследования полиции. Нельзя даже утверждать, что оно непременно навлечет ненависть и презрение граждан.

– Ну, это уж более чем сомнительно, – вставил один из присяжных.

– Конечно, – Маркс понимающе кивнул, – словесное заявление может быть выражением очень низкого, вполне заслуживающего презрения и ненависти образа мыслей. Но разве в состоянии возбуждения, господин присяжный заседатель, я не могу сделать заявления, угрожающего поступками, на которые я вовсе не способен? Только поступки доказывают, насколько серьезно было заявление.

– У этого доктора, даром что молод, есть чему поучиться, – вполголоса сказал кто-то сзади Дункеля.

– Кроме того, газета писала: «Говорят, – Маркс произнес последнее слово врастяжку, – будто господин обер-прокурор Цвейфель заявил…» Чтобы оклеветать кого-нибудь, я сам не должен ставить под вопрос свое утверждение, как это выражено здесь словом «говорят», я должен выражаться категорически.

Энгельс вспомнил, что это слово Карл вставил в текст уже перед самой сдачей статьи в набор. Первоначально там было написано «как нам известно». Энгельс тогда задумался над этой поправкой, и она показалась ему ненужной, излишней. А оказывается, вон как далеко смотрел шеф-редактор…

– Наконец, господа присяжные заседатели, граждане, ненависть или презрение которых навлекло бы на меня обвинение в каком-либо действии, что по статье 367 требуется для состава клеветы, эти граждане в политических делах вообще больше не существуют.

– Потому что доктор Маркс их отменил! – съязвил Бёллинг.

– Потому что в этих делах, господин прокурор, – Маркс резко обернулся к Бёллингу, – существуют только приверженцы партий.

И вы это прекрасно знаете. То, что навлекает на меня ненависть и презрение среди членов одной партии, вызывает любовь и уважение со стороны членов другой партии.

– Но существуют же общечеловеческие критерии, общепризнанные оценки, – то ли возразил, то ли спросил Кремер.

– Такие критерии и оценки, – в голосе Маркса проскользнула удивившая многих горечь, – станут возможны лишь в далеком будущем, но они немыслимы сейчас, в пору ожесточенной классовой борьбы. Чтобы далеко не ходить за примерами, обратимся к фигуре того же Цвейфеля.

– Господин председатель! – вскочил Бёллинг. – Я протестую! Я уверен, что подсудимый хочет нанести новые оскорбления господину обер-прокурору.

Председатель поколебался, его голова повернулась чуть-чуть вправо, потом чуть-чуть влево. Наконец он сказал:

– Подсудимый, вы не могли бы обратиться к другому примеру?

– Нет, господин председатель, не могу. Этот пример принципиально важен для дела нашей защиты.

Кремер опять покачал головой и произнес:

– Протест прокурора отклоняется. Подсудимый, можете продолжать.

– Благодарю. – Маркс с достоинством кивнул Кремеру. – Здесь много говорилось о том, что наша газета часто и резко писала о господине Цвейфеле как о противнике революции. Но стоило Цвейфелю минувшей осенью сделать два-три вольных или, вернее, двусмысленных жеста, как правительственная «Новая Прусская газета» тоже обрушилась на него. Она писала о его – цитирую – «невыразимом умственном убожестве и недомыслии»…

– Господин председатель! – опять вскочил Бёллинг. – Ведь я предупреждал!..

Кремер развел руками: что, мол, поделаешь? Все идет по закону. А Маркс вел слушателей дальше:

– Она называла его «революционным брюхом» и даже сравнивала с Робеспьером.

Зал, как один человек, прыснул. Бёллинг ерзал на своем стуле, словно его поджаривали. Кремер склонил голову над бумагами. Энгельс и Корф ликовали. Дама в вуали дружески помахала подсудимому перчаткой. Дункель не смотрел ни на оратора, ни на даму, он находился в полуобморочном состоянии.

– В глазах этой газеты, в глазах ее партии, – подсудимый указал рукой за пределы зала, – наша статья не навлекла на господина Цвейфеля ненависти и презрения, а, наоборот, освободила его от тяготевшей над ним их ненависти, от

тяготевшего над ним их презрения. На это обстоятельство следует обратить особое внимание не только в связи с данным процессом, но и во всех тех случаях, когда прокуратура попыталась бы применить статью 367 к политической полемике.

– Кажется, от конкретных фактов данного дела подсудимый намерен перейти к общеполитической агитации, – мрачно констатировал Бёллинг.

Председатель промолчал, а Маркс, обернувшись к автору реплики, ответил:

– Да, господин прокурор, я не скрываю, что вся моя речь будет прямой агитацией – агитацией за социальную справедливость, за свободу революционно-демократической печати. – И снова, обращаясь к присяжным: – Статья 367, как ее толкует прокуратура, позволяет печати разоблачение лишь тогда, когда оно опирается на официальные документы или на состоявшиеся уже судебные приговоры. Ей разрешается, к примеру, разоблачать чиновника лишь после того, как тот отстранен от своей должности или осужден. Но зачем же печати разоблачать post festum[4], уже после вынесения приговора? Она по своему призванию – общественный страж, неутомимый разоблачитель власть имущих, вездесущее око, стоустый глас ревниво охраняющего свою свободу народного духа.

Раздались хлопки. Дункель подумал: «Ну и времена! В суде, при всем честном народе человек болтает черт знает что, и его никто не остановит, не прервет, не лишит слова! Даже хлопают еще… И эта дама, такой благородной внешности, – тоже!»

– Статья 367 заканчивается так. – Маркс раскрыл кодекс и прочитал: – «Настоящее постановление неприменимо к действиям… разоблачение или пресечение которых было обязанностью лица, возбудившего обвинение, в силу его служебных функций или его долга». Долга, господа! – Маркс энергично захлопнул кодекс. – Достаточно бросить хотя бы беглый взгляд на инкриминируемую статью, чтобы убедиться, что наша газета, нападая на местную прокуратуру и жандармов, была весьма далека от какого-то ни было намерения нанести оскорбление или возвести клевету, она лишь исполняла свой долг разоблачения. – Он помолчал несколько мгновений, усмехнулся, пожал плечами. – Конечно, законодатель не имел в виду свободную печать, когда говорил в статье 367 о долге разоблачения. Но, согласитесь, не мог он думать и о том, что эта статья будет когда-нибудь применяться против свободной печати.

– Вот именно! – растерянно промолвил один из присяжных. – Как же быть в случае такой неопределенности?

– Как быть? – живо подхватил Маркс. – Всем известно, что

при Наполеоне не существовало никакой свободы печати. Поэтому, уж если вы хотите применять наполеоновский закон к такой ступени политического и социального развития, для которой он вовсе не предназначался, то применяйте его полностью, толкуйте в духе нового времени – и пусть на благо печати пойдет и заключительная фраза статьи о долге. В рассматриваемом случае, – Маркс кивнул головой в сторону Энгельса и Корфа, – задача облегчается вам самой буквой закона. Но даже и там, где буква закона вступает в явное противоречие с только что достигнутой ступенью общественного развития, именно вы, господа присяжные, обязаны сказать свое веское слово в борьбе между отжившими предписаниями закона и живыми требованиями общества.

Бледный, разъяренный, не владеющий собой Бёллинг стремительно поднялся и громыхнул на весь зал латынью:

– Dura lex, sed lex![5]

В тон прокурору со своего места тотчас, как насмешливое эхо, отозвался Энгельс:

– Pereat mundus et fiat justitia![6]

– Господа! – едва сдерживая улыбку, сказал Кремер. – Мы не в римском сенате. Прошу изъясняться по-немецки.

– Истинная свобода может существовать только на почве закона! – столь же возбужденно процитировал прокурор фразу из недавнего предписания нового министра юстиции Ринтелена.

Подсудимый с грустной безнадежностью посмотрел на прокурора и закончил, обращаясь к присяжным:

– Ваш долг, господа, опередить законодательство, если оно не осознает необходимость удовлетворить потребности общества. Это самая благородная привилегия суда присяжных.

Но Бёллинг продолжал бесноваться:

– Вы призываете к беззаконию, а закон – основа общества!..

– Это – фантазия юристов, – покрутил рукой возле лба Маркс. – Наоборот, закон должен основываться на обществе, он должен быть выражением его общих интересов и потребностей в противоположность произволу отдельного индивидуума.

– Никто и никогда не говорил ничего подобного! – В голосе прокурора смешались негодование и страх.

– Что ж, – вызывающе тряхнул Маркс своей буйной гривой, – наконец настала пора сказать!.. Вы хотите, чтобы люди слепо верили вам и вашим одряхлевшим кумирам. Но, господин прокурор, мир сейчас еще менее доверчив, чем во времена Фомы… Вот этот кодекс Наполеона, который я держу в руке, не создал современного буржуазного общества. Напротив, буржуазное общество, возникшее в восемнадцатом веке и

продолжавшее развиваться в девятнадцатом, находит в этом кодексе только свое юридическое выражение. Когда он перестанет соответствовать общественным отношениям, он превратится просто в пачку бумаги.

– Не более того? – усмехнулся Бёллинг.

– Не более того, – очень серьезно ответил Маркс. – Стремление сохранить старые законы наперекор новым потребностям общественного развития есть, в сущности, не что иное, как прикрытое благочестивыми фразами отстаивание не соответствующих времени частных интересов против назревших общих интересов. Это сохранение почвы законности имеет целью сделать такие частные интересы господствующими; оно ведет к злоупотреблению государственной властью.

На скамьях присяжных произошло противоречивое движение, оттуда послышался сдержанный говор. Чувствовалось, что одним слова подсудимого понравились, других привели в недоумение, у третьих вызвали несогласие.

– Господа! – отпив глоток воды из стоявшего перед ним стакана и словно освежив свой голос, воскликнул Маркс. – Но ведь суть статьи «Аресты» не в разоблачении Цвейфеля и жандармов. Что касается лично меня, то, заверяю вас, я охотнее занимаюсь великими всемирно-историческими событиями, я предпочитаю анализировать ход истории, а не возиться с местными кумирами, с жандармами и прокуратурой. Какими бы великими ни мнили себя эти господа, в гигантских битвах современности они ничто, абсолютное ничто.

– Как же вы позволили себе унизиться до борьбы с ними? – снова подал голос Бёллинг. – Как могли пойти на такую жертву?

– Да, я считаю настоящей жертвой с нашей стороны, что мы решаемся ломать копья с подобными противниками. – Маркс поморщился при последних словах. – Но, господин прокурор, таков уж долг печати – вступаться за угнетенных в непосредственно окружающей ее среде. Недостаточно вести борьбу вообще с существующими отношениями и с высшими властями. Печати приходится выступать против данного жандарма, данного прокурора, данного органа власти.

– Господин Маркс! – обеспокоенный развитием мысли подсудимого, прервал его Кремер. – Вы опять отклонились от предмета нашего разбирательства. Вернемся к тому, в чем состоит суть инкриминирумой статьи.

– Да, господин председатель, – Маркс понял опасения Кремера, но он знал, что слова, которые сейчас скажет, еще больше встревожат судью, – я говорил о сути статьи. Вся суть этой статьи заключается в критике правительства Ганземана, которое

ознаменовало свой приход к власти странным заявлением, что, чем многочисленнее полиция, тем свободнее государство; в предсказании контрреволюции, которая действительно потом последовала. В инкриминируемой статье мы разоблачали всего-навсего лишь одно, выхваченное из окружающей нас среды, очевидное проявление систематической контрреволюционной деятельности правительства Ганземана. Аресты в Кёльне не были изолированным явлением. Аресты производились тогда и производятся сейчас по всей Пруссии, по всей Германии.

– Господин председатель! – едва владея своим голосом, готовым вот-вот сорваться на крик, сказал Бёллинг. – Прошу вас освободить меня от дальнейшего присутствия. Как я вижу, судебное разбирательство уже окончилось и начался политический митинг.

– Нет, господин прокурор, – мягко, но внятно произнес Кремер, – ваше присутствие обязательно до конца.

– В таком случае напомните доктору Марксу, что здесь зал судебных заседаний, а не зал Эйзера, не ресторан Штольверка, где так любят встречаться его единомышленники; что он – подсудимый, а не оратор на политическом митинге.

Председатель, видя, что Маркс заканчивает, в нерешительности замялся.

– Да, аресты производились в Бадене, Вюртемберге, Баварии, всюду! – Маркс широко махнул правой рукой. – И мы должны были молчать при таком явном предательском заговоре всех немецких правительств против народа?

Стояла полнейшая тишина. Как тяжелые камни падали последние слова речи:

– В чем причина крушения мартовской революции? Она преобразовала только политическую верхушку, оставив нетронутыми все ее основы – старую бюрократию, старую армию, старую прокуратуру, старых, родившихся, выросших и поседевших на службе абсолютизма судей. – Маркс перевел дыхание, обвел зорким взглядом пронзительных карих глаз весь зал и закончил: – Первая обязанность печати состоит теперь в том, чтобы подорвать все основы существующего политического строя.

Зал захлестнули аплодисменты. Бёллинг вскочил и стал что-то кричать, но его никто не слушал. Кремер закрыл лицо какой-то бумагой, делая вид, будто читает ее. Энгельс и Корф что есть силы колотили в ладоши. Дама в вуали тоже аплодировала и смотрела на Маркса с гордостью. Дункель был похож на труп, который какой-то злой шутник усадил в один ряд с живыми.

Так продолжалось минуту, три, пять… Наконец Кремер встал

и потребовал тишины. Она установилась не сразу, а лишь после того, как было сказано:

– Слово предоставляется подсудимому Фридриху Энгельсу, соредактору «Новой Рейнской газеты».

Энгельс поднялся со скамьи и предстал перед залом во весь свой гвардейский рост.

– Господа присяжные заседатели! Предыдущий оратор остановил свое внимание главным образом на обвинении по статье 222 в оскорблении обер-прокурора господина Цвейфеля; позвольте теперь обратить ваше внимание на обвинение по статье 367 в клевете на жандармов. – Энгельс говорил быстро, стремительно, но иногда слегка заикался. Господа! Прокуратура дала вам свое толкование предписаний закона и на этом основании потребовала для нас обвинительного вердикта. Ваше внимание уже обратили на то, что законы эти были изданы в те времена, когда существовали совершенно иные политические отношения, чем теперь, и печать не обладала никакой свободой. Ввиду этого мой защитник и подсудимый Маркс высказали тот взгляд, что вы не должны считать себя связанными этими устаревшими законами. Привилегия суда присяжных в том и состоит, что присяжные могут толковать законы независимо от традиционной судебной практики, толковать их так, как им подсказывает их здравый смысл и их совесть.

«Черта с два я верю в вашу совесть!» – подумал Энгельс, но, вспомнив слова Маркса о том, что «Новая Рейнская газета» одна из последних крепостей революции и ее надо во что бы то ни стало удержать за собой, добродушно улыбнулся присяжным.

Затем он перешел к показаниям свидетелей и с их помощью подтвердил правильность всех фактов, изложенных в инкриминируемой статье. Его анализ показаний был настолько точным и убедительным, что Бёллинг не мог ни к чему придраться.

– Что касается упрека статьи в адрес одного из жандармов, будто он был пьян, – Энгельс опять добродушно улыбнулся, – то разве это беда для прусского королевского жандарма, если о нем говорят, что он немного хватил через край? Относительно того, можно ли рассматривать это как клевету, я готов апеллировать к общественному мнению всей Рейнской провинции.

– Да он шутник! – вполголоса проговорил немного пришедший в себя Дункель. После коренастого, смуглого, беспощадного Маркса этот на вид совсем юный, гибкий, улыбающийся блондин не внушал ему никакого страха.

– И как может прокуратура говорить о клевете, когда якобы оклеветанные даже не названы, не указаны точно? В статье речь

идет о семи жандармах. Кто они? Где они? – Как бы ища их, Энгельс обвел взором весь зал и вдруг встретился глазами с бывшим акционером. Лицо его тотчас потеряло юношескую мягкость, стало жестким и злым, а взгляд – холодным, безжалостным. И Дункель сразу понял, что от этого юнца можно ждать таких же, если не бóльших, неприятностей, как и от «предыдущего оратора». Он снова сник, сжался, спрятался за спину дамы в вуали.

– Стало ли вам, господа, известно, – нехотя оторвавшись взглядом от Дункеля, продолжал Энгельс, – что какой-нибудь определенный жандарм навлек на себя из-за нашей статьи ненависть и презрение граждан? Оскорбленной может считать себя, в крайнем случае, вся прусская жандармерия в целом.

– Но ведь это еще более тяжкое преступление – оскорбить всю жандармерию! – наконец бросил свой первый камень в подсудимого Бёллинг.

– Вы лично можете это квалифицировать как угодно, – тотчас парировал Энгельс, – но я требую от прокуратуры указать мне на то место в законе, согласно которому считаются наказуемыми оскорбление, поношение, клевета на жандармский корпус в целом. Такого места в законе господину прокурору, увы, не найти.

Бёллинг, конечно, тотчас вспомнил, что такой статьи в кодексе нет, и в душе ругал себя за новую оплошность, за проклятую поспешность и горячность, но было уже поздно. По тому, как независимо и достойно Энгельс держался, по тому, как смело и убедительно говорил, наконец, по первой схватке с прокурором, которую он так легко выиграл, все в зале увидели, что это достойный товарищ Маркса, и сочувствие к нему стало расти с каждой минутой.

– Прокуратура вообще усмотрела в статье «Аресты» лишь доказательство нашей безудержной страсти к клевете. Статья эта, господа, была вам прочитана. Нашли ли вы, что мы ограничились в ней нападками на жандармов и прокуратуру в Кёльне, а не постарались вскрыть самую суть дела, проанализировать его истоки вплоть до правительства в Берлине? Но, конечно, – Энгельс горько улыбнулся и развел руками, – не так опасно нападать на большое правительство в Берлине, как на маленькую прокуратуру в Кёльне, и в доказательство этого мы стоим сегодня здесь перед вами.

С цитатами и фактами в руках Энгельс показал, что в статье «Аресты» верно предсказывался ход событий, что она своевременно предупреждала о предательстве буржуазии и наступлении контрреволюции.

– И после этого осмеливаются говорить о слепом пристрастии к клевете! – возмущенно воскликнул он. – Не похоже ли в действительности все дело на то, что мы, господа, предстали сегодня перед вами, чтобы понести ответственность за преступление, состоящее в том, что мы правильно указали на правильные факты и извлекли из них правильные выводы?

Это было не только «похоже», это на самом деле было так. Сидящие в зале – и публика, и присяжные, и председатель, и прокурор, и даже Дункель – одни с возмущением, другие со страхом, третьи с досадой все отчетливее видели, что дело обстоит именно так, что этого не скрыть.

– Резюмирую: вам, господа присяжные заседатели, предстоит решить вопрос о свободе печати в нашей провинции. – Энгельс вынул из кармана экземпляр «Новой Рейнской» и поднял его над головой. – Если печати запрещается писать о том, что происходит на ее глазах, если при каждом щекотливом случае она должна ждать, пока будет вынесен судебный приговор, если она обязана предварительно справляться у каждого чиновника, начиная с министра и кончая жандармом, не задеваются ли ее выступлением их честь или деликатность, если печать будет поставлена перед альтернативой – либо искажать события, либо совершенно замалчивать их, тогда, господа, свободе печати приходит конец; и если вы желаете этого, – в напряженной тишине зала Энгельс свернул газету и стукнул ею по ладони, – тогда выносите нам обвинительный вердикт!

Не раздалось ни возгласа, ни хлопка. Видно было, что речь Энгельса произвела не меньшее впечатление, чем речь Маркса, хотя и не содержала такого подробного юридического анализа, в ней реже встречались философские и политические обобщения.

Присутствующие в зале вдруг отчетливо почувствовали приближение драматической развязки.

– Подсудимый Корф! – нарушил наконец тишину Кремер. – Слово предоставляется вам. Что вы хотите сказать суду в свою защиту?

Корф понимал, что он может лишь ослабить силу воздействия на суд речей своих товарищей. Поэтому, посоветовавшись с Хагеном, он ответил:

– Господин председатель! Все, что я хотел сказать, уже изложили здесь два моих соответчика. Поэтому я отказываюсь от последнего слова. Если возникнет необходимость, еще раз выступит мой адвокат.

У прокурора цель была прямо противоположная: ему надо любой ценой сгладить впечатление от речей подсудимых. Поэтому он повторно потребовал слова и говорил долго, скучно и

путано.

После Бёллинга выступил адвокат Хаген. Он обратил внимание присяжных заседателей на неуважение к ним, которое выразилось в том, что ни один жандарм не вызван в суд в качестве свидетеля, чтобы быть допрошенным в их присутствии.

– Вы, конечно, мечтаете и даже уверены, – насмешливо перебил прокурор, – что при этом жандармы невольно уличили бы друг друга во лжи.

Хаген, сосредоточенный на своей мысли, не нашелся сразу что ответить. Его выручил Маркс.

– Как можно об этом не мечтать, господин прокурор! – сказал он. – Ведь если хотя бы два королевских жандарма стали уличать друг друга во лжи, то это лишь означало бы, что на сей раз они оба служат истине.

Прокурор нервически дернулся в своем кресле, а Хаген, легким кивком поблагодарив подзащитного за помощь, закончил, обращаясь к присяжным:

– Я снова напоминаю вам о вашей задаче судить только согласно внутреннему убеждению, за которое вы отвечаете перед богом и вашей совестью.

Речь Кремера, который резюмировал весь ход судебного разбирательства, была построена умело: в ней преобладал тон такого демонстративного профессионального беспристрастия, что действительно никто не мог понять, на стороне обвинения или на стороне защиты стоит председатель суда.

– Господа присяжные заседатели! Ввиду чрезвычайной важности сегодняшнего процесса разрешите напомнить вам, что, когда вас приводили к присяге, – Кремер многозначительно помолчал, переводя взгляд с одного присяжного на другого, – вы клялись перед святым Евангелием и животворящим крестом господним приложить всю силу своего разумения к тщательному анализу как фактов, уличающих подсудимого, так и обстоятельств, его оправдывающих; вы клялись подать свой голос согласно с виденным и услышанным здесь, по сущей правде и убеждению своей совести.

Кремер сделал еще более длительную, еще более многозначительную паузу, дабы присяжные и все присутствующие почувствовали и осознали высокую торжественность произнесенных им слов, всю ответственность, которую они налагают, и закончил вполне деловито:

– А теперь, господа присяжные заседатели, прошу вас получить вопросные листы и пройти в совещательную комнату для вынесения вердикта. Напоминаю, что ваше решение будет иметь силу лишь в том случае, если вы его примете

большинством в две трети, то есть восемью голосами.

Присяжные встали, подошли к секретарю суда, который вручил им вопросные листы, и удалились.

•

Дункель достал из кармана большие золотые часы. Они показывали половину второго пополудни. Значит, суд продолжается уже четыре с половиной часа. Осознав этот факт, бывший акционер «Новой Рейнской газеты» вдруг почувствовал голод. Но нет, он не уйдет отсюда, не узнав приговора суда. Чтобы заглушить голод, скоротать время и помочь торжеству справедливости, Дункель незаметно перекрестился и стал про себя молиться: «Господь всемогущий! Ниспошли свою благодать на присяжных. Просвети их умы, укрепи души! Не допусти, о господи, чтобы злодеи эти, особенно же нечестивый Маркс и нечестивый Энгельс, ушли отсюда беспрепятственно. Не допусти поругания справедливости и веры во благо. Не допусти!..»

Дама в вуали сидела неподвижно. Напряженный, яркий блеск ее глаз порой улавливался даже сквозь частую темную вуаль.

Прокурор Бёллинг был мрачен. В его ушах звучали грозные слова из недавнего предписания министра юстиции Ринтелена: «Я обращаюсь теперь, когда правительство его величества короля Пруссии сделало решительный шаг для спасения отечества, находящегося на краю гибели, к судебным властям и господам прокурорам всей страны, чтобы призвать их повсюду выполнить свой долг, невзирая на лица. Кто бы ни был виновный, он не должен уйти от немедленно приводимой в исполнение законной кары». Бёллинг спрашивал себя: «Выполнил ли я свой долг на сегодняшнем процессе?» И отвечал: «Да, выполнил». Но вся картина судебного разбирательства, прошедшая перед ним, рождала в его душе тревожную неуверенность. У всех ли присяжных такое же высокое и ясное понимание своего долга? Не поднялась ли в их сердцах смута после речей этих златоустов? Не поколебало ли их стойкость явное сочувствие публики к подсудимым?

А те тихо переговаривались.

– Итак, самое большое, что нам грозит, это два года тюрьмы, – как-то очень легко и беззаботно сказал Корф.

Маркса удивил его тон:

– Разве это мало?

Энгельс понимал, что тяжелее всех и драматичнее всех положение Карла. Если его не упекут в тюрьму сегодня, то это

могут сделать завтра, на новом процессе. А ведь у него не только надежды и планы на будущее, как у каждого из них, у пего еще и трое малых детей, младшему всего два года…

– Кроме того, – невесело сказал Маркс, – если нас осудят, то, бесспорно, запретят и газету. В лучшем случае прокурор, как и грозился, в залог будущего благонравного поведения газеты потребует четыре тысячи талеров. А где их взять?

Действительно, денег ни у кого не было. Карл уже вложил в газету семь тысяч талеров – почти всю свою недавно полученную долю отцовского наследства, – и больше ничего не оставалось.

– Но ты по-прежнему считаешь, что есть шансы на чудо? – спросил Энгельс.

– Видишь ли, – Маркс пожал плечами, – в моральном смысле процесс нами выигран с огромным преимуществом. За моральной победой по логике вещей должна бы последовать победа юридическая. И в этом смысле моя вера еще более окрепла. Но, как ты мне недавно напомнил, Наполеон больше всего опасался воевать против глупых генералов, ибо действия и маневры глупца невозможно предвидеть. Невозможно с полной уверенностью предвидеть и действия присяжных – людей с цензовой совестью.

Корф, которого, конечно, тоже отнюдь не восхищала перспектива оказаться за решеткой, воскликнул:

– Черт возьми! Но ведь оправдали же присяжные здесь, в Кёльне, Лассаля, потом в Дюссельдорфе – Фрейлиграта и вот совсем недавно, опять здесь, – Готшалька и Аннеке!

– Лассаля судили в августе, Фрейлиграта – в октябре, Готшалька и Аннеке – в декабре 1848 года, – уточнил Энгельс, – а сегодня седьмое февраля 1849 года.

– Вот именно, – сказал Маркс. – И сегодня власти в Берлине и Кёльне, то есть те, кто усадил нас на скамью подсудимых, изображают себя спасителями отечества. А ведь нет ничего опаснее, чем обмануть надежды чиновников на получение медали за спасение отечества. Вероятно, присяжные тоже понимают это.

Вдруг неожиданно для всех открылась дверь и на пороге показались присяжные заседатели. Зал оцепенел. Слышалось только шарканье ног присяжных. Дама в вуали вся подалась вперед. Дункель снова достал часы и взглянул на них: прошло всего минут двадцать, как присяжные удалились. Неужели за это время все решили? Страх и надежда несколько мгновений отчаянно боролись в сердце бывшего акционера, но он скоро сказал себе: «А что же тут, собственно, рассусоливать? Ведь все ясно как божий день – перед нами преступники, враги короля и отечества».

Присяжные с непроницаемыми лицами прошли на свои места

и сели. Старшина жюри подошел к председателю суда и положил перед ним большой вопросный лист, где были сведены вместе ответы всех присяжных. Заглянув в него, Кремер тотчас сделался бледным, как этот лист.

– Вы должны огласить его, – через силу выговаривая слова, сказал он старшине. – Так требует закон.

– Я знаю, – ответил старшина.

Он видел, что если бы закон требовал оглашения вердикта председателем, то Кремер не смог бы сейчас сделать этого.

Старшина взял лист, встал около председательского стола и начал спокойно, внятно и торжественно:

– По чести и совести перед богом и перед людьми, взвесив все обстоятельства дела по обвинению шеф-редактора «Новой Рейнской газеты» доктора Карла Генриха Маркса, соредактора Фридриха Энгельса-младшего и ответственного издателя Германа Корфа в оскорблении обер-прокурора Цвейфеля (статья 222 Уголовного кодекса) и в клевете на жандармов (статья 367 Уголовного кодекса), присяжные заседатели на вопрос: «Виновны или нет названные выше лица в нарушении указанных статей кодекса, а если кто виновен, то заслуживает ли снисхождения?» – ответили…

Старшина оторвался от листа и обвел взглядом зал: напряженное ожидание сделало все лица неуловимо похожими.

Старшина набрал полные легкие воздуха и выдохнул:

– Юлиус Арнц – «Нет, не виновны».

Старшина снова вздохнул и выдохнул:

– Генрих Бейкер – «Нет, не виновны». Фридрих Гримм – «Нет, не виновны». Отто Хюбнер – «Нет, не виновны»…

– Господи милостивый! Да что же это?.. – вырвалось вслух у Дункеля. Никто не засмеялся над стариком, никто не бросил ему ни слова. Все вели про себя счет: один, два, три… Все знали, что если наберется восемь присяжных, сказавших «Не виновны!», то…

– Якоб Краузе – «Нет, не виновны». Пауль Меркер – «Нет, не виновны». Карл Пельц – «Нет, не виновны»…

Оставалось лишь одно имя, один голос! Старшина снова посмотрел в неистово молчавший зал, всей кожей почувствовал, как страшно обмануть надежды такого зала, и – бросил:

– Ганс Фернбах – «Нет, не виновны!»

И тут началось… Аплодисменты, топот, крики, смех – все слилось в один ликующий ералаш. Кто-то провозгласил: «„Новой Рейнской“ – ура!» Кто-то добавил: «Слава ее редакторам!» Кто-то не стерпел: «Позор ее врагам!»

А старшина, которого почти никто не слушал, продолжал:

– Густав Френкен – «Нет, не виновны». Иоганн Хофер – «Нет,

не виновны»…

Из врагов газеты первым понял, что ему надо делать, прокурор: он встал и негодующе удалился.

– Вильгельм Шмидт – «Нет, не виновны». Георг Эльснер – «Нет, не виновны»…

Дункель видел, как дама, сидевшая впереди, откинула с лица вуаль («Ах, как хороша!» – даже сейчас отметил старик) и стала пробираться к скамье подсудимых. К Марксу, Энгельсу и Корфу со всех сторон тянулись руки людей, желавших поздравить их. Дама подошла и тоже пожала руки всем троим. Последним она поздравила Маркса, и, когда делала это, ей на лицо упала небрежно закинутая вуаль. Улыбающийся, радостный Маркс двумя пальцами осторожно взял краешек вуали и снова откинул ее. По этому интимному жесту Дункель понял, что дама, на которую он пять часов пялил глаза, была не кто иная, как жена Маркса! Он понял и то, что Маркс, как видно, заметил его стариковское внимание к своей жене, потому и отпустил шуточку насчет того, кому чья жена нравится. Всю глубину сарказма этой шуточки Дункель осознал только теперь.

Словно издалека, до него донесся голос председателя:

– Жюри присяжных единогласно признало всех подсудимых невиновными… Господин Маркс, господин Энгельс, господин Корф! Вы свободны…

Старшина жюри присяжных, пробравшись сквозь плотное кольцо публики, приблизился к Марксу и стал что-то говорить ему.

– Что? Что он говорит? – послышалось в разных концах зала, и тотчас установилась непрочная тишина, в которой отчетливо прозвучал голос:

– Доктор Маркс! От имени жюри присяжных заседателей, которое мне выпала честь возглавлять на этом незабываемом судебном процессе, позвольте выразить вам благодарность за весьма поучительное разъяснение некоторых важных вопросов.

Старшина протянул руку. Дружелюбно пожимая ее, Маркс ответил:

– Весьма рад, что был вам полезен, весьма. В свою очередь примите нашу признательность за справедливый вердикт. Если удастся, я постараюсь быть полезным для присяжных и на завтрашнем суде.

Они снова обменялись рукопожатиями.

При виде всего этого Дункеля бросило в жар; ему стало муторно и тоскливо. Он решил встать и уйти, но вдруг с ужасом почувствовал, что ноги не слушаются его.

Когда шумная публика повалила из зала, кто-то, проходя

мимо Дункеля и не подозревая того, как близок к истине, весело, озорно воскликнул:

– На улицу, сударь! Что вы сидите? Или вас пригвоздило к месту?

Дункель отвернулся. Все вышли, а он так и остался в кресле. Сидел до тех пор, пока к нему не подошел служитель, которого он попросил позвать на помощь людей.

На улице Марксу, Энгельсу и Корфу хотели снова устроить овацию, но им было некогда, они торопились на Унтер-Хутмахер, 17, в свою родную «Новую Рейнскую».

– Не обижайтесь, господа, и не унывайте! – подняв руку, крикнул Маркс. – Ведь завтра, здесь же, в девять утра мы встретимся с вами снова. Бой будет продолжен!

– Сегодня победа за нами! Пока «Новая Рейнская» спасена! – ликующим голосом подхватил Энгельс. – А завтра – посмотрим!

Это «посмотрим!» вместило столько задора, дерзости, силы, что было ясно: и завтрашний бой их не страшит.

Едва ли не у всех кёльнцев, присутствовавших на суде и расходившихся сейчас по домам, среди множества мыслей, впечатлений, чувств, оставленных процессом, неотвязно вставали вопросы: что же произошло в совещательной комнате? Почему присяжным заседателям потребовалось лишь двадцать минут, чтобы в один голос оправдать подсудимых?

А дело все в том, что в совещательную комнату присяжные пришли уже с твердым намерением сказать: «Нет, не виновны». Одним весь ход процесса, особенно же речи Маркса и Энгельса, ясно показали, что быть в данном случае на стороне обвинения просто невозможно и бессмысленно. Другие – их, пожалуй, больше всего – были убеждены, что всех подсудимых надо бросить в тюрьму, а газету закрыть, но они видели перед собой полный зал людей, горячо сочувствующих подсудимым; они знали, что на улице, у подъезда суда, собралась возбужденная толпа; они помнили, что когда 14 ноября прошлого года Маркса вызвали на допрос, то до Дворца юстиции его провожало несколько сот человек, которые не разошлись во время всего допроса, а когда главный редактор «Новой Рейнской газеты» вышел от следователя, они радостно приветствовали его, проводили до зала Эйзера, где он поблагодарил их за поддержку; и всем было совершенно ясно, что если бы Маркса арестовали, то эти люди освободили бы его силой. Третьи принимали в расчет, что хотя революция почти повсеместно и разбита, но сколько еще всюду брожения, затаенной злобы, жажды мести. Четвертые были подавлены и сбиты с толку поведением подсудимых: по их убеждению, если люди ведут себя так независимо и смело,

значит, за ними непременно стоит какая-то большая сила; эта сила была им неизвестна, тем могущественнее и страшнее она казалась…

Лишь один присяжный заседатель из двенадцати пришел в совещательную комнату с решением провозгласить: «Да, виновны!» Это была та самая «рожа», на которую обратил внимание Энгельс. Но перед тем как подошла его очередь отдать свой лист старшине, один присяжный спросил другого:

– А этот Энгельс не родственник ли коменданта города полковника Энгельса?

– Не думаю… Не знаю, – последовал неопределенный ответ. – Впрочем, бог весть…

«А что, если и правда родственник? – смятенно подумала „рожа“. – По нынешним временам все может статься!»

И он четко, размашисто вывел: «Нет, не виновны!»

Так сложилось полное единодушие и произошло «чудо» еще более разительное, чем то, на которое смутно надеялся Маркс, а когда кто-то предложил поблагодарить Маркса, то, хотя с предложением согласны были не все, ни у кого не повернулся язык возразить.

Глава четвертая. Визитеры из 16-го пехотного

Женни распахнула дверь в комнату мужа.

– Карл! Опять пришли солдаты.

– Какие солдаты? – Маркс поднял голову, нехотя оторвав взгляд от рукописи.

– Да, наверное, те самые, что приходили позавчера, когда ты еще не вернулся из Дюссельдорфа.

– Но позавчера, по словам Ленхен, были не солдаты, а унтер-офицеры.

– Боже, какая разница! – досадливо махнула рукой Женни.

– Кое-какая разница, моя милая, все-таки есть… Ну и что они хотят?

– Они требуют, как и тогда, личной беседы с тобой.

– Требуют?

– Именно требуют.

– Я думаю, Женни, – Маркс встал из-за стола, – мы могли бы это требование оставить без внимания, но, согласись, ведь интересно – зачем я им понадобился?

– Нет, Карл, – Женни решительно покачала головой, – у меня интерес к таким визитам и беседам пропал на всю жизнь со времен Брюсселя.

Маркс видел, что жена испугана, взволнованна, ему хотелось успокоить ее, ободрить, и потому он тянул разговор и старался придать ему шутливый характер.

– Ах, ты ничего не понимаешь! – сокрушенно воскликнул он. – Ты не видишь разницы не только между солдатом и унтер-офицером, но и даже между армией и жандармерией. Ведь тогда, в Брюсселе, к нам наведались и увели меня жандармы! У жандармов – и это вполне естественно – всегда есть о чем поговорить со мной. Но вот когда в тихое послеобеденное время на квартиру к доктору философии и главному редактору большой газеты приходят унтер-офицеры армии его величества и настаивают на личной беседе с ним, то это, право, весьма необычно и загадочно. Я заинтригован. Может быть, они хотят попросить у меня фотографию, чтобы повесить у себя в казарме. Ты должна принять во внимание, что после двух выигранных процессов моя популярность необычайно возросла…

– Карл, не шути, – очень серьезно перебила Женни. – Лучше вспомни, чем окончилась беседа с солдатами одного философа из Сиракуз.

– Женни! Что за мрачные аналогии! – Маркс засмеялся. – Во-первых, там не было никакой беседы, солдат просто подошел и стукнул ученого по темени; во-вторых, этот ученый был уже стар и немощен, а твой Карл могуч как Арминий.

Из прихожей послышался шум, говор, через несколько секунд дверь в комнату открылась, и вошел Энгельс.

– Слава богу! – с облегчением и радостью воскликнула Женни. – Как хорошо, что вы пришли!

– Что тут происходит? – спросил, поздоровавшись, Энгельс. – В прихожей толпится половина кёльнского гарнизона…

– Идите в другую комнату, – заторопил Маркс. – Там тебе Женни все расскажет, а ко мне пригласите господ военных.

– Может быть, нужна моя помощь? – допытывался Энгельс. Он, видимо, уже почувствовал, что в происходящем есть и нечто смешное. – Как-никак я служил в пехотно-артиллерийском полку и получил там звание гвардии бомбардира.

– Нет, нет, нет, – Маркс легонько теснил к выходу жену и друга. – Пока я буду сражаться один. Вы же оба знаете, я люблю такие схватки. Ну а если придется туго, я вас позову.

Женни и Энгельс исчезли за дверью, а через некоторое время в комнату вошли незваные гости. Одному было уже, вероятно, под пятьдесят. Высокий, костистый, рыжеватый, он напоминал солдата из народных сказок. Второй гораздо моложе, темно-русый, статный, легкий. «Вероятно, мой ровесник», – подумал Маркс.

– Разрешите представиться: капрал шестнадцатого пехотного полка Альфред Блох, – отчеканил старший.

– Доктор Маркс, – кивнул головой хозяин.

– Сержант того же полка Герман Эбнер.

– Доктор Маркс… Прошу садиться, господа. – Унтер-офицеры сели на стулья около письменного стола, а хозяин обошел стол и опустился в свое кресло. – Вы хотели меня видеть? Я перед вами. Что вам угодно? Что угодно от меня шестнадцатому пехотному полку?

– Не столько всему полку, господин Маркс, сколько его восьмой роте, – мрачно сказал капрал.

– Восьмой роте? – с интересом переспросил Маркс.

– Да, восьмой, – решительно подтвердил сержант. – Мы имеем честь служить в этой роте под командованием капитана фон Уттенхофена.

– Уттенхофена? – опять переспросил Маркс с еще большим интересом.

– Капитана фон Уттенхофена, – поправил Блох, явно задетый тем, что его командира назвали так просто, только по фамилии. –

Разве вы его не знаете?

– Может быть, где-то и встречал, но, признаться, не могу вспомнить. – Маркс развел руками.

– Вот как! – возмущенно воскликнул Эбнер. – Даже не знаете человека, а клевещете на него.

– О, разговор становится серьезным! – Маркс поплотнее уселся в кресле, словно занял более надежную позицию.

Капрал расстегнул на груди мундир и достал из внутреннего кармана две газеты – одну уже довольно потертую, другую совсем свежую. Это была «Новая Рейнская».

– Позавчера ваша газета, – капрал щелчком толкнул ее по столу к Марксу, – написала, что капитан фон Уттенхофен спекулирует казенным топливом. Офицер его величества – спекулянт?

Маркс взял газету, развернул ее и быстро нашел на последней полосе в самом конце под чертой заметку. Едва взглянув на нее, он вспомнил, о чем она.

– А сегодня, – продолжал Блох, почему-то не передавая вторую газету Марксу, – в статье «Тронная речь» генерал Врангель назван неуклюжим вахмистром. Но этого мало, здесь оскорбляется вся армия: вы пишете, что ее организация, боеспособность и преданность выдержали серьезное испытание при облаве на членов Национального собрания Пруссии в ноябре прошлого года… Вы, господин Маркс, служили когда-нибудь в армии?

– Нет, не служил. В тридцать восьмом году меня освободили из-за болезни легких, а года через три признали вообще негодным к несению военной службы.

– Вот видите! – с укором подхватил капрал. – А берете на себя смелость судить обо всей армии.

– А вы, господин Блох, работали когда-нибудь в газете? – спокойно спросил Маркс.

– В газете? – изумился капрал. – Что мне там делать? Чего я там забыл?

– Вот видите! – стараясь повторить укоризненный тон собеседника, сказал Маркс. – А берете на себя смелость судить о ней.

– У нас демократия, – вставил сержант.

– Демократия, господа, не сводится к праву унтер-офицеров судить о прессе. – Маркс сильным щелчком отправил газету обратно к капралу. – Она также предполагает, в частности, право прессы судить об унтер-офицерах и даже генералах. Впрочем, я извиняю вам ваши слова о демократии ввиду необычайной новизны для вас этого предмета. Однако позвольте окончательно

уточнить, от чьего же имени вы ко мне пожаловали – от имени восьмой роты или шестнадцатого полка, от имени генерала Врангеля или всей прусской армии?

– Мы пришли от восьмой роты, – сурово сказал Блох. – Надеемся, перед остальными вы ответите в будущем особо.

– О будущем, капрал, вы знаете, вероятно, не больше, чем ваш коллега о демократии, и это, конечно, вас тоже извиняет. – Маркс как бы в прискорбии и сочувствии склонил голову. – Ответьте лучше, что же вы от меня хотите?

– Прежде всего мы хотим заявить вам, что вся восьмая рота чувствует себя оскорбленной вашей заметкой. – Капрал произнес эти слова, по всей видимости, так, как произносил в свое время слова присяги.

– Только подписи всех солдат, унтер-офицеров и офицеров восьмой роты могли бы убедить меня в правильности вашего заявления, – сказал Маркс.

– Мы представим эти подписи! – тотчас отозвался сержант.

– Напрасный труд. – Маркс устало махнул рукой. – Дело в том, что заявление господина Блоха не представляет для меня никакого интереса и я не придаю ему значения.

– То есть как это не придаете? – И капрал, и сержант в искреннем удивлении даже подались вперед.

– До заметки, так взволновавшей вас, господа, – назидательным тоном проговорил Маркс, – мне нет никакого дела, потому что она помещена под чертой и, следовательно, считается объявлением.

– Объявлением? – Унтер-офицеры подались вперед еще больше.

– Да, всего лишь объявлением. А за такого рода публикации я ответственности не несу. Я подписываю только то, что над чертой.

– А кто же за это отвечает? – несколько удрученно спросил капрал.

– Я не намерен консультировать вас по таким вопросам. Могу лишь сообщить, что вы имеете возможность опубликовать возражение, причем бесплатно. Хотите?

Маркс придвинул к себе листок чистой бумаги, быстро написал на нем несколько строк и протянул унтер-офицерам:

– Например, вот такой текст.

Капрал и сержант склонились над листком и прочитали: «Мы, солдаты, унтер-офицеры и офицеры восьмой роты 16-го пехотного полка, единодушно утверждаем, что наш ротный командир капитан фон Уттенхофен никогда не спекулировал казенным топливом, не воровал чужих кур, не соблазнял невинных девиц, а

также чужих жен».

– При чем здесь куры, девицы? – серьезно и озабоченно спросил капрал.

– Ну, если вы не гарантируете поведение своего командира в отношении чужих кур, чужих жен и девиц, то можно это место сократить.

– Нет, мы уверены! Вполне уверены!

– А тогда в чем же дело?

«Действительно, в чем же дело?» – мучительно ворочал мозгами капрал и никак не мог выбраться из простенькой ловушки, расставленной собеседником.

– Странно как-то… – нерешительно протянул он.

– Что же странного? Раз это правда, раз вы уверены…

– Да он смеется над нами, господин капрал! – воскликнул наконец, видимо, более сообразительный Эбнер.

– Смеется? – удивился капрал.

– Конечно! А кроме того, нам никто не поручал печатать опровержение. Нам поручили одно – узнать имя автора заметки. И будьте любезны, господин Маркс, сообщите нам его, иначе…

– Господа! – прервал Маркс сержанта. – Если вы не хотите печатать опровержение, то у вас есть еще один вполне демократический способ выразить ваш протест – вы можете подать на газету в суд.

– Ну уж нет! – покачал головой капрал. – Слышали мы, как недели три тому назад вас судили два дня кряду, и знаем, чем это кончилось. Мы не можем честь своей роты и ее командира вверить судейским слюнтяям. Мы сами за нее постоим. А для этого нам нужно имя борзописца, который накатал заметку. Вы нам его сообщите, сударь, в противном случае мы больше не станем сдерживать своих людей, и дело может кончиться плохо.

Открылась дверь, и вошла Женни. Не обращая никакого внимания на унтер-офицеров, она спросила:

– Карл, ты не забыл, что тебя ждет господин Энгельс?

Маркс, собравшийся было уже что-то ответить на брошенную ему угрозу, встал из-за стола и, сказав «Я сейчас», вышел вместе с женой.

Унтер-офицеры оторопело переглянулись.

– Ты слышал, что она сказала? – полушепотом спросил Блох. – Его ждет господин Энгельс! Уж это не полковник ли Энгельс, второй комендант города?

– Тут все возможно, господин капрал, – тоже полушепотом ответил Эбнер. – Но, если мне память не изменяет, у них в газете есть какой-то свой Энгельс, его, кажется, тоже судили вместе с Марксом.

– Судили, но оправдали? Ох и влипнуть мы с тобой можем, дружок, а заодно с нами и ротный… Черт дернул нас назвать свои имена!

– Может быть, улизнем, пока он не вернулся? – робко предложил сержант.

– А как же имя автора заметки? – нерешительно промямлил капрал, хотя мысль сержанта показалась ему весьма соблазнительной…

•

Когда Маркс вошел в комнату, где сидел Энгельс, тот встретил его нетерпеливым восклицанием:

– Ты долго еще намерен с ними возиться? Гони их в шею! Иначе я, гвардии бомбардир, сделаю это сам. Нам надо обсудить передовую статью воскресного номера, а ты тратишь время на этих ослов!

Маркс кратко рассказал, о чем у него идет речь с унтер-офицерами, и, пообещав скоро разделаться с ними, уже направился к двери, как вдруг Энгельс остановил его:

– Карл, возьми вот эту штуку!

Маркс оглянулся и увидел, что Энгельс протягивает ему пистолет.

– Зачем?

– Возьми, возьми. Он, правда, незаряжен, но все равно. И сунь его в карман вот так, чтобы рукоятка торчала и была хорошо видна.

Маркс засмеялся, но все-таки позволил другу сунуть пистолет в карман своего сюртука именно так, как он хотел, и пошел опять к своим визитерам. Он стремительно пересек комнату, подошел к своему креслу, но не сел, принимая в расчет, что иначе унтер-офицеры не увидят то, что у него в кармане. Они заметили сразу. Капрал весь напрягся и побледнел, а сержант словно прилип взглядом к пистолету.

– Итак, господа, – Маркс скрестил руки на груди и смотрел сверху вниз на сидящих унтер-офицеров, – пора кончать нашу затянувшуюся беседу. Тем более что вы перешли к угрозам, к запугиванию и тем самым сделали продолжение разговора совершенно бесперспективным. Этим способом от меня еще никто ничего не добивался. Если вы приведете сюда всю свою восьмую роту или даже весь шестнадцатый полк, то и тогда я не назову вам имени автора заметки о капитане Уттенхофене.

Маркс разжал руки, завел их за спину, вышел из-за стола и,

продолжая говорить, принялся расхаживать мимо неподвижно сидящих унтер-офицеров. Когда он шел справа налево, то пистолет, торчавший из правого кармана, едва не бил рукояткой по носу оцепеневших парламентеров восьмой роты.

– Не скрою от вас, – жестко говорил Маркс, – что о вашем неожиданном и странном визите во всех подробностях будет известно коменданту города полковнику Энгельсу.

При этих словах оба унтер-офицера в страхе подумали: «Будет? А не известно ли уже сейчас?»

– Я думаю, – неумолимым тоном продолжал Маркс, – господину коменданту будет интересно и полезно узнать, как далеко зашло падение дисциплины, как извратилось понимание законного порядка среди войск гарнизона, где роты, подобно шайкам разбойников… – Маркс остановился перед унтер-офицерами и резко сунул руки в карманы сюртука. Капрал и сержант прижались к спинкам своих стульев, готовые, казалось, принять заслуженную позорную смерть от руки этого ужасного человека, – подобно шайкам разбойников, подсылают своих людей к неугодным им гражданам, чтобы посредством угроз вынудить у них то или другое признание!

Маркс снова зашагал, продолжая говорить:

– Я обращу особое внимание коменданта на вашу непонятную мне фразу: «Мы больше не можем сдерживать своих людей». Я попрошу господина полковника произвести расследование всего этого происшествия и разъяснить мне ваше странное требование. Мне придется предупредить коменданта, что в случае отказа в моей просьбе я прибегну к гласности. Все. Не смею дольше задерживать вас.

Маркс подошел к двери, толчком распахнул ее. Унтер-офицеры встали и, опасливо поглядывая на правый карман хозяина, попятились к выходу.

– Живее, господа, живее! – вдруг раздался из коридора веселый голос Энгельса. Унтер-офицеры заторопились, совсем смешались и стремглав вылетели на улицу.

Энгельс, смеясь, вошел в комнату и стал у окна. Когда унтер-офицеры шествовали мимо окна, он открыл форточку и рявкнул над их головами:

– Наш пламенный привет восьмой роте!

Маркс засмеялся, а унтер-офицеры едва не сорвались бежать.

Энгельс, стоя у окна, наблюдал за унтер-офицерами, пока они не исчезли за поворотом. А Маркс сидел за столом и быстро писал:

«Кёльн, 3 марта 1849 г.

Г-ну полковнику и второму коменданту Энгельсу.

Милостивый государь!..»

Письмо получилось небольшим. В энергичном тоне Маркс доводил до сведения коменданта все, что и обещал унтер-офицерам.

Через час, уходя домой, Энгельс взял письмо и занес его на почту.

Второй комендант Кёльна, как, впрочем, и первый, прекрасно знал, что с доктором Марксом и его газетой шутки плохи. Поэтому он ответил на письмо тотчас. В любезных выражениях полковник сообщал, что первоначальное расследование уже произведено, что, если доктор Маркс настаивает, оно будет продолжено и виновные понесут заслуженное наказание. Но из письма было видно и то, что унтер-офицеры, стремясь воспользоваться отсутствием свидетелей при их встрече с Марксом, многое отрицали и даже кое-что наврали своему начальству.

Пятого марта Маркс опять сел за стол, чтобы написать ответ коменданту. Начал он так:

«Милостивый государь!

Уверенный в том, что королевско-прусские унтер-офицеры не станут отрицать слов, сказанных ими без свидетелей, я не привлек никаких свидетелей к упомянутой беседе, хотя случайно как раз в это время в моей квартире находился один из редакторов „Новой Рейнской газеты“».

Маркс не назвал своего друга по имени, он решил, что это было бы комично – в письме к Энгельсу-коменданту ссылаться на Энгельса-революционера. Потом он вообще вычеркнул упоминание об «одном из редакторов» и продолжал:

«Что касается моего мнимого заявления, будто „суды ничего не могут поделать со мной, в чем не так давно можно было убедиться“, то даже мои политические противники согласятся, что если бы у меня и возникла такая глупая мысль, то я бы не высказал ее третьим лицам. И затем, ведь я им разъяснил, – разве господа унтер-офицеры сами не признают этого, – что напечатанное под чертой меня совершенно не касается, что я вообще отвечаю лишь за ту часть газеты, которую подписываю? Стало быть, не было даже повода говорить

о моем положении по отношению к судам».

Тут в комнату вошел Энгельс. Взглянув на обращение, которым начиналось письмо, он воскликнул:

– О, да ты опять за своим любимым занятием – писанием писем полковнику Энгельсу! Уж не думаешь ли ты обратить его в нашу веру или, в крайнем случае, завербовать в число акционеров «Новой Рейнской газеты»?

– Нет, Фридрих, – смеясь, ответил Маркс, – в нашу веру он не перейдет, акционером не станет, но то, что господин комендант внимательнейший читатель нашей газеты, это несомненно. А теперь, когда я пригрозил ему возможной оглаской визита ко мне двух его унтер-офицеров, он может стать и подписчиком газеты, чтобы читать ее тотчас, как она выходит.

– Так не поздравить ли нам друг друга с новым подписчиком?

– Погоди, дай мне закончить письмо.

Маркс опять склонился над бумагой:

> «Я тем охотнее отказываюсь от требования дальнейшего расследования, что меня интересовал не вопрос о наказании господ унтер-офицеров, а только то, чтобы они услышали из уст своих командиров напоминание о пределах их функций».

Поставив точку, Маркс протянул письмо другу:

– Прочитай.

– Отлично, – сказал тот через минуту. – Только есть одна небольшая ошибочка, вернее, неточность. Ты пишешь: «полковнику и коменданту». Если быть точным, он второй комендант. Но думаю, что уточнять не следует. Все военные, уж поверь мне, гвардии бомбардиру, – Энгельс расправил плечи и выпятил грудь, – очень любят, когда кто-нибудь ошибается относительно их званий и должностей в сторону повышения. Так и оставь. И скажи жене, чтобы она не исправляла, когда будет переписывать. Если уж и после этого полковник не подпишется на нашу газету, то он просто свинья.

– Послушай, Фридрих, – развеселился Маркс, – а может быть, в интересах газеты мне написать «генералу и коменданту»?

Вошла Женни. Она сразу поняла, что друзья творят что-то занятное и озорное. Маркс действительно взял письмо и обмакнул перо с явным намерением что-то исправить в тексте. Она подошла, сильным движением вытащила лист из-под руки мужа и, сказав: «Перестаньте дурачиться!» – ушла переписывать письмо…

Трудно с уверенностью сказать, из каких именно побуждений,

но полковник Энгельс с апреля действительно подписался на «Новую Рейнскую газету».

Глава пятая.
На баррикадах обреченного восстания

Молодое майское солнце, играя разноцветными стеклами стрельчатых окон, вливалось в зал ратуши. В его сильных и чистых лучах то там, то здесь мелькала большая черно-оранжево-голубая бабочка. Откуда она тут взялась? Право, можно было подумать, что это и не бабочка вовсе, а несколько ярких кусочков оконных стекол, сплавленных воедино солнцем, ожили под его весенними лучами и пустились в радостный легкий полет.

Но люди, сидевшие в зале, не видели, как красива игра света, и даже бабочка, иногда попадавшаяся им на глаза, не вызывала у них ни удивления, ни любопытства, ни желания разгадать, как она сюда попала. Им было не до того. Они собрались в этом зале, чтобы обсудить положение в городе, ибо восставшие горожане поставили их на место разогнанного муниципального совета и нарекли ответственным именем: Комитет безопасности.

Шел третий день восстания в Эльберфельде. Оно было вызвано резким недовольством, которое охватило широкие круги населения в связи с тем, что правительства некоторых немецких государств, прежде всего Пруссия, отказались признать общегерманскую конституцию, выработанную всегерманским Национальным собранием во Франкфурте-на-Майне и принятую им двадцать восьмого марта этого года. Конституция носила весьма умеренный либеральный характер, но властители Пруссии и Саксонии, Баварии и Ганновера не желали предоставить народу даже ничтожные крохи демократических свобод. Борьба за признание имперской конституции стала знаменем всех демократических сил. Немецкая революционная волна, казалось, совсем обессиленная и затухшая, вдруг снова пошла на подъем. Третьего мая восстание вспыхнуло в саксонской столице Дрездене. В Бадене и Пфальце, в Вюртемберге и Франконии происходят массовые собрания, на которых ораторы открыто призывают довести дело до конца, добиться своего с помощью оружия. И сама Пруссия была в таком же возбужденном состоянии, особенно промышленные города Бергско-Маркского округа: Эльберфельд, Изерлон, Золинген, Хаген и их окрестности.

Клятвы победить или погибнуть вместе с Франкфуртским собранием, пойти на любые жертвы ради имперской конституции заполняли все газеты, раздавались во всех клубах и пивных.

Власти направили из Кёльна в Эльберфельд один батальон 16-го полка, эскадрон улан и два орудия. Отвергнув

предложенные муниципальным советом переговоры, позавчера, девятого мая, в среду, войска вступили в город. Тут-то и произошло то, о чем большинство членов Комитета безопасности не могут вспоминать без ужаса…

Пройдя по главной улице, войска построились около ратуши. Из собравшейся огромной толпы в солдат полетели камни. В окнах тюрьмы, примыкающей к самой ратуше, показались лица заключенных. Это были в основном рабочие Золингена – шестьдесят девять человек, вот уже год ждущие суда: их обвинили в разрушении сталелитейного завода. При виде изможденных лиц заключенных в толпе раздались возгласы: «Свободу золингенцам!» Люди устремились к тюрьме, ворота поддались их напору, и заключенные один за другим стали выходить на волю. Вдруг командир правительственных войск спохватился и отдал команду стрелять: последний заключенный, выходивший из ворот тюрьмы, упал с простреленной головой.

Толпа разбежалась от тюрьмы с кличем «На баррикады!». С поразительной быстротой подступы к центру города были забаррикадированы. Тогда командир правительственных войск решил пустить в дело пушки. Но артиллеристы стреляют слишком высоко, вероятно нарочно. Возмущенный нерешительностью других офицеров, инициативу взял на себя командир 8-й роты капитан фон Уттенхофен. Выйдя вперед, он скомандовал своим солдатам: «Внимание!» В ответ на это вооруженные рабочие крикнули из-за баррикады солдатам: «Не стреляйте! У нас общий враг – ваши офицеры!» Один из рабочих предупредил Уттенхофена: «Если ты скомандуешь „Готовьсь!“, мы уложим тебя на месте!» Но капитан был упрям, да, видно, и не из робких. Он скомандовал: «Готовьсь! Пли!» С той и другой стороны одновременно раздались залпы – и капитан упал. Пуля угодила ему прямо в сердце.

Войска не ожидали такого оборота дела и поспешно отступили, даже не забрав с собой труп капитана. Офицер, принявший командование, отдал приказ покинуть город и расположил войска лагерем в часе ходьбы от заставы.

Воодушевленные успехом, восставшие всюду воздвигали баррикады, разогнали муниципальный совет и создали Комитет безопасности. Но Комитет, большинство в котором составили адвокаты, банковские служащие и другие представители мелкой буржуазии, испугался обретенной власти и потому пребывал в состоянии растерянности и пустых словопрений. Такое состояние царит и сегодня, одиннадцатого мая. Вот уже часа два члены Комитета поочередно встают и говорят, то и дело перебивая друг друга замечаниями, вопросами, смешками.

– Господа! Я думаю, что выражу мнение всех вас, если скажу: положение чрезвычайно опасное…

– Надо вступить в переговоры с членами муниципального совета…

– С бывшими?

– Ну как сказать?.. Да, с бывшими.

– Кто знает, где сейчас господин обер-бургомистр?

– Фон Карнап? Говорят, он уже удрал в Дюссельдорф.

– Удрал! Нельзя ли попочтительнее?

– По другим, более почтительным сведениям, он все еще сидит под перевернутой коляской, забросанной навозом…

– От имени Военной комиссии я заявляю со всей ответственностью: город к обороне не готов…

– Мы обязаны добиться признания законности нашей власти со стороны муниципального совета…

– Предлагаю включить пять членов совета в Комитет…

– Бывших?

– Да, да, черт возьми! Бывших!

– До сих пор мы не провели смотра преданных нам войск. Безобразие!..

– Господа! С радостью сообщаю, что вчера поздно вечером несколько купцов, владельцев красилен и фабрикантов передали на нужды нашего Комитета десять тысяч талеров…

– Купцы финансируют мятеж? Ха-ха!..

– Кто отвечает за состояние баррикад?

– Военная комиссия…

– Я хочу знать, кто именно…

– Мы не должны допустить, чтобы камни Эльберфельда вновь обагрились кровью…

– Нас называют террористами и людоедами!..

– Нас сравнивают с Робеспьером и Дантоном!..

– Успокойтесь, сударь, уже не сравнивают.

– Надо как-то поощрить красильщиков за то, что они ни разу не прервали работу, даже в дни баррикадных боев…

– Хозяева их уже поощрили. Ведь никому из рабочих не платят так хорошо, как красильщикам…

– Восстание в Дрездене подавлено. Наши соседи – Бармен и Кроненберг, Леннеп и Лютрингхаузен – не примкнули к нам. Господа! Мы в одиночестве…

– Солдаты ландвера[7] колеблются, гражданское ополчение решительно против восстания. Кто же с нами?..

– А купцов и фабрикантов забыли?

…Резко распахнулась дверь, и в зал стремительно вошел Трост, один из членов Военной комиссии. Он почти подбежал к

председателю Комитета безопасности Хёхстеру, плюхнулся рядом с ним в пустое кресло и стал что-то торопливо, взволнованно говорить ему на ухо. Все замерли, глядя на них. Некоторым было слышно, как бабочка два раза ударилась о стекло и забила крыльями. Побледневший Хёхстер наконец тяжело поднялся и негромко, даже вяло проговорил:

– Господа! Только что получено известие, что со стороны Золингена к нашему городу приближается большой отряд…

– Вооруженный? – сразу перебил кто-то.

– Это установить не удалось, – ответил Трост.

– Ничего себе разведка! – насмешливо и нервно выкрикнул другой голос.

– А что значит «большой отряд»? – спросил еще кто-то. – Пять тысяч? Тысяча?

– Известно только, – Трост тоже встал, – что у отряда нет пушек. А численность его достигает приблизительно двух батальонов.

– Отряд возглавляет человек, имя которого вам всем хорошо известно. – Хёхстер, кажется, несколько пришел в себя и говорил уже не так вяло. – Оно известно вам и потому, что этот человек один из редакторов «Новой Рейнской газеты», и потому еще, вероятно, что он когда-то жил в нашем городе, а родился совсем рядом, за рекой, в Бармене.

– Энгельс?! – раздалось одновременно несколько голосов.

– Да, Фридрих Энгельс-младший.

– Землячок! – опять насмешливо выкрикнул нервный голос.

– Какая же у него цель? Чего он хочет?

– Кто может это знать? – Хёхстер беспомощно пожал полными плечами. – Скорее всего, он идет на помощь нам.

– А нужна ли нам его помощь?

– Надо послать ему навстречу нашего представителя и потребовать, чтобы он тотчас прибыл сюда.

– Не потребовать, а пригласить!

– По-моему, дельное предложение, – охотно согласился Хёхстер. – Я думаю, лучше всего поручить это господину Хюнербейну. И не только потому, что он сам из Бармена…

Все поняли, что хотел сказать председатель: портной Фридрих Вильгельм Хюнербейн был членом Союза коммунистов и поговаривали даже, что он переписывался с самим Марксом. Хюнербейн встал со своего места, поклонился председателю в знак согласия выполнить его поручение и, ни слова не говоря, вышел.

– Вполне возможно, – сказал Трост, обращаясь к Хёхстеру, но его услышали все, – что Энгельс со своим отрядом уже вошел в

город.

Члены Комитета безопасности, как любопытные школяры, бросились к боковым окнам. Им было известно, что из этих окон ратуши (фасадом она выходила в узкий переулок) виден почти весь город. И действительно, у огромного нескладного здания бывшего музея, от которого начинается главная улица города, все сразу разглядели большое скопление движущихся людей. Через некоторое время над людьми стали различимы черно-красно-золотые и красные флаги, символы общегерманского единства и революции.

– Ого, да это целый полк!..

– Где он его набрал?

– Очевидно, среди читателей «Новой Рейнской газеты»…

– Ну какой там полк! В толпе больше всего наших городских зевак…

– Вон, кажется, в первой шеренге и сам предводитель…

– Его трудно не узнать – рост гренадерский!..

– Как легко и весело шагает…

– Наши сограждане бурно приветствуют их. Похоже, бросают цветы…

Вдруг нескольким членам Комитета сделалось неловко за свою несдержанность и торопливость, они снова заняли свои места, за ними последовали остальные.

Потянулись томительные минуты ожидания. Все молчали…

Энгельс во главе отряда маршировал по главной улице Эльберфельда, направляясь к центру города, к ратуше. Он мог бы пройти этот путь с завязанными глазами – так хорошо ему были знакомы каждый поворот, каждый камень. Три года он учился здесь в старших классах гимназии. А сколько раз бывал и до этого и после!.. Вон там, за вторым поворотом налево, в глубине тихого переулка стоит дом старшего преподавателя гимназии добряка Ханчке, давнего друга отца. В этом доме под его нестрогим надзором Фридрих жил три года.

Энгельс вспомнил сейчас, что в выпускном свидетельстве, написанном доктором Ханчке, который тогда временно заменял директора, было уж очень много распрекрасных слов: гимназист Энгельс отличался-де весьма хорошим поведением, обращал на себя внимание искренностью и скромностью, чистотою сердца, благонравием, религиозностью… И вот он, заслуживший когда-то такие похвалы, сегодня привел в город своей юности вооруженный отряд, на который, конечно, со страхом взирают все богатеи и филистеры. Интересно, нет ли там, в толпе, старого профессора? Что бы он сейчас сказал о благонравии и скромности своего питомца?

Впервые Фридрих взбудоражил Эльберфельд и свой родной Бармен десять лет назад «Письмами из Вуппераля», которые Карл Гуцков напечатал в своем «Германском телеграфе». О, в этих письмах досталось обитателям обоих городов! Чего стоило хотя бы лишь одно замечание о круге их вольнолюбивых интеллектуальных интересов: барменцы говорят больше о лошадях, эльберфельдцы – о собаках, а когда уж очень разойдутся, то и о женщинах… Эльберфельд, помнится, назван там Сионом обскурантов.

Но «Письма» были напечатаны без подписи, а вот позже, в феврале сорок пятого, Фридрих уже собственной персоной предстал перед изумленными очами эльберфельдцев. Тогда в городе проходили собрания, на которых велись дискуссии о коммунизме. Живя в Бармене у родителей, Энгельс посещал эти собрания, а на двух последних, особенно многолюдных, выступил с большими речами. Собрания были запрещены, а их организаторам и тем, кто выступал, в том числе Энгельсу полиция без обиняков заявила, что если они нарушат запрет, то будут арестованы и преданы суду. Прокурор Бармена тогда несколько раз наводил справки о Фридрихе Энгельсе-младшем. Им заинтересовались даже полицей-директор Пруссии господин Дункер и сам министр внутренних дел Бодельшвинг. Как переполошился тогда отец!.. «Я веду тут поистине собачью жизнь, – писал в те дни Энгельс из Бармена в Брюссель Марксу. – История с собраниями… вызвала у моего старика взрыв религиозного фанатизма. Мое заявление, что я окончательно отказываюсь заниматься торгашеством, еще более рассердило его, а мое открытое выступление в качестве коммуниста пробудило у него к тому же настоящий буржуазный фанатизм. Ты можешь себе представить теперь мое положение… Когда я получаю письмо, то его обнюхивают со всех сторон, прежде чем передают мне. А так как они знают, что все эти письма от коммунистов, то строят при этом такую горестно-благочестивую мину, что хоть с ума сходи. Выхожу я, – все та же мина. Сижу я у себя в комнате и работаю, – конечно, над коммунизмом, это известно, – все та же мина. Я не могу ни есть, ни пить, ни спать, не могу звука издать без того, чтобы перед моим носом не торчала все та же несносная физиономия святоши. Что бы я ни делал – ухожу ли я или остаюсь дома, молчу или разговариваю, читаю или пишу, смеюсь или нет – мой старик строит все ту же отвратительную гримасу…»

Вспомнив свое тогдашнее безысходно-отчаянное положение, Фридрих ощутил особенно полно и остро всю радость, всю прелесть свободного широкого шага, упругой поступи. А как

вольно и мерно, могуче и грозно колышутся за спиной ряды добровольцев, как ярок и чист этот звонкий, весенний день! «Только не встретить бы здесь опять эту горестно-благочестивую мину», – подумал Фридрих, ибо прекрасно понимал, что встреча вполне возможна…

Когда же он был в этом городе последний раз? Кажется, год назад. Приехал тогда, чтобы распространить акции «Новой Рейнской газеты». Четырнадцать акционеров завербовал!.. Впрочем, нет, это не последний. Был ведь еще в самом конце сентября прошлого года, когда в Кёльне объявили осадное положение и пришлось скрываться, чтобы не попасть в лапы полиции.

Правда, тогда, направляясь в Бармен, а затем покидая его, он лишь пересек Эльберфельд туда и обратно по этой же улице, и оба раза ночью, крадучись, чтобы никто не заметил, не опознал. В темноте и город, и улица выглядели совсем иначе. Вон то неуклюжее здание музея с его башнями напоминало гигантского верблюда. А сейчас в ясном свете утра, даже не приближаясь, можно разглядеть, что его колонны внизу имеют все признаки египетского ордера, посредине – дорического, а вверху – ионического. «Эти нелепые колонны, – подумал Энгельс, – могли бы быть выразительным символом сумбура и неразберихи, что царят сейчас, судя по всему, в Эльберфельде».

Тогда, в сентябре, явиться в родительский дом он не решился. Пришел в дом покойного деда. Несколько дней прожил тайно, никуда не выходя. Но отец все-таки как-то проведал, что сын здесь, и в один прекрасный день они пожаловали с матерью для выяснения отношений. О, какая это была тяжелая сцена! Старик неистовствовал. Он кричал: «Я не жалел и не пожалею денег на твое образование, для твоих ученых занятий, но финансировать твои коммунистические дурости я не намерен!» Сыну было трудно сдержать себя, но он все-таки сдержал, зная, как тяжело матери, как долго она будет мучиться потом нестерпимыми головными болями.

Из Бармена он уехал, помнится, второго или третьего октября. Четвертого вместе с присоединившимся к нему Дронке они были уже в Брюсселе. А в этот же день, четвертого, в «Кёльнской газете» опубликовали приказ прокурора Геккера о их розыске и аресте.

Можно себе представить, в каком состоянии духа читал этот приказ отец…

С тех пор они не виделись. Улегся ли гнев отца? Едва ли. Скорее, наоборот. Ведь сын не порвал с ужасной «Новой Рейнской газетой». Больше того, за это время вместе с ее главным

редактором он даже побывал на скамье подсудимых. Отцу, вероятно, делалось муторно, когда он представлял себе, как прокурор произносит: «Подсудимый Фридрих Энгельс-младший!..» При этом все, конечно, вспоминали и об Энгельсе-старшем.

И вот он снова в этом городе… Да еще в какой роли! «Нет, отец, лучше нам хотя бы на сей раз не встречаться…»

– Фридрих!

Энгельс невольно вздрогнул. Отец? Нет! Навстречу ему с поднятой рукой бежал Хюнербейн. Старый приятель! Он знал его еще в гимназическую пору, а накануне революции встречался с ним в Брюсселе, где он входил в Немецкое рабочее общество. Фридрих Вильгельм Хюнербейн – член Союза коммунистов, он нередко присылает в «Новую Рейнскую» разные весьма любопытные сведения о положении в Эльберфельде. Уж он-то во всех подробностях и сразу просветит Энгельса о том, что творится в городе и кто тут чем сейчас дышит.

– Фридрих! С прибытием! Ты здесь – это великолепно!..

Когда Энгельс в сопровождении Хюнербейна зашел в залитый солнцем зал ратуши, то первое, что привлекло его внимание, была бабочка. Она метнулась перед его лицом и села совсем близко на стену. Он машинально повернул голову и невольно задержался взглядом на странной участнице заседания Комитета безопасности. Бабочка сидела неподвижно. На белой стене четко и нежно обрисовывались бархатно-черные крылья с двумя голубыми косыми полосами впереди и двумя оранжевыми пятнами сзади. Ба! Да это же южноамериканская нимфалида! Nessaka obrinus. Водится лишь в тропических широтах. Как она оказалась здесь, на Рейне? Кто-нибудь случайно завез на пароходе в Бремен или Амстердам, а потом каким-то образом и сюда? Поразительно! Фридрих широко и восхищенно улыбнулся. Улыбка его показалась членам Комитета странной, непонятной и неуместной.

– Господин Энгельс! – возвысил строгий голос Хёхстер. – Я прошу вас подойти сюда, подняться на трибуну и ответить на несколько вопросов, интересующих членов Комитета безопасности города.

– Охотно, ваша честь! – Стремительной, легкой поступью Фридрих пересек зал и взошел на трибуну.

– Прежде всего, – Хёхстер положил перед собой решительно сжатые маленькие кулачки, – нам хотелось бы знать, что побудило вас в такое время оставить редакторский кабинет в Кёльне, где вы играете, как всем известно, весьма немаловажную роль, и направиться в Эльберфельд.

Энгельс, конечно, ожидал такого вопроса, и ответ у него был уже готов.

– Господин председатель! Господа члены Комитета безопасности! Как только в Кёльне стало известно, что позавчера в вашем городе началось восстание, что вы прогнали правительственные войска, я тотчас решил явиться к вам и предоставить себя в ваше распоряжение, ибо Бергский округ – моя родина. Я не мог оставаться в Кёльне, когда здесь, в знакомом мне с детских лет городе, льется кровь, кровь людей, может быть, близких и дорогих мне.

– Но ведь особенно близкие и дорогие вам люди, – насмешливо вставил обер-прокурор Хейнцман, – живут не здесь, а в соседнем Бармене, где нет никаких волнений, где все тихо.

– Я явился, – с нажимом повторил Энгельс, не отвечая на реплику, – чтобы предоставить себя в полное распоряжение Комитета безопасности.

– В каком качестве? – так же насмешливо опять спросил Хейнцман. – В качестве редактора газеты?

Пренебречь этим вопросом было уже нельзя.

– Я служил в армии, имею звание бомбардира, а кроме того, всегда интересовался военным делом и изучал его. Мне бы хотелось, чтобы Комитет использовал меня исключительно на военной работе.

– А политическая сторона? – выражая удивление, вероятно, всех, высоко поднял густые брови Карл Геккер, директор банка, ставший одним из руководителей Комитета безопасности. – Разве вы не хотите стать членом нашего Комитета?

Энгельс отлично понимал, что если он войдет в Комитет, в число руководителей восстания, то это может отшатнуть некоторых участников движения. Нет, пока надо оставаться в рамках борьбы за имперскую конституцию, только так можно сейчас способствовать сплочению всех оппозиционных правительству кругов и расширить восстание. Поэтому в ответ он лишь повторил просьбу о чисто военной работе.

Хюнербейн, все это время составлявший какую-то бумагу, поставил под ней свою подпись, дал прочитать и подписать Тросту, а затем передал председателю. Тот внимательно прочитал и, положив бумагу под свой кулачок, повернулся в сторону трибуны:

– Господин Энгельс, а кто эти люди, которых вы привели?

– Рабочие Золингена. Они пришли, чтобы помочь вам.

– Сколько их? У них есть оружие?

– Вместе со мной их триста девяносто восемь человек. Вчера они взяли штурмом арсенал в Грефрате и, конечно, вооружились.

Кому не хватило огнестрельного оружия, те обзавелись холодным. Ножи, как вы знаете, в Золингене не являются проблемой.

– Кто свел их в один отряд?

– Я.

– Вы можете нам гарантировать их дисциплинированность и повиновение власти Комитета? – спросил адвокат Карл Риотте.

– Могу, – твердо ответил Фридрих, хотя вовсе не был уверен, что революционные рабочие будут во всем повиноваться этим адвокатам, прокурорам да банковским служащим.

– Хорошо, – сказал Хёхстер, – в таком случае получите вот это удостоверение. – Он встал и огласил составленную Хюнербейном бумагу: – «Военная комиссия при Комитете безопасности настоящим уполномочивает г-на Фридриха Энгельса произвести осмотр всех баррикад города и достроить укрепления. Настоящим просят все посты на баррикадах оказывать названному лицу содействие во всех случаях, когда это окажется необходимым. Эльберфельд, 11 мая 1849 года».

Хёхстер добавил, что одновременно Энгельс вводится в состав Военной комиссии. Против этого никто не возражал. Фридрих сложил бумагу и спрятал ее на груди. Затем председатель, как бы давая понять, что с этого момента он принят в число участников движения, спросил Энгельса, есть ли у него, как у человека свежего и знающего толк в военном деле, какие-либо соображения относительно первоочередных мер, которые сейчас следовало бы предпринять Комитету.

Такие соображения у Энгельса были.

– Прежде всего, господа, – сказал он, – вам следует учредить должность военного коменданта города, который возглавил бы все вооруженные силы.

С предложением согласились. Но кого назначить на эту должность? Кто может справиться с таким важным делом?

– У меня есть на примете один вполне подходящий человек, – как бы в раздумье сказал Энгельс. – Все вы знаете Отто фон Мирбаха…

Действительно, Мирбах был известен всем. Бывший офицер прусской армии. С 1825 по 1829 год участвовал в освободительной борьбе греков, потом – в польском восстании. Это – в молодости. А совсем недавно как сторонник отказа платить налоги правительству сидел в тюрьме города Мюнстера. «Новая Рейнская газета», едва ли не главная зачинщица кампании против уплаты налогов, несколько раз поднимала тогда голос в защиту Мирбаха, поддерживала его кандидатуру на выборах во вторую палату прусского ландтага. И сам Мирбах выступал на

страницах этой газеты.

Так как других кандидатур никто не выдвигал, то это предложение Энгельса приняли и тотчас послали к Мирбаху члена Военной комиссии.

– Я думаю, что Комитет безопасности, – продолжал между тем Энгельс, – безотлагательно должен принять еще три важные меры. Во-первых, разоружить гражданское ополчение. Оно объявило себя нейтральным, а на самом деле настроено враждебно. Иначе и быть не может, ведь оно почти полностью состоит из фабрикантов, фабричных надсмотрщиков и лавочников. Эти люди обеспокоены лишь одним: как защитить свою собственность.

Среди членов Комитета началось движение, говор, досадливое покашливание.

– Во-вторых, – спокойно продолжал Энгельс, – отобранное оружие следует распределить среди рабочих. В-третьих, необходимо ввести прогрессивный налог, чтобы заставить все население города содержать вооруженные отряды.

Члены Комитета поняли, что эти меры означали бы решительный разрыв с бездеятельностью и переход к наступлению. Многих это сразу же напугало. Приятно сидеть в кресле, в котором до тебя сидели фабриканты и банкиры, но разоружить этих людей или тех, за кем они стоят, а потом еще требовать с них деньги на продолжение восстания – это и впрямь страшновато… Там и здесь послышались голоса:

– Фантастика!..

– Нас назовут террористами!..

– Надо смотреть на вещи реально!..

– Зачем вводить налог, если вчера лишь один торговый дом добровольно передал Комитету пятьсот фридрихсдоров!

– А сегодня уже были и другие поступления!..

Энгельс предвидел такой поворот настроений и с сарказмом сказал:

– Поступления!.. Они будут и завтра, возможно, даже посерьезней. Но неужели вы не понимаете, что крупная буржуазия делает это лишь для того, чтобы предотвратить худшее для себя – например, введение прогрессивного налога, о котором я говорил. Они хотят отделаться крохами, но сохранить весь пирог…

– Господин Энгельс! – в своей неизменной иронической манере проговорил Хейнцман. – Раздать оружие нетрудно. Но как его отобрать? Как вы конкретно представляете себе операцию по разоружению гражданского ополчения? Кто ее осуществит?

– Дайте приказ, – Фридрих нетерпеливо выбросил руку в

сторону Хейнцмана, – и четыреста золингенских рабочих справятся с этим делом.

– А кто их возглавит? Кто будет командовать ими? – не унимался Хейнцман.

– Это я охотно возьму на себя, – сказал Энгельс, – при одном непременном условии…

– Ах, все-таки при условии!

– Да, при условии, сударь, что вы лично в этой операции участвовать не будете.

В зале раздался смех, но Энгельс почувствовал, что смех этот вовсе не означает его победы над аудиторией, просто Хейнцман слишком многим надоел своей болтовней. И действительно, ни одно из трех последних его предложений не было принято. Вместо этого его засыпали вопросами.

– Как вы оцениваете общее положение в Европе?

– Настоящий момент, – отвечал Энгельс, – отнюдь не является неблагоприятным для борьбы. Во Франции обстановка напряженная. Там предстоят выборы. Кому бы они ни дали большинство – монархистам или красным, – все равно приближается решающий день. В Италии Римская республика успешно противостоит французским интервентам. В Венгрии мадьяры неудержимо рвутся вперед, и их уже ждут в Вене. Во всей Германии происходит сильнейшее брожение. В Бадене восстание уже вспыхнуло, в Пфальце оно может начаться в любой час. О родном нашем крае вам известно не хуже меня: во многих городах возведены баррикады, разогнаны муниципальные советы, созданы комитеты безопасности… Короче говоря, после марта прошлого года положение в целом сейчас самое благоприятное.

Едва ли такой вывод Энгельса обрадовал всех членов Комитета или хотя бы сколько-нибудь значительную его часть.

Командир ландвера Иоганн Потман сказал:

– Все это прекрасно, господин Энгельс. Но в нашем городе и в округе обстановка совсем иная. Разве вы не согласны?

– Да, она здесь сложнее, – ответил Энгельс. – Город окружен нейтральными населенными пунктами. Прусские войска, которые правительство бросило против нас, имеют большое превосходство сил. Насколько могу судить, в городе очень мало сделано для серьезной обороны. Он открыт для обстрела со всех окружающих высот даже из полевых орудий.

– Неужели вы думаете, что дело может дойти до бомбардировки города? – спросил Риотте. – Мы все убеждены, что правительство не прибегнет к такой ужасной мере.

Энгельс удрученно покачал головой и усмехнулся:

– О святая простота!.. Разве вы не знаете, как поступили

правительственные войска всего несколько дней тому назад в Дрездене? Они не остановились даже перед тем, чтобы употребить такое бесчеловечное средство, как игольчатые ружья. Какие у правительства основания быть более любезным с Эльберфельдом?

– Нет, этого не может быть!..

– Вы нас запугиваете!

– Для пророка, господин Энгельс, вы слишком молоды!..

– С какой уверенностью он обо всем этом говорит!..

Энгельс махнул рукой, сошел с трибуны и, сказав Хёхстеру, что идет исполнять обязанности, возложенные на него выданным удостоверением, удалился.

•

Весть о прибытии Энгельса быстро облетела весь город. В богатых домах и кварталах она породила множество слухов, опасений, страхов. Одни говорили, что он назначен комендантом города; другие уверяли, будто пришелец станет вместо Хёхстера председателем Комитета безопасности; третьи доказывали, что, всего вероятнее, он займет опустевшее кресло бежавшего в Дюссельдорф обер-бургомистра Карнапа; четвертые в ужасе шептали: «Молодой человек просто объявит себя диктатором. У него же свой вооруженный отряд, беспредельно ему преданный»… И как ни противоречили друг другу эти домыслы, все их творцы и потребители сходились в одном: какой бы пост Энгельс ни занял, в какое бы кресло он ни сел, главная его цель будет состоять, несомненно, в том, чтобы провозгласить в Эльберфельде красную республику. Основными особенностями такой республики обыватели считали полное обобществление имущества, беспощадные расправы над состоятельными гражданами и, разумеется, замену черно-красно-желтого флага одноцветным красным. Вот почему часа в три-четыре пополудни, как только распространился слух, будто Энгельс дал распоряжение заменить на баррикадах и на ратуше трехцветные флаги одноцветными, в упомянутых кварталах началась прямо-таки паника и резко возросло число богатых карет, направлявшихся в сторону Дюссельдорфа.

А виновник всего этого целый день мотался верхом по городу – от окраины к окраине, от баррикады к баррикаде, от отряда к отряду – и именем Военной комиссии всюду руководил перестройкой, расширением беспорядочно возведенных укреплений, сооружением новых преград на опасных

направлениях. Он нашел время и на то, чтобы сформировать специальную саперную роту, которая сразу же очень пригодилась на оборонительных работах. А позже, когда члены Комитета безопасности разошлись из ратуши по домам, Энгельс и командиры других отрядов проникли в складское помещение ратуши, где хранилось около восьмидесяти ружей гражданского ополчения, и забрали их. Он предлагал перепрятать ружья в другое место, чтобы завтра раздать их по строгому выбору. Но командиры отрядов пришли в такой восторг от удачи, что тут же, возле ратуши, ружья были розданы направо и налево.

Уже стемнело, а Фридрих все ходил по улицам города, всматривался в их повороты, в расположение домов, прикидывал, где и что надо завтра сделать для укрепления обороны этого или того района. На улицах было неспокойно. Проходили какие-то группы людей, иногда слышались то тревожные, то пьяные крики, раздавались одиночные выстрелы, вот где-то недалеко вдребезги разбили окно. А Энгельс весь ушел в изучение столь хорошо знакомого города как арены предстоящего боя. Он вспомнил совет Наполеона: находясь в любом городе, внимательно всмотритесь в него с военной точки зрения – ведь кто знает, может быть, когда-то случится этот город брать. «Или защищать», – добавил Фридрих.

Он в раздумье остановился перед узорчатой чугунной оградой с двумя высокими круглыми колоннами ворот, украшенными наверху вазами античного рисунка. За оградой – продолговатый двор, замкнутый с трех сторон корпусами трехэтажного серого здания. Фридрих знал его лучше всех других зданий города. Это была гимназия. Узкий двор, массивная ограда, ряды окон с частыми, похожими на решетки переплетами рам всегда в его глазах придавали зданию тюремно-казарменный вид. Правда, несмотря на такое обличье этого здания, в пятнадцать – семнадцать лет Фридрих пережил здесь и светлые дни, и радостные события. Но сейчас он смотрел на него с мыслями и чувствами, весьма далекими от юношеских воспоминаний. Здесь же можно создать прекрасный узел обороны! Стоит лишь по ту сторону ограды, от правого крыла здания до левого, протянуть хорошую баррикаду. Разумеется, надо будет взять под наблюдение крышу и следить за тем, чтобы враг не проник в тыл через окна и черный ход. Более того, необходимо позаботиться, чтобы в крайнем случае использовать черный ход для отступления.

Энгельс решил измерить шагами глубину и ширину двора. Нажал на калитку. Она оказалась запертой. Нагнувшись, он увидел квадратный черный металлический замок. Все тот же! Ну,

это не преграда. В гимназии было четыре человека, которые умели открывать замок без ключа, Фридрих – из числа этих четырех. Надо пальцем левой руки нажать на себя нижний болт, правой сунуть в скважину гвоздь – Энгельс пошарил в карманах, нашел пилку для ногтей – и сделал несколько движений сверху вниз. Готово! Калитка скрипнула и отворилась. Он перешагнул чугунный порожек и начал считать шаги: один, два, три… Когда до крыльца, ведущего к входной двери в гимназию, оставалось шагов десять, стеклянная дверь вдруг открылась и на пороге возникла странная высокая фигура.

– Это вы, Фридрих?

Энгельс оторопел.

– Я жду вас давно. Ну идите же, идите…

Ханчке! Боже мой! Что он тут делает? В такое время…

Энгельс взбежал на крыльцо и порывисто обнял учителя.

– Доктор Ханчке! Почему вы здесь? В ваши годы…

– А какие мои годы, Фридрих? Мне всего пятьдесят три. Да, это почти в два раза больше, чем вам, но, право же, не так много.

Он запер дверь, и они медленно пошли по коридору темного, слабо освещенного лишь уличным светом окон здания. Энгельс не был в этом доме почти двенадцать лет, но тут, кажется, ничего не изменилось, и он прекрасно помнил расположение всех классов, комнат, аудиторий.

– Зайдем хотя бы сюда, – пригласил Ханчке и отворил дверь в актовый зал.

Из-за больших венецианских окон здесь было посветлее. Они сели на ближайшую скамью в последнем ряду, и Ханчке сказал:

– Я знал, я был уверен, что вы придете взглянуть на свою alma mater. И если не сегодня, то завтра, послезавтра я все равно дождался бы вас.

– Но так вы могли и не дождаться меня, – удивился Фридрих, – ведь калитка заперта, а вы здесь, внутри…

– Во-первых, – с оттенком шутливого торжества провозгласил учитель, – мне известно, что вы умеете открывать замок без ключа. А кроме того, мне казалось, что вам захочется взглянуть на этот зал, пройтись по этим коридорам…

«Бедный сентиментальный старик! – подумал Энгельс – в его глазах Ханчке все-таки был стариком. – Alma mater! Он и не догадывается, что меня сегодня привело к ней. И он не поверит, если я ему скажу, что сейчас она для меня прежде всего – возможная боевая крепость».

– Вы сильно изменились, Фридрих, – сказал учитель, вглядываясь сквозь сумрак в лицо своего воспитанника. – Эта борода… Вы стали совсем мужчиной.

– Еще бы! Было достаточно времени, – улыбнулся Энгельс. – От вас я ушел, когда мне еще не исполнилось и семнадцати, а сейчас под тридцать… А вы, доктор Ханчке, кажется, все такой же.

В пустом зале голоса раздавались гулко, а стоило сказать слово погромче, как оно отзывалось эхом где-то под высоким потолком, в темных углах, и самые простые, обыденные из этих слов вдруг обретали значительность, звучали веско или загадочно.

– Нет, внешне я изменился тоже. И поседел, и стал тяжелее. Но я, – Ханчке приложил руки к груди, – остался прежним в душе. Вы же, мой друг, переменились, совсем – и внешне, и внутренне. Я читал кое-что из того, что вышло из-под вашего смелого пера… И, кажется, перемены внутренние у вас гораздо значительнее и глубже.

«Глубже!» – повторил странный голос из темноты.

Энгельс понял, что сейчас начнется серьезный разговор, и, предчувствуя бесполезность этой затеи, захотел отодвинуть, отсрочить ее. Он встал, подошел к окну.

– Хотите вспомнить, что там, за окном? – по-своему понял собеседника и умилился Ханчке.

– Да, – ответил Энгельс. – Жаль, что почти ничего не видно.

Но едва он взглянул в окно, как сквозь смутные очертания в памяти всплыл с четкостью хорошо изученного квадрата оперативной карты тот вид, который откроется отсюда днем.

– Конечно, Фридрих, вы стали совсем другим человеком, – сказал Ханчке, когда собеседник снова сел рядом, – не таким, как все ожидали.

– Гораздо хуже? – усмехнулся Энгельс.

– Вы помните день своей конфирмации? – не отвечая на вопрос, спросил Ханчке.

– Помню. Это было в марте тридцать седьмого.

– Да, в марте. Но я спрашиваю не о дате. Помните ли вы свое душевное состояние в тот день?

– Кажется, я очень волновался тогда…

– Кажется! – Ханчке укорно повысил голос, и темные углы зала так же укорно повторили: «Кажется!.. Кажется!.. Кажется!..» – Получая благословение, вы были столь взволнованны, что это не только поразило, но даже напугало ваших родителей. Вот как глубоко вы переживали таинство своего приобщения к церкви.

– Было такое, было, – стараясь не обидеть учителя, неопределенно проговорил Энгельс.

– А помните ли вы, что писали религиозные стихи? – проникновенно и сожалеюще спросил старик.

Фридрих помнил. Одно из этих стихотворений почему-то так прочно застряло в голове, что он его мог бы сейчас даже прочитать наизусть.

Господи Иисусе Христе, сыне Божий,
О, снизойди со своих высот!
И спаси мою душу!
О, приди в своей благодати,
В блеске своего отеческого величия,
Дай мне склониться пред Тобой!
Полна любви и величия, без ущерба та радость,
С какой мы восхваляем нашего спасителя!

– Да, я помню и это, – сказал Энгельс. – А вас, доктор Ханчке, видимо, очень занимает, как из мальчика, сочинявшего псалмы, возносившего смиренную хвалу богу, вырос редактор «Новой Рейнской газеты», рупора бунтовщиков.

– Занимает? О, тут дело гораздо серьезнее! Если с людьми происходят такие метаморфозы…

– Но разве за всю свою жизнь вы не встречались с тем, что люди меняются, и порой очень глубоко и резко?

Энгельс опять поднялся, он решил незаметно для собеседника измерить в шагах ширину зала: завтра это может пригодиться.

– Разумеется, я много раз наблюдал перемены в людях. – Ханчке тоже встал. – Я видел, как добряк превращается в мизантропа, жизнелюб – в нытика, мот – в скрягу, развратник – в моралиста… Я видел много. Но такую разительную перемену, как та, что произошла с вами, с отроком, преисполненным религиозных чувств, с сыном одного из самых богатых людей Рейнской Пруссии, я встретил впервые.

Энгельс, мягко увлекая за собой под руку Ханчке, сделал шаг вперед, и они пошли вдоль последнего ряда скамеек. Дошли до стены, повернули. Пошли к другой стене. Один говорил, другой слушал и при этом считал шаги: четыре, пять, шесть…

– Если происходят такие метаморфозы, то не значит ли это, что и мы, воспитатели, и все общество совершенно бессильны, что мы целиком во власти произвола и хаоса, во власти рока. Вот что я должен понять, хотя бы на старости лет.

– Вы говорите «во власти рока»? – Энгельс замер на месте. Ханчке подумал, что это от охватившего волнения, а на самом деле его собеседник остановился, чтобы не сбиться со счета. – Наполеон частенько повторял: «Политика – вот современный рок», и он был на пути к истине.

– Политика? – переспросил учитель. – По-вашему, именно она меняет людей?

– Политика, конечно, играет тут огромную роль. Но все-таки вопрос гораздо сложнее. Я же сказал, что Наполеон был лишь на пути к истине, но не обладал ею.

Они снова зашагали. В этой неожиданной ночной беседе Энгельсу не хотелось углубляться в затронутый вопрос. Молча они дошли до другой стены. Получалось, что ширина зала двадцать восемь шагов. Нетрудно запомнить: сколько лет, столько и шагов.

– Правда, я должен признать, – сказал Ханчке, – что есть один человек, которому еще очень давно вы внушали беспокойство, и он боялся за ваше будущее.

– Отец? – Энгельс мягким нажимом на локоть повернул собеседника, и теперь они зашагали по проходу вдоль зала.

– Да, отец. Когда вы учились в гимназии и жили у меня, мы нередко обменивались с вашим отцом письмами. Помню, как огорчил его недостаток вашего усердия по каким-то предметам. Он тогда писал о вашей беззаботности, о том, что у вас развивается беспокоящая его рассеянность и бесхарактерность. И тут же он признавал, что даже из страха перед наказанием вы не захотите научиться слепому повиновению. Он любил и, конечно, любит вас, он видел вашу одаренность и своеобразие, но он искренне признавался, что ему часто бывает страшно за своего превосходного мальчика. И он молил бога о спасении вашей души.

Длина зала составила шестьдесят семь шагов. «Шестьдесят семь, шестьдесят семь», – твердил Энгельс, запоминая цифру. То, что Ханчке поведал сейчас о письмах отца, напомнило ему, как Маркс недавно показывал старые письма своего отца. Достав из стола пачку аккуратно перевязанных листков, он сказал:

– Посмотри, что писал мне отец, когда я учился в Берлинском университете.

Маркс развязал пачку, нашел нужные письма и подал их. Фридрих быстро пробежал взглядом по страницам: «Я хочу и должен тебе сказать, что ты доставил своим родителям много огорчений и мало или вовсе не доставил им радости… с пренебрежением всех приличий и даже всякого внимания к отцу… Разве это мужской характер?..»

Отец Маркса – он умер лет десять тому назад – был на четырнадцать лет старше отца Энгельса: первый занимался адвокатурой, имел чин советника юстиции, второй – заводчик и купец; очень различны, даже контрастны они и по характеру, по взглядам, по отношению к жизни. Но вот, оказывается, как они

близки и похожи в тревогах о своих сыновьях, в укорах им, в сомнениях и страхе за их будущее.

– Помнится, доктор Ханчке, – сказал Фридрих, вновь усаживаясь с учителем на старое место, – вы тоже очень часто повторяли: «Молодежь становится все хуже». Это было у вас как поговорка, как присловье.

– Оставим мои поговорки, Фридрих. – Ханчке положил руку на плечо собеседника. – Лучше расскажите, как вы решились выступить со своими «Письмами из Вупперталя».

– Вы догадались, что их автор – я?

– Для меня это не составило труда. Я сразу узнал вашу наблюдательность, ваш слог. Но многие в городе до сих пор считают ваши «Письма» сочинением самого Карла Гуцкова.

– Это было так давно! – Энгельс махнул в темноту рукой. – Но все-таки интересно, что вы думаете об этих «Письмах»?

– Мне больше всего запомнилось то, что вы писали о культурной жизни наших горожан и о положении дел в гимназии. Если не ошибаюсь, – Ханчке незаметно снял руку с плеча Фридриха, – вы утверждали, будто в Бармене и Эльберфельде достаточно уметь играть в вист и на бильярде, немного рассуждать о политике и сказать удачный комплимент, чтобы прослыть образованным человеком. Вы говорили, что под настоящей литературой жители обоих городов разумеют лишь сочинения Поля де Кока, Марриэта, Нестроя и им подобных. Думаю, мой друг, что вы тут были не правы. Это, так сказать, плод юношеской экзальтации.

– Я имел в виду, конечно, не всех жителей, – сказал Энгельс, – а, главным образом, купечество.

– Но с другой стороны, – продолжал учитель, – вы были глубоко правы, называя членов попечительского совета нашей гимназии людьми, умеющими очень точно занести любой доход в соответствующую графу своих гроссбухов, но не имеющими никакого понятия о греческом, латыни или математике. Совершенно справедливо вы писали и о том, что выбор учителей у членов нашего попечительского совета проводится по принципу – лучше совершенно бездарный реформат, чем самый дельный лютеранин.

– Я писал и о многом другом, – негромко проговорил Энгельс.

– Да, и о многом другом, – как эхо отозвался доктор Ханчке.

Они помолчали. Фридрих подумал было, не пора ли уже прощаться, как вдруг старый учитель в очевидном волнении встал, прошелся туда и обратно несколько шагов, остановился против Энгельса и, обводя рукой зал, воскликнул:

– Фридрих!..

«Ридрих!.. идрих!.. идрих!» – тотчас откликнулась темнота.

– Вы помните, как здесь, в этом зале, на гимназическом празднике в сентябре тридцать седьмого года вы читали свое стихотворение, написанное на древнегреческом?

– Помню, – ответил Энгельс, удивленный внезапным волнением учителя. – Оно называлось «Поединок Этеокла и Полиника».

– Да! – с непонятной решимостью сказал Ханчке и, отступив на три шага, почти слившись с темнотой, вдруг начал декламировать – торжественно, внятно, с видимой любовью к каждому произносимому слову:

Бросились тут друг на друга, подобно львам кровожадны
Братья родные, отца одного родимые дети.
Тут опустилась и ночь, золотой развязавши свой пояс.
Меч свой направив тяжелой рукой, один поразил им
Брата – и черная кровь полилась мгновенно из раны.

– Доктор Ханчке! – изумленно воскликнул Фридрих. – Это мои вирши? И вы помните их наизусть? До сих пор?

Старик ничего не ответил, лишь сделал паузу, перевел дыхание и закончил:

Но когда острый меч вонзился в грудь Этеокла,
Меч его, панцирь пронзив, поразил царя Полиника.
Оба упали на землю, и мгла им очи застлала.
Братья лежали, друг друга сразив длиннолезвенной медью.
Так Эдипа, царя беспорочного, род пресечен был.

– Доктор Ханчке! – Энгельс поднялся и сделал шаг навстречу Ханчке. – Ну как это вы могли столько лет помнить такую белиберду!

– Во-первых, мой мальчик, – учитель тоже сделал шаг навстречу, вышел из тьмы, – за долгие годы моей работы в гимназии у меня было не так уж много учеников, которые слагали стихи на древнегреческом. А во-вторых, это вовсе не белиберда. С самого начала ваше стихотворение привлекло меня тем, что в нем показан ужас и гибельность братоубийства. И чем дальше шло время, чем более тревожным и смутным оно становилось, тем чаще я думал о том, что вы написали это стихотворение именно в предчувствии нынешних времен.

Энгельс и смущенно, и иронически вздернул плечи:

– Уж не считаете ли вы меня пророком, доктор?

– Предчувствовать могут не только пророки, иные юношеские сердца чрезвычайно чутки. Но дело сейчас не в этом. – Ханчке подошел совсем близко и положил собеседнику на плечи свои руки. Фридрих ощутил его взволнованность. – Дело в том, что позавчера в Эльберфельде немцы убивали немцев, немецкая рука проливала немецкую кровь. Пуля солдата пронзила голову одного из заключенных, которых рабочие выпустили из тюрьмы. Но восставшие не остались в долгу, их пуля угодила в самое сердце капитану фон Уттенхофену.

– Уттенхофену? – Энгельс снял руки Ханчке со своих плеч: он понял, что только сейчас-то и начнется главный разговор.

– Вы знали его?

– Немного.

– А я не знал ни заключенного, ни капитана. – Старик горестно прижал руки к груди. – Но все равно видеть это было ужасно! Человек только что улыбался майскому солнцу, что-то азартно кричал, и вдруг – лежит на мостовой уже не он, а его труп…

– Да, я немного его знал, – повторил Энгельс.

– Это было вчера… Сегодня братоубийственные страсти вроде бы стали затихать, – горячо продолжал Ханчке, – и вот вы, написавший в этом городе стихи о том, как чудовищно братоубийство, вы, читавший эти стихи здесь, в этом зале, сегодня явились в этот город во главе вооруженного отряда с единственной целью – вдохнуть новые силы в братоубийство!..

«Ратоубийство!.. бийство!.. ийство!» – снова отозвалась темнота.

Старик смолк и утомленно опустил переплетенные в пальцах руки, ожидая, что ответит его ученик, его воспитанник, его любимец.

– Вы хотите, доктор Ханчке, – тихо сказал ученик, – чтобы я покинул Эльберфельд?

– Да! И немедленно. Этой же ночью.

– Вы, очевидно, хотите, – кажется, еще тише спросил воспитанник, – чтобы со мною ушел и отряд?

– Разумеется: ему тут делать нечего.

– Иначе говоря, – совсем тихо произнес любимец, – вы хотите, чтобы в Эльберфельде все оставалось так, как было всегда.

– Да, пусть останется все по-прежнему, лишь бы не братоубийство…

Энгельс резко повернулся на каблуках, молча прошел несколько шагов в глубь зала, возвратился назад и сказал:

– Если память мне не изменяет, учитель, Полиник выступил против брата Этеокла и привел свои войска к семивратным Фивам лишь потому, что Этеокл незаконно захватил власть в этом городе.

– У вас прекрасная память, – кивнул седой головой Ханчке. – Так оно и было. Но все равно ваше стихотворение не оправдывало Полиника, оно рисовало кошмар братоубийства.

– Да, верно. Но я уже сказал, – в голосе Энгельса проскользнула жесткость, – что не в восторге от своего давнего-предавнего сочиненьица, хоть оно и на греческом языке. А главное, не кажется ли вам, доктор Ханчке, что власть, которая до позавчерашнего дня правила в Эльберфельде, неизмеримо более незаконная, чем власть Этеокла в семивратных Фивах?

– Мы не смеем об этом судить! – замахал руками учитель. – И у вас нет никаких доказательств ее незаконности.

– Вы ошибаетесь, дорогой доктор Ханчке, доказательств множество. Но я приведу лишь одно, может быть, особенно убедительное для вас.

Энгельс опять прошелся по залу, собираясь с мыслями, что-то вспоминая, потом остановился в двух шагах от собеседника и сказал:

– Мы с вами говорили тут о моих «Письмах». Между прочим, я в них писал и о том, как бесчеловечны условия труда на фабриках Эльберфельда, что из пяти рабочих трое умирают здесь от чахотки. Это была правда или плод юношеской экзальтации?

– Это сущая правда, – тотчас и с болью в голосе ответил Ханчке.

– А за десять лет, минувших с тех пор, – продолжал Энгельс, – что-нибудь изменилось на фабриках города?

Учитель помолчал, помялся и в конце концов удрученно выдавил из себя:

– Пожалуй, ничего не изменилось…

– Я писал о поголовном пьянстве среди рабочих, о переполненных кабаках, о невероятном распространении сифилиса. Что, все это теперь в прошлом? Вместо кабаков в городе процветают библиотеки, а о венерических болезнях горожане знают лишь по литературным источникам?

Учитель уже ничего не отвечал ученику. Только слышно было, как тяжело и прерывисто он дышит.

– Я писал о нищете рабочих, о том, что фабриканты пользуются любым предлогом, чтобы снизить им заработную плату, да еще приговаривают, что это на пользу рабочему: меньше будет пить. Охотно поверю, что таких бессовестных слов они уже не говорят, но поступают-то так же бессовестно, как и раньше.

– И вы надеетесь что-то изменить? – перебил Ханчке.

– Погодите. Я не кончил своего доказательства, – Фридрих сделал движение рукой, как бы отводя заданный вопрос. – Я писал, наконец, что половина детей в городе не имеет возможности учиться, что с шестилетнего возраста многие из них работают на фабриках вместе с родителями. Конечно, издали вы видели этих шестилетних рабочих. А видели вы их ручонки, когда, вместо того чтобы ловить бабочек или пересыпать песочек, худенькие, потрескавшиеся, кровоточащие, они торопливо и сосредоточенно делают дело взрослых? Вы заглядывали хоть раз в эти детские глаза, в которых уже нет ничего детского – ни желания пошалить, ни умения покапризничать, ни наивной милой хитрости, ни любопытства, ни удивления, – ничего!

Сунув в карманы стиснутые кулаки, Энгельс несколько мгновений помолчал. Ханчке уже не решался перебить его.

– Представьте себе, – Фридрих вдруг резко подался в сторону собеседника, – в шесть лет ребенок уже отвык от детских поступков и чувств: некогда шалить или любопытствовать – надо работать, бесполезно капризничать и даже плакать – никто не обратит внимания, опасно хитрить и притворяться – побьют…

Отшатнувшись, Энгельс устало опустил на секунду веки и сказал словно о том, что предстояло в этот миг его мысленному взору:

– А их усталая, разбитая, как у отцов, походка, когда после смены они возвращаются домой!..

– Это я видел, – тихо, словно только для себя, проговорил Ханчке, – видел здесь…

– А мне, доктор Ханчке, довелось видеть шестилетних рабочих не только здесь, в Эльберфельде и Бармене, но и в Англии, и во Франции, и в Бельгии… И, кстати говоря, это жуткое зрелище – одна из основных причин превращения богобоязненного отрока в редактора красной газеты. Но сейчас речь не о том. – Энгельс запнулся, делая над собой усилие, чтобы не пойти по руслу новой мысли, и заключил: – Я хочу сказать, что если власть спокойно взирает на шестилетних рабочих, на нищету, болезни, невежество лучшей, самой деятельной и плодотворной части населения, взирает и ничего не делает, чтобы изменить положение, то это может лишь означать, что такая власть абсолютно чужда народу и потому совершенно незаконна. Вот мое доказательство!

– И вы явились сюда в надежде что-то изменить? – чуть громче прежнего спросил учитель.

– Я считал бы себя последней свиньей, – Энгельс рубанул кулаком воздух, – если бы остался в стороне, когда люди моего

родного края взялись за оружие, чтобы хоть немного облегчить свою участь. Я чувствую себя в огромном долгу перед этим краем и перед этим городом. Ведь именно здесь, в Эльберфельде, в этих стенах я и мои товарищи должны были год за годом спрягать во всех наклонениях и временах латинский глагол pugno, pugnas, pugnat… Ваши нынешние ученики, конечно, твердят так же, как мы пятнадцать лет назад: pugnamus, pugnatis, pugnant… Но настал наконец час, когда надо не спрягать этот глагол, а совершать действие, которое он обозначает, – сражаться.

– Фридрих! – голос Ханчке дрогнул. – Поверьте моим сединам – вы ничего не добьетесь. Через несколько дней здесь будут войска прусского короля, все пойдет по-старому. Только зря еще раз прольется кровь…

– Нет, вы ошибаетесь, доктор Ханчке, если кровь прольется, то она прольется не зря.

– Но ведь двадцать лет тому назад в Эльберфельде уже было восстание. Вы это не помните, а я помню отлично. И что оно изменило? Ничего!

– Как знать, учитель! Ничто в этом мире не проходит бесследно. И не исключено, что без восстания двадцать девятого года было бы невозможно восстание сорок девятого.

Ханчке делалось не по себе при виде тщетности своих усилий. Но у него был в запасе еще один, последний, как ему казалось, самый веский довод, и вот он прибег к нему:

– Фридрих! Но ведь может пролиться кровь не чья-нибудь, не безвестных рабочих и солдат, вернее, не только их, но и ваша. Это достаточно вероятно, ибо ваши враги не только прусские войска, у вас много врагов здесь, в городе. И вы для них не безымянный безликий бунтовщик, они прекрасно знают вас и по имени, и в лицо…

– Ну что ж! – Энгельс улыбнулся, зная, что собеседник не разглядит его улыбки. – Меня заранее утешает сознание хотя бы того, что мои товарищи в «Новой Рейнской газете» не поскупятся на место под некролог и что некролог – я знаю, кто его напишет, – будет образцом литературы этого жанра.

– Как вы можете шутить! – с отчаянием и болью воскликнул Ханчке. – А вы подумали о матери, об отце, о своих сестрах и братьях, наконец, о своем старом учителе, для которого вы всегда были родным сыном?

Энгельс понял, что старику действительно не до шуток, но и уступить ему, дать какое-нибудь утешительное обещание он, конечно, не мог.

– Доктор Ханчке, уже очень поздно. Пойдемте, я провожу вас домой, в городе неспокойно.

Ханчке несколько секунд стоял недвижно, потом совсем близко подошел к Энгельсу, опять, как тогда, положил ему руки на плечи и прерывистым, едва не плачущим голосом, тихо, с трудом проговорил:

– Вашей прекрасной юностью… своей старостью… стенами этого зала, который так хорошо знает нас обоих… я заклинаю вас, Фридрих, я умоляю вас покинуть город.

Энгельс снял слабые руки старика со своих плеч и, осторожно пожимая одну из них, мягко, но настойчиво и громче, чем в первый раз, проговорил:

– Пойдемте, я провожу вас…

•

На другой день, 12 мая, в субботу, Энгельс чуть свет был на ногах. И опять летал на коне из конца в конец города, руководил строительством баррикад, рытьем окопов, созданием узлов обороны… Но едва ли не раньше, чем он проснулся, в Комитете безопасности с новой силой разгорелась начавшаяся еще вчера борьба вокруг его имени. Слухи и страхи, бродившие по городу, за ночь подогрели оба лагеря – и тот, что требовал лишить Энгельса всех полномочий, даже выслать из города, и тот, который настаивал на предоставлении ему бóльших прав.

В два часа пополудни к Энгельсу был послан курьер с приказанием немедленно явиться в ратушу. Энгельс, конечно, не мог знать, зачем его вызывают, но насторожился. В высоких запыленных сапогах, в брюках, испачканных глиной, в разорванном у плеча сюртуке, он вошел в зал, готовый ко всему. Такой вид некоторые члены Комитета сочли вызывающим.

– Господин Энгельс, – встретил явившегося Хёхстер, – доложите Комитету безопасности о том, что вы проделали за минувшие сутки.

Энгельс усмехнулся попытке председателя создать впечатление, будто Комитет работает с величайшей четкостью: вчера поручил – сегодня проверяет. Он уже успел увидеть в действиях, во всем поведении Комитета столько нерадивости и трусости, безалаберности и сумятицы! Однако же доложил о сделанном им за сутки как положено.

– Говорят, минувшей ночью вы возглавили разграбление оружейного склада? – спросил кто-то, едва сдерживая негодование.

– Минувшей ночью, – спокойно и четко, даже не повернув головы на голос, ответил Энгельс, – я крепко спал на квартире,

любезно отведенной мне Комитетом. А событие, которое вы имеете в виду, говоря о разграблении, произошло не ночью, а вечером. Я не руководил им, как вы утверждаете. Более того, я хотел предупредить стихийную, необдуманную раздачу оружия. Увы, добиться этого мне не удалось.

Члены Комитета помолчали, Хёхстер о чем-то перемолвился со своими соседями, потом попросил Энгельса подойти и со словами: «Мы просим вас взять на себя и артиллерию…» – протянул ему еще один мандат. Корявым почерком Хюнербейна там было написано:

> «Настоящим гражданин Ф. Энгельс уполномочивается установить орудия по своему усмотрению, а также потребовать необходимых для этого мастеровых. Связанные с этим расходы оплачивает Комитет безопасности. Эльберфельд, 12 мая 1849 г.
>
> Комитет безопасности.
>
> *За комитет Потман, Хюнербейн, Трост».*

Энгельс знал о борьбе в Комитете вокруг его персоны. По этому новому мандату он понял, что сегодня тут возобладали его сторонники, но никакой уверенности в том, что произойдет здесь завтра, у него не было. Разыскав глазами Хюнербейна, он озорно подмигнул ему, понимая, что тот не только своей рукой выписал мандат, но и настойчивей всех добивался его. Хюнербейн чуть заметно кивнул и утвердительно-ободряюще опустил веки.

– Могу я быть свободен? – по-военному четко и одновременно весело, так, словно перед ним люди, которых действительно следует уважать, которым надо беспрекословно подчиняться, спросил Энгельс.

– Да. И приступайте к своим новым обязанностям, ни на минуту не забывая старых, – ответил Хёхстер, с явным удовольствием произнося эти решительные, веские слова.

Энгельс четко повернулся и уже направился к выходу, как Хёхстер вдруг остановил его:

– Одну минуту! Возьмите этот шарф – знак вашей принадлежности к командному составу.

Энгельс снова подошел к председателю и взял шарф. Такие шарфы алого цвета он уже видел у многих. Конечно, и ему хотелось носить это небольшое красное знамя, поэтому он тут же обмотал шарф вокруг шеи.

Выходя из дверей ратуши, Энгельс увидел двух подъезжавших всадников. В одном он тотчас узнал Мирбаха.

– Отто! – крикнул он, сбегая с крыльца.

– Фридрих! Как я рад, что ты здесь! – Всадники спешились, и Мирбах, бросив поводья своему спутнику, подошел к Энгельсу: – Я знаю, что это ты предложил Комитету вызвать меня. Спасибо за честь, но буду ли я благодарить тебя за все остальное – не знаю.

– Иди, они ждут тебя. – Энгельс кивнул головой в сторону ратуши.

– Нет, прежде я хочу поговорить с тобой.

– Этим ты увеличишь и без того немалое число моих врагов.

– Черт с ними, с врагами! Дюжиной-другой больше или меньше – разве для тебя это когда-нибудь имело значение?

– Пожалуй, ты прав… Ну, тогда влезай обратно в седло, и я тебе не только все расскажу, но и покажу.

Мирбах отдал кое-какие распоряжения своему спутнику, и через несколько минут они с Энгельсом уже ехали конь о конь по улицам Эльберфельда.

– Итак, Фридрих, что ты думаешь обо всем этом? Каковы, по-твоему, наши шансы? – искоса бросив озабоченный взгляд, спросил Мирбах.

– Шансы? – Энгельс ласково потрепал по шее коня. – Шансов никаких. Восстание обречено, несмотря на очень благоприятную обстановку во всей Германии.

Мирбах ни слова не ответил, всем видом выражая желание слушать дальше.

– Посуди сам. Вся наша вооруженная сила не больше семисот – восьмисот человек. Соседние города – Бармен, Кроненберг, Леннеп, Лютрингхаузен и другие – к восстанию не примкнули. Мы знаем, что восстали города Хаген, Изерлон и Золинген, но связь установлена только с последним из них. Пруссаки обладают колоссальным превосходством сил. Вся наша провинция окружена семью крепостями, из которых три – крепости первого класса. Развитая сеть железных дорог Рейнской Пруссии и целый флот грузовых пароходов дают возможность правительству быстро доставить войска в любой пункт. Правительство приказало стянуть из Везеля, Вестфалии и восточных провинций целую армию в двадцать тысяч человек с многочисленной кавалерией и артиллерией. А за Руром по всем правилам военного искусства сформирована стратегическая группировка. В этих условиях восстание в Эльберфельде, да и в провинции вообще, может иметь шансы на успех только при совершенно исключительных обстоятельствах.

– При каких же именно? – нервно стегнув лошадь, бросил Мирбах.

– Ну, тут уж мы вступили бы в область чистой фантастики, –

горько усмехнулся Энгельс, в свою очередь давая поводья своему коню. – Главное условие – чтобы крепости оказались в руках народа. А это может случиться только в том случае, если военные власти, напуганные какими-нибудь мощными внешними событиями, потеряют голову или если войска хотя бы частично примкнут к восставшим. Но рассчитывать ни на то, ни на другое, как ты понимаешь, не приходится.

– Если ты так ясно видишь, что восстание обречено, то зачем же ты здесь? И зачем настаивал на моем назначении? – В голосе Мирбаха слышались раздражение и досада.

– Я об этом уже говорил членам Комитета. Тебе скажу подробнее и откровеннее. – Энгельс был по-прежнему спокоен. – Во-первых, меня сюда прислал Кёльн, точнее говоря, Союз коммунистов и «Новая Рейнская газета». Во-вторых, не я и не мои единомышленники поднимали это восстание, но раз уж оно началось, я, сам уроженец Бергского округа, счел долгом чести быть в эти дни здесь. Надеюсь пригодиться в чисто военном отношении. А в-третьих, если хочешь знать, я защищаю свою газету, ибо уверен, что как только восстание подавят, так сразу прикроют и ее.

– Ну а меня, меня-то зачем предложил позвать?

– Я подумал так: если ты ездил драться за свободу даже в Грецию, то уж когда за это же самое идет борьба в родном доме, ты все равно не усидишь на месте.

– Ты прав, черт возьми! – Мирбах яростно хлестнул лошадь, и оба всадника пустились рысью.

Они объехали все баррикады, все укрепления, осмотрели все предложенные Энгельсом позиции, где надо будет срочно установить орудия, и Мирбах, несмотря на свой большой практический опыт военного-профессионала, не мог сделать ни одного замечания Энгельсу по поводу его решений и предпринятых мер.

Когда они расставались, Мирбах сказал:

– Ты будешь числиться моим адъютантом, что ничуть не стеснит твою свободу, не свяжет тебе руки, но, надеюсь, в иных условиях защитит кое от кого и поможет.

– Хорошо, – охотно согласился Энгельс. – Я твой адъютант, но поможет ли это мне, защитит ли в трудном случае, не знаю…

•

Настал третий день пребывания Энгельса в восставшем Эльберфельде. В городе продолжала царить сумятица. Комитет

безопасности избавил себя от всех серьезных и рискованных дел. Заботу о защите города он целиком взвалил на Военную комиссию, сохранив за собой лишь контроль над ней, который фактически сводился к тому, чтобы сдерживать и тормозить ее деятельность. Избегая всякого живого соприкосновения с восстанием, члены Комитета занимались только тем, что успокаивали друг друга, с серьезным видом решали пустячные текущие дела, улаживали всякого рода столь же пустячные недоразумения (а вопросы посерьезнее откладывали в долгий ящик), размышляли и произносили речи о том, как далеко должно зайти восстание, издавали бесчисленные приказы, которые были в вопиющем противоречии друг с другом, а сходились лишь в том, что увеличивали неразбериху и отбивали у рабочих интерес к восстанию. Но во всем этом сумбуре и хаосе Энгельс с каждым днем, даже с каждым часом все отчетливее чувствовал одну вполне определенную и ясную тенденцию – растущее сопротивление Комитета и буржуазии вне его всем мероприятиям по вооружению и укреплению города. Всякий приказ, который действительно мог бы содействовать обороноспособности города, и прежде всего – приказы самого Энгельса немедленно отменялись первым же членом Комитета, как только он узнавал о таком приказе. Вчера вечером Энгельс приказал своим саперам соорудить баррикаду в Подгорном переулке около дома владельца булочной. Саперы воздвигли весьма внушительную махину. А через час булочник примчался с подписанным Карлом Геккером приказом, требовавшим разобрать баррикаду. Энгельс на глазах булочника разорвал в мелкие клочки приказ Геккера и распорядился установить усиленную охрану баррикады.

Энгельс знал, что число его сторонников в Комитете стремительно падает, число противников растет, но, несмотря на это, несмотря на весь ералаш в городе, он продолжал работать, не зная устали, не щадя сил, забывая о еде и сне. В его голове рождались все новые планы, замыслы, решения, как укрепить город, как лучше подготовить его к встрече с неприятелем, которая неотвратимо приближалась.

Свой третий день в Эльберфельде он решил начать с осмотра Хаспелерского моста. Этот мост соединяет восставший Эльберфельд с мирным Барменом. Оттуда вполне возможен удар правительственных войск. Поэтому на мосту соорудили баррикаду и поставили две мортиры. Надо посмотреть, как там и что.

Энгельса сопровождал Хюнербейн. Метрах в пятидесяти от моста они спешились, привязали коней к садовой изгороди и

пошли дальше. Когда приблизились к мосту, командир небольшого отряда, которому была поручена его охрана, узнав Энгельса, подбежал и доложил, что за рекой все тихо, мортиры в полной боевой готовности, баррикада построена надежно, но есть намерение дополнительно укрепить ее фланги. Энгельс все осмотрел, все потрогал своими руками. Даже при желании придраться было не к чему.

– Молодцы! – сказал он, весело взглянув на вооруженных рабочих.

– Молодцы-то молодцы… – замялся командир отряда.

– А что такое? – насторожился Энгельс. – Ну, говори, говори!

Командир был явно смущен и не хотел продолжать разговор.

– Да видишь ли, – вмешался Хюнербейн, до этого шептавшийся о чем-то в сторонке с одним из членов отряда, – почти целые сутки они ничего не ели. Ни провианта им не присылают, ни денег не дают.

– Это правда? – зло блеснул глазами Энгельс в сторону командира.

– Истинная правда, господин Энгельс! – печально и удрученно подтвердил командир.

– Ах, сволочи! – Энгельс так стукнул кулаком по перилам моста, что они загудели. – Ну я покажу сегодня этому Хёхстеру! Они держат под арестом как заложника фон дер Хейдта и кормят этого паразита по его ежедневным заказам. Еще бы! Ведь он брат министра! А для защитников города у них нет куска хлеба, нет нескольких зильбергрошей! Стервецы!..

Энгельс еще раз стукнул кулаком по перилам и взволнованно зашагал поперек моста. Немного успокоившись, он остановился и сказал, глядя на баррикаду:

– Выглядит она внушительно. А не развалится, если вам придется на нее взбираться и отбивать врага?

– А вы попробуйте влезьте на нее сами, – предложил командир.

Энгельс высмотрел подходящее место на самом верху и стал к нему пробираться. Баррикада держалась прочно. Все в ней было хитро переплетено, притиснуто, скомпоновано.

Взобравшись на самую вершину, Энгельс невольно замер: с высоты баррикады, увеличенной высотой моста, пред ним предстал родной Бармен… Когда-то в своих нашумевших «Письмах» он писал: «Наконец, вы опять подходите к Вупперу, и красивый мост ведет вас в Бармен, где, по крайней мере, больше считаются с требованиями архитектурной красоты. За мостом все принимает более приветливый облик; вместо неказистых эльберфельдских домов – не старомодных и не современных, не

красивых и не карикатурных – здесь появляются большие, массивные здания, построенные со вкусом, в современном стиле: повсюду перед вами вырастают новые каменные дома, мостовая кончается, и продолжением улицы служит прямое шоссе, застроенное с обеих сторон. Между домами виднеются зеленые лужайки-белильни. Вуппер здесь еще прозрачен, и легкие очертания тесно громоздящихся гор, с пестрой сменой лесов, лугов и садов, среди которых повсюду выглядывают красные крыши, делают местность, по мере того как вы по ней продвигаетесь, все более привлекательной. С середины дороги виден фасад стоящей несколько в глубине нижнебарменской церкви; это самое красивое здание долины, очень хорошо выполненное в благороднейшем византийском стиле».

И вот спустя десять лет он стоит на этом красивом мосту, смотрит на свой родной город и думает совсем не об архитектурных его особенностях, не о том, чем он выгодно отличается от Эльберфельда, не о прелести окрестных гор и лесов. Он смотрел и думал, какие из этих массивных каменных зданий – за десять лет их стало, конечно, больше, и они ближе подошли к Эльберфельду – могут быть использованы правительственными войсками как укрытия для незаметного сосредоточения с целью штурма моста; он смотрел и думал, какие из этих прелестных зеленых лужаек скорее всего будут использованы для установки орудий, которые станут бомбардировать Эльберфельд; он смотрел и думал, что благороднейший византийский стиль нижнебарменской церкви не помешает противнику превратить обе ее колокольни в великолепные наблюдательные пункты… Он думал и о том, можно ли будет ружейным выстрелом снять наблюдателей с колоколен; и о том, достанет ли ядро мортиры до тех зеленых лужаек, вдоль и поперек истоптанных им в детстве; и о том, что надо усилить наблюдение за тем берегом – за барменским, за родным.

– Фридрих! – вдруг чей-то страшно знакомый сильный голос прервал его мысли. – Что ты там делаешь? А ну, поди сюда!

Энгельс поглядел вниз. Там, на дороге, ведущей в церковь (ведь сегодня воскресенье!), стоял, обернувшись к нему лицом, человек, которого он меньше всего на свете хотел сейчас видеть, – отец.

Подойти или нет? Ничего хорошего эта неожиданная встреча не даст, ничего. Но он вспомнил, что прошлой осенью, когда пришлось бежать от преследования властей из Кёльна и поселиться в Швейцарии, отец справлялся у друзей о его судьбе, просил адрес, чтобы послать деньги, и заплатил его старые долги.

Он вспомнил, что Маркс в те дни писал ему в Берн: «Старик начинает испытывать за тебя страх». И вспомнив это, решил подойти.

Отец отошел в сторонку от толпы, направлявшейся в церковь, и ждал. Фридрих сказал Хюнербейну и командиру отряда, что скоро вернется, и стал спускаться на ту сторону баррикады. Спустился, одернул сюртук и неторопливо направился к отцу.

Фридрих Энгельс-старший для своих пятидесяти трех лет выглядел молодцом. Этому, бесспорно, весьма способствовали тщательность и вкус, с которыми он всегда одевался.

Это был сильный, много на своем веку повидавший человек. Его закалила ожесточенность торговой конкуренции; в нем развили способность трезво смотреть на вещи и сопоставлять их частые деловые поездки в Париж и Брюссель, в Лондон и Манчестер, в Амстердам и Вену; в мире чистогана и гроссбухов ему помогла остаться человеком с живой душой неуемная страсть к искусству – любовь к творениям Баха и Бетховена, Шекспира и Гёте, Рембрандта и Брейгеля. Это был человек недюжинного ума, крупного характера и сильных страстей. Бог ничем его не обидел. Сперва он дал ему богатство: когда после смерти отца три сына решили разыграть наследованную всеми троими фабрику, то красный бильярдный шар, дававший по жребию право на нее, вытащил из цилиндра он, Фридрих. Точнее говоря, это еще не было настоящее богатство. Настоящее богатство он создал позже своими руками и своей головой, сам. Но фабрика, доставшаяся ему, несомненно, по божьему промыслу, заложила основу его нынешнего богатства. Потом бог дал ему здоровую, красивую и добрую жену. А вслед за этим, как по заказу, – четырех сыновей и четырех дочерей. И все крепкие, ладные, умные. Герман уже вышел на отцовскую стезю; вслед за ним станут, конечно, фабрикантами и купцами Эмиль и Рудольф. Да, дело отца в надежных руках. Радуют отцовское сердце и дочери. Мария и Анна уже замужем за людьми своего круга. Нет оснований беспокоиться за будущее и Хедвиги и пятнадцатилетней Элизы. Словом, Фридрих Энгельс-старший мог бы быть одним из счастливейших отцов Бармена или даже всей Рейнской Пруссии, если бы только… Если бы только не этот парень, что не торопясь идет к нему с баррикады, его первенец, его, бесспорно, щедрее всех остальных детей взысканный большими милостями сын, если бы только не Фридрих Энгельс-младший…

И отец и сын оба не терпели сентиментальности. Поэтому, хотя они и не виделись больше семи месяцев, не кинулись друг другу в объятия, не облобызались, а сдержанно, по-мужски, лишь пожали руки.

– Что это у тебя за нелепый шарф? – усмехнулся отец. – Неужели ты не видишь, что он тебе совершенно не идет? Я не за тем когда-то выкладывал такие деньги на твое воспитание, чтобы видеть тебя так безвкусно одетым.

– Я не выбирал себе этот шарф, – спокойно глядя в глаза отца, ответил сын. – Мне его вручили в Комитете безопасности Эльберфельда как знак командирского достоинства.

– Ах, вот оно что! Значит, это правда. Я не хотел верить слухам, но ты подтверждаешь их.

– Да, я в Эльберфельде, я с восставшими, я облачен командирскими полномочиями.

Они помолчали. В голове отца теснилось столько неотразимых аргументов, убедительнейших доводов против участия сына в восстании, что он не сразу мог решить, какой из них предпочесть.

– А ты не забыл, – наконец проговорил он и тут же подумал, что это будет, пожалуй, не самый веский аргумент, – как прошлой осенью тебя разыскивали словно беглого каторжника? Не забыл, как по всей Вуппертальской долине и в твоем родном городе был расклеен приказ прокурора Геккера о твоем аресте? Днем, при виде толпы, читающей этот приказ, я готов был от стыда провалиться сквозь землю, а ночью мы с Германом тайком сдирали со столбов и заборов эти проклятые листы. Их и сейчас еще целый ворох у нас на чердаке…

– Ничего этого я не забыл, – жестко сказал сын.

– Тот белый листок маячил перед моими глазами столько раз, – отец на мгновение опустил веки, – что я и теперь вижу его, как наяву… «Лица, приметы которых описаны ниже, бежали, чтобы скрыться от следствия, начатого по поводу преступлений, предусмотренных статьями 87, 91 и 102 Уголовного кодекса. На основании распоряжения судебного следователя города Кёльна о приводе этих лиц настоятельно прошу все учреждения и чиновников, которых это касается, принять меры к розыску указанных лиц и в случае поимки арестовать и доставить их ко мне». А дальше шли твои приметы. И я-то лучше, чем кто бы то ни было, знал, где они точны, где приблизительны, где вовсе неправильны.

Отец вспомнил сейчас, что тогда его больше всего взволновало и изумило даже не само появление приказа, а именно это описание примет, где живого человека, его родного сына, его плоть и кровь, его наследника, наконец, раскладывали на какие-то непостижимо странные, словно не связанные друг с другом, составные элементы: глаз, лоб, нос…

– Да, такое чтение не для родителей, – мрачновато улыбнулся

сын.

– Не дай тебе бог когда-нибудь прочитать нечто подобное о своем сыне, – медленно проговорил отец.

– Мать здорова? – сдержанно спросил Фридрих.

– Здорова, – резко ответил отец. – Но я не знаю, как она почувствует себя после моего рассказа о нашей встрече.

Мимо, направляясь в церковь, шли горожане. Почти все они хорошо знали Энгельса-старшего, многие узнавали и того, с кем он разговаривал. Одни осуждали старика, другие его жалели, третьи – их было больше всего – возмущались сыном и даже недоуменно спрашивали друг друга: «Что смотрит полиция? Хватать его надо!» Но никто не решался приблизиться к собеседникам: слишком велико было среди барменцев почтение к имени и богатству Энгельса-старшего.

– Братья Греберы… – начал было какую-то новую мысль, какой-то новый довод отец.

– Как поживают эти ночные колпаки? – перебил сын.

– Колпаки! – возмутился отец. – Ведь когда-то они были в числе самых близких твоих друзей, хотя ты знал, что они готовятся стать пасторами.

– Да, знал. Но я всегда говорил им, что если они получат сельский приход, а вместе с ним возможность мирно прогуливаться каждый вечер со своими женами и детьми, то большего им и не надо, они будут блаженствовать.

– И вот они оба – и Вильгельм, и Фридрих – уже получили приходы. Ты можешь иронизировать сколько тебе угодно, но они живут честной, достойной и счастливой жизнью.

– Отец, – сыну хотелось рассмеяться, но он понимал, как это было бы неуместно здесь, в этой обстановке, – неужели ты можешь представить меня в сутане?

– Ты знаешь, – сурово глядя ему в лицо, сказал отец, – я никогда не был религиозным фанатиком, но честно скажу: лучше сутана, чем этот шутовской шарф. – Он презрительно ударил тыльной стороной ладони по свисавшему на грудь красному концу.

Сын поправил шарф, с нарочитой старательностью разгладил его, насмешливо проговорил:

– Поздно, отец, поздно. Я уже не стану пастором, никогда не надену сутану…

– Не смей паясничать! – полушепотом, чтобы не услышали прохожие, воскликнул отец. – Дело вовсе не в сутане. Перед тобой в жизни открывалось много иных прекрасных дорог. Они открыты еще и сейчас. Посмотри на своих школьных товарищей: Вурм стал филологом, Фельдман – юристом, Вильгельм Бланк –

коммерсантом, Рихард Рот – уже фабрикант… А ты с твоими способностями то как вол работаешь в газете на этого Маркса, то по его же наущению, подобно школяру, носишься по баррикадам, украсив себя дурацкой тряпкой…

– Фридрих! – донесся с моста голос Хюнербейна. – Нам пора! Нас ждут!

Энгельс поднял руку в знак того, что слышит, что понял, что скоро идет, и, повернувшись снова к отцу, сказал:

– Во-первых, ты не можешь отрицать, что в двадцать пять лет, когда никто из моих сверстников еще не повторил ни один из подвигов Геракла, я уже издал довольно серьезную книгу…

– Кому нужна твоя книга! – выпалил отец, словно только и ждавший упоминания об этой книге. – Ты пишешь в ней о том, что умным людям давно известно, а дураков никогда не заинтересует. Эксплуатация! Нищета! Бесчеловечность! Кто об этом не знает? Но разве есть какие-нибудь иные пути создания современной промышленности и развития торговли? Да все цивилизации мира держались на этом! А твои пророчества, твои уверенные предсказания о том, что завтра или послезавтра настанет золотой век… Господи, как это все наивно и нелепо! Ты не понимаешь даже меры своего непонимания жизни. А главное – какое дело тебе, немцу, до положения рабочего класса в Англии? И до английской буржуазии тоже…

– Я бил по мешку, но имел в виду осла.

– Это поняли все, – отмахнулся отец, – всем ясно, что ты хотел сказать и нам, немецкой буржуазии: вы так же отвратительны, как англичане, только менее опытны и искусны, чем они. Но… – Отец, видимо, сбился вгорячах с мысли и, не зная, как кончить фразу, еще раз досадливо махнул рукой. – Уж лучше бы ты, Фридрих, продолжал писать стихи, чем такие книги. Право, там у тебя кое-что получалось.

– Да-а, – с ироническим сожалением протянул сын, – я упустил великолепную возможность стать первым поэтом Бармена… Не думаю, чтобы мои стихи раскупались нарасхват, но определенный сбыт они, конечно, нашли бы, так как всегда существует и даже постоянно растет вместе с ростом населения потребность в клозетной бумаге.

– Ты то же самое, бесстыдник, думаешь и о своих занятиях музыкой?

– О моих хоралах? О моем пении? Да, приблизительно то же самое… Я, отец, рожден не для музыки и не для стихов. Вот ты в свое время вытащил красный шар, и это сделало тебя богатым фабрикантом. Твоя судьба – красный шар, а моя – красный шарф.

– Ты всегда умел хорошо сказать, – сразу как-то сникнув,

видимо поняв наконец всю бесполезность разговора и устав от него, произнес отец.

– А на прощание, – сын старался придать своему голосу как можно больше мягкости и добродушия, – я прошу тебя никогда не касаться наших отношений с Марксом. Ты о них ничего не знаешь.

– Как это не знаю! – вдруг снова оживившись, возразил отец. – Разве ты не отдал ему гонорар за свою книгу?

– Ну, отдал, хотя не понимаю, откуда тебе это известно.

– И разве это не доказывает, что ты на него работаешь?

– Здесь, отец, ты ничего не понимаешь. Ничего.

– Как бы то ни было, а когда кончится вся эта заваруха, я отправлю тебя в Манчестер, подальше от твоего дружка.

Сын ничего не ответил. Коротко и отчужденно они пожали друг другу руки и разошлись. Уже от моста Энгельс оглянулся и увидел, что отец, изменив свое прежнее намерение, направился не в церковь, а домой. Видимо, с той смутой и болью, что породила у него встреча с сыном, он не хотел сейчас беседовать с богом.

Уже взобравшись на баррикаду, с самого верха, Энгельс еще раз поискал глазами отца и, найдя, едва поверил себе: старик опять передумал и теперь шагал уже к церкви. Тут было чему изумиться: ведь отец никогда не менял так быстро свои решения.

Фридрих Энгельс-старший одним из последних пришел в церковь. Пройдя на свое обычное место в первом ряду, он всю службу так истово, горячо и сосредоточенно молился, что все невольно обратили на это внимание, но никто не знал, что его молитва была о спасении блудного сына.

•

На понедельник, 14 мая, Мирбах назначил общий сбор боевых отрядов, чтобы составить наконец ясное представление о вооруженной силе восставших. Ландвер и гражданское ополчение еще накануне явиться отказались. Значит, придут главным образом рабочие. Сколько же их?

Местом сбора было выбрано пригородное село Энгельнберг. Отряды должны прибыть туда в восемь утра. По договоренности с вечера Энгельс в начале восьмого заехал за Мирбахом, и они вместе отправились. Но едва миновали ратушу, как сзади донесся знакомый голос:

– Господин Энгельс! Господа!.. Одну минуту!..

Вдогонку торопился Хёхстер. Мирбах и Энгельс остановили

своих лошадей. Энгельс хотел было спешиться, но решил обождать. Подойдя, Хёхстер поздоровался и, явно преувеличивая свою одышку от быстрой ходьбы, чтобы скрыть за ней подлинное волнение, сказал:

– Господин Энгельс, я обязан… я уполномочен сообщить…

И по виду Хёхстера, и по первым же его словам Энгельс тотчас понял, что речь пойдет о чем-то весьма неприятном, и раздумал слезать с лошади.

– Против вашего поведения, – уже спокойнее продолжал Хёхстер, – против всей вашей деятельности в Эльберфельде, господин Энгельс, решительно никто ничего не может возразить. Наоборот, как вам известно, Комитет безопасности весьма благожелательно оценил ваши энергичные усилия по укреплению обороны города.

– Благодарю, – с иронической галантностью Энгельс приподнялся на стременах. – Благодарю, благодарю.

– Но все же население Эльберфельда…

– Вам бы следовало сказать «эльберфельдская буржуазия», господин председатель. – Энгельс уже понял, что сообщит ему сейчас Хёхстер.

– Население Эльберфельда, – не отвечая на реплику, продолжал Хёхстер, – в высшей степени встревожено вашим пребыванием в городе. Наши жители, которые хотят лишь одного – признания имперской конституции, боятся, как бы вы не провозгласили красную республику.

– Разумеется, с полным обобществлением имущества и жен? – засмеялся Энгельс. – Ты слышишь, Отто, какие чудовищные намерения у твоего адъютанта?!

– Господин Хёхстер, – примирительно сказал Мирбах, – опасения и страхи, о которых вы говорите, вызваны недоразумением. Ну посудите сами, чтоб провозгласить так называемую «красную республику», надо прежде свергнуть существующую власть, то есть ваш Комитет. А с какими силами господин Энгельс мог бы это осуществить?

– Вы забываете о его популярности среди рабочих, – ответил Хёхстер, – забываете об отряде золингенцев, которых он привел и которые готовы ради него на все.

– Из ваших слов можно заключить, господин председатель, – теперь Энгельс говорил уже вполне серьезно, – что не только суммарное и безликое население, но и вы сами верите в возможность захвата мной власти и боитесь этого.

Хёхстер несколько мгновений помолчал, размышляя, следует ли ответить на слова Энгельса, и, решив, что спор с ним весьма нежелателен, даже опасен, что здесь лучше быть кратким, сказал:

– Как бы то ни было, а я должен заявить, что население единодушно желает, чтобы вы, господин Энгельс, незамедлительно покинули наш город.

Энгельс снова поднялся в стременах, но уже не так, как в первый раз, а резко, напряженно.

– Единодушно? – спросил он. – Разве минувшей ночью был проведен по этому вопросу плебисцит? Господин Хёхстер, в лучшем случае вы могли бы говорить сейчас от имени Комитета безопасности, а уж никак не всего населения и даже не всей буржуазии.

– Хорошо, – на этот раз Хёхстер уже не мог сделать вид, что никакой реплики не было, – я говорю с вами как председатель Комитета и повторяю то же самое требование. А заодно верните мне шарф, который я вручил вам как знак командирского отличия.

Энгельс медленно снял шарф, но не отдал его, а стал зачем-то неторопливо скручивать.

– Я никому не намерен навязывать своих услуг, – сказал он, – но и покидать свой пост по первому, юридически даже не оформленному требованию тоже не намерен. Это было бы малодушно. А поэтому, не принимая на себя заранее никаких обязанностей, я настаиваю, чтобы требование о моем изгнании было предъявлено мне в письменной форме, черным по белому, – понимаете? – черным по белому, – он дважды резко рассек воздух ладонью, – и за подписями всех членов Комитета!

Волнение Энгельса передалось его лошади, и она стала нервно перебирать ногами, испугав Хёхстера, который и так старался держаться не слишком близко.

– Вы прекрасно знаете, – сказал Хёхстер, отступая на два шага, – что ваше условие, во-первых, незаконно: решения в Комитете принимаются простым большинством голосов; во-вторых, оно и невыполнимо, так как всегда кого-то из членов Комитета нет на месте.

– Вы еще будете рассуждать о законности и незаконности! – возмутился Энгельс. – Вы, до сих пор не сумевший навести в городе элементарный порядок, обеспечить соблюдение простейших правил организованности. У вас даже защитники баррикад голодают – законно это или не законно?

Лошадь, еще более возбужденная гневным голосом своего всадника, взметнулась на дыбы. Хёхстер стремительно отскочил в сторону, и Энгельс, после нескольких энергичных усилий совладав с лошадью, бросил ему:

– Я сказал все!.. Ну, а ваш шарф, – он был теперь в его руках крепко скрученным жгутом, – мне еще пригодится! – С этими

словами Энгельс пустил поводья и хлестнул лошадь тугим красным жгутом; лошадь еще раз взмыла на дыбы, потом с маху ударила в землю передними копытами и понесла. Мирбах заторопился вслед.

Когда Мирбах догнал Энгельса и поравнялся с ним, тот, еще клокоча от гнева, спросил:

– Отто, тебе, как главному коменданту города, я нужен?

– Еще бы! Я не знаю, что без тебя стал бы делать.

– Значит, ты не хочешь, чтобы я уехал? Ты против моего изгнания?

– Что за разговоры, Фридрих! Разумеется, против.

– И у тебя достанет смелости заявить об этом Комитету?

– А ты сомневаешься?

Энгельс помолчал, взвешивая слова Мирбаха; раскрутил свой шарф, снова обвил его вокруг шеи, бросил один конец за спину, другой – на грудь.

– Ну, если так, – сказал он повеселевшим голосом, – тогда я сейчас же отправлю в Комитет нарочного с заявлением, в котором напишу, что поскольку Отто Мирбах приглашен в город на пост главного коменданта по моему предложению и я являюсь его адъютантом, то требование Комитета безопасности о моем отъезде я исполню лишь в том случае, если это мне прикажет Мирбах. Что ты скажешь?

– Ты противопоставишь меня всему Комитету, – не сразу ответил комендант, – даже вознесешь выше Комитета. Это, разумеется, и нелогично, и незаконно.

Энгельс метнул яростный взгляд на Мирбаха.

– И ты заводишь ту же песню! А для меня сейчас существует лишь одна логика – логика борьбы за интересы рабочих, и для меня сейчас лишь то законно, что служит этим интересам. А они диктуют мне необходимость оставаться здесь невозможно дольше и сделать все, что в моих силах, для обороны города. Я тебе, кажется, уже говорил: есть все основания ожидать, что падение последней баррикады Эльберфельда будет вестником скорого прекращения «Новой Рейнской газеты». Я защищаю здесь многое, и в том числе – свою газету. И сейчас лишь ты можешь мне в этом помочь.

– Но пойми, Фридрих, Комитет не захочет и не станет считаться со мной! – воскликнул Мирбах.

– Там видно будет. Скажи мне только одно: ты возражаешь, чтоб я послал такое письмо, или нет?

– Не возражаю. Дело твое. Но учти, что последствия трудно предвидеть.

– Спасибо. За последствия отвечаю я.

Как только они прибыли на место общего сбора, Энгельс тут же написал заявление и со знакомым рабочим-золингенцем отправил его в Комитет. Затем он присоединился к Мирбаху, и они вместе выстраивали на лугу отряды, беседовали с командирами, производили учет всего вооружения, выясняли нужды бойцов, кого-то отчитывали, кому-то давали совет, о ком-то расспрашивали… Выявилось, что вся вооруженная сила восставших насчитывает 759 человек. Мирбах был удручен этой цифрой, а Энгельса она словно подхлестнула: видя, что силы так невелики, он словно стремился каждому отряду, каждому бойцу добавить своих сил, своей энергии, своего презрения к врагу.

Энгельс так увлекся всеми многосложными делами общего сбора, что забыл и о разговоре с Хёхстером, и о своем письме. Мирбах иногда посматривал на него со стороны трезвыми глазами много повидавшего на своем веку человека и с грустью думал: «А ведь там, в ратуше, наверное, уже готово решение Комитета». Энгельс удивился, когда рабочий-золингенец снова предстал перед ним со словами: «Вам пакет».

– Какой пакет? От кого?

– Из Комитета безопасности.

– Ах да! – словно вернувшись из приятного сна к горькой действительности, воскликнул Энгельс. – Вы передали мое письмо?

– Самому председателю.

– Ну и что он?

– Он его тут же прочитал, сказал: «Это не меняет нашего решения» – и хотел было отправить уже приготовленный для вас пакет со своим курьером, но того не смогли найти, и он доверил мне.

Энгельс вскрыл пакет, достал бумагу и – почерк был аккуратный, четкий, явно не хюнербейновский – прочитал: «Полностью отдавая должное деятельности, проявленной до сих пор в здешнем городе гражданином Фридрихом Энгельсом из Бармена, проживавшим в последнее время в Кёльне, просим его, однако, сегодня же оставить пределы здешней городской общины, так как его пребывание может дать повод к недоразумениям относительно характера движения».

Далее шла дата – 14 мая 1849 года и подписи. Подписей Хюнербейна и Нотъюнга не было.

– Сегодня же! – воскликнул со злостью Энгельс, передавая бумагу Мирбаху.

– Что? – тревожно спросил тот.

– Эти трусливые негодяи требуют, чтобы я сегодня же убирался из города к чертовой матери!

Мирбах взял решение, внимательно прочитал его и, возвращая Энгельсу, сказал:

– Ну, это мы еще посмотрим! Надо немедленно в Комитет. Здесь и без нас дело доведут до конца поддерживающие нас члены Комитета безопасности Трост и Потман… Немедленно ко мне их! – приказал Мирбах, обращаясь к рабочему-золингенцу.

Золингенец, слышавший весь разговор Мирбаха и Энгельса, бросился исполнять приказание, а потом поспешил с тревожной вестью в свой отряд, и скоро все золингенцы узнали о том, что человек, за которым они пришли сюда, которого успели оценить как знающего командира и полюбить как славного парня, – этот человек предан Комитетом безопасности. Крайне возмущенные таким оборотом дела, одни тут же предложили выделить сильную группу бойцов для личной охраны Энгельса, другие настаивали на том, чтобы немедленно направить в ратушу депутацию с решительным протестом, третьи были еще категоричней: «Вышвырнем их из ратуши и сядем там вместе с Энгельсом сами!» – кричали они, потрясая ружьями. С большим трудом командиру отряда удалось усмирить страсти и уговорить бойцов выждать хода событий до утра.

•

В Комитете безопасности были прекрасно осведомлены о популярности Энгельса в восставшем городе, и особенно – у рабочих отрядов. Члены Комитета понимали, что у этого молодого человека в его нежелании покинуть город при нужде есть на кого опереться. Поэтому хотя письмо, в котором он требовал, чтобы согласие на его отставку дал комендант, большинство членов и посчитало наглостью, однако пренебречь им никто не отважился. Было решено вызвать Мирбаха и добиться его согласия. Но комендант предстал перед Комитетом вместе со своим адъютантом, и это осложняло обстановку. Они стояли сейчас перед столом председателя рядом – плечо к плечу – седоголовый грузноватый комендант и его совсем молодой по виду, двадцативосьмилетний адъютант. Как же их разъединить? Как заставить первого содействовать изгнанию второго?

А адъютант между тем держался вовсе не так, как должен был бы держаться человек, которого хотят выдворить. В нем не было видно ни тени смущения или робости, сожаления или просительности. Наоборот, он не скрывает своего отношения к членам Комитета и говорит таким тоном, словно чинит допрос.

– Господин председатель, – допрашивал Энгельс, – под

решением Комитета, которое я получил, нет подписей Хюнербейна, Нотъюнга и некоторых других членов. Чем это объяснить?

Хёхстеру не хотелось отвечать, и он имел полное право не отвечать хотя бы уже потому, что утром напомнил Энгельсу: решения Комитета принимаются простым большинством голосов. Но под прямым холодным взглядом этих бесстрашных голубых глаз председатель не мог отмолчаться.

– Названные вами лица, господин Энгельс, находятся вне города, в служебных командировках, а некоторые члены Комитета отсутствуют по болезни.

– Куда же это вы командировали Хюнербейна и Нотъюнга? – глаза Энгельса оставались холодными и спокойными, а губы скривились в усмешке. – Я едва ли ошибусь, если предположу, что одного вы направили в Берлин с письмом, преисполненным верноподданнических чувств, а второго – в текстильный Бармен за белой тканью, которая будет вам так необходима для флагов при приближении правительственных войск. Но я уверен, что ни тот, ни другой не знают истинного смысла своих миссий.

Хёхстер все-таки нашел в себе силы не ответить на это. Более того, поняв, что в присутствии Энгельса дело никак не продвинется вперед, он собрался с духом и, глядя поверх его головы, сказал:

– Господин Энгельс! Мы намерены провести секретное заседание. Вы не являетесь членом Комитета. Поэтому я вынужден просить вас покинуть зал.

Да, Энгельс не был членом Комитета. И ему ничего не оставалось, как покинуть ратушу.

– Хорошо, – сказал он, – я уйду из зала, но напоминаю вам, что из города удалюсь лишь в том случае, если приказ об этом подпишет комендант.

К ногам Энгельса сверху что-то упало. Он нагнулся. Это оказалась бабочка. Все та же роскошная nessaka obrinus!.. Но она была мертва. Вероятно, смерть застигла ее, когда она сидела где-то на потолке, и мертвой бабочка провисела там еще дня два-три и вот, уже высохшая, упала на пол.

Энгельс поднял бабочку, положил на ладонь, подумал: «На что это больше похоже – на их революционность или на мою роль в этом городе?»

Так с бабочкой в руке он и вышел из зала.

Все остальное время до позднего вечера Энгельс провел так же, как и в предыдущие дни: в заботах и хлопотах по обороне, в разъездах из конца в конец города, в беседах с командирами отрядов и рядовыми бойцами.

Когда совсем стемнело и пора было идти домой, на квартиру, отведенную Комитетом, Энгельс подумал, что там его, возможно, ожидает уже приказ, подписанный Мирбахом. Так, может быть, не идти туда, а переночевать где-то в другом месте? Где? Нагрянуть к Ханчке? О, это опять целая ночь пустых сентиментальных разговоров! А он так измотался за день, что хорошо бы как следует выспаться… А, черт с ним! Да и лучше все-таки знать истинное положение дел.

Но на квартире Энгельса ожидал не приказ, а маленькая записка Мирбаха. Он ставил в известность, что положение очень трудное, члены Комитета ему угрожают, от него требуют подписать составленный ими приказ, но пока он держится. Что будет завтра – предсказать невозможно.

«Спасибо и за это. Еще один день, да мой!» – подумал Энгельс.

Он быстро умылся, наскоро поел и, как только лег в постель, тотчас уснул беспробудным сном молодого, безумно уставшего человека.

•

Его разбудил стук в дверь. Вскочив, он взглянул на часы и изумился: было уже девять. Проспал! Впервые за все дни…

Вошел Мирбах.

– Можешь не спешить, – негромко проговорил он, устало садясь в кресло. – Я только что подписал приказ.

Продолжая быстро одеваться, Энгельс ничего не ответил.

– Они вызвали меня в семь утра и заявили, что если я не подпишу приказ о тебе, то они сейчас же издадут приказ о моем увольнении с должности главного коменданта.

Сказав: «Я слушаю тебя», Энгельс ушел за перегородку умываться.

– Они, конечно, осуществили бы свою угрозу, – чуть громче продолжал Мирбах. – И я таким образом оказался перед выбором: потерять оба наши поста или один. Рассудив, что мне еще удастся кое-что сделать для восстания, я капитулировал перед их требованием… Ты презираешь меня?

Энгельс наливал воду в таз, плескался, фыркал и ничего не отвечал. Он вошел в комнату, растирая полотенцем лицо и грудь. Потом перекинул полотенце через плечо, постоял посредине комнаты, прошел из угла в угол и грустно проговорил:

– Вероятно, у тебя не было другого выхода.

– Фридрих! – Мирбах взволнованно встал. – Почти пять лет я

провел когда-то в Греции и перед лицом янычар ни разу не дрогнул. Там было проще: есть греки, есть турки – их враги, и все. А здесь везде немцы. Здесь приходится лавировать и хитрить. Я этого не умею. Я солдат…

– Да, ты не умеешь, но на этот раз тебе не оставалось ничего другого.

В дверь постучали. Это была служанка хозяйки дома.

– Господин Энгельс, – сказала она испуганно, – вас хотят видеть несколько вооруженных людей. Мне кажется, они очень возбуждены.

Энгельс глянул в окно. У крыльца пять человек с ружьями и тесаками. Он узнал в них золингенцев. Слава богу! А ведь можно было ожидать и других, хотя бы вояк из гражданского ополчения. Теперь Комитет, пожалуй, не остановится и перед тем, чтобы арестовать бывшего адъютанта Мирбаха.

– Впустите их. – Энгельс показал на окно.

– Всех?

– Да, всех. И дайте, пожалуйста, нам позавтракать.

Когда служанка вышла, Энгельс спросил Мирбаха:

– Как ты думаешь, может Комитет пойти на то, чтобы арестовать меня?

– Может, – уверенно ответил Мирбах. – Я видел сегодня их лица, перекошенные злобой и страхом. Люди с такими лицами способны на все.

– Засадят в тюрьму и оставят там пруссакам как искупительную жертву, как плату за свои революционные грешки, – вслух размышлял Энгельс.

– Именно так! – подтвердил Мирбах.

Служанка, за эти четыре дня проникшаяся глубокой симпатией к молодому славному квартиранту, поняла, что пришедших вооруженных людей не надо бояться, что можно с ними даже не очень-то и церемониться, ибо это свои. Она вышла на крыльцо, сказала, что господин Энгельс примет их через полчаса, и пошла подавать завтрак.

Энгельс разгадал ее хитрое самоуправство, но, подумав, что еще не известно, захочется ли ему есть после визита золингенцев, не стал протестовать, лишь постарался побыстрее разделаться с завтраком.

…Золингенцы ввалились гурьбой. Они действительно были возбуждены, и ожидание не охладило их. Они отказались сесть и стояли у дверей. Увидев Мирбаха, рабочие совсем вышли из себя. Один с какой-то серой бумагой в руках сделал шаг вперед и почти крикнул Энгельсу:

– Вы принимаете у себя этого человека?! Вы сидите с ним за

одним столом?! А вот это видели?..

Он распахнул бумажный лист и сделал еще шаг навстречу Энгельсу. Оказалось, на листе крупным шрифтом напечатан текст приказа Мирбаха.

– Я это знаю, – спокойно сказал Энгельс.

– Знаете? – удивился рабочий с плакатом. – Ну тогда узнайте и то, что мы не допустим вашего изгнания из города. Мы требуем, чтобы вы остались. А этот господин, – рабочий презрительно кивнул в сторону коменданта, – пусть знает…

– Товарищи, – перебил Энгельс, – Отто Мирбах не мог поступить иначе. Он честный, опытный, смелый офицер. Вы могли потерять и его, и меня. Уйду только я один. Без меня, но с Мирбахом вам будет все-таки лучше, чем без меня и без Мирбаха.

Рабочие слушали внимательно. Но их главная цель состояла не в том, чтобы заявить Энгельсу о готовности защищать его, и не в том, чтобы узнать его мнение о происшедшем. У них было поручение пригласить Энгельса в отряд, чтобы именно там выслушать его и сообщить о самой решительной поддержке.

Когда Энгельс кончил говорить, рабочие сказали, что весь отряд вот уже целый час с нетерпением ждет его. Энгельс не заставил упрашивать себя.

– Очень рад! Я готов. Но и Мирбах тоже пойдет с нами.

Через полчаса они были в расположении отряда – в здании казино, наскоро переоборудованном под казарму. Золингенцы встретили Энгельса восторженно. Аплодировали, приветственно поднимали ружья, кричали:

– Энгельс! Мы с тобой!

– Да здравствует «Новая Рейнская газета»!

– Долой комитет предателей!

– Энгельс! Энгельс! Энгельс!

– Долой Хёхстера и Мирбаха!

– Энгельс! Энгельс! Энгельс!

Посредине зала соорудили из скамеек трибуну и попросили командира отряда и Энгельса подняться на нее.

Первым говорил командир. Он выразил возмущение отряда трусливым и подлым поведением Комитета; он сказал, что если дело пойдет так и дальше, то пусть Энгельс примет командование и ведет отряд на юг, в Баден и Пфальц, где начинается настоящая революционная борьба с оружием в руках.

Кончил он едко:

– Я не знаю, зачем и почему здесь оказался господин Мирбах. Но если уж он здесь, то мы ему скажем: весь отряд золингенцев, каждый боец отряда готов защищать Энгельса даже ценой своей жизни. Передайте это своему Комитету, дабы ваше пребывание

здесь не оказалось бесполезным.

Потом выступил Энгельс. Он повторил то, что сказал рабочим у себя на квартире, прежде всего защитив Мирбаха, объяснив, что его поступок продиктован необходимостью выбора наименьшего зла.

Рабочие безоговорочно верили Энгельсу, и их отношение к Мирбаху сразу переменилось. Кто-то даже крикнул, чтобы он тоже поднялся на трибуну и выступил, но комендант отказался из опасения, что это может быть использовано против него Комитетом.

Энгельс, глядя в смелые и восторженные лица слушателей, говорил:

– Знайте, рабочие Золингена, знайте, бергские и маркские рабочие, проявившие ко мне такое расположение и такую привязанность, что теперешние события в Эльберфельде – только пролог другого, в тысячу раз более серьезного движения, в котором дело будет идти о ваших кровных интересах.

Он обвел взглядом весь зал, сорвал с шеи красный шарф и, взметнув его над своей темно-русой головой, бросил последнюю фразу:

– Это новое революционное движение будет результатом нынешнего, и, как только оно начнется, я – в этом вы можете быть уверены! – подобно всем моим товарищам по «Новой Рейнской газете», тотчас окажусь на своем посту, и уж тогда-то, – от потряс над головой шарфом, – никакие хёхстеры и никакие другие силы в мире не вынудят меня оставить мой пост.

Когда восторженный шум несколько утих, Энгельс – глаза его азартно и озорно поблескивали – сказал Мирбаху и командиру отряда:

– Есть у меня один недурной замысел… Ведь я до сих пор не получил официального извещения о решении Комитета, значит, пока я не лишен моих полномочий и еще не поздно мой замысел осуществить. Это было бы прекрасным прощальным подарочком Комитету от редактора «Новой Рейнской газеты»!

– Что ты задумал? – спросил Мирбах.

– Мне рассказывали ваши золингенцы, – сказал Энгельс командиру отряда, – что после налета на цейхгауз в Грефрате там осталось немало и оружия, и боеприпасов, и обмундирования. Вот бы еще разок наведаться!

– Отличная мысль! – воскликнул командир.

– Да, – согласился и Мирбах. – Ведь на вчерашний смотр многие пришли с совершенно негодным оружием, а кое-кто с пустыми руками. Но учтите, что цейхгауз теперь наверняка усиленно охраняется.

– Сколько вам надо бойцов? – с готовностью на все спросил командир.

– Я думаю, – сказал Энгельс, – человек сорок всадников было бы достаточно.

Командир тут же опять вскочил на трибуну и крикнул:

– Золингенцы! Кто из вас хочет под командованием Фридриха Энгельса принять участие в одном боевом деле? Требуется сорок человек. Поднимите руки!

Зал снова загудел. И там и тут, вблизи и вдали, всюду – руки, руки, руки… Молодые и старые, красивые и скрюченные трудом, белые и уже навсегда потемневшие от жара плавильных печей, решительно сжатые словно для удара в кулаки и с яростно растопыренными пальцами, будто готовые схватить то самое оружие, что хранится в Грефрате…

С трудом удалось сдержать всех желающих и отобрать сорок человек. Помогло лишь то, что иные рабочие не умели ездить верхом.

Своим помощником Энгельс взял Карла Янсена, брата Иоганна Янсена – члена Союза коммунистов, одного из руководителей Рабочего союза в Кёльне.

•

До Грефрата добрый час хорошей езды… Возбуждение, охватившее Энгельса с утра, не проходило. Оно поддерживалось и надеждой еще хоть что-то сделать для восстания, и злостью на Комитет, желанием насолить ему, и сознанием того, что хотя вот и последние часы участия в восстании, но кое-что еще впереди, кое-что еще может выгореть… И всю дорогу до Грефрата в цокоте копыт лошади Энгельсу слышалось одно и то же: pug-no, pug-nas, pug-nat… Я сражаюсь, ты сражаешься, он сражается…

Едва впереди показалось расположенное на окраине мрачное здание цейхгауза, Энгельс и Янсен попридержали коней и дали сигнал, чтобы другие сделали то же. К цейхгаузу, стоявшему особняком, всадники подъехали шагом. Солдат у входа смотрел на них с недоумением и боязливой тревогой: он не мог понять, что это за люди.

– Где твой командир?! – крикнул с лошади Энгельс.

– Там! – Солдат указал головой назад.

– А ну, вызови его.

Солдат два раза ударил прикладом в ворота. Вероятно, это был условный сигнал. Очень скоро появился вахмистр с двумя солдатами.

– В чем дело? Что вам надо? Кто вы? – спросил Энгельса вахмистр, сразу угадав в этом парне, красиво и ловко сидящем в седле, предводителя.

– Нам нужно, господин вахмистр, оружие, – как о чем-то простом и обыденном сказал Энгельс, – а кто мы и откуда, вам лучше не знать.

– Ничего вы не получите. – Вахмистр, видимо, хотел подбодрить себя решительностью своих слов. – Мы поставлены здесь законной властью и никого не пустим внутрь. Убирайтесь откуда пришли…

И вдруг в этом вахмистре для Энгельса слились все его сегодняшние беспокойные чувства: и злость на предательский Комитет, и обида за свой напрасно потраченный труд, и горечь предстоящего прощания с восстанием, и предчувствие его поражения, и тревога за друзей в Кёльне, – словно один он, вахмистр, был виновником всего этого.

– С дороги! – яростно крикнул Энгельс и, выхватив пистолет, направил его на вахмистра. – Ворота!

Солдаты охраны, напуганные таким внезапным взрывом бешенства, бросились отпирать ворота. Вахмистр молчал и не двигался с места, как оглушенный. Когда высокие тяжелые ворота распахнулись, Энгельс хлестнул коня и тот, нервно напрягшись, послушно ринулся в темную глубь здания.

Не слезая с седла, Энгельс объехал огромное помещение цейхгауза, заглядывая во все углы и закоулки. За ним следовали спешившиеся бойцы отряда. Составив себе общее представление о том, что здесь и как, Энгельс слез с лошади, и они вместе с Янсеном стали распоряжаться, кому из бойцов что следует взять. Здесь были и ружья, и патроны, и амуниция. Все это необходимо восстанию.

Когда, закончив распределение, Энгельс, держа в поводу лошадь, вышел на улицу, он увидел всадника, во весь опор летевшего со стороны Эльберфельда сюда, к цейхгаузу. Это был Хюнербейн.

– Я думал, что уже не застану тебя! – крикнул он Энгельсу, спрыгнув с лошади.

– Ты зря торопился, – ответил Энгельс. – Мы уже закончили свое дело и собирались ехать обратно.

– Они пусть едут, – сказал Хюнербейн, – а ты – ни в коем случае.

– Думаешь, опасно?

– Нет никакого сомнения, что Комитет тебя арестует. Я уверен, они с нетерпением поджидают тебя. Ты должен прямо отсюда отправляться в Кёльн.

– Конечно, – помолчав, сказал Энгельс, – золингенцы не допустят моего ареста, но это приведет к междоусобице в лагере восставших, и значит, действительно мне не надо возвращаться в город. Ты прав.

– Да, да, – закивал Хюнербейн, – коварство этих людей безгранично. Ты знаешь, почему меня не было на заседании Комитета, когда решался вопрос о тебе? Хёхстер отправил меня с каким-то письмом в Хаген, сказав, что письмо исключительной важности. А на самом деле оно к тамошнему ветеринару. Какие такие важные письма можно направлять ветеринару?

– Может быть, просил совета и помощи на случай эпидемии среди домашних животных?

– Да ведь никакой эпидемией у нас пока, слава богу, и не пахнет. Нет, просто этот ветеринар его старый дружок, и он, очевидно, сообщал ему свои семейные новости или передавал привет. С таким же заданием – я его еще не видел – куда-то был послал и Нотъюнг, и некоторые другие члены Комитета, которые поддерживают тебя.

Отряд, нагруженный добычей, ждал сигнала, чтобы отправиться в обратный путь. Янсен полушутя-полусерьезно старался успокоить вахмистра: вы, мол, ничего не могли сделать, во много раз превосходящие вооруженные силы противника…

Среди бойцов отряда уже распространилась весть о том, что Энгельс не поедет обратно в Эльберфельд. Все молчали, ожидая минуты прощания.

Энгельс легко бросил свое тело в седло и, обернувшись к отряду, привстав на стременах, сказал:

– Дорогие друзья золингенцы! Обстоятельства вынуждают меня расстаться с вами. Спасибо за поддержку, которую я постоянно чувствовал. Спасибо за энергию, смелость и преданность революционным идеалам. Вас ждут трудные дела в Эльберфельде. Желаю в них успеха. Меня ждет Кёльн и «Новая Рейнская газета», которой вы, конечно, тоже желаете успеха. До свидания. Не исключено, что очень скоро мы встретимся опять.

Энгельс помахал всем рукой и тронул коня. Справа от него поехал Янсен, слева – Хюнербейн, сзади – весь отряд. Дорога от цейхгауза вела к шоссе. Там, обняв Янсена и Хюнербейна, еще раз помахав всем, Энгельс повернул налево, на юг, в Кёльн, а отряд – направо, к Эльберфельду.

В цокоте копыт коня Энгельсу всю дорогу слышалось опять то же самое: pug-no, pug-nas, pug-nat… И действительно, борьба не кончилась, впереди его ждали уже не фортификационные работы и не словесные схватки, а настоящие бои…

Глава шестая.
Славная жизнь и достойная смерть

– Ты занят? – негромко спросил Даниельс, с газетой в руках входя в кабинет.

Энгельс, очень прямо сидя за письменным столом, что-то быстро писал. Ни слова не говоря, не отрываясь от листа бумаги, он сделал перед лицом энергичное движение левой рукой. Это могло означать только одно: «Проходи, садись. Я сейчас освобожусь».

Даниельс подошел к креслу, стоящему против стола, и с наслаждением опустился в него. Некоторое время они молча сидели друг против друга, занятые каждый своим: один продолжал писать, другой, чувствуя в удобном кресле всем телом блаженную покойную отраду после долгого и трудного рабочего дня, просматривал газету.

Глядя со стороны, можно было подумать, что это братья – если не родные, то хотя бы двоюродные: оба рослые, большелобые, с крупными чертами лица; сходства увеличивали почти одинаковые, от уха до уха, бороды.

Нечто общее было у них не только во внешности. Они и ровесники. Даниельсу недавно исполнилось двадцать девять, а Энгельсу скоро будет столько же. И оба они из богатых семей, и оба крепко не ладят с семьями из-за своих убеждений и образа жизни: Энгельс, не желая идти по стопам отца, всецело предался политике, философии и литературной работе; Даниельс, окончив Боннский университет, стал врачом для бедных здесь, в Кёльне, в округе святого Маврикия. И если у первого были тяжелые столкновения с отцом, то второго при каждом удобном случае обливал презрением старший брат Франц Йозеф, владелец ликерной фабрики, преуспевающий виноторговец, известный всему Кёльну.

Даниельс свернул газету, положил ее на колени, откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза: ему хотелось еще полнее вкусить отдохновение и покой, забыться.

Несмотря на некоторую общность судеб, было в молодых людях нечто и такое, что заставляло в конце концов увидеть их различие.

Плавно вытянутый овал бородатого, но безусого лица, большие задумчивые глаза, женственно изогнутые брови со скорбной складкой между ними, спокойно и печально очерченные губы – все это придавало Даниельсу выражение мягкости,

нерешительности и даже беззащитности.

Энгельс выглядел моложе, но овал его лица был шире, тяжелее, рыжеватая борода короче, а по контуру – резче, широкие, густые усы, спокойные и твердые голубые глаза, над ними – почти совершенно прямые брови. Он казался – и был на самом деле – несравненно более решительным, зрелым, опытным.

Даниельс знал Энгельса, как и Маркса, вот уже пятый год, дорожил их дружбой, всему, чему мог, учился у них, всем, чем мог, помогал. Поэтому, когда позавчера ночью Энгельс неожиданно нагрянул к нему и сказал, что он только-только из Эльберфельда, где принимал участие в восстании, что власти не сегодня-завтра несомненно начнут его разыскивать и что он хотел бы несколько дней тайно пожить у него, – Даниельс лишь обрадовался.

– Роланд, какое сегодня число? – Энгельс кончил писать – это было письмо, надо было поставить дату.

– Число? – Даниельс мгновенно очнулся от забытья. – Семнадцатое, Фридрих… А месяц май, а год от рождества Христова одна тысяча восемьсот сорок девятый. И находишься ты не в Париже, не в Лондоне, а в Кёльне, но не в редакторском кабинете на Унтер-Хутмахер, семнадцать, а у меня дома.

– Ты решил, что в этом проклятом заточении я совсем спятил? – усмехнулся Энгельс.

– Нет, но я знаю, что когда ты долго не видишь Маркса, а особенно, когда после разлуки ждешь его, а он не идет и не идет, то на тебя от тоски и нетерпения находит нечто. – Даниельс выразительно покрутил пальцем возле лба.

Друзья действительно не виделись долго, то есть виделись, но совсем не так, как им обоим хотелось бы. В середине апреля в связи с катастрофическим состоянием редакционной кассы Маркс в надежде раздобыть денег у единомышленников в других городах отправился в очередную поездку по Вестфалии и Северо-Западной Пруссии. Поездка затянулась.

Едва дождавшись возвращения Маркса, едва перекинувшись с ним несколькими словами, Энгельс умчался в восставший Эльберфельд. Возвратясь оттуда позавчера вечером, он пришел прямо в редакцию, чтобы все рассказать и все разузнать, но Маркс, опасаясь ареста друга, не дал ему открыть рта и почти ничего не рассказал сам, а потребовал, чтобы он немедленно убирался на квартиру Даниельса и сидел там, никуда не высовывая носа.

– Но сегодня ты можешь быть спокоен, – продолжал Даниельс, – Маркс твердо обещал, что придет. Пока посмотри газету. Только что принесли.

Это был второй выпуск «Новой Рейнской газеты» за семнадцатое мая. Здесь должна быть статья о событиях в Эльберфельде, которую Энгельс написал вчера. Да, вот она. «Кёльн, 16 мая. „Новая Рейнская газета“ также была представлена на эльберфельдских баррикадах…» В статье кратко рассказывалось и о самих событиях в восставшем городе, и об участии в них Энгельса, и о том, как члены Комитета безопасности, испугавшись этого участия, вынесли решение об изгнании Энгельса из города.

Он бегло скользнул глазами по статье и остановился на заключительных строках. Довольно большой предпоследний абзац статьи, в котором рассказывалось, как Энгельс возглавил налет восставших на цейхгауз, в газете был заменен всего одной фразой: «Энгельс произвел затем еще рекогносцировку в окрестностях и, передав пост своему адъютанту, удалился из Эльберфельда». Вместо боевой операции по захвату оружия – всего лишь рекогносцировка… Это сделал, конечно, Маркс, не желая давать врагам еще одну, и такую тяжелую, улику, думая о будущей безопасности друга. Упоминание об адъютанте заставило Энгельса улыбнуться. Ну какой там адъютант! Он сам числился адъютантом коменданта Мирбаха. А как величественно сказано: «удалился из Эльберфельда»… Даже в такой напряженной обстановке Маркс беспокоился не только о его безопасности, но и о престиже.

Он положил газету и взглянул на Даниельса. Откинув голову на спинку кресла, тот спал.

– Роланд! – негромко произнес Энгельс.

Осторожно встав из-за стола, он пошел к двери, чтобы позвать Амалию. Ее не сразу удалось найти. Она оказалась на кухне. Стояла у окна и судорожно прижимала к губам платок. Видимо, ее тошнило.

– Что с вами? – встревожился Энгельс.

– Ничего, ровным счетом ничего, – покраснела Амалия. – Сейчас все пройдет.

«Как же я не заметил раньше! – укоризненно подумал Энгельс. – Ведь это так естественно: год, как они женаты».

Узнав, что муж уснул в кресле, Амалия не удивилась:

– Он ужасно устал. У него сегодня была сложнейшая операция. Почти пять часов простоял у операционного стола.

В прихожей раздался звонок. Это был Маркс. В руках он держал две большие связки книг.

– Что это? – спросил Энгельс, после того как гость поцеловал руку хозяйке и обменялся крепким рукопожатием с ним.

– Часть моих книг. Всего будет томов четыреста. Хочу

оставить их у Даниельса.

– Что это значит? Почему оставить?

– Где Роланд? Пойдемте в кабинет, там я расскажу все по порядку…

Узнав, что Даниельс задремал от усталости в кресле, Маркс решительно возразил Амалии, желавшей разбудить мужа:

– Ни в коем случае. Пусть спит. Нам он не помешает, а мы ему тоже.

В кабинете друзья сели на большой кожаный диван подальше от спящего Даниельса.

– Ну, как ты съездил? – нетерпеливым полушепотом спросил Энгельс.

– Съездил я неважно, точнее, просто скверно, – махнул рукой Маркс. – Осенью из поездки в Берлин и Вену, ты помнишь, я привез две тысячи талеров. И каких! Данных друзьями безвозмездно. А сейчас… В Хамме триста талеров пожаловали мне Хенце, в Гамбурге на пятьсот талеров расщедрился Фриш. Оба члена Союза коммунистов, но ни тот, ни другой не пренебрегли, канальи, письменным поручительством.

– И это все?

– Еще я пытался подъехать к Ремпелю. Ведь, кажется, не прошло и трех лет, как он носился с планом основания коммунистического издательства, с намерением опубликовать наши сочинения. А сегодня Рудольф Ремпель – человек с плотно застегнутыми карманами… Но все это, дорогой Фридрих, теперь уже не имеет большого значения.

– Как не имеет? – удивился Энгельс. – А на что мы будет издавать газету?

– Мы не будем больше издавать газету, – мрачно проговорил Маркс.

– В чем дело? – Энгельс невольно подался вперед.

– Дело, во-первых, в том, что, как и следовало ожидать, сегодня в редакцию и на твою квартиру являлись жандармы с приказом о твоем аресте за участие в эльберфельдских событиях. Дело, во-вторых, в том… – Маркс достал из внутреннего кармана сюртука сложенную пополам бумагу и протянул ее другу. – Это мне вручили вчера вечером.

Энгельс взял листок, развернул и прочитал:

> «Королевскому полицей-директору г-ну Гейгеру, здесь.
>
> В своих последних номерах „Новая Рейнская газета“ выступает все более решительно, возбуждая презрение к

существующему правительству, призывая к насильственному перевороту и установлению социальной республики. Поэтому ее главный редактор доктор Карл Маркс должен быть лишен права гостеприимства, столь оскорбительно им нарушенного, а так как им не получено разрешение на дальнейшее пребывание в землях прусского государства, ему должно быть предписано покинуть таковое в течение 24 часов. В случае, если он добровольно не подчинится предъявленному ему требованию, он подлежит принудительному препровождению за границу.

Кёльн, 11 мая 1849 г.
Королевское окружное управление

Мёллер»

– Наглецы! – сквозь зубы прошептал Энгельс. – Они все-таки смеют подходить к тебе как к иностранцу!

– И не только ко мне, – горько усмехнулся Маркс. – Веерту и Дронке тоже предписано покинуть Пруссию, как лицам, не имеющим прусского подданства. Ну а если добавить, что против Фердинанда Вольфа и против Лупуса возбуждаются судебные дела, а взятый под стражу Корф все еще в тюрьме и его отказываются выпустить под залог, то станет совершенно ясно – газете пришел конец.

– А чем ты объясняешь, что решение, принятое одиннадцатого, они довели до твоего сведения только шестнадцатого?

– Очевидно, объяснение тут может быть только одно, – развел руками Маркс. – Они отважились на это лишь после того, как подавили восстание в Эльберфельде, окружили мятежный Изерлон и наводнили войсками всю Рейнскую провинцию. Теперь наша очередь… Если бы не твое участие в эльберфельдском восстании, которое ты, несомненно, сумел поддержать и продлить на несколько дней, то, конечно, это распоряжение, – Маркс тряхнул правительственной бумагой, – я получил бы гораздо раньше.

– Да, дело обстоит, видимо, именно так, – согласился Энгельс. – Но какая подлость! Формально они не закрывают газету: пусть, мол, выходит, если может, когда у нее не останется ни одного редактора…

– Но мы не сдадим позиции так просто, – сказал Маркс. – Я к тебе прямо с заседания редакционного комитета. Мы решили дать последний бой – выпустить специальный и особенный

прощальный номер.

– Это должна быть бомба! – загорелся Энгельс.

– Уже распределили, кто что сделает. Я напишу передовицу, где расскажу о политической расправе с газетой и кратко обрисую общее положение в Германии и Европе. Фрейлигрaт взялся сочинить прощальные стихи. Если они получатся удачными, то ими и откроем номер. Веерт напишет фельетон позабористей и статью об английских делах, Лупус – острое политическое обозрение… Что напишешь ты?

Энгельс задумался.

– Видишь ли, – сказал он через несколько мгновений, – участие в эльберфельдском восстании растревожило меня, разбудило тоску по настоящему большому революционному делу, по такому, как в Венгрии, например…

– Вот и отведи душу пока хотя бы на бумаге, – перебил Маркс, – напиши обзор событий венгерской революции. А кроме того – небольшое прощальное слово к рабочим Кёльна. Опираясь на опыт Эльберфельда, предостереги их от преждевременного выступления. Сейчас оно бессмысленно.

– Бессмысленно? – раздался голос Даниельса. – Что бессмысленно? Это слово сегодня преследует меня весь день.

– Ах, проснулся! – наконец-то в полный голос воскликнул Энгельс, вставая. – Более чем бессмысленно спать, когда у тебя в доме гости.

– Да, да, извините. – Даниельс тоже встал, пожал руку Марксу и сел на место Энгельса.

А тот, сделав несколько шагов по кабинету и снова подойдя к дивану, с улыбкой проговорил:

– И уж совсем нелепо, дорогой мой, скрывать от нас, что твоя жена ждет ребенка.

– Как? Это правда? – радостно изумился Маркс.

Даниельс виновато молчал.

– Это же здорово! – воскликнул Маркс. – Поверь мне, отцу троих детей.

– Да я и рад, – смущенно улыбнулся Даниельс. – Хотя прекрасно понимаю, в какой ужасный мир придет наш ребенок.

– Есть в этом мире при всем его несовершенстве и хорошие вещи, – вставил Энгельс.

– Я тоже так считаю, – поддержал Маркс.

Даниельс промолчал. Он, видимо, был в нерешительности. Но через несколько мгновений, поколебавшись, все-таки проговорил:

– Я тут высидел некое сочиненьице с философским замахом… Хочу вас попросить прочитать.

– С удовольствием, – тотчас отозвался Маркс. – Только попозже.

– Так вот там, в этом сочинении, я прихожу к выводу… Раз люди связаны друг с другом прежде всего посредством производства своих материальных жизненных потребностей, то совершенствование индивида возможно только через совершенствование материального способа производства и общения и покоящихся на нем общественных институтов…

– А поскольку революция, – нетерпеливо перебил Энгельс, догадавшийся, куда клонит Роланд, – не смогла усовершенствовать способа производства, не улучшила общественных институтов, то, следовательно, не может быть речи ни о каком совершенствовании индивидов, в том числе маленького Даниельса, который через несколько месяцев придет в этот ужасный мир. Так?

– Так, – подтвердил Даниельс. – И это меня страшит.

Чувствуя, что Энгельс может сейчас слишком увлечься спором, понимая, что разговор этот не ко времени и не к месту, Маркс только сказал:

– Роланд, кое в чем ты прав, но в целом твое рассуждение, твой вывод механистичны, в действительной жизни все сложнее, там больше диалектики.

Поняв опасения Маркса, Энгельс подавил свое желание поспорить и перевел разговор на другое.

– Если бы я знал, что Амалия беременна, – сказал он, – я ни за что не стал бы скрываться в твоем доме.

– Но разве ты не посчитал бы меня подлецом, – Даниельс возбужденно потряс перед собой руками, – если бы позавчера ночью, когда ты пришел, я, ссылаясь на беременность жены, сказал бы, что не могу принять тебя?

– Нет, не посчитал бы, – спокойно и серьезно ответил Энгельс. – Мы можем рисковать своим будущим и даже будущим друзей-единомышленников, если они сами идут на это, но распоряжаться судьбой еще не родившегося ребенка никто из нас не имеет права.

– Ну, теперь поздно об этом думать и что-нибудь предпринимать, – примирительно сказал Маркс. – Все равно через день-два мы должны будем совсем уехать из Кёльна.

Выслушав рассказ Маркса о том, почему он, Энгельс и остальные редакторы «Новой Рейнской» в ближайшие дни уедут, почему газета перестает выходить, Даниельс задумчиво и печально проговорил:

– Сегодня прямо на операционном столе, буквально под ножом, у меня умер больной. Такое случалось и раньше. Мои

пациенты, живущие в нищете или на грани нищеты, как правило, обращаются за помощью к врачу слишком поздно. Но сегодняшний случай почему-то взволновал меня особенно сильно. Может быть, потому, что последним словом умирающего было слово «бессмыслица». Оно весь день сверлит мне мозг. Очевидно, я потому и проснулся, когда Маркс произнес его…

– Это ты к чему? – настороженно спросил Энгельс.

– Это я к тому, – устало покачал головой Даниельс, – что вот и ваша газета умирает. Сколько в нее было вложено сил, страсти, таланта, ваших денег, наконец, – и все, оказывается, бессмысленно…

– О нет! – первым горячо возразил Маркс. – Наша газета не безнадежный пациент на операционном столе. Она жила, как воин, и умрет, как воин. И кровь ее прольется отнюдь не даром.

– Я уверен, – вмешался Энгельс, – что славная жизнь и достойная смерть нашей газеты, между прочим, послужат и делу совершенствования будущего Даниельса – даже в том случае, если он сам ничего не будет о ней знать.

– Да, кровь ее прольется недаром, – тихо, задумчиво повторил Маркс, в голосе его прорвались горечь и боль.

– Послушай! – вдруг воскликнул Энгельс, положив руку на плечо Карла. – А что, если последний номер газеты отпечатать красной краской? А?

У Маркса загорелся взгляд:

– Прекрасная мысль! Так и сделаем! Это будет как знамя, как кровь, как факел… Такая мысль, Фридрих, стоит половины всего номера. В другой раз за подобный подарок я с легким сердцем освободил бы тебя от написания статьи, но не сегодня. Садись и пиши, а мне пора.

Маркс даже не позволил проводить себя до двери, а усадил Энгельса к письменному столу и пододвинул лист чистой бумаги.

Прощаясь с Даниельсом, он еще раз поздравил его с будущим ребенком и, поблескивая темно-карими глазами, ободрил:

– Я надеюсь, все будет хорошо.

Сразу, как только затих звук закрываемой двери, Энгельс обмакнул перо и своим четким красивым почерком вывел:

«К рабочим Кёльна».

Перо несколько мгновений помедлило над бумагой, а потом легко и стремительно побежало:

«На прощание мы предостерегаем вас против какого бы то ни было путча в Кёльне. При военном положении в Кёльне вы потерпели бы жестокое поражение. На

примере Эльберфельда вы видели, как буржуазия посылает рабочих в огонь, а потом самым подлым образом предает их».

Энгельсу вспомнились гнусные рожи эльберфельдских предателей, всех отчетливей – Хёхстер.

«Осадное положение в Кёльне, – продолжал он, – деморализовало бы всю Рейнскую провинцию, а осадное положение явилось бы необходимым следствием всякого восстания с вашей стороны в данный момент. Ваше спокойствие приведет пруссаков в отчаяние…»

Написав это небольшое обращение к рабочим, Энгельс, стараясь не шуметь, пошел на кухню, приготовил себе кофе и с кофейником вернулся в кабинет. Роланд и Амалия уже спали, а он, время от времени подкрепляясь кофе, писал большую обзорную статью о ходе венгерской революции.

В иные минуты не помогал и кофе: голова становилась тяжелой, глаза слипались. Но он знал, что этой ночью в разных концах города так же, как он, сидят у своих письменных столов, склонясь над листами бумаги, его боевые сотоварищи…

Весь город спал. Спали Байенская башня и колоссальный недостроенный собор, безмолвствовали веселые кабачки «Неугасимая лампада» и «Вольный стрелок», хранили покой Вальрафский музей и похожий на корабль зал Гюрцених, блаженный сон вкушали комендант города и обер-прокурор, храпели восемь тысяч солдат гарнизона и две тысячи жандармов, блаженно посапывали присяжные заседатели и адвокаты, профессора и трактирные вышибалы, спали рабочие и священники…

Да, город спал. Но в разных его концах горело несколько окон: не спали редакторы «Новой Рейнской газеты». Энгельс мысленно видел сейчас каждого из них.

…В старом доме на Штерненгассе уже отложил в сторону только что написанный фельетон Георг Веерт и, теребя свои пышные бакенбарды, принялся за статью о революционном движении в Англии.

«Все отчаяннее хватается буржуазия за последние средства, которые еще могли бы ее спасти, – писал он. – Скоро она тщательно будет искать новых путей, и тогда железная необходимость приведет чартистов к той победе, которая послужит сигналом к социальному перевороту во всем старом мире».

…А на узенькой Унтер-Хутмахер, недалеко от дома, в котором находилась редакция, бился над стихотворным «Прощальным словом „Новой Рейнской газеты“» Фердинанд Фрейлиграт. Он хотел написать не погребальный псалом, а смелую, гордую песню, потому что был одержим той же верой в завтрашний день, той же жаждой борьбы, что и его товарищи по редакции. И строка ложилась к строке:

Так прощай же, прощай, грохочущий бой!
Так прощайте, ряды боевые,
И поле в копоти пороховой,
И мечи, и копья стальные!
Так прощайте! Но только не навсегда!
Не убьют они дух наш, о братья!
Час пробьет, и, воскреснув, тогда
Вернусь к вам живая опять я!..

…Энгельс видел сейчас и Вильгельма Вольфа, самого старшего по возрасту – ему через месяц стукнет сорок – и самого добросовестного из всех редакторов газеты. Уж кто-кто, а он не уснет над недописанной страницей, не подведет, утром первым явится в редакцию с набело переписанной статьей.

Действительно, и не помышляя о сне, Лупус писал:

«Гигантский вулкан всеобщей европейской революции не просто клокочет, он накануне извержения. Потоки его **красной** лавы очень скоро навсегда похоронят все это осененное милостью божьей разбойничье хозяйство; просвещенные наконец и объединившиеся пролетарские массы сбросят подлую, погрязшую в лицемерии, прогнившую, трусливую и все же высокомерную буржуазию в раскаленный кратер…»

…Но отчетливее всего Энгельс видел Маркса. Без сюртука, в одной белой рубашке, он сидел за столом в окружении старых газет, книг, рукописей и писал, как всегда, то и дело перечеркивая, поправляя, делая вставки. Утром Женни все перепишет набело, иначе наборщики ничего не поймут.

Приведя от слова до слова весь текст распоряжения Мёллера о своей высылке якобы из-за того, что газета стала особенно мятежной в «последних номерах», Маркс написал:

«К чему эти глупые фразы, эта официальная ложь! Последние номера „Новой Рейнской газеты“ по

своей тенденции и тону ни на йоту не отличаются от ее первого „пробного номера“… Только ли в „последних номерах“ мы сочли необходимым явно выступить в социально-республиканском духе? Разве вы не читали наших статей об июньской революции и разве душа июньской революции не была душой нашей газеты?»

Маркс закончил передовицу тоже словами твердой уверенности в том, что Европа накануне грандиозных революционных событий:

> «…На Востоке революционная армия, образованная из борцов всех национальностей, уже стоит против объединенной старой Европы, а из Парижа уже грозит „красная республика“!».

…Видения этой кёльнской ночи, время от времени вставшие перед мысленным взором Энгельса, помогали ему работать, торопили его перо. Естественно, не зная, что пишет Маркс, свою статью о Венгрии он закончил почти так же, только был, пожалуй, еще более нетерпелив.

> «Париж стоит на пороге революции… – писал Энгельс. – И в то время как в Южной Германии образуется ядро будущей немецкой революционной армии… Франция готовится к тому, чтобы активно вмешаться в борьбу».

Да, он был еще более уверен в победе и еще более нетерпелив, чем Маркс.

> «Дело решится в течение немногих недель, быть может, нескольких дней, – писал он в самом конце статьи. – И вскоре французская, венгерско-польская и немецкая революционные армии будут праздновать на поле битвы у стен Берлина свой праздник братства».

•

19-го, в день выхода последнего, прощального номера «Новой Рейнской газеты», Энгельс проснулся чуть свет и стал нетерпеливо прислушиваться к звукам на улице: не идет ли почтальон? Не несет ли газету?

А газету принесли поздно, потому что никогда еще в Кёльне

не видали газет, отпечатанных красной краской, и никогда газеты не писали такое, что можно было прочитать в этом номере. И почтовики, прежде чем отправить «Новую Рейнскую» подписчикам, сами внимательно, с удивлением и оторопью разглядывали ее и читали.

Схватив из рук Даниельса красные листы, Энгельс торжествующе и радостно потряс ими над головой.

– А ты говоришь, «бессмысленно»! Вот он – смысл!

Номер открывался стихами Фрейлиграта «Прощальное слово». Под ними стояло написанное Энгельсом от имени редакции обращение «К рабочим Кёльна». Далее под рубрикой «Германия» без заголовка и без подписи шла статья Маркса. Подвалом был заверстан, подписанный, как и стихи, именем автора, фельетон Веерта «Прокламация к женщинам».

Энгельс начал читать «Прощальное слово» «Новой Рейнской газеты»:

Выстрел из мрака меня сразил.
Умертвить мятежницу рады.
И вот лежу я в расцвете сил,
Убитая из засады!..

Нет! Он не может читать это здесь, дома, взаперти. Ему надо на улицу, в город. Он хочет видеть сегодня свою газету там, среди людей. Как они читают ее? Что говорят?

Роланд и Амалия и слышать не хотели о его желании предпринять вылазку. Но после завтрака, когда Даниельс ушел к своим больным, а Амалия занялась делами по хозяйству, Энгельс все-таки не выдержал. Он нахлобучил поглубже, до самых бровей, шляпу и бесшумно улизнул.

Едва выйдя из подъезда, Энгельс сразу услышал веселые зазывные выкрики молодого газетчика:

– Последний номер «Новой Рейнской газеты»!.. Красный номер «Новой Рейнской»!.. Георг Веерт советует немкам выгнать своих мужей и взять новых – революционеров!.. Карла Маркса высылают из Пруссии!.. Новые мятежные стихи Фердинанда Фрейлиграта!..

Энгельс подумал, что стоит купить на всякий случай несколько экземпляров, ведь потом этот номер нигде не раздобудешь. Улучив момент, когда около парня никого не было, он подошел, протянул небольшую пригоршню зильбергрошей и, полагая, что этого хватит, сказал:

– Пожалуйста, пять экземпляров.

– С вас пять талеров, – весело ответил газетчик.

– Пять талеров? – не поверил ушам Энгельс.

– Да, сударь, сегодня «Новая Рейнская» идет по талеру. Не каждый день нам выпадает такое счастье. Поддержите коммерцию!

– Но ведь талер – это подписная цена за целый квартал!

– Ну и что? – радостно улыбался парень. – Вы же видите – люди покупают. А вы, я надеюсь, не самый бедный человек в Кёльне.

– Разбойник! – ликуя в душе, возмутился на словах Энгельс. – Но ведь на каждом экземпляре ты наживаешься чуть не в сто раз!

– Да, сударь, почти в сто раз, – не стал спорить газетчик. – Но согласитесь, что это может случиться с нашим братом не чаще чем раз в сто лет.

– Ну, а если бы я был редактором этой газеты, – сказал Энгельс, доставая портмоне, – ты все равно содрал бы с меня такую безбожную цену?

– Что вы, сударь! – дружелюбно воскликнул парень. – Если бы вы были даже не редактор, а всего лишь корректор «Новой Рейнской», то и тогда я позвал бы вас в «Неугасимую лампаду» и славно угостил на вырученные сегодня талеры!

– Ну-ну, – удовлетворенно буркнул Энгельс и, отдав один талер, взял газету, – наживайся, грабитель, так и быть.

Мысленно поблагодарив газетчика за напоминание о кабачке «Неугасимая лампада», Энгельс туда и направился. По дороге ему то и дело встречались люди с «Новой Рейнской газетой» в руках. Это объяснялось не только характером сегодняшнего номера, но и тем, что он отпечатан невиданным ранее тиражом – почти в 16 тысяч экземпляров.

В сквере у театра толпились люди. Прямо здесь, только что купив газету, они читали и обсуждали ее. Энгельс с небрежным, скучающим видом подошел к группе из пяти-шести человек, явно принадлежащих к верхам городского общества. Они, конечно, не были подписчиками газеты, но сегодня не могли не приобрести ее.

В центре группы стоял богато, но небрежно одетый человек (видимо, очень спешно одевался, торопясь купить газету). Он с отвращением на лице и в голосе читал:

– «Мне очень грустно, госпожа тайная советница, что вы так ошиблись в вашем супруге. Вы считали его Солоном, и вот он возвращается восвояси из берлинского Национального собрания, и оказывается, что он самый настоящий болван».

– Мерзавец!.. Шут!.. – раздались возмущенные восклицания слушателей.

А чтец продолжал:

– «Я сожалею об этом, госпожа тайная советница. Утешьте вашего мужа тем, что он непризнанный гений, но прежде всего – избавьтесь от него. Да, женщины, дайте вашим мужьям отставку… Кому охота ласкать осла?»

– Таки написано – «ласкать осла»? – изумленно переспросил кто-то.

Чтец бросил гневный взгляд на вопрошавшего, презрительно хмыкнул и пошел молотить дальше:

– «…Все беды Германии произошли единственно от того, что немецкую республику считали до сих пор делом серьезным, важным, но отнюдь не делом сердца. Вы, женщины, призваны исправить это недоразумение.

Не спрашивайте как! Вы сами знаете это лучше всех. Выгоните ваших мужей, возьмите себе новых, из революционеров, – вот и все!»

Контраст между веселым, игривым текстом и полным отвращения голосом, который его читал, был так разителен, что в этом месте Энгельс не выдержал и фыркнул. Все обернулись к нему.

– Вам смешно? – оторопело и негодующе спросил чтец.

– Как можно смеяться над такой пошлостью?.. Это же оскорбление для всех нас!.. – раздались голоса других.

Не в интересах Энгельса было привлекать к себе сегодня внимание таких людей.

– Я, господа, холостяк! – улыбнулся он и, повернувшись, небрежной походкой побрел дальше.

Новая группа, к которой подошел Энгельс, состояла из молодых людей, видимо студентов. Здесь, отчаянно ударяя по воздуху крепко сжатым кулаком, рыжий парень восторженно дочитывал «Прощальное слово» Фрейлиграта:

И когда последний трон упадет,
И когда беспощадное слово
На суде – «виновны» – скажет народ,
Тогда я вернусь к вам снова.
На Дунае, на Рейне словом, мечом
Народу восставшему всюду
Соратницей верной в строю боевом,
Бунтовщица гонимая, буду!

– Браво! – воскликнул Энгельс и хлопнул в ладоши. На него никто не взглянул, потому что все испытывали такое же чувство и тоже закричали «браво» и захлопали.

В самом укромном уголке сквера на скамье под большим

тенистым кустом недавно расцветшей сирени Энгельс заметил трех молодых женщин. У той, что сидела в середине, на коленях тоже лежала красная газета. По их веселому виду Энгельс понял еще издали, что они читают, конечно же, фельетон Веерта. Он пошел к ним по параллельной аллее и остановился всего в нескольких шагах. За густыми кустами сирени, сидя к нему спиной, подруги не видели его.

– «С самого начала вы, женщины, были умнее всех ученых и фарисеев, – ясно доносился живой, ежеминутно готовый расхохотаться голос, – но с самого начала вы были и более страстными, чем все ученые и фарисеи».

– О дева Мария! – раздался голос другой. – Это же святая правда!

– «Так не сдерживайте же вашу огненную страсть, – продолжала сидящая в середине, – хватайте ваших прирученных мужей за их жалкие косицы и вешайте их, как пугало, куда угодно, только – вон их!

Наше спасение – в гильотине и в страсти женщин.

А впрочем, честь имею кланяться. Соловьи поют в кустах, пули свищут, и мое воззвание окончено».

Подруги засмеялись, а Энгельс попробовал свистнуть соловьем. Они оглянулись и, увидев его, несколько смутились.

– Прошу прощения, сударыни. – Энгельс, выйдя из-за кустов, приподнял шляпу. – Но, поверьте, я не из тех, кого Веерт призывает вас вешать. Честь имею!

…В «Неугасимой лампаде», несмотря на раннее дневное время, народу было битком. Здесь и всегда-то собирались любители не столько поесть и выпить, сколько поговорить, а сегодня это было особенно заметно. Энгельсу сразу бросились в глаза несколько экземпляров «Новой Рейнской». Как гигантские красные бабочки, они в разных концах зала то расправляли крылья, то складывали их, то перепархивали от столика к столику.

Энгельс пробрался в самый дальний угол и попросил сосисок с капустой да большую кружку темного пива.

Соседями по столу оказались два молодых парня. Один был, видимо, ровесником Энгельса, другой – года на два-три помоложе. С первого взгляда уверенно можно было сказать, что это рабочие. Перед ними лежала «Новая Рейнская». Они обрадовались новому человеку как своему сверстнику и как возможному собеседнику. Им, пожалуй, было безразлично, друг это, единомышленник или противник. Если друг – прекрасно, будет с кем поделиться своими мыслями; если враг – что ж, пусть послушает, как его отделали сегодня в этой газете…

– А кончается это вот так, Отто, – сказал тот, кто постарше, и прочитал, кажется, не столько для Отто, сколько для Энгельса. – «Редакторы „Новой Рейнской газеты“, прощаясь с вами, благодарят вас за выраженное им участие. Их последним словом всегда и повсюду будет: освобождение рабочего класса!»

Это были заключительные слова написанного Энгельсом обращения «К рабочим Кёльна».

Дружелюбно взглянув в напряженно-выжидающие лица рабочих, он улыбнулся и медленно произнес:

– Прекрасные слова…

– Вы находите? – сразу оживился парень с газетой.

– Еще бы! – уверенно воскликнул Энгельс.

Где-то в другом конце зала слышалось громкое чтение стихов Флейлиграта.

– А как вам нравятся эти стихи? – спросил парень.

– Стихи что надо!

– Курт, – сказал Отто, – прочитай еще раз то место на первой странице.

Курт быстро нашел нужное и огляделся. За соседним столиком сидели три господина весьма благополучного вида. Всем своим обликом они выражали отвращение к тому гвалту и хаосу, что царили в кафе, и в то же время – любопытство.

Полуобернувшись к их столику, Курт громко прочитал:

– «Мы беспощадны и не просим никакой пощады у вас. Когда придет наш черед, мы не будет прикрывать терроризм лицемерными фразами».

Три господина, как по команде, встали, положили на стол деньги и двинулись к выходу. Один из них вынул из кармана «Новую Рейнскую», остервенело скомкал ее и брезгливо бросил в мусорницу. Энгельс, Курт и Отто засмеялись.

Энгельс заказал пива для всех троих, а, когда его принесли, Курт предложил выпить за «Новую Рейнскую».

– Охотно, – отозвался Энгельс.

Три кружки высоко взметнулись над столиком.

•

На другой день Маркс и Энгельс покидали Кёльн. Они намерены были пробраться в Баден, где началось вооруженное восстание.

Условились, что садиться в поезд будут порознь. Так безопасней.

Даниельс хотел проводить Энгельса на вокзал, но потом

решили, что это тоже рискованно. Один человек привлечет меньше внимания, чем двое. Лучше будет, если Даниельс пойдет сзади, метрах в двадцати, чтобы в случае чего прийти на помощь. Проститься надо будет дома.

Видя, какое возбуждение произвела в городе весть о закрытии «Новой Рейнской газеты» и какой невероятный успех имел ее прощальный номер, Даниельс уже не говорил о бесполезности проделанной за год работы, но все-таки спросил у Энгельса:

– Фридрих, в последнем номере вашей газеты очень много самых оптимистических предсказаний. Маркс предсказывает скорую победу красной республики в Париже, ты – праздник братства революционных армий у стен Берлина, Вольф – извержение, вулкана общеевропейской революции, Веерт – падение буржуазной Англии, Фрейлигрaт – воскрешение «Новой Рейнской газеты»… Неужели вы действительно думаете, что все это сбудется?

– Да, я действительно так думаю, – ответил Энгельс, – и Маркс и другие редакторы написали то, во что твердо верят. Но если мы ошибаемся, если даже грубо ошибаемся, то и тогда, Роланд, согласись, что такого рода ошибки выше и благороднее трезвой рассудительности филистеров, которые предрекают только поражения и беды. Я думаю, что совершенствованию твоего будущего сына могут способствовать такие ошибки, а не трезвые расчеты обывателей.

Обняв Даниельса, поцеловав руку Амалии, Энгельс вышел на улицу и направился на вокзал.

Когда он вошел в купе, Маркс был уже там.

– Ты видел сегодня «Новую Кёльнскую газету»? – сразу спросил Маркс.

– Нет. А что в ней?

Маркс достал из кармана сложенную газету и протянул другу. Тот развернул ее и ахнул: всю первую страницу окаймляла широкая черная рамка. Только в 1840 году, когда умер Фридрих Вильгельм Третий, Энгельс видел газеты с такой траурной рамкой.

– Это кто же умер, кого хоронят? – еще не поняв, в чем дело, спросил Энгельс.

– Как августейшую особу или национального героя, хоронят нашу газету. Ты почитай…

Энгельс поднес газетный лист к глазам и прочитал:

– «„Новая Рейнская газета“ прекратила свой выход. Мы выходим поэтому в траурной рамке.

Интереснейшие сообщения с юга и востока отступают на второй план перед неожиданной траурной вестью о том, что

„Новая Рейнская газета“ сегодня вышла в последний раз.

И как она вышла!!

Красный, красный, красный! – таким всегда был ее боевой клич, но сегодня даже ее одеяние было **красным**. Красная печать газеты немало поразила ее читателей, дух, которым еще раз повеяло от этих пламенных букв, заставил нас глубоко сожалеть о том, что теперь с ней покончено.

Никакой орган не сможет в будущем возместить нам эту потерю… Мы должны признать: со славной гибелью „Новой Рейнской газеты“ рейнская демократия потерпела поражение».

Дальше шли заключительные строфы фрейлигратовского «Прощального слова».

– Молодец Аннеке! – сказал Энгельс, возвращая газету. – Я от него этого не ожидал. Молодец!

– Да, дело сделано, – отозвался Маркс. – Надеюсь, и во Франкфурте нам кое-что удастся.

Поезд сделал рывок и стал набирать скорость, торопясь во Франкфурт-на-Майне.

Глава седьмая.
Встреча во Франкфурте-на-Майне

Восемнадцатого мая 1848 года во Франкфурте-на-Майне, вольном имперском городе, открылось первое в истории всегерманское Национальное собрание. Оно было детищем революции. Многие хотели видеть в новорожденном сказочного силача, политического Зигфрида, способного осуществить самую заветную мечту народа, выполнить главную задачу революции – добиться объединения бесчисленных королевств, герцогств и княжеств в единое политически цельное немецкое государство. Но революции, как и люди, иногда имеют дурную наследственность, слабое здоровье и анемичных детей. Такой и была германская революция 1848 – 1849 годов, таким ее детищем оказалось и франкфуртское Национальное собрание.

Единственной акцией Франкфуртского собрания, получившей живой отклик во всей Германии, явилась имперская конституция, принятая 28 марта 1849 года. Хотя исполнительную власть она почти полностью отдавала в руки императора, но все же устанавливала некоторые демократические свободы и являлась шагом к объединению страны. Как ни призрачна была эта конституция, провозглашенная призрачным органом призрачной власти, но за нее, как за последнюю надежду, как за хотя бы какой-то плод революции, ухватились все, кто жаждал для родины и для себя лучшего завтрашнего дня. Против правителей, не желавших признавать конституцию, в первых числах мая начались народные восстания: за Дрезденом на востоке, за Дюссельдорфом и Эльберфельдом на западе последовали Пфальц и Баден на юге, в непосредственной близости от города, где находилось Национальное собрание.

Большинство депутатов Собрания составляли представители мелкой буржуазии и интеллигенции. Им и в голову не приходила мысль о возможности какой-то иной формы правления для будущей Германии, кроме монархической. Они послали в Берлин к прусскому королю Фридриху Вильгельму Четвертому верноподданную депутацию с предложением, вернее, с нижайшей просьбой, если не мольбой, принять всегерманскую имперскую корону. Фридрих Вильгельм отверг корону вместе с имперской конституцией. Казалось бы, вот веский повод, предоставленный самой монархией, чтобы подумать наконец о возможности для отечества немонархического пути. Но где там! Мысли депутатов работали только в одном направлении. Король не хочет быть

императором? Что ж, обзаведемся покуда хотя бы имперским регентом! И избрали им австрийского эрцгерцога Иоганна.

Регент назначил министров центрального правительства, разослал послов в разные страны, но все это выглядело комично, ибо ни регент, ни правительство, ни само Национальное собрание не имели никакой реальной власти и никакого авторитета.

Направляясь из Кёльна после закрытия «Новой Рейнской газеты» во Франкфурт, Маркс и Энгельс хотели встретиться там с некоторыми из депутатов. Они, конечно, не питали чрезмерных иллюзий относительно готовности мелкобуржуазных политиков пойти на решительные дела. Но в последнее время в Национальном собрании все же произошел существенный сдвиг влево: многие явно консервативные депутаты покинули Собрание, и левые получили теперь большинство. В условиях начавшегося по соседству восстания это все-таки давало какой-то шанс на успех в попытке активизировать их.

Прямо с поезда Маркс и Энгельс направились к своему другу члену Союза коммунистов Иосифу Вейдемейеру, бывшему прусскому офицеру, который ныне вместе с Отто Люнингом, братом своей жены Луизы, издавал «Новую немецкую газету», по праву считавшуюся младшей сестрой «Новой Рейнской», только что сраженной контрреволюцией.

Вейдемейер был человеком весьма осведомленным в делах Национального собрания, со многими депутатами которого он находился в довольно близких отношениях: «Новая немецкая газета» давала постоянные отчеты о всех событиях в стенах собора святого Павла, где заседало Собрание. Поэтому Вейдемейеру не составило большого труда через несколько часов после приезда Маркса и Энгельса организовать их встречу с группой левых депутатов. Это произошло у него на квартире в довольно просторной гостиной.

Явилось человек пятнадцать наиболее влиятельных левых депутатов. Все они были очень заинтригованы неожиданным приглашением, и большинство не могло скрыть того жадного любопытства, которое вызывали у них Маркс и Энгельс. Как же! Своей бесстрашной газетой, своими глубокими и дерзкими статьями в ней, двумя судебными процессами, из которых они вышли блистательными победителями над тугоумной прокуратурой, эти два молодых человека стали известны всей Германии и даже за ее пределами, они сделались знаменитостями, их имена встречались во многих газетах, то и дело слышались и там и здесь.

В свою очередь Марксу и Энгельсу кое-кто из пришедших в той или иной мере тоже был известен: адвокат Франц Циц,

историк Карл Хаген, адвокат Людвиг Симон, Вильгельм Трюцшлер, еще два-три человека. Энгельс спросил Вейдемейера, приглашал ли он Арнольда Руге.

– О, Руге теперь далеко! – махнул рукой тот. – Если вы все-таки отправитесь отсюда в Пфальц, то, возможно, встретите его там.

Энгельс удивился: чего бы делать трусоватому Руге в восставшем Пфальце? Но времени для расспросов уже не оставалось. После взаимных представлений все расселись по местам: депутаты на двух больших диванах и в креслах. Маркс, Энгельс и Вейдемейер – на стульях за легким ломберным столиком. Когда движение и говор утихли, Вейдемейер, расправив по давней офицерской привычке свою широченную грудь, четко и внятно сказал:

– Господа! Позвольте мне по приятному долгу хозяина этого дома сказать несколько предварительных слов. Наш город почтили своим посещением известные нам писатели и политические деятели доктор Маркс и его друг Фридрих Энгельс. Первый из них, словно иностранец, лишен права гостеприимства и изгнан из Пруссии. Против второго возбуждено судебное преследование за участие в эльберфельдском восстании.

– Об этом мы читали сегодня в вашей газете, – сказал кто-то из депутатов.

– Да, – подтвердил Вейдемейер, – мы сочли нужным в сегодняшней передовой статье заклеймить позором поведение трусливых либералов Эльберфельда, изгнавших Энгельса из его родного города, после того как он, по существу, организовал его защиту от контрреволюции. Завтра мы дадим должную оценку и его судебному преследованию, и высылке Маркса, как и высылке других редакторов «Новой Рейнской газеты».

– Кто же теперь будет ее издавать? – спросил Циц, самый старший среди присутствующих – ему было уже под пятьдесят – и самый известный из левых депутатов.

– Увы, господа. – Хозяин скорбно склонил голову. – «Новая Рейнская газета», лучшая газета Германии и всей Европы, самая правдивая и смелая, самая авторитетная и популярная, прекратила свое существование.

– Как?! – вскочил экспансивный Трюцшлер. – Кто посмел?!

Среди остальной части депутатов произошло движение, которое трудно было определить однозначно: то ли возмущение, то ли удивление, то ли облегчение…

– Формально газету никто не запрещал, – ответил Вейдемейер. – Ведь революция кое-чему учит не только революционеров, но и контрреволюционеров. Власти поступили

гораздо деликатнее: они просто сделали невозможным дальнейшее пребывание в Кёльне редакторов газеты, и прежде всего – главного редактора.

Энгельс достал из кармана вчерашний прощальный номер «Новой Рейнской» и протянул его Вейдемейеру. Тот взял его, развернул и показал депутатам:

– Вот их последний номер!

При виде небывалых красных страниц все невольно подались вперед. Вейдемейер сложил газету и протянул ее ближе всех сидевшему от него Людвигу Симону. Газету стали передавать из рук в руки, а хозяин продолжал:

– Наш город, господа, не является чужим для наших сегодняшних гостей хотя бы уже потому, что четыре года назад здесь, во Франкфурте, в издательстве Рюттена вышла в свет их первая совместная работа «Святое семейство», получившая, как вы, очевидно, еще не забыли, живой отклик и у читателей, и в прессе. Позвольте вам напомнить главную мысль этой прекрасной работы. Она состоит в утверждении того, что в основе духа исторического действия лежит не идея, а движение масс, что историческое развитие определяется не тезисами, пусть даже самыми умными, а действиями народа. Мне кажется, что некоторыми своими нынешними соображениями именно по этому вопросу с вами и хочет поделиться доктор Маркс.

Газета продолжала путешествие по рукам депутатов, но при имени Маркса она замерла на месте.

Маркс не торопился начинать. Он еще раз внимательно оглядел депутатов, опустил глаза, несколько мгновений помолчал, как бы обдумывая увиденное, и вдруг вскинул пронзительный взгляд:

– Господа! Позавчера вы имели возможность отметить первую годовщину своего пребывания в стенах всегерманского Национального собрания в качестве его депутатов.

Историк Хаген тихо сказал: «Действительно!» Остальные выжидательно молчали.

– Решайте сами, – Маркс сделал такое движение правой рукой, словно что-то бросил слушателям, – можете ли вы с чем-нибудь поздравить себя по случаю юбилея.

Начало было резким. Может быть, Маркс даже не хотел этого, но не мог себя сдержать. Так много горечи пришлось ему испить за последние дни: и гибель газеты, в которую он вкладывал всю душу, и унизительное изгнание, как чужеземца, и тревога за жену и детей, оставшихся в Кёльне, и утрата почти всех денежных средств, пошедших на погашение долга авторам, наборщикам и курьерам газеты! А тут сидят эти благополучные трусы…

– Мы приехали к вам, – было видно, что Маркс поборол себя, – и выступаем перед вами – и Вейдемейер, и Энгельс, и я – как представители Союза коммунистов. В качестве таковых мы считаем нужным напомнить следующее. Германская революция, будучи частью общеевропейского движения, после подавления революции во Франции, после столь же печальных событий в других странах резко пошла на убыль. Но в первых числах этого месяца в немецких городах на востоке, западе и на юге одно за другим стали вспыхивать новые восстания. Они носят разрозненный характер, и именно поэтому некоторые из них уже подавлены…

– И в Дрездене, и в Дюссельдорфе, и в Эльберфельде, – вставил Циц.

– Да, именно так, – согласился Маркс. – Но пока не все потеряно. Революция еще жива в Бадене и Пфальце, где свергнута власть баварского короля. И если вы не хотите немедленной смерти революции и не хотите, чтобы у народа были отобраны последние клочки завоеванных им свобод, вам следует немедленно возглавить движение.

– Возглавить? – переспросили сразу два голоса.

– Да! – жестко сказал Маркс. – Именно возглавить.

– Позвольте, – откинулся в кресле тучноватый Хаген, – но мы и так стоим во главе движения за имперскую конституцию, нами самими же выдвинутую и утвержденную.

– Надо возглавить не словесно, господин Хаген, не с трибуны Собрания, не со страниц газет, а на деле, практически, организационно. Если вы и ваши коллеги по Собранию, то есть Собрание в целом, не сделает это, то оно погибнет. Вейдемейер правильно говорил здесь, что из революции извлекают опыт не только революционеры, но и контрреволюционеры. Я хочу продолжить мысль моего друга: порой у меня складывается такое впечатление, что из нашей революции ее враги извлекли гораздо больше уроков, чем некоторые из нас.

Кто-то обиженно хмыкнул, кто-то передернул плечами.

– Я могу привести много фактов, говорящих об этом, но, может быть, вас убедит и один. Неужели в эти дни вам не приходит на ум судьба вашего берлинского коллеги – Национального собрания Пруссии? Оно так долго бездействовало, так завязло в словопрениях, что в конце концов полгода назад в Берлин вошли войска генерала Врангеля. Рабочие, собравшись у Собрания, готовы были за него сражаться, но депутаты не захотели, испугались использовать их боевой революционный пыл. Они не решились призвать народ к оружию, а ограничились призывом не платить правительственные налоги.

Но это было уже тогда, когда правительство изгнало Национальное собрание из столицы, а вскоре оно его и вовсе прикрыло.

– Такую же судьбу вы пророчите и нам? – раздраженно спросил Циц.

– А какие основания у вас думать, что с вами обойдутся иначе? – усмехнулся Маркс.

– Мы не прусское Собрание, а общенемецкое!

– Ну и что? – сдерживая холодный гнев, спросил Маркс. – Да, вы общенемецкое, но у вас же нет ни войска, чтобы себя защитить, ни денег, чтобы хоть нанять для этой цели наемников. А генералов никогда не смущают вывески, когда они отдают команду «Огонь!».

– Конечно, все так и есть! – горячо воскликнул Трюцшлер. – Но именно поэтому – как мы можем возглавить движение?

– В этом все дело, – спокойно ответил Маркс, довольный тем, что наконец-то добрался до сути. – Проблема очень проста, но для своего решения требует энергии и бесстрашия. У вас нет своей вооруженной силы. Так надо обрести ее! Как? Призвать сюда, во Франкфурт, революционные армии Бадена и Пфальца. Власть не стоит ни гроша, если у нее нет своей вооруженной силы.

– А дальше?

– Вы станете реальным органом борьбы за конституцию, знаменем этой борьбы и ее штабом, и к вам присоединятся борцы в других краях Германии, где вполне вероятны новые восстания.

Маркс замолчал, и несколько секунд длилась напряженная тишина.

– Все это очень предположительно, – сказал наконец Франц Циц. – Это только ваша гипотеза.

– А вы хотели бы твердых гарантий? – язвительно вмешался хранивший до сих пор полное молчание Энгельс. – Политика вообще, а революции особенно, мало похожи на банк, выплачивающий твердые проценты на вложенный капитал.

– Спасибо за разъяснение, господин Энгельс, – Циц криво усмехнулся полными сытыми губами, – но я знал это еще лет двадцать пять тому назад, когда был несколько моложе, чем вы ныне.

Молодость Энгельса – тем более что он казался моложе своих лет, – как видно, смущала многих депутатов, а Цицу она просто не внушала доверия.

– А как вы это мыслите себе с чисто военной точки зрения? – спросил Трюцшлер, он был всего года на два старше Энгельса, и тот не казался ему юнцом, выскочкой.

– С военным аспектом вопроса вас как раз и намерен познакомить мой коллега, – сказал Маркс.

Энгельс встал, так он чувствовал себя лучше, удобнее.

– Господа, вы знаете, как и почему было подавлено июньское восстание в Париже…

– Еще бы не знать! – тут же подхватил Циц. – Восставших было тысяч сорок – сорок пять, а у генерала Кавеньяка – двести пятьдесят.

– Да, это одна из главных причин, – согласился Энгельс; он не любил, когда его перебивали, но тут надо было терпеть. – Но не единственная. История войн знает немало примеров, когда и при худшем соотношении сил меньшинство оказывало достойное сопротивление и даже одерживало победы.

– Например, триста воинов царя Леонида против полчищ персов! – насмешливо сказал Хаген.

– Есть примеры и посвежей, – невозмутимо продолжал Энгельс, – но рассмотрение их увело бы нас слишком далеко, а ведь мы, господин Хаген, не на уроке истории. У восставших парижан имелась весьма дельная военная голова – бывший офицер Керсози. Он учел опыт других восстаний и составил план, предусматривавший концентрическое наступление на ратушу, Бурбонский дворец и Тюильри четырьмя колоннами, которые должны были опираться на рабочие предместья. План получился толковый. Но его не удалось осуществить главным образом потому, что восставшие не смогли создать единого центра по руководству восстанием и отряды действовали разрозненно.

– А что произошло в Эльберфельде? Ведь вы только что оттуда, – сказал Трюцшлер.

– Да, в сущности, то же самое: отряды действовали разрозненно. Вы только посмотрите: кончалось восстание в Дрездене – начиналось в Дюссельдорфе, кончалось в Дюссельдорфе – начиналось в Эльберфельде… Если и теперь не возникнет единый центр, если вы не возглавите движение, то сперва будет подавлено восстание в Бадене, потом – в Пфальце или наоборот. А затем, впрочем, может быть, даже и до этого, покончат и с вами.

– И он о том же! – досадливо воскликнул кто-то.

– Конечно! – сразу отозвался Энгельс. – Как может быть иначе?

Энгельс опустился на стул. Опять воцарилась тягостная тишина. Она длилась дольше, чем в первый раз, нарушил ее снова Циц, он проговорил медленно, как бы раздумывая:

– Нет, господин Маркс и господин Энгельс, мы благодарим вас за приезд и благие побуждения, но – я надеюсь, мои коллеги

разделяют мой взгляд – все, что вы сказали, все, к чему вы нас призывали, нам не подходит. Мы предпочитаем бороться иначе…

Энгельс нервно щелкнул пальцами по крышке стола. Маркс, опасаясь с его стороны резкой выходки, мягко положил левую руку на его рукав, а правую призывно вытянул в сторону говорившего:

– Но ведь вы же, господин Циц, и ваши коллеги по Собранию несете немалую моральную ответственность за начавшееся восстание, вы инспирировали его.

– То есть как? – опешил Циц. Его сытые губы от злости словно усохли. – Вы имеете в виду конституцию, которую мы приняли?

– Конечно, и конституцию, но не только. – Марксу этого не хотелось, но ход встречи вынуждал его прибегнуть к весьма рискованному доводу. – Вы все, господа, и устно в стенах Национального собрания, и в газетах многократно заявляли, что пойдете на любые жертвы ради имперской конституции, что готовы погибнуть вместе с Национальным собранием. Разве не так? – быстрым, цепким взглядом он пробежал по лицам депутатов.

Те молчали.

– Так! – с болью в голосе воскликнул Трюцшлер.

– И что же? – Огромным усилием воли Маркс сдерживал свое негодование, оно пробивалось только в дрожании его темных ресниц. – А то, что множество людей в разных концах Германии поверили вам, отнеслись к вашим обещаниям и призывам несколько серьезнее, чем вы рассчитывали. Точнее говоря, они отнеслись к ним вполне серьезно. Они взялись за оружие, они действительно готовы умереть с вами, но, оказывается, вы не собирались и не собираетесь умирать. Для вас все было лишь словесной игрой!

– Позвольте! – раздалось сразу несколько голосов. – Это уже…

– Господа, это только факт, – не дал перебить себя Маркс. – Разве, например, Фридрих Целль, адвокат из Трира, мой земляк, не ваш коллега по Национальному собранию? – Он расчетливо назвал отсутствующего Целля, а не кого-нибудь из сидящих здесь, хотя едва ли не каждый из них годился для этого места его речи. – Так вот, городской гласный Целль, как вы знаете, председательствовал на конгрессе представителей рейнских общинных советов, состоявшемся две недели тому назад в Кёльне. Этот конгресс принял весьма решительное постановление. Оно содержало призыв ко всем мужчинам, способным носить оружие, быть готовыми отстоять имперскую конституцию; и оно требовало отставки правительства Бранденбурга – Мантёйфеля в

Берлине; оно даже угрожало отпадением Рейнской провинции от Пруссии, – и подо всем этим стояла подпись вашего собрата Фридриха Целля. Так или не так? – Маркс с такой яростью вперился в глаза Цица, что тот негодующе опустил их.

– Так, конечно так! – воскликнул Трюцшлер. – Все это святая правда.

– А где господин Целль сейчас? – как бы желая немедленно получить его, Маркс протянул растопыренную смуглую ладонь к депутатам.

– Мы не знаем. Он куда-то уехал, – попытался отмахнуться Хаген.

– Странная неосведомленность о своем коллеге! – иронически пожал плечами Маркс. – А вот мы располагаем достоверными сведениями о том, что Целль в качестве комиссара Франкфуртского имперского правительства отправился в Баден.

– Это действительно так, – вставил Вейдемейер.

– И как вы думаете, господа, чем он там занимается?

Все молчали, напряженно глядя на Маркса. Тот дал паузе созреть вполне и сорвал ее:

– Он призывает восставших к спокойствию – всех, и способных и неспособных носить оружие! Таким образом, в начале мая в Кёльне ваш коллега был пламенным революционером и звал за собой народ, а в середине мая в Карлсруэ он уже стоит поперек пути народа.

Депутаты зашевелились, зашептались, задвигали креслами. Молчавший до сих пор Шлёффель вдруг оживился:

– Доктор Маркс, а вы, лично вы, и господин Энгельс, что намерены делать сейчас, в эти тревожные дни?

Маркс не успел открыть рта, как Вейдемейер выпалил:

– Они едут туда, где восстание. Энгельс уже принял участие в эльберфельдском восстании, и не его вина, что он не смог остаться там до конца. А теперь – Баден и Пфальц! Борьба против пруссаков и баварцев, соединившихся в едином союзе.

Энгельс движением руки остановил Вейдемейера и сказал:

– Да, господа, мы направляемся туда, чтобы разделить с восставшими их участь. У нас, как и у всех членов Союза коммунистов, слово не расходится с делом. Мы надеемся быть полезными там.

– А мы надеемся быть полезными здесь, – решительно сказал Циц, вставая. Встали и все остальные депутаты, кроме Трюцшлера. Маркс тоже встал. Он сделал два шага вперед, помолчал и решил бросить уже самый последний свой аргумент:

– Господин Циц, а вы не подумали о том, что ведь может случиться так, что баденские и пфальцские повстанческие армии

явятся сюда, во Франкфурт, безо всякого зова, сами? Вы будете поставлены перед фактом. Какую тогда вы займете позицию? Что станете делать? И это может случиться буквально в ближайшие дни.

– Доктор Маркс, вы напомнили мне сейчас другого доктора – врача Франсуа Распайля. – Циц вкусно пожевал полными губами. – В прошлом году он потребовал от Временного правительства Франции немедленного провозглашения республики, пригрозив, что в противном случае через два часа он явится во главе двухсот тысяч демонстрантов.

– И он явился бы! – стукнул ладонью по столу Энгельс.

– Да, вероятно, – спокойно согласился Циц. – Именно поэтому его требование было выполнено досрочно. Это произошло двадцать пятого февраля. Но, господа, вы все помните, что случилось в середине мая, ровно год назад. Распайль и кое-кто еще оказались в тюрьме. Увы, это факт, которого невозможно отрицать…

– Ну, ну, господин Циц, – мрачновато усмехнулся Маркс, – смотрите, не ошибиться бы вам с вашими аналогиями и сравнениями. В области истории они всегда сомнительны.

Циц не хотел продолжать разговор, опасаясь его новых рискованных поворотов. Дабы хоть что-то произнести, он переспросил:

– Итак, вы едете туда, где восстание?

– Да! – резко ответил Энгельс, тоже вставая.

– Конечно, теперь, когда «Новая Рейнская газета» закрыта… – начал было Шлёффель.

Трюцшлер вскочил:

– Как вы смеете! Вы хотите сказать, что люди едут в район восстания только потому, что им больше нечего делать? Для развлечения? Для забавы?

– Господа, господа! – Маркс примиряюще простер руки. Он еще надеялся если не сейчас, то хотя бы потом, позже все-таки извлечь некоторую пользу из левых депутатов, если, конечно, в скором времени Национальное собрание не будет разогнано. – Зачем такие страсти? Мы откровенно говорили, мы выяснили позиции, и уже в этом есть немалый смысл. Может быть, события ближайших дней еще заставят вас подумать о том, что мы тут вам говорили.

Начали раскланиваться. Прощание получилось сдержанным, даже холодным, даже неприязненным, несмотря на улыбки с обеих сторон.

Последним уходил Трюцшлер. В дверях он сказал:

– Господа, я был бы счастлив поехать с вами. Если найдете

возможным взять меня, пожалуйста, сообщите.

– Благодарим вас за честный порыв, – дружески улыбнулся Маркс, – но в наши расчеты не входит увеличивать состав нашего легиона, – он шутливо ударил ладонью по груди себя и Энгельса. – Мы должны быть достаточно мобильны и оперативны.

– Жаль, – покачал головой Трюцшлер. – Во всяком случае, помните, что я всегда готов прийти вам на помощь.

– Спасибо.

Оставшись одни, все трое некоторое время молчали: Маркс и Энгельс ходили из угла в угол, Вейдемейер сидел за столиком. Вдруг Энгельс ударил кулаком в ладонь:

– Ах, как мне хотелось хоть кому-нибудь из них набить физиономию! Больше всех Цицу, конечно.

Маркс засмеялся:

– А меня, представь себе, больше всех злил почему-то Людвиг Симон, хотя он молчал, как рыба.

– Почему-то! – воскликнул Вейдемейер. – Ясно почему: он же, как и Целль, твой земляк – из Трира.

– Но я же этого не знал!

– Мало ли что! Видно, чувствовал.

– Боже мой, какое богатое разнообразие политических типов дал миру наш тихий славный Трир!

С кофейником и чашечками на подносе вошла Луиза.

– Господа, подкрепитесь.

– Очень кстати! – радостно потер руки Энгельс.

Все снова уселись за столик, взяли чашечки.

– Да, – задумчиво сказал Маркс, делая глоток, – следует со всей прямотой признать полный провал нашей миссии.

– А вежливости-то, вежливости-то сколько было потрачено! – вздохнул Энгельс.

– Ну, с твоей стороны особых затрат, кажется, не было, – улыбнулся Вейдемейер.

– Вот именно «кажется»! – подхватил Маркс. – Ты плохо знаешь Фридриха, и тебе трудно понять, сколько усилий стоило ему говорить с ними по-человечески.

– Иосиф, – вдруг переменил тему разговора Энгельс, – мне показалось, что скоро ты станешь счастливым отцом. Или я ошибаюсь?

– Нет, ты не ошибаешься.

– Ты подумай, Карл, что творится на белом свете! Кругом восстания, революции, Европа горит, а наши друзья обзаводятся потомством: ждет ребенка Даниельс, ждет Иосиф… Да ведь и ты тоже!

– Мне это нравится, – засмеялся Маркс. – Значит,

коммунисты уверены в будущем.

– Молодцы! – Энгельс вскинул вверх чашечку, словно она была с вином.

– Как решили назвать? – спросил Маркс.

– Если мальчик, – счастливо улыбнулся Вейдемейер, – Отто, в честь шурина.

– Но он же насквозь пропитан мелкобуржуазно-утопической чепухой, и работать тебе с ним в газете трудно. – Энгельс поставил чашечку с легким стуком на стол. – В честь такого человека?

– Что делать! Жена настаивает, она любит брата.

– Конечно, с этим нельзя не считаться, – сказал Маркс. – Ну а если девочка?

– Тогда Лаура.

Маркс насторожился:

– А это в честь кого?

– У тебя есть Лаура, пусть будет и у меня.

– Ах, вот оно что! – Маркс сокрушенно покачал головой. – Так, может быть, всем членам Союза коммунистов следует называть своих дочерей Лаурами? А? Неплохо, правда? Встречает один член Союза другого и уж наверняка знает, что его дочь зовут Лаура. Какое удобство!

– Хотя нельзя не заметить, – вставил Энгельс, – что красочность мира от таких коммунистических действий несколько поблекла бы.

– Между прочим, дорогой Иосиф, – Маркс тоже допил кофе и поставил чашку на стол, – она блекнет уже и от того, что ты в своих статьях, которые я читал в вашей газете, слишком старательно следуешь моим стилистическим образцам. Ты об этом не думал?

– Но если это отличные образцы!

– Об имени Лаура можно сказать даже больше: оно прекрасно! Но все-таки я бы не хотел, чтобы и у тебя, и у Даниельса, и у Энгельса…

– Ты, вероятно, прав, – сказал Вейдемейер. – Но не думай, что я делаю это сознательно, просто так получается, из-под влияния твоего стиля выйти не так просто.

– И все-таки постарайся. Надо иметь свое лицо. Без этого нет писателя. Ну а с дочерью поступай, пожалуй, как хочешь, только не вздумай никому говорить, что назвал ее в честь моей дочери. Право, смешно.

Все встали из-за стола. Вошла снова Луиза и сказала, что минут через сорок будет обед.

– Итак, завтра едем дальше, в Карлсруэ, Фридрих.

– Да, – отозвался Энгельс. – И единственная благая весть, которую мы увозим из Франкфурта, это весть о том, что еще один член Союза коммунистов скоро станет папой.

– Это, конечно, немало, но хотелось бы большего.

У всех были дела, и время, оставшееся до обеда, каждый использовал по-своему. После обеда было, однако, решено не ждать до завтра, а ехать немедленно. Время и события торопили.

Глава восьмая. Правительственный обед

Карлсруэ, столица Бадена, находится километрах в ста тридцати к югу от Франкфурта-на-Майне. Расстояние невелико, но Маркс и Энгельс преодолевали его по частям, знакомясь в городах, через которые проезжали, с обстановкой. В Мангейме и Людвигсхафене они встретились с местными руководителями восстания. Картина, представившаяся им, была пестрой и в целом неутешительной. Всюду царили веселье, беспечность, бездеятельность. Двери трактиров почти не закрывались. Там много пили, много смеялись, много болтали о готовности умереть за конституцию, но почти ничего не делалось для укрепления обороны городов, для обучения новобранцев, для охраны железных дорог и других важных военных объектов.

Что касается руководителей восстания, которым Маркс и Энгельс стремились внушить мысль о необходимости военного похода на Франкфурт, то они ясно дали понять, что без призыва франкфуртского Национального собрания поход невозможен. А такой призыв, как это стало очевидно из встречи с депутатами, тоже невозможен. Получался заколдованный круг. Но друзья не теряли надежды разорвать его в столице Бадена.

Они приехали в Карлсруэ двадцать третьего мая утром. Стояла прекрасная пора зрелой весны, уже переходящей в лето. Над городом проплывали незримые облака весенне-летних ароматов: то запах поздней сирени, то раннего жасмина, то расцветающих окрестных лугов и полей. Но прибывшим было сейчас не до красот южнонемецкой весны…

На другой день в гостинице «Париж» назначался обед, на котором Маркс и Энгельс должны были встретиться с руководителями баденского временного правительства. Друзья явились точно в условленное время. В вестибюле гостиницы уже толпилось немало народа, но обед еще не начинали, ожидая руководителей правительства.

Никем не узнанные, Маркс и Энгельс забрели в какую-то боковую проходную комнату и в ожидании опустились на диван.

Они просидели всего несколько минут, как вдруг одна из дверей распахнулась и вошел мужчина лет около пятидесяти, довольно неряшливо одетый. Он куда-то спешил через эту комнату. Друзья были увлечены разговором и не обратили внимания на вошедшего. Но он сам остановился около них и воскликнул:

– Господа! Что я вижу? Вы здесь? Какими судьбами? Здравствуйте!

Это был Арнольд Руге, с которым пять лет назад Маркс издавал в Париже «Немецко-французский ежегодник». Сотрудничество оказалось тяжелым, ибо на слишком многие вещи соредакторы смотрели совершенно по-разному. К тому же Руге обнаружил невероятную скаредность. Он был не только редактором, но также издателем и, случалось, доходил до того, что платил Марксу жалованье экземплярами их «Ежегодника». Одного этого, конечно, достаточно, чтобы не испытывать к такому человеку никакой симпатии. Но за минувшие годы возникли еще и другие, гораздо более важные причины: Руге все больше превращался в политического дельца и философствующего болтуна.

Поздоровались, не подавая друг другу рук. Маркс сказал:

– Вы говорите, какими судьбами? Мы журналисты. Журналистская судьба может забросить нас и забрасывает куда угодно. Естественнее удивиться нам, как оказались здесь вы. Вроде бы ваше место сейчас во Франкфурте – вы же депутат Национального собрания!

– Да, конечно, – скорее с замешательством, чем с гордостью ответил Руге. – Но баденское правительство – представьте себе, как это для меня не ко времени! – попросило вашего покорного слугу поехать послом во Францию.

– Послом?! – не сдержал удивления Энгельс.

– Да, послом. Вы же знаете, что я два года прожил в Париже…

– И за это время не выучились там французскому языку, – скорбно покачал головой Энгельс.

– Ну, не у всех же такие способности к языкам, – как у тебя, – примирительно сказал Маркс.

– В самом деле, – обрадовался поддержке Руге. – А кроме того, у меня же будут секретари!

– Ах, еще и секретари… Однако все-таки странно видеть философа и публициста, издателя и депутата общегерманского парламента баденским послом. Ну хотя бы имперским! Ведь все так привыкли видеть вас в учрежденной вами величественной должности редактора разума событий. – Энгельс подчеркнул последние три слова, ибо они принадлежали Руге, который еще год назад провозгласил главной задачей общегерманского Национального собрания именно «редактирование разума событий». – Разве в Париже удобнее, чем во Франкфурте, редактировать разум немецких событий?

Руге в душе досадовал на себя за то, что сам остановился, поздоровался и завязал разговор. Маркс спросил:

– А что же теперь будет с вашей газетой «Реформа»? Послу и впрямь как-то не пристало заниматься журналистикой. Да и весьма затруднительно из Парижа руководить газетой, издаваемой в Берлине.

– Ну уж как-нибудь… – неопределенно пробормотал Руге.

– Я совсем забыл! – развел руками Энгельс. – Вы же еще и «Реформу» издаете. О, тогда вы непременно должны быть послом во Франции! Ведь там сейчас у власти правительство Одилона Барро, творца лозунга «Реформа во избежание революции!». Более желанного посла, чем вы, для Барро не может быть. Поздравляю, господин Руге, с прекрасным назначением.

– Вы, господин Энгельс, не меняетесь – все так же любите шутки и острое словцо.

– Помилуйте, какие же шутки – посол в Париже!

– Но, господа, – Руге хитровато склонил голову набок, – вы задали мне уже так много вопросов, а между тем на мой вопрос еще не ответили: что вас сюда привело? Кого вы ждете в этой комнате?

– Что ж, Фридрих, у нас ведь нет причин, чтобы скрытничать. – Маркс обернулся к Энгельсу, а затем к Руге. – У нас тут назначена встреча с некоторыми лицами из правительства.

Руге очень оживился:

– Может быть, вы приглашены на этот обед? Говорят, будет сам Брентано…

– Этот обед господин Брентано как раз и дает в нашу честь, – сказал Энгельс, с удовольствием наблюдая, как тень изумления и зависти стала шириться на лице собеседника.

Руге немного помолчал, видимо что-то обдумывая и с чем-то борясь в душе. Наконец он решился:

– Господа, у меня к вам большая просьба… Во имя старой дружбы… Совершенно нелепое недоразумение… Несколько дней назад я действительно был назначен послом в Париж и уже готовился к отъезду, но сегодня утром Брентано вызвал меня к себе, буквально из кармана вытащил у меня верительные грамоты и не отдал их.

Друзья в один голос захохотали.

– Даже ничего не объяснил! – сокрушался Руге.

– Ну и нравы! – подавляя смех, воскликнул Маркс.

– Может быть, он пронюхал через своего министра внутренних дел, через разведку, что вы не знаете французский? – все еще смеялся Энгельс.

– Через Флориана Мёрдеса? – вполне серьезно переспросил Руге, никогда не отличавшийся по части юмора.

– А может быть, вы просто не поняли Брентано и он хотел

послать вас не в тот Париж, что во Франции, а в тот, где мы сейчас находимся, в гостиницу «Париж»? – Новый приступ смеха сотряс плечи Энгельса, снова засмеялся и Маркс. – Выходит, я поздравил вас преждевременно!

– Господа, я вас прошу, – Руге взял и того и другого за руки, – когда будете беседовать с Брентано, скажите ему, что серьезные правители так не поступают. Пусть он вернет мне верительные грамоты, они по праву мои, я должен ехать в Париж. Я всегда, господа, восхищался вашим умением убеждать.

В этот момент с треском распахнулась дверь, через которую вошли сюда Маркс и Энгельс, и на пороге показалась некая запыхавшаяся личность.

– Господа, тут есть доктор Маркс? А Энгельс?.. Боже мой! Ну что же вы! Вас ищут по всей гостинице. Уже все в сборе, а вас нет. Пожалуйста, поторопитесь. Вас ждут!

Руге засуетился:

– Я пойду с вами. Мне же необходимо объясниться. Я должен знать.

– Давай возьмем. Пусть поест, – сказал Энгельс.

Маркс пожал плечами.

– Едва ли это возможно, господин Руге. Все-таки обед правительственный.

– Да пусть поест, – махнул рукой Энгельс. – Человек пострадал! Вместо одного Парижа оказался в другом. Пусть. Он же философ – много не съест…

Но Маркс уже не был склонен шутить. Он понимал, как понимал это, конечно, и его друг, что появиться перед членами правительства в обществе Руге было бы совершенно ни к чему, это могло бы сразу подорвать авторитетность их миссии.

…Брентано хотел посадить Маркса и Энгельса за столом рядом с собой: одного по правую руку, другого по левую. Но гости под предлогом, что для удобства ведения беседы лучше бы сидеть напротив, предпочли занять места на противоположном конце стола.

Когда обычный в таких случаях шум и говор затихли, Брентано поднялся с бокалом в руке и сказал:

– Господа! Нашему восстанию всего полторы недели, но оно уже привлекло к себе взоры многих лучших людей отечества. Одним из наиболее ярких доказательств этого является приезд в Карлсруэ всем вам известных революционных деятелей, редакторов «Новой Рейнской газеты» доктора Маркса и его коллеги господина Энгельса, которые находятся сегодня среди нас за этим дружеским столом.

Голос Брентано был торжественным и задушевным

одновременно. Этот тридцатипятилетний адвокат был хорошим провинциальным актером. В нем сочетались честолюбие, хитрость и немалая проницательность. Он умел войти людям в душу, ему почти всегда удавалось, как говорится, подать себя должным образом. Эти способности пришлись как нельзя кстати, когда десять дней назад, тринадцатого мая, в страхе перед начавшимся восстанием бежал великий герцог Леопольд и было создано временное правительство Бадена, во главе которого он, Лоренц Брентано, и встал. Он был, бесспорно, умнее и оборотистее всех членов своего кабинета, может быть, даже вместе взятых.

– Дорогие и высокоуважаемые гости! – Глава правительства слегка поклонился Марксу и Энгельсу. – Мы приветствуем вас на прекрасной баденской земле не только как официальные лица, но и как люди революции. Некоторые из нас – и мы этим особенно гордимся – вошли в правительство, можно сказать, прямо из тюремных камер, где томились за свое участие в недавних героических, но безуспешных восстаниях на многострадальной баденской земле. Я имею в виду прежде всего нашего замечательного философа и журналиста Густава Струве…

Струве сидел рядом с Марксом. Крупный, седоватый, лет сорока пяти, он был одним из самых старших за этим столом. Ему явно польстило звание философа.

– …известного журналиста, неутомимого Йозефа Фиклера…

Маркс поискал глазами Фиклера, но едва нашел, как оратор уже назвал новое имя.

– …бесстрашного Карла Блинда, тоже журналиста…

Энгельс шепнул Марксу:

– У них что – все правительство из журналистов? Это правительство или редколлегия?

– Есть и адвокаты, – не шевеля губами, ответил Маркс.

Блинду было всего двадцать три года. Высокий, худой, словно состоящий из одних острых углов, он держался как-то особняком, независимо. Брентано недолюбливал его и опасался, мечтая поскорее как-нибудь отделаться от его присутствия в правительстве. Собственно, именно об этом он и сказал сейчас:

– На днях господин Блинд отправляется нашим послом во Францию. Мы и сожалеем об этом, так как лишаемся надежной опоры здесь, в Карлсруэ, но одновременно и радуемся, ибо никто лучше Блинда не сможет представлять нас в Париже.

Маркс и Энгельс переглянулись, и губы их чуть заметно дрогнули в усмешке: они поняли, почему у Руге в самый последний момент были отняты верительные грамоты.

– Время революции, господа, – продолжал хорошо

поставленным голосом Брентано, – это время взлетов не только классов и народов, но и отдельных личностей. Здесь присутствуют люди, которым именно революция помогла раскрыть во всей полноте их выдающиеся способности. Тут речь идет главным образом о наших военных деятелях: о военном министре Карле Эйхфельде, его заместителе Майерхофере, о главнокомандующем нашими войсками Франце Зигеле.

В самом деле, еще вчера Зигель был младшим лейтенантом, а Эйхфельд – старшим. Сегодня первый стал полковником, второй – министром. Каковы их действительные способности, этого никто не знал, но они были чем-то угодны Брентано, и он ввел их в правительство.

– В такой же мере мои слова о расцвете способностей в дни революции относятся к Флориану Мёрдесу, нашему министру внутренних дел, неусыпному стражу народных завоеваний. – Брентано пристально взглянул на гостей, стараясь понять, какое впечатление произвел на них весь этот парад, но те были непроницаемы. – Прошу вас, господа, поднять вместе со мной бокалы за здоровье наших мужественных друзей из Кёльна!

Обед начался, словно корабль отчалил от пристани. Тостов было много: за родину, за революцию, за народ, за свободу… Маркс так внимательно все слушал и так пристально разглядывал собравшихся, что не успевал как следует поесть: едва он проглотил две-три ложки супа, как уже подали второе, нежную пулярку; только вошел во вкус курятины, как приспело сладкое… Энгельс видел это и все время напоминал ему: «Да ты ешь! Гляди, как стараются министры». Сам он успевал и слушать, и смотреть, и управляться с блюдами не хуже министров. Ведь последние три дня в бесконечных переездах есть приходилось кое-как, наспех…

Когда глава правительства предоставил слово Марксу, тот предложил, чтобы сперва выступил его друг, а он потом. Предложение, разумеется, приняли, и Энгельс, встав, начал так:

– Господа! Ваше восстание вспыхнуло при самых благоприятных условиях. Почти весь народ был единодушен в ненависти к герцогу Леопольду и его правительству, вероломному и жестокому. Армия оказалась не только на вашей стороне, но и возглавила события, именно она превратила «движение» в восстание. Приступая к исполнению своих обязанностей, вы имели готовую преданную вам армию, арсеналы, полные оружия, и богатую государственную казну. О чем еще можно мечтать?

– А внешняя обстановка! – вставил Маркс.

– Да, и внешняя обстановка складывалась завидно. За Рейном, в Пфальце, уже развернулось восстание против баварцев,

которое прикрывало и прикрывает ваш левый фланг. Дальше на северо-запад, в Рейнской Пруссии, в городах Эльберфельде, Дюссельдорфе, Золингене и других, тоже происходило восстание, и хотя оно уже было под угрозой, но еще не подавлено. К северу и северо-востоку от вас – в Вюртемберге, Франконии, в княжествах Гессен и Нассау – всеобщее возбуждение, даже в армии – там достаточно было только искры, чтобы пожар восстания охватил всю Южную и Среднюю Германию, а это дало бы в распоряжение повстанцев не менее пятидесяти – шестидесяти тысяч регулярных войск.

– Не преувеличиваете ли вы? – настороженно бросил военный министр Эйхфельд.

– Я могу потом представить вам свои выкладки, но сейчас это заняло бы слишком много времени. Поверьте пока на слово. Тем более что дело не только в этом.

– Положим, так, господин Энгельс. – Брентано слегка звякнул по тарелке десертной ложечкой, как бы объявляя о своем вступлении в разговор. – Что же из всего этого следует? Нам надлежало провозгласить коммунистическую республику?

Задетый за живое, ответить на вопрос вдруг решил Маркс:

– Нет, вам, по нашему разумению, надлежало прежде всего и немедленно позаботиться об укреплении базы восстания и о его расширении. Для этого следовало отменить все феодальные повинности, выпустить собственные деньги, централизовать все силы – такие меры придали бы восстанию гораздо более энергичный характер.

– Именно так, – подтвердил Энгельс. – А затем или даже одновременно вы должны были, как нам думается, собрать восемь – десять тысяч регулярных войск и с их помощью расширить восстание, бросив их туда, где революционная ситуация уже назрела.

– Ну, об этом мы слышим с первого дня восстания от нашего главнокомандующего. – Брентано кивнул головой в сторону Зигеля.

– Да, я разработал план перехода в наступление, – почти вызывающе сказал Зигель. – И очень жаль, что до сих пор никто меня здесь не поддержал. И вот только господин Энгельс… Я рад…

Энгельс заинтересовался:

– Вы не могли бы кратко сообщить, в чем состоит ваш план?

– Он очень прост и энергичен. – Зигель отодвинул от себя тарелку, словно расчищая место для стратегической карты. – Я предлагал двинуть войска на восток, в Гогенцоллерн, и провозгласить там республику. Затем ударить на север, на

Штуттгарт, поднять восстание в Вюртемберге. После этого двинуться на Нюрнберг и разбить большой лагерь в сердце охваченной восстанием Франконии. Таким образом, вся Южная Германия оказалась бы в наших руках…

Министры выжидательно смотрели на Энгельса. Он кивнул Зигелю в знак того, что понял его, и негромко, но внятно сказал:

– Ваш план, господин главнокомандующий, хорош, на мой взгляд, тем, что он смел и содержит дельную мысль о необходимости при всех условиях вести наступательные действия. Во всем же остальном, извините, – Энгельс слегка подался в сторону Зигеля, – он представляется мне несостоятельным и даже – ведь мы встретились для того, чтобы назвать вещи своими именами, – авантюристическим.

– Именно это я и говорил! – как бы с вынужденным и горьким торжеством воскликнул Брентано.

– Во-первых, для такого далекого похода и для таких грандиозных акций у вас недостаточно сил. А ведь вашему войску пришлось бы бороться против баварской армии, самой сильной из южногерманских армий и решительно враждебной восстанию. Во-вторых, что крайне важно, вы совершенно пренебрегаете нынешним моральным значением Франкфурта с его общенемецким Национальным собранием. Только овладение Франкфуртом, мы считаем, могло бы придать восстанию всегерманский характер. В-третьих, вы недооцениваете стратегическое значение Майна, который в случае взятия Франкфурта был бы для ваших войск прекрасной линией обороны против прусских и баварских сил.

– Значит, – немного приподнялся от волнения на стуле Эйхфельд, – вы все-таки тоже за поход, но только не на Нюрнберг, а на Франкфурт?

– Да, вы поняли меня совершенно верно. Мы, конечно, за такой поход. Те десять тысяч войск, которые при помощи железной дороги вы легко могли бы собрать за два дня, надо было под лозунгом защиты Национального собрания бросить на Франкфурт, надо было это дряблое Собрание поставить под свое влияние, под влияние восставшего народа. Но, подчеркиваю, это следовало сделать немедленно…

– Совершенно верно! – подал голос Блинд.

– В этом нет никаких сомнений! – поддержал его Амандус Гёгг, тридцатилетний журналист.

– Хорошо, – срывающимся голосом сказал Эйхфельд. – Но вы все время говорите о том, что следовало бы сделать с самого начала. А что, по-вашему, надо делать сейчас?

– Вы, господа, к сожалению, упустили время, – вмешался

Маркс. – Обстановка сильно изменилась. По дороге сюда мы видели всюду на баденской земле следы беспечности и среди войск, и среди населения. А проезжая через Гессен, узнали, что генерал фон Пёйкер стягивает прусский армейский корпус. Конечно же, эта сила в ближайшее время будет брошена против Бадена и Пфальца.

– Что касается ваших войск, – Энгельс кивнул в сторону военного министра Эйхфельда, – то у нас сложилось такое впечатление, что кто-то сознательно стремится их деморализовать: эшелоны бесцельно перебрасываются по железной дороге друг другу навстречу; части направляются сегодня в одном направлении, завтра – в противоположном, и никто не знает, для чего это делается. Солдаты недовольны, они говорят: мы совершили восстание, теперь очередь за штатскими, которые должны взять на себя руководство, а они бездействуют и тем губят дело…

– Ну, пересказывать здесь солдатские разговоры, вероятно, необязательно, – поморщился Эйхфельд.

Блинда эта реплика возмутила, он вскочил:

– Скажите, какая брезгливость у вчерашнего лейтенанта! Мы здесь не для упражнения в красноречии и галантности, а для выяснения истинного положения вещей, господин военный министр.

Эйхфельд побагровел, и, видимо, вспыхнул бы скандал, но в это время в дверях раздался какой-то шум, спор, они распахнулись, и, отстранив рукой охрану, в зал стремительно вошел никому не знакомый человек лет сорока с небольшим. Обведя глазами стол и, видимо, решив, что главный здесь Маркс, он направился к нему и, подойдя, громко сказал:

– Господин премьер-министр! Я чрезвычайный уполномоченный временного революционного правительства Пфальца…

– Извините, вы не по адресу, – остановил его Маркс и указал рукой на противоположный конец стола.

Все сдержанно улыбнулись, а Энгельс чуть не расхохотался и вполголоса сказал:

– А жаль! «Премьер-министр Маркс!» – звучит неплохо.

Уполномоченный был несколько разочарован: Маркс ему сразу чем-то понравился. Он подошел к Брентано:

– Прошу извинить. Николаус Шмитт. Дело крайне срочное, и потому я не мог ждать вашего официального приема, а явился сразу сюда.

– В чем дело? – Брентано был явно раздосадован. – У нас тут, как видите, обед.

– Понимаю. Еще раз прошу прощения, но время не терпит. Я могу говорить все, что нужно?

– Да, здесь только члены правительства и люди, пользующиеся нашим полным доверием. Постарайтесь коротко. Садитесь.

– Хорошо. Я буду краток. Мое правительство предлагает вам объединить Пфальц и Баден под властью единого правительства или, по крайней мере, установить общее военное командование.

– О! Энергичная мера! – воскликнул Брентано. – Но такие вопросы не решаются за обедом, господин Шмитт.

– Я, конечно, и не требую от вас немедленного ответа, – сказал тот. – Но есть и такой вопрос, который надо решить тут же: у нас острая нехватка ружей, артиллерии, боеприпасов. Дайте нам их, и через несколько дней крепости Ландау и Гермерсгейм будут наши!

– Но у нас нет излишков ни того, ни другого, ни третьего. Правда, господин Эйхфельд? – Брентано жалел, что так опрометчиво позволил Шмитту здесь, в присутствии Маркса и Энгельса, излагать свои предложения и просьбы. А впрочем, может быть, это избавление от еще больших неприятностей, которыми мог закончиться обед?

– У нас нет излишков! – тупо поддакнул Эйхфельд.

– Не забывайте, господа, – сказал Энгельс, – что Пфальц – это в прямом смысле слова ваш левый фланг. Чем он крепче, тем надежнее ваше положение.

– Но мы не можем помогать другим за счет собственного ослабления. – Брентано нервно откинулся на стуле. – Мы уже и так оказали некоторую денежную поддержку Пфальцу…

– Простите, господин премьер-министр, но она не покрыла и ничтожной доли наших потребностей, – мрачно проговорил Шмитт.

– Мы еще отменили и мостовую пошлину между вашим Людвигсхафеном и нашим Мангеймом – это новая материальная помощь вам.

При этих словах Маркс и Энгельс о чем-то пошептались, после чего Маркс с недоумением в голосе сказал:

– Господин Брентано, когда мы с Энгельсом из Мангейма перебрались на левый берег Рейна, то там, в Людвигсхафене, с нас действительно никто не взял пошлины, но, когда мы возвращались в Мангейм, на баденскую землю, таковая была с нас взыскана.

Над столом прошелестел недоуменный ропот. Брентано в замешательстве заерзал на стуле:

– Это какое-то недоразумение.

– Никакого недоразумения здесь нет! – почти выкрикнул Амандус Гёгг. – Это делается систематически – мне доподлинно известно. Договор об отмене мостовой пошлины соблюдается односторонне. Получается, что выгоду из договора извлекаем только мы.

– Я прикажу разобраться в этом, – пробормотал Брентано, прекрасно знавший, что так оно на самом деле все и есть, и потому еще более раздосадованный таким неожиданным поворотом разговора. – Вы, господин Шмитт, изложили все просьбы вашего правительства?

– Все. Но я хочу добавить, что, по имеющимся у нас сведениям, прусские войска уже концентрируются в районе Саарбрюккена, в непосредственной близости от нашей границы. Видимо, свой первый удар они намерены нанести в направлении на Хомбург.

– Хорошо. Мы это все обдумаем и взвесим. Я приму вас в шесть часов вечера.

– Я буду ровно в шесть, – сказал Шмитт и решительной походкой направился к двери.

Некоторое время в зале царила почти полная тишина, только изредка раздавался звук передвигаемой посуды, бокалов или перекладываемых ножей, вилок.

– Как же вас понять, господа? – наконец заговорил Брентано. – С одной стороны, вы утверждаете, что мы непоправимо упустили время и тем весьма ухудшили свое положение, а с другой – вы все-таки призываете к походу на Франкфурт. Не окажется ли этот поход с самого начала обреченным на неудачу?

Энгельс не спеша сделал глоток вина и ответил:

– Да, господин премьер-министр, вы упустили время, и вы с каждым часом ухудшаете свое положение, вы сделали это даже только что на наших глазах, отказав в немедленной помощи Пфальцу. Если сведения о концентрации пруссаков на западе, в районе Саарбрюккена, верны, то, значит, вас уже берут в клещи: с востока и северо-востока ударил генерал Пёйкер.

– Так о походе ли думать нам в таких условиях? – навалился грудью на стол Эйхфельд.

– О походе! – Энгельс поднялся. – Лишь овладение Франкфуртом, только расширение восстания, придание ему общенемецкого характера может еще его спасти. Иначе вас легко и просто задавят как маленький провинциальный бунт. Да, ваши шансы сильно понизились, но они еще есть. Сейчас ваш успех во многом зависит от международных событий, главным образом во Франции и в Венгрии: если в Париже начнется новая революционная волна, если Гёргей двинет на Вену

революционные венгерские войска, то это окажет вам огромную помощь. А ни то, ни другое событие не представляются нам фантастическими.

– Вы хотите ввергнуть нас в пучину новых кровавых событий огромного масштаба, – вдруг словно проснулся Струве. – А ведь мы ценим свою революцию прежде всего именно за то, что пока все обошлось так тихо и мирно. Вы забываете, что мы маленькая страна. Мы хотели бы жить так, как вот уже двадцать лет живут в соседней с нами Швейцарии…

– О, понимаем! – усмехнулся выведенный из себя Энгельс. – Ваш идеал – небольшая буржуазно-крестьянская республика. Маленькое поле деятельности для маленьких непритязательных людей. Государство в виде несколько расширенной общины, кантона. Маленькая промышленность, маленькая торговля, маленькое богатство и маленькая бедность. Я бывал в Швейцарии и все это видел воочию. Ни внешней политики, ни активного участия в истории. Только внутренняя политика, сведенная к мелким распрям в семейном кругу. Тихая, уютная жизнь, полная благочестия и респектабельности. Этакая безмятежная Аркадия. Главная забота ее жителей – не оставить следа в истории. Вы мечтаете об этом!

В поднявшемся шуме и гвалте трудно было что-либо разобрать. Министры вскакивали с мест, что-то кричали, протестовали, доказывали.

– Да, они хотят именно этого! – крикнул Зигель. – Но они забывают, что времена таких Аркадий прошли. И не понимают, что генералу Пёйкеру плевать на их мечты. Ему безразлично, что предавать мечу и огню – Аркадию или Вавилон. Слепцы!

Маркс тронул за рукав Энгельса.

– По-моему, нам уже нечего тут делать. Эти обыватели боятся, что события могут поглотить их любезную Аркадию, и потому не ударят палец о палец, чтобы придать им больший размах.

– Ну ты хоть поешь. Смотри, какая прекрасная ветчина, – ответил вполголоса Энгельс. – Во всех случаях, одерживаешь ли победу, терпишь ли поражение, надо быть сытым. Мы бы не были материалистами, если бы думали иначе. – Глаза Энгельса озорно смеялись.

– Нет, не хочу, – сказал Маркс, отодвигая тарелку с ветчиной. – Да уже и время. Пошли, Фридрих, пора. Сказать им что-нибудь напоследок?

– Скажи Брентано, что он по духу родной брат эльберфельдского Хёхстера и что таких типов мы уже давно изучили.

Маркс встал и поднял руку. Гвалт довольно быстро смолк.

– Господа, наш обед затянулся. Нас ждут другие дела. Позвольте на прощание сказать, что вам все равно не удастся переждать бурю в тихой заводи. Ближайшие дни вынудят вас принять важные решения. И если эти решения будут смелыми, достойными нашего революционного времени, то считайте нас своими друзьями и братьями; если же ваши решения окажутся продиктованными страхом и желанием избежать исторической ответственности, то ни на какое наше сочувствие вам рассчитывать не следует. Прощайте, господа. Нам пора.

Маркс и Энгельс поднялись из-за стола, кивнули всему собранию и вышли. По коридору шли молча. А когда спускались по лестнице в вестибюль, Энгельс устало проговорил:

– Министры, полковники, послы… И все это только для услады собственного честолюбия… Неужели то же самое ждет нас и на левом берегу Рейна?

Маркс ничего не ответил. Он тоже вдруг почувствовал, что устал – от переездов, от встреч и разговоров, но более всего – от безнадежности.

В вестибюле к ним бросился Руге:

– Ну как? Вы сказали ему? Он понял, что это неприлично?

– Послом во Францию назначен Карл Блинд, – спокойно сказал Маркс.

– Этот мальчишка?! – Руге задохнулся от возмущения. – Он на двадцать пять лет моложе меня. Это еще один способ унизить старого борца за свободу! Ну, хорошо. Я завтра же еду в Париж. Я докажу Брентано!..

– Да, да, докажите ему, по крайней мере, что вы знаете французский язык лучше, чем Блинд, – насмешливо сказал Энгельс и увлек Маркса к выходу.

После долгого неподвижного сидения в закрытом зале им захотелось пройтись и подышать свежим весенним воздухом. Гуляя, они забрели в городской сад. Весна была здесь во всем зрелом блеске. Где-то в глуши им попалась уединенная скамья, и они блаженно опустились на нее, откинулись на спинку, вытянули ноги.

– Ах, красота! – Маркс потряс головой и закрыл глаза. – По-моему, этот сад не только неизмеримо прекраснее, но и гораздо умнее, чем правительство Брентано. Если бы я не истратил все свое красноречие там, я объяснил бы этим деревьям необходимость похода на Франкфурт, и они, я уверен, пошли бы.

– Вне всякого сомнения, – охотно согласился Энгельс. – Как Бирнамский лес.

Они помолчали, наслаждаясь прохладой тени, свежестью

воздуха, буйством зелени.

– Знаешь, – вдруг встрепенулся Маркс, – я зверски проголодался. За этими словопрениями мне некогда было поесть. Надо бы куда-то пойти пообедать, но у меня нет сил…

– Я же тебе внушал: ешь, – нравоучительно сказал Энгельс. – Не хватает еще, чтобы из-за этих господ мы померли голодной смертью. – Он полез в карман, достал оттуда что-то завернутое в салфетку и протянул другу: – А ну…

– Что это?

– Ветчина.

– Откуда?

– Да оттуда! – Энгельс весело засмеялся. – С того самого стола.

– Фридрих! Ты с ума сошел! Правительственный обед… А если бы кто заметил?

– Кажется, министр внутренних дел заметил. Но мне наплевать. Что дороже – твоя жизнь или чье-то мнение обо мне? Уж если от Брентано нельзя добиться ничего больше…

– Но когда ты успел?

– Это уж мое дело. Тайна мастера.

– Тут и хлеб!

– Кто же ветчину ест без хлеба?

Маркс тоже засмеялся и принялся за еду.

Глава девятая.
«Если мы будем действовать, как Кошут…»

По последним сведениям, которыми располагали Маркс и Энгельс, временное правительство Пфальца должно было находиться в Шпейере – в городе, стоящем при впадении одноименной реки в Рейн, то есть на границе с Баденом, на самом восточном краю Пфальца. Туда на другой день утром друзья и отправились. Там они прежде всего надеялись повидаться со своим добрым приятелем Д'Эстером. Они хорошо знали его по Кёльну. Карлу Людвигу Д'Эстеру около сорока. Врач по профессии, он примкнул к революционному движению и вступил в кёльнскую общину Союза коммунистов, являясь одновременно членом Центрального комитета демократов Германии. До конца прошлого года, когда оно было разогнано кайзером, Д'Эстер был депутатом прусского Национального собрания, принадлежа к наиболее решительным деятелям левого крыла. У этого человека за плечами довольно богатый и разнообразный опыт, как жизненный, так и политический. Поэтому, когда началось восстание в Пфальце и он явился туда, то без особых усилий с его стороны приобрел большое влияние на членов временного правительства и на правительство в целом.

Маркс и Энгельс, естественно, рассчитывали воспользоваться и влиянием своего друга, и его осведомленностью во всех делах восстания. Но, увы, в Шпейере их ждала досадная неожиданность: правительство переехало в Кайзерслаутерн, с ним отбыл и Д'Эстер. Новое местопребывание правительства имело то преимущество, что находилось в самом центре Пфальца, но теряло бесспорное достоинство Шпейера, который находился в непосредственном соседстве с Баденом, с товарищами по восстанию.

Досада друзей была в значительной мере скрашена неожиданной встречей с Августом Виллихом. В недавнем прошлом прусский офицер, он уволился из армии, стал членом Союза коммунистов, деятельным революционером. Когда началось восстание в Пфальце, Виллих вместе с некоторыми другими соотечественниками, главным образом рабочими – участниками революции, находился в изгнании во Франции, в городе Безансоне, всего в нескольких десятках километров от Германии. Там он сформировал отряд – безансонскую рабочую роту – и явился с ним на помощь восстанию. Здесь в Пфальце, отряд увеличился до нескольких сот, окреп и стал деятельной

боевой силой.

– Я полагаю, вы сразу, как только прибыли в Шпейер, поняли, в чем сейчас главное отличие Пфальца от Бадена? – мрачновато улыбаясь, спросил Виллих.

– Да нет, еще не успели, – сказал Маркс.

– Ну, тогда пойдемте в ближайший трактир.

– Охотно, – ответил за себя и за друга Энгельс. – Трактир – далеко не самый худший наблюдательный пункт для изучения обстановки в стране.

И они пошли в трактир, потом во второй и в третий. Картина везде была одна и та же: многолюдство, шум, бесконечные тосты. Граждане свободного Пфальца веселились!

В последнем из трех трактиров друзья задержались подольше и не ограничились ролью наблюдателей: сели за единственный свободный столик и заказали по бутылке пфальцского вина.

– Чтобы непременно прошлогоднего сбора! – строго сказал Энгельс лакею.

– Конечно, конечно, сударь, – весело ответил тот.

Вино, приготовленное из винограда урожая 1848 года, было отменным, и оно долго еще будет славиться среди знатоков как едва ли не самое лучшее за весь девятнадцатый век.

Лакей очень скоро принес бутылки и хотел было сам разлить вино по стаканам. Энгельс остановил его:

– Только откройте, разольем мы сами.

Он взял открытую бутылку и не спеша стал разливать.

Ему доставляло явное удовольствие и видеть и слышать, как льется светлая мягкая струя. Когда стаканы были полны, он поднял свой и, любуясь, сказал:

– Ах, какой цвет, какая чистота! Вы только взгляните!

Вокруг слышался веселый говор, смех, мелькали оживленные лица, в одном углу провозглашали тост за революцию, в другом – за свободу, в третьем – за непобедимый пфальцский народ…

Поставив опорожненный стакан, Маркс невесело проговорил:

– Вино прекрасное, но какое разочарование принесет этим весельчакам прусская армия!

– О да! – подтвердил Виллих. – Пруссаки их отрезвят.

За соседним столиком полноватый, лет сорока господин в расстегнутом жилете и спущенном галстуке – сюртук он уже давно снял и повесил на спинку стула – услышал этот разговор и вмешался:

– Простите, сударь, в каком смысле пруссаки нас отрезвят?

– Да в самом прямом, – ответил Виллих. – Весь хмель выскочит у вас из головы.

– Но и в переносном тоже, – сказал Энгельс. – Пруссаки

отучат вас ораторствовать о своей непобедимости.

Разгоряченное вином лицо полноватого господина запылало еще ярче.

– Во-первых, – возбужденно возгласил он, – пруссаки никогда не решатся вступить на землю свободного Пфальца, если мы будем едины и решительны. А во-вторых, если и решатся, то их ждет гибель, если мы будем действовать, как Кошут в Венгрии!

– Слишком много «если», сударь, – насмешливо сказал Маркс.

– Да уж вы не вражеские ли лазутчики? – Господин пробежал помутившимися глазками по лицам всех троих и повернулся к тем, кто сидел с ним за одним столом: – Господа, вы только послушайте, что они говорят. Это прусские агенты!

– Именно они и есть. – Энгельс звучно стукнул пустым стаканом о стол. – И присланы мы сюда его величеством королем Пруссии с единственной целью опустошить ваши винные запасы. Вот за один сегодняшний день допиваем девяносто вторую бутылку. – Он разлил остатки вина по стаканам.

– Нет, вы шутки-то уж оставьте! – Полноватый господин стал подтягивать галстук да застегивать жилет, словно готовясь идти куда-то. – Тут не глупее вас.

Допили вино, и Маркс сказал:

– Ну его к черту, Фридрих. Оставь. Не хватало, чтобы нас задержали как шпионов. Не надо давать им повод для веселья.

– Да, – согласился Энгельс, – это было бы глупо. Пошли отсюда.

На улице уже смеркалось. Они побродили по городу, наблюдая всюду картины безмятежного веселья и патриотического легкомыслия, и отправились на ночлег в расположение отряда Виллиха.

•

Наутро путь лежал в Кайзерслаутерн. Виллих не согласился отпустить Маркса и Энгельса одних и не только сам поехал с ними, но и взял трех волонтеров для охраны.

В столицу прибыли уже к вечеру, но, по счастью, удалось довольно быстро разыскать Д'Эстера. Остановились, конечно, у него. Как и ожидалось, Д'Эстер был в курсе всех дел и толково помог сориентироваться в обстановке. Тут же было решено, что Виллих завтра вернется к своему отряду в Шпейер, а Маркс и Энгельс не будут, как в Бадене, стремиться к встрече с членами временного правительства, а пока продолжат изучение ситуации путем наблюдений за обстановкой в городе. Условились, что

Маркс возьмет на себя изучение государственно-административной стороны, Энгельс – военной.

Канцелярии Центрального управления временного правительства, на которые были возложены функции министерств и департаментов, располагались на главной площади города в так называемом Фрухтхалле – в большом крытом помещении для торговли фруктами и овощами, где с помощью перегородок создали множество комнат, приспособленных для кабинетов. Туда утром и направился Маркс.

На площади перед Фрухтхалле Маркс увидел марширующий отряд гражданского ополчения человек в триста, а то и больше. Все бойцы были при полном вооружении и даже в новеньких форменных мундирах. Надо думать, они тут для охраны, но, чтобы время не пропадало зря, занимались и военной подготовкой. Маркс порадовался было этому, приготовил удостоверение, чтобы предъявить при входе, но его никто не задержал, ни о чем не спросил.

Войдя в темноватое помещение и сделав несколько шагов по коридору, Маркс наугад открыл одну из дверей. Перед ним была довольно большая комната, в ней – шесть столов. На Маркса никто не обратил внимания: все обитатели комнаты – чиновники разных возрастов – сгрудились вокруг дальнего, у окна, стола.

– Да, господа, – звучал уверенный молодой голос, – наше герцогство… то есть, пардон, республика, имеет и гористую, и равнинную территорию. Но и там и здесь, – Маркс чувствовал, что эти слова сопровождались энергичными и размашистыми жестами, – мы должны действовать только, как Кошут, и не иначе!

Приблизившись к чиновникам и заглянув за их спины, Маркс увидел, что перед ними на столе лежит большая карта Пфальца, и один из них, как видно стратег кабинетного масштаба, объясняет остальным суть военной проблемы. Маркс постоял, послушал. Это была уже знакомая революционная болтовня и патриотическое бодрячество. Странно, но им так никто и не поинтересовался. Видимо, все были захвачены грандиозной перспективой совершенно очевидного разгрома пруссаков. Маркс повернулся и не спеша пошел к двери.

Пройдя еще несколько шагов по коридору, Маркс остановился около двери, за которой слышался смех. Интересно! Он нажал ручку. Дверь со скрипом, но легко отошла, и к нему сразу обернулось несколько лиц, явно недовольных тем, что кто-то мешает веселью.

– Вам кого? Вы по какому делу? – спросил, по всей видимости, старший чиновник, сидевший за самым большим

столом.

– Мне нужно видеть министра внутренних дел, – сказал Маркс первое, что пришло в голову.

– Кабинет господина Шмитта на другой стороне Фрухтхалле, – с готовностью ответил чиновник и даже поспешно встал из-за стола, вероятно, для того, чтобы показать, как пройти к министру. В этой готовности и поспешности Маркс уловил желание поскорее избавиться от непредвиденной помехи уютному веселью.

– Спасибо, я найду сам. – Маркс предупредительно поднял правую руку и повернулся.

Когда он закрывал дверь, до его ушей донеслось:

– А кто знает из вас, господа, какая разница между генеральской дочкой и триадой Гегеля?

Заходить в кабинеты больше не хотелось. «Может быть, в самом деле посетить министра внутренних дел? – подумал Маркс. – Какой-то Шмитт…»

Кабинет министра он нашел легко. Попросил секретаря доложить.

– Просто доктор Маркс, и все? – переспросил секретарь.

– Можете добавить «из Кёльна».

Через три минуты секретарь вернулся и почтительно сказал:

– Господин министр вас ждет.

Маркс вошел в кабинет и остановился у порога. За столом сидел человек с очень знакомым лицом. «Где я его видел? И ведь совсем недавно!»

Человек поднялся из-за стола навстречу посетителю.

– Господин премьер-министр Маркс? – сказал он и весело рассмеялся.

Ах, вот оно что! Сразу все вспомнилось. Это был тот самый посланец пфальцского правительства, который ворвался в зал во время обеда в отеле «Париж» и принял Маркса за премьер-министра вместо Брентано. Маркс тоже засмеялся:

– Премьер-министром я пока не стал. А вы давно в министерском кресле?

– Второй день.

Шмитт пожал руку Марксу, усадил его против себя, и не успел гость опомниться, как на столе, мгновенно освобожденном от бумаг, появилась бутылка вина и два бокала.

– Благодарю, я пить не буду.

Но Шмитт все-таки разлил вино и поднял свой бокал:

– У меня, господин Маркс, есть прекрасный тост, поднимите все-таки сосуд с этим райским напитком.

– Нет, это совершенно исключено.

– Знаете, за что я хочу выпить? За нашу совместную работу! Я предлагаю вам стать моим заместителем.

– О нет! Это никак не входит в мои планы.

– Но отчего же? Уж раз вы здесь… По образованию вы, как и я, юрист. Кому же, если не нам, юристам, возглавить это министерство?

Шмитт долго, едва ли не целый час, уговаривал Маркса, предлагал ему и другие высокие должности, уверял, что может добиться даже его назначения на пост заместителя премьер-министра, но Маркс оставался непреклонен. Шмитт с огорчения выпил всю бутылку один, и они расстались.

Когда Маркс выходил из Фрухтхалле, отряд гражданского ополчения все еще продолжал маршировать…

•

Выполняя свою долю общего плана, Энгельс направился первым делом к Фридриху Аннеке, командующему артиллерией. Он считал весьма отрадным фактом то, что столь важный пост доверен именно Аннеке, члену Союза коммунистов, недавнему офицеру, профессиональному артиллеристу.

Вчерашний редактор «Новой Кёльнской газеты» встретил Энгельса в новеньком мундире подполковника пфальцской армии. Выглядело это внушительно. Но из разговора скоро выяснилось, что вся артиллерия состоит из нескольких трехфунтовых орудий и небольших мортир, а для того чтобы увеличить эти жалкие силы, ничего не делалось. В ответ на возмущенное недоумение Энгельса подполковник Аннеке только развел руками.

– А что можно сделать? Французское правительство запретило вывоз в Баден и Пфальц всякого оружия. Мы послали тайных агентов в ту же Францию, в Бельгию, и они уже кое-что закупили, но как ввезти?..

– Как ввезти? А разве перевелось бессмертное племя контрабандистов?

– Контрабандистов? Но это же…

– Ах, ваше правительство ими брезгует? А как вы будете выглядеть перед лицом до зубов вооруженного врага? Вы об этом думаете? Ваши агенты во Франции давно могли бы доставить оружие в Сааргемюнд и Лаутербург. А там, насколько мне известно, контрабандистов всегда хватало.

– Допустим, так. Но ведь орудия через границу тайно не переправишь.

– Да? – усмехнулся Энгельс. – Ты плохо знаешь контрабандистов. Они тебе слона переправят, только заплати как следует. Это во-первых. А во-вторых, есть и другие источники пополнения орудийного парка.

– Это какие же? – удивился Аннеке.

– Ты видел коллекцию старых стволов, сложенную перед Фрухтхалле? Они не так уж стары и вполне могут сгодиться для мортир. Или ты опять брезгуешь?

Чем дальше, тем тяжелей становился разговор и все отчетливее вырисовывалась картина вялой бездеятельности и неспособности Аннеке руководить порученным ему делом. Когда все стало предельно ясным, Энгельс сказал:

– Вот что, друг. Союз коммунистов не может мириться с тем, что его член так нерадив и безответствен на столь важном посту. Чтобы не бросать пятно на наш Союз, ты должен оставить этот пост. В Кёльне мы защищали тебя на страницах «Новой Рейнской газеты» и в суде не для того, чтобы в Кайзерслаутерне ты порочил нас. До лучших встреч, подполковник.

Холодно расставшись с Аннеке, Энгельс долго бродил по городу, внимательно приглядываясь ко всему, что делалось и не делалось для обороны. Во второй половине дня, устав и проголодавшись, он зашел в казино пообедать. Сев за столик и сделав заказ, Энгельс попросил лакея дать газеты. Тот извинился, сказал, что есть свежие номера только местного «Вестника города и деревни», органа пфальцского правительства, а другие газеты все старые.

– Что ж делать, посмотрим, какие есть.

Лакей принес сегодняшний «Вестник», сравнительно свежие номера «Франкфуртской газеты», «Газеты Карлсруэ» и пятидневной давности «Кёльнскую газету». С нее, со старой знакомой «Кёльнской», Энгельс и решил начать чтение. Но первое же сообщение, которое он прочитал, заставило его поспешно встать из-за стола, отказаться от обеда и пойти искать Феннера фон Феннеберга, главнокомандующего и начальника штаба пфальцской армии. Оказалось, что он располагался в доме недалеко от Фрухтхалле.

Даниель Феннер фон Феннеберг, молодой австрийский офицер, ровесник Энгельса, в прошлом году во время восстания командовал национальной гвардией Вены. Имя Энгельса он хорошо знал и потому встретил гостя весьма любезно, принялся было расхваливать его статьи в «Новой Рейнской». Но у Энгельса охоты любезничать не было. Он сразу протянул через стол «Кёльнскую газету».

– Что это? – удивился главнокомандующий, бегая глазами по

странице и не находя на ней ничего интересного.

Подождав несколько мгновений, Энгельс ткнул пальцем в нужное место:

– Здесь сказано, что по всей западной границе Пфальца от Саарбрюккена до Крейцнаха сосредоточиваются прусские войска. Даже сообщается их численность: двадцать семь пехотных батальонов, девять батарей и девять полков кавалерии. Обратите внимание, что газета пятидневной давности.

Феннеберг внимательно прочитал сообщение, помолчал, поднял на собеседника удивительно спокойные и ясные глаза:

– И вы склонны все принять за чистую монету? Да это элементарное запугивание неприятеля, прием достаточно хорошо известный в истории войн.

– Им нет необходимости нас запугивать, они и так располагают огромным перевесом сил. Сообщение в газете – результат или недосмотра, или уверенности в том, что оно не дойдет своевременно до Кайзерслаутерна.

– Мне трудно с вами согласиться. Я все же думаю, что противник блефует.

Энгельс долгим взглядом посмотрел в невозмутимо ясные глаза главнокомандующего и понял, что убеждать его бесполезно.

Глава десятая.
Прощание в тихом Бингене

Тихий провинциальный Бинген, утомленный первыми жаркими днями, убаюканный шелестом волн Рейна и Наэ, уже спал. Во всем городе еще светилось, может быть, с десяток окон, не больше. Но и они одно за другим гасли. Вскоре остались только два. Там, в освещенной комнате, сидели за столом четверо: Маркс, его жена, служанка Елена и Энгельс. В соседней комнате спали дети.

– Ну, дальше, дальше, – торопила Женни рассказ мужа. – Из Бадена вы направились в столицу Пфальца. И что же?

– Последняя глава нашей одиссеи не менее содержательна, чем предыдущие. – Маркс отхлебнул глоток остывшего чая. – В Кайзерслаутерне мы окончательно поняли, что все наши усилия тщетны. Ни вселить боевой дух в руководителей восстания, ни оживить и расширить восстание и здесь, в Пфальце, уже невозможно.

– Куда там! – вздохнул Энгельс. – Самое большое, о чем они мечтают, это превратить Баден и Пфальц в подобие Швейцарии. Мне показывали в Карлсруэ брошюру Струве «Основные права немецкого народа», она снабжена картой, на которой тридцать шесть немецких государств превращены в двадцать четыре кантона – вот и вся революция!

– Мы поняли это и решили ехать сюда, в Бинген, зная что вы здесь. Вернее, Фридрих решил проводить меня к вам, а сам он возвратится в Кайзерслаутерн.

– В Кайзерслаутерн? Зачем? – в один голос спросили Женни и Елена.

– Ну, это наше, мужское дело, – желая замять вопрос, сказал Энгельс.

Женни была на пятом месяце беременности, поэтому Маркс и Энгельс старались своим рассказом не слишком волновать ее, кое о чем умалчивая, а кое-какие обстоятельства представляя в забавном и смешном свете, далеко не всегда соответствовавшем их подлинному смыслу.

– Хорошо, пусть Карл доскажет, но потом мы к этому вернемся. – Женни строго подняла палец, потом достала платок и завязала на нем узелочек.

– Не отпустив меня одного, Фридрих, как всегда, оказался прав, – продолжал Маркс. – Дело в том, что едва мы покинули землю мятежного Пфальца, как нас сразу же арестовали

гессенские солдаты.

В руке Женни слабо звякнула чашка. С прошлогодних февральских дней в Брюсселе, когда жандармы увели мужа из дому и всю ночь продержали в одной камере с буйно помешанным, от которого ему то и дело приходилось отбиваться, – с той проклятой ночи Женни ничего так не боялась, как ареста мужа.

– Надели наручники? – чуть слышно спросила она, невольно опуская руку на живот.

– Намеревались. Но Фридрих закатил им такую сцену! – От одного воспоминания об этом Марксу стало смешно. – Он грозил заклеймить их во всех европейских газетах, кричал, что пожалуется Пию Девятому, в негодовании своем с немецкого он переходил на английский, с английского на французский…

– Кажется, это-то и произвело впечатление, – вставил Энгельс.

– Как бы то ни было, а наручники мы надеть на себя не позволили. Но допроса избежать, увы, не удалось. Доставили нас в Дармштадт, через который мы всего несколько дней как проезжали, направляясь в Карлсруэ, там и учинили первый основательный допрос. Ну, спрашивают, кто, откуда? Мы отвечаем. Почему, говорят, разъезжаете по Германии, вместо того чтобы сидеть дома в такое беспокойное время? Что ты им на это ответил, Фридрих?

– Я ответил, – безмятежно улыбнулся Энгельс, – что ныне мода такая – не сидеть дома. Пример подали французский король и его премьер-министр, перебравшиеся из Парижа в Лондон. Вслед за ними канцлер Меттерних – уж на что домосед! – покинул Вену, а через несколько дней – и сам австрийский император. Потом Людвиг Первый, король Баварии, сломя голову мчится из Мюнхена…

– О, вы могли их этим сильно разозлить! – подала голос долго молчавшая Елена.

– Еще как! – воскликнул Маркс. – Но вы же знаете, это его любимое занятие.

– Как, впрочем, и твое, – вставила Женни.

– Отчасти, – согласно кивнул головой Маркс. – Еще он назвал им и саксонского короля, и сардинского, и, конечно, герцогов Леопольдов – и баденского, и тосканского, и добрался даже до валашского господаря Георгия Бибеску, бежавшего из Бухареста за границу…

– И что же они на все это? – готовая вот-вот рассмеяться, спросила Женни.

– Что! Фридрих говорит им: вот вы же не осуждаете всех этих

господ за то, что, поддавшись моде сорок восьмого – сорок девятого годов, они пустились в странствия, так почему же у вас вызывает подозрение наше желание попутешествовать? А ведь мы, говорит, гораздо более скромные путешественники: в отличие от названных лиц, мы странствуем лишь в пределах нашего любимого отечества.

Женни и Елена наконец рассмеялись.

– Чем же это кончилось?

– Тем, что дармштадтские мудрецы не знали, что с нами делать. Говорят: у нас есть основания подозревать, что вы участники восстания в Бадене и Пфальце. А улик никаких. Надо бы отпустить на свободу, а не хочется. И приняли дармштадтские мудрецы соломоново решение: отправим-ка их к мудрецам франкфуртским. На допросе во Франкфурте, – Маркс весело посмотрел на друга, – Фридрих то и дело донимал жандармского чиновника вопросом: «Скажите, а это правда, что Франкфурт – родина Гёте?» Тот его спрашивает: «Возраст?» Он отвечает: «Двадцать восемь» – и тут же: «Скажите, а это правда, что Франкфурт – родина Гёте?» Чиновник говорит: «Да… Ваше вероисповедание?» Фридрих отвечает: «Евангелическое».

И опять: «Нет, это действительно, что Франкфурт?..»

Женщины снова засмеялись, смешливо хмыкнул и Энгельс.

– Так взвинтил беднягу, что тот уже не чаял, когда кончится допрос. Но Фридрих в конце ввернул ему еще и такое. Знаете, говорит, я все-таки не верю, что Гёте родился во Франкфурте, а вот тот факт, что в этом городе по приказанию Фридриха Второго арестовали, обыскали и продержали больше месяца под замком великого Вольтера, – этот факт не вызывает у меня никаких сомнений!

Женни даже хлопнула от восторга в ладоши.

– Это в самом деле так? – спросила Елена. – А почему Вольтер оказался во Франкфурте?

– Видишь ли, – Энгельс веселыми глазами посмотрел в веселые глаза Елены, – он года три жил при дворе Фридриха. Ведь тот считал себя тоже философом и поэтом. Вначале все шло хорошо, но потом Вольтеру, видно, эта комедия наскучила, и он стал насмешничать над королевскими любимцами. Самодержцу, конечно, не понравилось, он охладел к писателю и вскоре отпустил его. Но на другой день после его отъезда Фридрих с ужасом вспомнил, что у Вольтера остался черновик его поэмы, которая своим скабрезным содержанием могла скомпрометировать августейшего автора.

– Фридрих писал поэмы? – удивилась Елена.

– Представь себе! – сокрушенно покачал головой Энгельс. –

Говорят, что даже Наполеон в молодости написал несколько романов. Писательская слава ужасно соблазнительна, это сущий яд… Так вот, послали за Вольтером погоню. Догнали его только во Франкфурте. Тут все это и разыгралось – обыск, арест.

– Поэму отобрали? – спросила Елена.

– Да, вероятно. Впрочем, не знаю точно. Достоверно известно другое – Вольтер пытался бежать из-под стражи, но не удалось.

– Если бы наш арест затянулся, мы бы последовали его примеру, и думаю, что под руководством Энгельса сумели бы избежать печального конца того побега.

– Слава богу, что до этого не дошло! – с облегчением вздохнула Женни.

– Не знаю, – проговорил Маркс, видимо увлекшись и забыв о положении жены. – Я бы все-таки хотел хоть раз в жизни совершить побег из-под стражи. Вольтер был тогда в два раза старше меня и все-таки дерзнул!

– Ах, как у тебя поворачивается язык! – взмолилась Женни.

– Не печалься, – сказал Энгельс. – Я опасаюсь, как бы судьба не предоставила тебе таких шансов в избытке. По количеству высылок ты, кажется, уже превзошел Вольтера.

– Возможно, но побег, согласись, это особая статья! – продолжал упорствовать Маркс.

Елена встала, с укором взглянула на Маркса:

– Я вижу, начались такие разговоры, что пора убирать со стола и ложиться спать.

– Да, время позднее, – с поспешной готовностью, выдававшей недовольство тем же самым, поддержала ее Женни. – Пора. Ведь завтра опять нелегкий день.

– Карл, – сказал Энгельс, тоже вставая, – пойдем перед сном пройдемся, подышим весенним воздухом.

– Идите, – согласилась Женни. – Только недолго – пока мы будем стелить постели.

На улице было не так темно, как это казалось из окна. Легко различались и дома, и палисадники, и ветви белой сирени в них. Теплая тихая ночь медленно плыла над городом. Со стороны Рейна иногда накатывали волны прохлады и речного запаха.

Друзья немного постояли, привыкая к темноте и безмолвию, потом не спеша пошли вдоль улицы.

– Какая благодать! – Маркс всей грудью вдохнул освежающий воздух. – И вымотался же я за эти дни…

Несколько шагов они прошли молча.

– Ты когда-нибудь купался ночью? – неожиданно спросил Энгельс.

– В реке? Нет. А ты? – Маркс заинтересовался.

– Я вырос на Вуппере, он почти весь вонюч и красен от бесчисленных красилен на его берегах, но все-таки мы, мальчишки, находили места, где вода прозрачна, и купались. Иногда и ночью. О, это великое удовольствие!.. А у тебя детство и юность прошли на роскошном Мозеле – и ты никогда не купался! Позор! Вот еще пробел в твоей жизни. Но его легче восполнить, чем побег из-под стражи. Давай?

– Купаться сейчас? – весело оторопел Маркс. – Но у нас даже нет полотенца!

– Чепуха. Обойдемся. Теплынь-то какая!

Энгельс взял друга за руку и повлек его за собой куда-то в сторону, между домами, вниз. Минут через десять они оказались на отлогом, поросшем травой берегу. Энгельс быстро разделся и вошел в воду. Блаженно вскрикнув, он лег грудью на воду и поплыл к середине реки. Маркс тоже вошел в воду. Она была черной, таинственной, пугающей. Но отставать от друга он не хотел. Поплыл. Было и жутко, и весело: огромная река казалась живым загадочным хаосом, готовым в любой миг поглотить тебя, и радовало, что, преодолевая это ощущение, все-таки плывешь навстречу хаосу.

Энгельс уплывал все дальше и скоро стал не виден во тьме. Маркс ощутил одиночество и беспокойство.

– Фридрих! – крикнул он. – Не заплывай далеко! Давай назад!

Прошло минут пять, пока тот наконец вынырнул из тьмы, радостно пофыркивая.

Обратно шли возбужденные, легкие.

– Прекрасно, прекрасно! – то и дело восклицал Маркс. – Я и не подозревал, что это такое удовольствие. Словно и не было всех этих последних дней, таких утомительных, изматывающих…

Энгельс довольно поддакивал.

Когда уже подходили к дому, он вдруг вернулся мыслью к оставленному разговору:

– Вот мы упоминали Вольтера… Тебе не приходилось читать его переписку с Екатериной Второй?

– Нет. Я знаю об этой переписке только из его биографий.

– А я читал на французском языке. Есть ли она на немецком, не знаю. Да, они переписывались лет пятнадцать, до самой его смерти. Меня поразило и возмутило то, как он ей льстил.

– Ну, он же почти всю жизнь был монархистом. В старике намешано столько! Чего стоят лишь эти два афоризма: о церкви говорил, что ее надо раздавить, как гадину, а о боге – что если бы его не было, то его следовало бы выдумать.

– И все-таки это легче понять, чем то, как он заискивал, до какого самоуничижения доходил в письмах к ней. Ты не

поверишь! Он писал ей, что она выше Ликурга и Солона, Ганнибала и Петра Великого…

Маркс весело засмеялся. Где-то вблизи стукнула калитка, – видно, какой-то полуночник, испугавшись смеха во тьме, юркнул в палисадник.

– Да, да! Что она благотворительница человеческого рода, святая, ангел, перед которым людям надо благоговейно молчать, что она равна богородице…

Маркс опять засмеялся.

– Он даже недоумевал, как это она нисходит до переписки с таким ничтожеством, с таким старым вралем, как он! Представляешь?

– Я бы этому не поверил, если бы услышал не от тебя. Но все-таки у старика есть оправдание. Да, он всю жизнь проповедовал идею просвещенного абсолютизма, любезничал с Людовиком Пятнадцатым, три года жил у Фридриха, переписывался с Екатериной, с Густавом Шведским и якшался еще черт знает с кем из коронованных особ. Но все его заигрывания с ними, все скитания по дворам монархов Европы всегда заканчивались разрывом и враждой. Он бежал из Версаля, бежал из Потсдама и, конечно же, бежал бы из Царского Села. А ведь это совсем иное дело, чем то, что мы видим ныне. Все эти хёхстеры, брентано, струве на словах объявляют себя непримиримыми врагами абсолютизма, а на деле ищут возможности помириться с герцогами и королями.

– Это, конечно, так. Но я думаю о другом: до чего же въедлива монархическая идея, до чего живуче представление о некоем избраннике – благодетеле и отце народа, а то и всего человечества, если даже такой ум, как Вольтер, был их пленником.

– Да, – сказал Маркс, – тут у коммунистов хватит работы… Слушай, о том, что купались, – ни слова!

– Хорошо!

Они тихо, думая, что все уже спят, вошли в дом. Но Женни не спала, она накинулась на них:

– Ну, где это вас носит! Уж я думала, не случилось ли чего… Почему у вас мокрые волосы?

– Мы купались в Рейне, – вдруг испугавшись, что жена подумает что-то худшее, поспешно и неожиданно признался Маркс.

– Купались? Очень хорошо, – безразлично отозвалась Женни. – А теперь – спать.

– Фридрих! Она не верит. – Маркс был разочарован и даже задет тоном жены. Конечно, он не желал бы ее тревожить, но все

же…

– Ну и как водичка? – Женни вскинула брови.

– Мы восполняли пробелы в наших биографиях. – Энгельс повинно склонил голову. – Ведь вот вы никогда не купались ночью…

– Я? Нет, купалась. И не раз.

– Что такое? – протер глаза Маркс. – Я думал, что знаю о своей жене все. И вот оказывается… Ты выдумываешь! Энгельс, это от зависти.

– Вовсе нет. Я купалась ночью и в Трире, когда ты учился в университете, и в Крейцнахе, куда мы ездили с мамой. И должна сказать, что очень люблю ночные купания.

– Ах, выдумки! Кто это все подтвердит?

– Хватит, хватит. Никто не подтвердит тебе этого сейчас, но потом я могу найти свидетелей. А теперь – спать, спать. Господин Энгельс, вам постлано в угловой комнате.

Энгельс пожелал супругам покойной ночи и вышел.

Когда они остались одни, Маркс миролюбиво сказал:

– Все-таки признайся, что ты выдумала насчет ночных купаний. Это же так страшно – лезть в черную воду!.. Я знаю, у беременных женщин бывают иногда разного рода мании, некоторые, как видно, любят похвастать.

– Ничуть я не хвастаю, – улыбнулась Женни, – но, право, об этом потом. А теперь скажи мне, окончательно решено, что Энгельс возвращается в Пфальц?

– Да, ни о чем другом он не хочет и слушать. Ты же его знаешь!

Минут через пять со свечой в руке Маркс пошел посмотреть, хорошо ли устроился друг. Он бесшумно открыл дверь и поднял свечу над головой. Ткнувшись лицом в подушку, свободно распластав свое большое тело, Энгельс уже спал крепким сном человека, который прошел трудный путь и готовился завтра снова в дорогу.

Маркс подошел, поправил одеяло. В дверях еще раз обернулся, посмотрел на спящего.

– Спи.

И сам он всю ночь спал крепко, но ему дважды снилось одно и то же: черный шевелящийся хаос и белые плечи человека, удаляющегося в его глубину. Оба раза Маркс ощутил во сне чувство одиночества и тревоги.

Глава одиннадцатая. «Это не наше восстание»

Наутро они расстались. Маркс еще на день-другой оставался по делам в Бингене, а затем с мандатом Центрального комитета демократов Германии, выданным ему Д'Эстером, отправился в Париж под предлогом переговоров с французскими социалистами. Семья должна была последовать за ним позже.

Энгельс поехал опять в Кайзерслаутерн.

Прибыв туда, он обнаружил, что за дни его отсутствия в восставшей пфальцской столице произошли некоторые перемены. Раньше всего Энгельс узнал о том, что Феннер фон Феннеберг за прямую причастность к несуразной попытке взять крепость Ландау, предпринятой Бленкером, смещен с должности главнокомандующего. Это, конечно, радовало. Но тут же Энгельс и огорчился, ибо, во-первых, обязанности главнокомандующего возложили на семидесятилетнего штабного генерала Феликса Ракийе, поляка; во-вторых, Бленкер безнаказанно продолжал свои воинственные забавы. Он, как видно, хотел взять реванш за позорную неудачу с Ландау и с этой целью решил отбить у неприятелей родной ему Вормс, расположенный в Гессен-Дармштадте, в нескольких километрах от пфальцской границы, на левом берегу Рейна. Не встретив никакого сопротивления со стороны нескольких гессенских солдат, составлявших гарнизон, с барабанным боем, во главе преданного ему батальона герой вступил в город. Все гессенские солдаты разбежались, а два десятка из них, оставшихся по болезни, были торжественно приведены к присяге на верность имперской конституции. Все было прекрасно! Но на другой день рано утром с правого берега Рейна по городу ударила артиллерия. Это войска генерала Пёйкера стреляли самыми настоящими ядрами и гранатами. Кажется, не успел раздаться второй залп, как «освободителей» уже и след простыл…

Были и другие новости. Самой отрадной была, пожалуй, та, что наконец-то правительства Бадена и Пфальца договорились об объединении командования войсками. Главнокомандующим был назначен поляк Людвик Мерославский, имеющий довольно большой и разнообразный военный опыт, несмотря на свои тридцать четыре года. Сюда он прибыл прямо из Сицилии, где командовал революционными силами, правда, не слишком удачно.

В первый же вечер на квартиру к Энгельсу, снятую им на

окраине города, явился Д'Эстер. Выслушав рассказ о непредвиденных приключениях на пути в Бинген, расспросив о Марксе, Вейдемейере и их семьях, Д'Эстер сказал:

– Раз ты вернулся, то, я думаю, ты не захочешь сидеть без дела. По поручению правительства я могу предложить тебе на выбор несколько гражданских и военных должностей.

– Нет, Карл!..

– Не спеши с отказом. Например, разве плохо, если бы ты стал командовать артиллерией?

– Но ведь этим занимается подполковник Аннеке. – Энгельс иронически подчеркнул слово «подполковник».

– Он теперь заведует мастерскими, изготовляющими боевые припасы.

– Отрадно. Я ему давно советовал заняться чем-нибудь подобным… Но дело не в этом…

– Не хочешь военную должность, займи гражданскую. Что ты скажешь по поводу должности заместителя министра внутренних дел?

– И та и другая должности очень заманчивы, и, поверь, я охотно принял бы их, если бы восстание носило пролетарский характер. Но у меня, Карл, есть опыт Эльберфельда. Я там взял на себя как раз артиллерию и фортификационные работы. Чем это кончилось, ты знаешь. Меня предали и изгнали!

– Но там с тобой рядом не было Д'Эстера…

– Был Мирбах. А он тоже имел немалое влияние, хотя, честно скажу, твое влияние здесь больше и ты можешь сделать больше.

– Ну вот!

– И все-таки я не соглашусь. Здешние хёхстеры, если им потребуется, и тебя предадут так же легко, как там предали меня. Нет, я не приму никакую должность – ни военную, ни гражданскую. Это и меня убережет от повторения того, что однажды уже было пережито, и руководителей восстания – от распрей. Я предпочитаю находиться на положении политического эмигранта, изгнанного из Пруссии.

– И до каких же пор?

– Если пруссаки действительно вторгнутся в Пфальц, если начнутся боевые действия, тогда я тотчас возьмусь за оружие, тогда меня никому не придется просить. Я хочу, я должен приобрести хоть какой-то военный опыт и не упущу удобный случай, если он представится.

Д'Эстер помолчал, явно огорченный решительностью отказа.

– Пойми, Карл, иначе я не могу, – нарушил молчание Энгельс.

– Видишь ли, – Д'Эстер озадаченно развел руками, – ты

слишком приметная фигура, и все обратят внимание на твое неучастие в деле, оно покажется странным.

– Ты меня не совсем понял. Я не говорил о полном неучастии. Я буду принимать участие, и, может быть, довольно активное, но я не хочу занимать официальных должностей. Охотников до них здесь сейчас хватает. Я не хочу ничем связывать себя, как связал в Эльберфельде, ибо это восстание, как ты понимаешь, не наше, не пролетарское восстание…

– Но нужно, теперь же нужно хоть какое-нибудь доказательство твоей доброй воли. Напиши, например, статью, цикл статей для нашей правительственной газеты.

– Я подумаю.

– Нет, я тебя очень прошу, очень.

Д'Эстер так настойчиво уговаривал, что Энгельс не только согласился, но и сразу после его ухода сел писать. Статья получилась решительной, страстной. Намеренно идеализируя положение, желая внушить читателям жажду борьбы, Энгельс изобразил Баден и Пфальц энергичными, сплоченными легионами, готовыми сражаться «на стороне свободы против рабства, на стороне революции против контрреволюции, на стороне народа против государей, на стороне революционной Франции, Венгрии и Германии против абсолютистской России, Австрии, Пруссии и Баварии».

Статья появилась в правительственной газете «Вестник города и деревни» на другой день, третьего июня, и вызвала множество толков. У большинства руководителей восстания и членов правительства она породила двойственное чувство: с одной стороны, им, конечно, было лестно увидеть себя столь могучими врагами контрреволюции; с другой – это их пугало, ибо на самом деле они были совершенно неспособны на героические акции, готовностью к которым их наделял Энгельс. Из этих двух чувств страх оказался гораздо сильнее. Поэтому в большинстве своем они были крайне недовольны статьей, хотя открыто никто ничего ее автору не возразил.

Энгельс сразу написал вторую статью, еще более решительную и горячую. Принес ее в редакцию и попросил главного редактора прочитать тут же, в его присутствии. Тот долго отнекивался, ссылаясь на занятость, но автор был настойчив. Читал редактор медленно, вдумчиво, то и дело возвращаясь к уже прочитанному тексту. Наконец он чуть отодвинул статью и поднял глаза на Энгельса.

– Статья написана прекрасно! – сладким голосом провозгласил редактор, и Энгельс сразу понял, что он не хочет ее печатать. – Ваш слог, которым восхищается вся Германия, здесь

проявился во всей своей силе.

– Ну так напечатайте ее хотя бы как образец стиля, – усмехнулся Энгельс.

– Да, но… как бы это выразиться? Статья получилась слишком возбуждающей. Тут надо кое-что поправить, убрать, смягчить.

– Я ничего делать не буду,

– О, я могу взять эту работу на себя!

– Ни в коем случае. В моей статье все должно быть моим до последней точки. Верните мне статью.

– Но, господин Энгельс… Дело не безнадежно!

Энгельс протянул руку, взял статью, поднялся и вышел.

Через два часа к нему прибежал Д'Эстер, которому сообщили о конфликте в редакции.

– Что случилось? – бросил он с порога.

– То самое, о чем я тебе говорил, – почти равнодушно ответил Энгельс. – Они уже испугались меня и не чают, как отделаться.

Д'Эстер взял со стола статью и быстро пробежал ее, неуверенно сказал:

– Но, может быть, все-таки ты кое-что поправил бы?

– Так и быть, поправлю! – Энгельс взял статью и медленно стал рвать ее на мелкие части.

– Ну, как хочешь, – вздохнул Д'Эстер.

Энгельс собрал клочки бумаги, положил их в пепельницу и поджег.

– Ты знаешь, кого я тут сегодня встретил? – вдруг весело сказал он. – Иосифа Молля! Ведь это мой старый друг. Он только что прибыл и уже отправляется завтра в Пруссию с очень важным поручением. Он хочет привезти оттуда канониров для вашей армии.

– Опасная затея. Кто это ему поручил? Начальник генерального штаба?

– Да, он – Техов. Конечно, очень рискованно, но надо! Канониров у нас особенно не хватает.

Энгельс вытряхнул пепел в окно, поставил пепельницу и вдруг заговорил взволнованно и быстро:

– Я так устал от ваших хитроумных борцов с их безмятежной манерой делать революцию, мне так осточертели их двусмысленности и уловки, что меня неодолимо потянуло к старому верному товарищу. Мне просто необходимо побыть в обществе этого смелого, цельного и решительного человека. Иначе, ей-богу, я и сам покроюсь тут плесенью. Я поеду с ним…

– В Пруссию?

– Нет, я только провожу его до Кирхгеймболандена.

– Но это же на самой границе с Гессен-Дармштадтом! Это опасно. В любой час туда могут нагрянуть войска генерала Пёйкера и схватить вас. Мало тебе того, что почти в тех краях ты уже был только что арестован!

– Ну, это было все-таки в самом Гессене, а теперь я границу не перейду.

Д'Эстер вытащил из кармана газету и протянул Энгельсу.

– Взгляни-ка. Это все та же «Кёльнская газета», за которой я теперь регулярно захожу в казино. Вот тут.

Энгельс нашел указанное место и стал читать. Это был приказ о розыске его и еще нескольких товарищей по эльберфельдскому восстанию. За обер-прокурора приказ подписал прокурор Эльберфельда господин Эйххорн. «На основании распоряжения королевского судебного следователя о приводе следующих лиц, – читал Энгельс, – настоятельно прошу все гражданские и военные власти, которых это касается, принять меры к розыску лиц, приметы которых описаны ниже и которые бежали, чтобы скрыться от следствия, начатого против них по поводу преступления, предусмотренного статьей 96 Уголовного кодекса, и в случае поимки арестовать и доставить их ко мне, а именно: 1. Фридриха Энгельса…» Дальше шло описание примет.

Д'Эстер внимательно наблюдал за выражением лица друга. Оно оставалось умеренно-любопытствующим. Не дочитав до конца, Энгельс вдруг бросил газету на стол и изобразил на лице гнев:

– Негодяи! Я подам на них в суд! Это самая настоящая диффамация!

– Что такое? – удивился Д'Эстер.

– Да ты только посмотри, что они написали! «Рост пять футов шесть дюймов», – с тем же наигранным негодованием он округлил глаза.

– А что?

– Как что! Надо было написать восемь дюймов. Они украли у меня два дюйма, целых пять сантиметров!

– Не валяй дурака, Фридрих, – засмеялся Д'Эстер. – Дело серьезное.

– На свете нет ничего серьезнее репутации человека. Они меня опозорили. Этот прокуроришка думает, что если контрреволюция побеждает, то с нами можно делать все что угодно. Я вызову его на дуэль и убью.

– Хорошо, я согласен быть секундантом. А пока я прошу тебя в поездке с Моллем все время крепко помнить, что тебя разыскивают, что твои приметы обнародованы и если тебя схватят, то пощады не жди.

– Не пугай меня, не пугай. – Энгельс успокоительно похлопал друга по плечу. – Приметы мои уже публиковались прошлой осенью, кстати, в той же газете, и меня уже разыскивали, ловили и арестовывали.

– Пойми, время было несколько иным!

– Это ты прав, – опять поддался шутливому тону Энгельс. – Прошлый раз мой рост был указан верно. Тогда они еще не дошли до такой наглости, чтобы урезать у революционера два дюйма роста. А теперь…

Глава двенадцатая.
В путь со старым другом

Рано утром в простой крестьянской повозке, предоставленной военным комендантом города, Энгельс и Молль выехали в Кирхгеймболанден. Им предстояло проехать километров тридцать пять – сорок почти прямо на север. Большая часть пути пролегала по горной лесистой местности. У обоих друзей за поясами торчали пистолеты, а на дне повозки, под соломой, лежали еще и сабли. Волонтер-возница имел карабин, правда, несколько заржавленный.

С самого начала июня, вот уже вторую неделю, во всем Пфальце и Бадене, во всей Южной Германии стояла жара. И она тотчас давала себя знать, как только повозка выезжала на открытое место. Но впереди всегда зеленел лес, и потому ездоки не слишком сетовали на солнце.

Старые друзья не виделись с минувшей зимы. В конце сентября прошлого года, когда Кёльн был объявлен на осадном положении, оба разыскивались властями и оба тайком бежали из города. Первый вскоре прибыл в Париж; второй уехал в Лондон.

Из Парижа Энгельс пешком добрался до Швейцарии, чтобы быть поближе к Германии, к Кёльну, и в середине января этого года, получив разрешение, возвратился в Кёльн, где снова приступил к работе в «Новой Рейнской газете». Вскоре по английскому паспорту под чужой фамилией и Молль приехал опять в Кёльн. Он и его единомышленники Бауэр и Эккариус задумали в Лондоне преобразовать Союз коммунистов, превратив его в тайную организацию. Молль привез новый устав нового Союза и предложил кёльнским товарищам обсудить его. Маркс и Энгельс решительно выступили против этой затеи, считая, что еще есть легальные возможности для борьбы. Особенно горячо они возражали против расплывчатой формулировки первого пункта нового устава: «Целью Союза является введение единой, неделимой социальной республики».

– Здесь все непонятно! – восклицал Маркс. – Что такое «введение республики»? Что значит «социальная республика»? В каком смысле «единая и неделимая»?

– Действительно, – поддержал его Энгельс. – Сплошной туман. А ведь в первом пункте устава, который мы приняли в сорок седьмом году, все так ясно и четко: цель Союза – свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение общества, основанного на антагонизме классов, и, наконец, основание

нового общества, в котором не будет классов и частной собственности на средства производства.

Столь же энергично Маркс и Энгельс возражали тогда и против пункта о том, что разглашение тайны Союза карается смертью.

Не добившись никакого успеха в Кёльне, Молль направился в другие города. С тех пор они с Энгельсом не виделись.

Разумеется, оба прекрасно помнили недавние горячие споры в Кёльне, свое несогласие, но это ничуть не омрачало сейчас радость неожиданной встречи – слишком многое их связывало, слишком хорошо они знали друг друга и любили.

– Так ты из Брюсселя? – спросил Энгельс, с удовольствием разглядывая коренастую сильную фигуру Молля.

– Из Брюсселя.

– Ну и как там? Как в Берлине, в Лейпциге? Нашлись последователи?

– Сейчас не до этого. – Молль махнул рукой. – Лучше расскажи, как Маркс и какова тут обстановка, во всей подробности. У меня же самое общее представление.

Энгельс стал рассказывать, в нужных местах переходя на английский или французский, чтобы не понял возница. Вдруг он помолчал и безо всякой связи с тем, что говорил, видимо, от переполнявших его дружеских чувств к собеседнику, воскликнул:

– А ведь знаешь, Иосиф, ты да Шаппер были первыми пролетариями-революционерами, которых я видел в жизни! Когда шесть лет тому назад в Лондоне мы познакомились с тобой, ты уже был настоящим человеком, а я еще только хотел стать им.

Глубоко посаженные глазки Молля лукаво блеснули:

– Ты и моложе меня на семь лет. Значит, есть все основания считать теперь и тебя настоящим человеком.

Они засмеялись. Энгельс продолжал свой рассказ. Потом рассказывал Молль. Когда переговорили, кажется, обо всем, Молль вдруг спросил:

– Так ты прошел пешком от Парижа до Женевы? Вот завидую! Я странствовал в своей жизни немало, как ты знаешь. Но пересечь пешком всю Францию – такого у меня не бывало. Но почему пешком – из любви к путешествиям?

– Не совсем так, – покачал головой Энгельс. – Были и другие веские причины – никаких документов и очень мало денег.

– Но как это тебе взбрело на ум?

– Видишь ли, я просто не выдержал. – Энгельс сразу помрачнел. – Я помнил Париж марта – апреля прошлого года, в короткую пору его упоения медовым месяцем республики. Рабочим жилось тогда голодно, они питались одним хлебом и

картошкой, но, несмотря на это, по вечерам сажали на бульварах деревья свободы, жгли фейерверки и пели «Марсельезу». И вот в октябре я снова увидел Париж. Между этими двумя встречами было море крови, была гора из пятнадцати тысяч трупов рабочих. На улицах – одни торжествующие буржуа и полицейские шпионы. Париж был мертв. Я не мог ни жить, ни дышать в мертвом Париже. Я должен был уйти. И вот однажды утром я вышел на улицу и зашагал прямо на юг.

– И какое же впечатление оставляет Франция, когда ее вот так проходишь насквозь?

– Мой друг! – Энгельс хлопнул Молля по колену: ему, видимо, хотелось преодолеть мрачные воспоминания. – За эти две недели я прежде всего убедился в том, как правы те, кто говорит, что Франция – страна прекрасного вина и очаровательных женщин!

– О, у меня в этом никогда не было сомнения! – Молль пригладил свои чуть тронутые сединой волосы, словно за ближайшим поворотом дороги могли показаться эти очаровательные француженки.

– Нет, в самом деле! – все более вдохновляясь, заговорил Энгельс. – Какое вино! И что за разнообразие! От бордо до бургундского, от крепкого люнеля до… Тут тебе вина и белые, и красные – от пти-макона или шабли до сотерна, до пенистого аи! Ты подумай только, каждое из этих вин дает свой особый хмель. При помощи нескольких бутылок можно испытать широчайшую гамму настроений – от легкомысленного желания танцевать до возвышенной жажды вдохновенно петь «Марсельезу».

Сурово молчавший до сих пор возница вдруг зашевелился, полез рукой в передок повозки и вынул из-под соломы большую плоскую флягу.

– Нет никаких сил слушать вас, – сказал он, бултыхнув флягу. – Да и вообще пора подкрепиться.

Друзья горячо приветствовали это предложение, так как большая часть дороги осталась уже позади, а утром оба они позавтракали слишком легко и поспешно.

Свернули в сторону и остановились в тени развесистого дуба. У предусмотрительного Молля нашлось все: и снедь, и кружки, и, конечно же, бутылка легкого пфальцского вина, и даже салфеточка, чтобы постелить на траве. Он занялся приготовлением путевого пиршества, возница пошел нарвать свежей травы для лошади, а Энгельс поспешил к ближайшей вершинке, чтобы осмотреть с нее местность.

Через четверть часа все трое расположились прямо на земле вокруг чистенькой салфетки, на которой умело были разложены

хлеб, мясо и яйца.

– За что же выпьем? – спросил Молль, поднимая кружку с вином.

– За твой успех! – сразу ответил Энгельс.

Возница, естественно, не понял, о каком успехе идет речь, но спросить постеснялся.

После того как выпили, он спросил о другом:

– Если у вас, господин Энгельс, было совсем мало денег, то как же вы кормились все эти две недели по дороге от Парижа до Швейцарии?

– Кормился? – переспросил Энгельс, с удовольствием разжевывая сочную телятину. – Да где как. Если я останавливался на постоялом дворе, то заказывал себе какой-нибудь совершенно грошовый ужин. А если на ферме или в крестьянском доме, то чаще всего хозяева сами предлагали мне поесть. Я их за это благодарил как мог. Кому воды натаскаю, кому наколю дров, кому еще что.

– Ты умеешь колоть дрова? – спросил Молль, наливая всем по второй кружке.

– Я это люблю больше, чем фехтование и даже плавание, – вполне серьезно ответил Энгельс. – Да, так вот порой в том путешествии мне приходилось делать дела довольно неожиданные. В одной бургундской деревеньке, где-то, кажется, под Осером, у крестьян, приютивших меня на ночлег, сломал ногу роскошный племенной хряк. Надо было его заколоть. А самого хозяина дома не оказалось, он уехал куда-то дня на два-три, а может, и больше. Хозяйка ко мне чуть не с мольбой…

– Ну и ты? – вырвалось у Молля.

– Что – я? Конечно, заколол. И даже освежевал.

– Не верю! – восхищенно воскликнул Молль.

– Да, это не просто, – словно бы поддержал неверующего возница.

– Дело твое, – пожал плечами Энгельс. – Но если тебе доведется быть в Бремене, зайди в церковь святого Мартина к ее настоятелю Георгу Готфриду Тревиранусу и справься у него. Лет десять назад я жил в его доме и именно там приобрел первый опыт на сей счет.

– Ну если такой авторитет, как настоятель, – я умолкаю, – засмеялся Молль.

– А быков валить вам не приходилось? – спросил возница, вовсе не желая пошутить над рассказчиком, но все-таки это прозвучало как подначка, и Молль захохотал, давясь яйцом.

– Нет, быков не приходилось, – спокойно ответил Энгельс. – А твоего сомнения, Иосиф, я понять не могу. В деревушке Дампьер,

неподалеку от Луары, на постоялом дворе я встретил артель парижских рабочих, которые по приказу правительства возводили здесь плотину для защиты от наводнения. Так бригадир артели был обо мне совсем иного мнения, чем ты. Он хотел немедленно зачислить меня в свою рать, уверял, что я очень быстро освоюсь с работой и уже со второй недели смогу зарабатывать пятьдесят су в день.

– И ты отказался?

– Я бы совсем не прочь для разнообразия сменить на месяц или два перо на лопату, но без документов это было опасно.

Выпили по второй кружке, и Энгельс продолжал:

– А в деревеньке около Шатонёфа, тоже на Луаре, я ночевал в доме, где вроде бы вся работа была переделана – не нужно было ни воды, ни дров, ни свинью колоть. Я думал, думал – и нарисовал хозяйским детишкам несколько рож, объяснил: это – Луи Наполеон, это – генерал Кавеньяк, это – Арман Марраст, мэр Парижа.

– И похоже получилось?

– Вылитые, хотя и карикатуры. Но хозяева не поняли, что это карикатуры, и смотрели на них с таким восхищением, так благодарили меня! И тут же повесили портретики на стену.

Молль засмеялся.

– Дело, видишь ли, в том, – Энгельс горестно покачал головой, – что французские крестьяне, несмотря на все их добродушие, гостеприимство, веселость, с точки зрения политического развития, как и немецкие крестьяне, увы, все еще остаются варварами – они боготворят Луи Наполеона, этого ничтожного, тщеславного, путаного дурака, спекулирующего великим именем! А ведь на выборах – этого забывать нельзя! – им принадлежит свыше шести миллионов голосов, то есть они составляют больше двух третей всех избирателей Франции.

Вознице, кажется, были не очень интересны подобные вопросы, его больше занимали конкретные обстоятельства путешествия, и потому он спросил:

– Сколько же вам приходилось отмерять каждый день? Поди, не мало?

Энгельс стал прикидывать:

– Если по карте, то от Парижа до Женевы не так уж далеко – километров четыреста, но дорога раза в полтора длиннее, километров шестьсот. А я частенько шел и не по дороге, отклонялся в сторону, чтобы взглянуть на ту или иную местность, да еще раза два-три сбивался с пути. Вот и считайте. Точно помню, что в первые два дня прошел пятнадцать лье, это получается больше тридцати километров в день. Такой, пожалуй,

и была моя средняя скорость.

– Прилично, – сказал возница. – Ведь это день за днем две недели!

– Как бы то ни было, а в Женеву я входил в сапогах, подвязанных веревочками. И на первые же деньги, что мне прислали из Кёльна, купил новые ботинки.

Молль разлил остатки вина, нетерпеливо поторопил:

– Ну, а женщины, женщины-то! Ты их все обходишь молчанием.

Энгельс выставил вперед ладонь: дескать, не спеши.

– Честно говоря, во Франции хватает всяких женщин. Немцам больше нравятся ширококостные крестьянские девушки, и, может быть, они правы. Пусть уж простят меня соотечественники, а чисто умытые, аккуратно причесанные, прекрасно сложенные бургундки из Сен-Бри и Вермантона понравились мне больше.

– Я с тобой солидарен! – воскликнул Молль. – И выпьем за бургундок в каждой нации.

– Выпьем!

Недолго еще продолжался этот придорожный пир. Солнце уже пошло к закату, и надо было спешить.

Глава тринадцатая. Как со шпионом

В Кирхгеймболандене была всего одна гостиница. В ней и поселились Энгельс и Молль. Они намеревались побыть здесь день-другой, разведать обстановку с помощью знакомых из добровольческого рейнско-гессенского отряда, располагавшегося в городе, а потом Молль перешел бы границу Гессен-Дармштадта и стал бы пробираться в Пруссию, где надеялся завербовать канониров для армии повстанцев, Энгельс же, проводив друга, должен был вернуться в столицу Пфальца.

В день их прибытия, вечером, по приглашению Молля к ним в номер пришло несколько человек из добровольческого отряда. Энгельс хорошо знал среди них только одного – капитана Сакса.

Разговор, естественно, сразу зашел о перспективах пфальцского восстания. Перебивая друг друга, горячась, гости принялись убеждать Энгельса и Молля в том, что революционная армия крепка и могуча, что пруссаки убедятся в этом при первой же попытке вторжения, что даже при плохом, недостаточном оружии, но при высоком воодушевлении можно разбить любую армию мира… Особенно усердствовал молоденький лейтенант, видимо, вчерашний студент. Энгельс уже встречал таких горячих студентов; ему казалось, что они объявили себя революционерами и примкнули к революции не столько по причине своих убеждений, сколько из-за страха перед ближайшими экзаменами. Когда воинственный студиоз выкрикнул уже так много раз слышанную Энгельсом, осточертевшую ему фразу: «Мы должны действовать, как Кошут, иначе мы погибли!» – он не выдержал:

– Позвольте спросить, господин лейтенант, приходилось ли вам по части военного дела наблюдать хоть что-нибудь, кроме развода караулов?

– Мне? Я? – опешил лейтенант.

– Да, вам. – Энгельс метнул злой взгляд на говоруна. – У меня такое впечатление, что вы вообще никогда не задумывались о материальных средствах для достижения какой угодно цели, в том числе и военной.

– Дух народа – это, господин Энгельс, такая сила!..

– Да знаете ли вы, защитник духа, что у Пфальца самое большее пять-шесть тысяч бойцов, вооруженных ружьями разных систем, да еще тысячи полторы солдат, все оружие которых – косы?!

– Ну и что? – лейтенант невозмутимо уставился своими веселыми светлыми глазами в негодующие глаза Энгельса. Тот не мог от возмущения говорить.

– Разъясни ему, Иосиф, – кивнул он Моллю.

– А то, дорогой мой, – заражаясь негодованием друга, сказал Молль, – что пруссаки могут двинуть против нас до тридцати тысяч штыков, хорошо подкрепленных кавалерией и артиллерией.

Лейтенант готов был, кажется, снова возгласить: «Ну и что?», как дверь в номер неожиданно распахнулась и вошли восемь вооруженных солдат и двое гражданских. Солдаты, видимо выполняя заранее предусмотренный маневр, разместились вдоль стен, окружив таким образом комнату и всех, кто в ней находился.

Один из гражданских, высокий, с крупными чертами лица, подошел к Энгельсу и негромким скучным голосом произнес:

– Сударь, вы арестованы.

Молль вскочил, прижался в незанятый угол и дернул за руку Энгельса, заставив его сделать то же. Коренастая сильная фигура Молля, его глубоко посаженные глаза были полны решимости. Энгельс понимал, что Молль может сейчас затеять потасовку, последствия которой предугадать трудно: солдаты вооружены, а можно ли рассчитывать на помощь гостей-волонтеров, неизвестно.

– С кем имею честь? – медленно проговорил Энгельс, решив на всякий случай выиграть время.

– Людвиг Грейнер, член пфальцского революционного Временного правительства.

– Я знаю всех членов правительства, – сказал Энгельс, удерживая рукой порывистое движение Молля.

– Я часто бывал в отлучках. Вот вам мандат. – Грейнер протянул бумагу. – А это Якоб Мюллер, гражданский комиссар города. – Он кивнул на соседа, тот чуть заметно склонил голову.

– И что же вы хотите, господа? Может быть, тут какая-то ошибка? Вы твердо уверены, что я именно то лицо, которое вам нужно? Знаете ли вы мое имя?

– Фридрих Энгельс-младший, – все так же скучно проговорил Грейнер. – А хотим мы только одного: арестовать вас, надеть наручники и увести.

Молль рванулся вперед и заслонил собой Энгельса.

– Только попробуйте! – Он грозно потряс своими огромными кулаками.

Капитан Сакс тоже сделал шаг навстречу Грейнеру и, сдерживая негодование, сказал:

– Если вы арестуете господина Энгельса, то я обещаю вам, что

многие лучшие люди нашего отряда немедленно оставят его ряды.

Сторонники Энгельса плотным кольцом столпились вокруг него. Обстановка предельно накалилась, любое лишнее движение и резкое слово могли стать катастрофическими. Быстро все взвесив, Энгельс обратился к своим защитникам:

– Господа! Не мешайте им меня арестовать. Дайте им сделать их славное дело.

– Фридрих! Не играй в благородство! – выкрикнул Молль. – Или ты не знаешь, чем это может кончиться?

– Это кончится только их позором, поверь мне. Пусть все наконец увидят, что представляют собой некоторые члены революционного правительства Пфальца. Да, да! Не мешайте им.

– Оружие, господин Энгельс, – протянул руку Мюллер.

Молль, Сакс, два-три других горячих волонтера еще негодовали, спорили, грозили и убеждали, но Энгельс не внял им. Во избежание крупного конфликта, а может быть, и кровопролития он протянул Мюллеру пистолет, дал себя арестовать и увести. Последнее, что он слышал, уходя в окружении стражи, были слова Молля:

– Я сейчас же возвращаюсь в Кайзерслаутерн и доложу об этом диком беззаконии правительству! Совсем одурели – своих хватают!..

Ночь арестованный провел в каком-то маленьком, но прочном домике под охраной двух солдат: один из них сидел в соседней комнате, другой вышагивал под окнами.

В своей временной тюрьме Энгельс обнаружил большой кожаный диван, сразу завалился на него и крепко уснул, утомленный дальней дорогой, выпитым вином и этой неожиданной встряской.

Среди ночи Энгельс проснулся, тихонько встал и подошел к двери. Из соседней комнаты слышался сладкий храп часового. Выглянул в окно. И второй часовой тихо дремал на скамье. Пожалуй, не составило бы большого труда бесшумно вылезть в окно, вырвать у часового карабин, оглушить его и бежать. «Ведь у меня в биографии нет побега из-под стражи», – усмехнулся Энгельс. Но бежать сейчас, по его расчетам, не было смысла. Он вернулся на диван и снова уснул.

•

Утром явился жандарм.

– Одевайтесь и следуйте за мной, – строго сказал он.

– Куда, позвольте узнать? – спросил Энгельс, потягиваясь на диване.

– На допрос.

– Очень хорошо. Только распорядитесь, чтобы мне дали умыться. – Энгельс спустил ноги с дивана.

– Потом умоетесь. Вас уже ждут.

– Я ждал дольше – целую ночь. Если вы не дадите мне таз с водой и полотенце, никакого допроса не будет.

– Я повторяю: вас уже ждет очень важное лицо.

– Утром нет ничего важнее умывания, сударь. Разве не так, если этим занимается все человечество?

Жандарм вышел из комнаты, и минут через двадцать явился солдат с тазом воды и полотенцем.

Приведя в порядок свой костюм, умывшись, Энгельс в сопровождении жандарма пошел на допрос. Путь до городской магистратуры, где ждало важное лицо, оказался недолгим.

Войдя в кабинет, Энгельс не смог удержать изумленного восклицания:

– Каким ветром!

Перед ним в важной государственной позе сидел за столом Франц Циц. Он окинул холодным взглядом вошедшего и многозначительно проговорил:

– Было бы более логично, если бы вы объяснили, как очутились в этом городе и какова цель вашего пребывания здесь.

Энгельс ответил, что сопровождал друга, который отсюда должен был с секретной военно-государственной миссией двинуться дальше, но теперь, после его, Энгельса, ареста, этот друг отправился обратно в Кайзерслаутерн, чтобы доложить властям о творящихся здесь, в Кирхгеймболандене, беззакониях.

– Беззакониях? – переспросил Циц. – По-вашему, задержать человека, который неуважительно относится к восстанию пфальцского народа и подстрекает население против его правительства, это беззаконие?

– Я обвиняюсь именно в этом?

– Да.

– В таком случае я отказываюсь отвечать на ваши вопросы и настаиваю, чтобы меня немедленно отправили в Кайзерслаутерн.

Раздался стук в дверь, и вошел вчерашний комиссар Мюллер.

– Господин комиссар, – сказал Циц, – арестованный отказывается отвечать на мои вопросы. Его действительно следует препроводить в столицу. Там с ним разберутся.

– Охотно, – тотчас отозвался Мюллер, – но у нас сегодня нет ни одной свободной лошади.

Циц несколько мгновений помолчал, и вдруг его осенила

радостная мысль:

– В данном случае лошадь, господин комиссар, вовсе и не нужна. Арестованный молод и вполне здоров. Под конвоем он легко может проделать весь путь пешком. Погода отличная… Только распорядитесь, чтобы надели наручники.

– А найдутся ли у вас подходящие? – Энгельс слегка подтянул правый рукав. – Смотрите, у меня довольно широкая кисть.

– Найдутся, – многозначительно пообещал Мюллер.

Циц промолчал.

– Ваша затея, господа, с моей прогулочкой до столицы в наручниках по жаре прекрасна, она меня восхищает, и в свое время я вас за нее должным образом отблагодарю. Но учтите, что если вы не предоставите лошадь, то мне придется с конвоем ночевать в дороге, и я не ручаюсь, что ночью все обойдется так, как вам этого хотелось бы.

– Не пугайте нас, не пугайте, – отмахнулся Мюллер.

– И еще одно обстоятельство, – сказал Энгельс. – Я сегодня еще не завтракал. Надеюсь, ни один из вас не думает, что я готов отправиться погулять натощак?

Против этого возразить было нечего. Циц распорядился подать для арестованного в соседнюю комнату завтрак. Едва Энгельс поел, как явился с наручниками давешний жандарм.

– Ах, это снова вы, сударь! Что ж, делайте свое дело. – И Энгельс протянул руки…

Вскоре они шли по городу, направляясь к его южной окраине: арестованный с наручниками на руках немного впереди, конвоир чуть сзади с карабином за плечами и с саблей у пояса. Прохожие останавливались и с интересом смотрели им вслед. Действительно, зрелище было редкостное: высокий молодой бородач, которому даже наручники не мешали шагать легко и оставаться уверенным, спокойным, гордым, и весь напряженный, словно испуганный, торопливо семенящий конвоир.

Когда вышли за город, в поле, Энгельс спросил:

– Как же вас звать, дорогой друг? Ведь нам предстоит довольно длительное путешествие, и надо бы познакомиться поближе.

– Мне запрещено с вами говорить, – буркнул жандарм.

– Это почему же? Ведь мы с вами в некотором смысле товарищи по несчастью.

– Мне приказано обращаться с вами как со шпионом.

– Со шпионом? – Энгельс обернулся к жандарму и с деланным испугом вытаращил глаза. – В чью же пользу я шпионил – Пруссии, Австрии или России?

– Мне это неизвестно.

– И мне тоже. Но интересно ведь! А может, я агент китайского императора или японского микадо?

Конвоир ничего не ответил. Они приближались к лесу, и он стал еще более напряженным.

– А как вы думаете, друг мой, – снова через некоторое время заговорил Энгельс, – какая из этих держав заплатила бы мне за шпионаж больше?

Жандарм опять промолчал. Они вошли в лес. Конвоир то и дело озирался по сторонам. Энгельс заметил это. «Эге, да ты не из храброго десятка!»

– Я думаю, что Пруссия вообще ничего не заплатила бы. Поскольку я все-таки прусский подданный, мне сказали бы, что я лишь исполняю патриотический долг. Австрийцы, если бы и заплатили, то, конечно, очень мало – они сейчас сами в тяжелейшем положении, им не до этого. А вот кто хорошо дал бы, так это царь Николай. Как вы думаете, сударь, почему?

Жандарм неопределенно хмыкнул. Энгельс понял, что интересного разговора не получится, и тоже замолчал.

Минут через сорок путников догнали две военные подводы, спешившие, как видно, в Кайзерслаутерн. Энгельс заявил, что он не пойдет дальше, пусть конвоир реквизирует одну из подвод. Тому ничего не оставалось, как выполнить это требование. Ездовые косо посматривали на арестанта, но возражать не решились.

В Кайзерслаутерн приехали уже к вечеру. Энгельс предложил сойти с подводы и направиться во Фрухтхалле, где надеялся еще застать кого-нибудь из членов правительства. Жандарм согласился, так как по инструкции он должен был передать арестованного именно в руки правительства.

Энгельс не ошибся в своем расчете. Когда подходили к Фрухтхалле, оттуда вышли сразу двое – Молль и Д'Эстер. Иосиф рубил ладонью воздух и что-то горячо говорил, Карл озабоченно слушал.

– Привет от узников революции! – крикнул Энгельс.

Друзья оглянулись, узнали Энгельса и бросились к нему.

– Как? Ты еще и в оковах? – изумился Д'Эстер.

– Что ты! Господь с тобой! – Энгельс вытянул напоказ руки. – Ты слишком плохого мнения о господах Цице и Грейнере. Это не оковы, не кандалы, а всего лишь либеральные наручники.

Молль схватил Энгельса за руки и повлек за собой.

– Быстро, быстро! Они еще там. Пусть увидят собственными глазами.

Через несколько минут все четверо с шумом ввалились в большую, ярко освещенную комнату – кабинет министра

внутренних дел Николауса Шмитта. Кроме самого министра здесь находились и другие члены правительства и, видимо, только что прибывший Самуэль Чирнер, один из главных руководителей недавнего восстания в Дрездене.

– Господа! – обводя всех негодующим взглядом, воскликнул Молль. – Я надеюсь, вам достаточно хорошо известен этот человек. Он хочет сказать вам несколько слов.

Все затихли. Энгельс вышел вперед и начал тихо и спокойно:

– Месяц назад, милостивые государи, я принимал участие в эльберфельдском восстании. В меру своих сил и способностей я сделал все, чтобы помочь ему. Но руководители восстания, боясь дружбы, возникшей между мной и рабочими, предали меня – вынудили покинуть Эльберфельд.

– Снимите с него наручники, – вполголоса проговорил Чирнер.

Конвоир сделал было движение, но тотчас в нерешительности остановился.

– Тогда я думал, – громче и резче продолжал Энгельс, – что это предел низости. Но теперь я вижу, что ошибался. Господин Хёхстер, председатель эльберфельдского Комитета безопасности, по крайней мере, не приказывал арестовать меня, не называл меня шпионом. В Эльберфельде все-таки никому не взбрело в голову надеть мне наручники и под конвоем, пешком, погнать в Кёльн. А вот ваши коллеги Циц, Грейнер и комиссар Мюллер на это пошли!

– Какой позор! – воскликнул кто-то.

– Да снимите же наручники! – повторил Чирнер.

Жандарм наконец решился. Щелкнули замки. Наручники спали. Жандарм хотел взять их, но Энгельс не отдал.

– Господа! – сказал он, побрякивая железом. – Ведь никто из вас никогда не носил эти изысканные манжеты. Не хотите ли попробовать?

Все молчали. Энгельс бросил наручники на стол министра:

– Революционный фанатизм ничуть не лучше всякого иного…

– У вас есть пакет от Грейнера? – спросил жандарма Шмитт.

– Никак нет, – испуганно отчеканил тот.

– Ну какой-то отчет, донесение, уведомление?

– Ничего нет.

– Где же ему писать отчеты! – зло, сквозь зубы проговорил Молль. – Он по горло занят ловлей революционеров.

– А на словах он вам хоть что-то передал? – продолжал допытываться министр.

– Мне только было сказано, что с арестованным следует обращаться как со шпионом.

Д’Эстер возбужденно зашагал вдоль стены:

– Черт знает что! После такого обращения с моим товарищем по партии, с коммунистом я не могу больше оставаться в правительстве. Немедленно отпустите его!

– Да, конечно, – согласился Шмитт. – Надо немедленно отпустить. Мы отпускаем вас, господин Энгельс, под ваше честное слово.

– Под честное слово? – вскинул брови Энгельс. – Но почему я должен его давать?

– Ну, видите ли, – замялся Шмитт, – вас все-таки арестовал член правительства, наш коллега. Мы обязаны уважать его решения. У него, надо думать, имелись какие-то соображения…

– Ах, вот оно что! Никакого честного слова я вам давать не намерен.

Д’Эстер, Молль, Чирнер принялись уговаривать Энгельса, но он оставался непреклонен.

– Но войдите в наше положение! – взывал Шмитт. – Что же нам делать?

– Не знаю! – отрезал Энгельс. – Я могу и дальше оставаться под арестом, могу последовать в окружную тюрьму.

– Что ж, до получения отчета от Грейнера, видно, только это и остается, – озадаченно проговорил Шмитт.

– Если так, то я настаиваю, чтобы конвой был снят немедленно, – сказал Д’Эстер. – Энгельс пойдет в тюрьму без конвоя.

– Согласен, – кивнул головой Шмитт. – Я просто напишу записку начальнику тюрьмы, и арестованный сам ее передаст.

– Забавно! – сказал кто-то.

Шмитт придвинул к себе бумагу и стал писать.

– По крайней мере, распорядитесь, чтобы камера была поуютней и попросторней – я люблю пошагать. – Энгельс подошел к столу, ожидая, когда Шмитт кончит записку. Тот вскоре кончил, положил записку в конверт, запечатал его и подал арестованному.

Энгельс взял конверт, тряхнул им над головой:

– Милости прошу в гости, господа. Надеюсь, временное революционное правительство действительно предоставит мне лучшую тюремную камеру во всем Пфальце.

Он пожал руку Шмитту и в сопровождении Молля вышел на улицу.

•

В этот же вечер, через два-три часа, многие в городе уже знали об аресте Энгельса, а утром это стало известно всем жителям и вызвало много противоречивых толков и предположений. Сторонники решительного направления единодушно осуждали власти, сочувствовали узнику, а некоторые из них были даже за то, чтобы освободить его силой.

Д'Эстер, возмущенный и обескураженный арестом друга, забыл вчера при первой встрече с ним сказать, что Маркс прислал ему на его, Д'Эстера, адрес письмо. Вспомнив об этом перед сном, Д'Эстер ужаснулся своей забывчивости, всю ночь плохо спал, а утром сразу же отправил письмо арестованному.

Энгельс вторую ночь подряд спал в заключении, и сон его опять был крепок и безмятежен. Он проснулся с ожиданием чего-то очень приятного. Должно быть, вот-вот откроют дверь и скажут: «Милостивый государь, вы свободны!» И дверь действительно вскоре открылась. Вошел тюремщик. Он принес завтрак. Это разозлило Энгельса. Стало быть, его не намерены немедленно выпустить? Он мрачно взглянул на тюремщика. И тот, словно только теперь, под этим недобрым взглядом, вспомнив о письме, протянул его арестованному.

Увидев конверт, надписанный рукой Маркса, Энгельс возликовал. Это первая весть от друга после их разлуки в Бингене! Где он теперь? Что с ним? Как его дела?.. Нетерпеливо разорвав конверт, развернув письмо, Энгельс сразу увидел в правом верхнем углу: «Париж, 7 июня 1849 года». Ну, слава богу, он во Франции! Глаза радостно побежали по заковыристым строчкам:

«Дорогой Энгельс!

Я пишу тебе в этом письме не очень подробно. Прежде всего ты должен мне ответить, пришло ли это письмо неповрежденным. Я полагаю, что письма опять любовно вскрываются…»

Чем дальше читал Энгельс, тем радость его все больше сменялась горечью и тревогой. Во Франции господствовала роялистская реакция. Париж обрел еще более мрачный облик. К тому же в нем свирепствовала холера. О своей семье Маркс ничего не писал, – очевидно, до сих пор она в Германии. Денег у него нет, и он просил «раздобыть» их. Но, несмотря на все это, Маркс был полон надежды, он писал: «…Колоссальный взрыв революционного кратера никогда еще не был столь близок, как теперь в Париже». Энгельс теперь не разделял этого оптимизма относительно скорого взрыва, но в конце концов его радовало уже одно то, что Маркс не только жив и здоров, а еще и не падает духом, надеется, ждет.

Энгельс тотчас после завтрака попросил бумагу, чернила и

сел писать ответ. Благо никаких других дел быть не могло, письмо он писал обстоятельно и долго, почти до самого обеда. Но вот миновал и обед, а его все еще не собирались выпускать на свободу. Уже сутки, как он сидит в этой проклятой окружной тюрьме! Этак можно дождаться за решеткой прихода пруссаков… И потом не выйти отсюда совсем или выйти только для судебной расправы… О фанатики, свихнувшиеся от власти!

Уже начало темнеть, когда за дверью послышались голоса, шум. Энгельс сразу узнал голос Д'Эстера. Кто же еще? Дверь распахнулась, и вместе с Д'Эстером в камеру вошел сам министр внутренних дел Николаус Шмитт.

– Господин Энгельс, – торжественно и одновременно смущенно сказал он сразу же от порога, – вы освобождаетесь без всяких условий.

– Получен отчет от Грейнера? – спросил Энгельс.

– Нет, никакого отчета еще не поступало, но правительство приняло решение, что дольше задерживать вас недопустимо. Кроме того, мои коллеги по правительству просили передать вам, что они надеются на ваше дальнейшее участие в движении.

– Дело покажет, – неопределенно ответил Энгельс.

– Но это еще не все. Мне поручено довести до вашего сведения, что издано правительственное распоряжение, запрещающее отныне содержать политических заключенных в оковах или наручниках.

– Значит, мой арест хоть в какой-то мере способствовал делу свободы. Рад сознавать это. Вероятно, если бы меня ни за что ни про что расстреляли, моя смерть еще больше пошла бы на пользу либерализации. Не моя вина, что эффект из всей этой истории извлечен не максимальный. Но, как видно, не следует терять надежды на будущее.

– И это опять еще не все, – довольно улыбаясь, продолжал Шмитт. – Я должен сообщить также, что мной отдано распоряжение начать следствие как о причинах вашего ареста, так и о виновниках недостойного обращения с вами.

– Прекрасно! – весело воскликнул Энгельс.

С ужином в руках вошел тюремщик.

– Вы только посмотрите, господа! – засмеялся Энгельс. – Он, видно, решил, что без его похлебки я отсюда не смогу уйти. Спасибо, братец. – Он легонько хлопнул по спине тюремщика. – Можешь есть это сам. А мы, господа… Я был бы плохим коммунистом и даже негодным демократом, если бы по случаю моего освобождения не угостил вас хорошим вином.

– Но… – начал было Шмитт.

– Никаких «но»! – решительно пресек Энгельс. – Не выпить по

такому поводу – значит оскорбить самое идею свободы, оказаться в одной компании с Кавеньяком и Врангелем, Виндишгрецом и Николаем Первым. Вы этого хотите?

– И где же ты предлагаешь это осуществить? – оживился Д'Эстер.

– Лучшего места, чем «Доннерсберг», нам не найти! – Энгельс потер руки в предвкушении хорошего ужина. – А где Молль? Надо его тоже позвать.

– Увы, – отозвался Д'Эстер, – он уже уехал по тому заданию, на которое ты его так неудачно провожал.

– Но он хоть знает, что я сегодня буду на свободе?

– Да. Он заходил ко мне сегодня, и я ему твердо обещал, что все будет в порядке.

– Жаль, что его нет. Но мы уж обязательно выпьем за его удачу!

Через полчаса они пошли в ресторан «Доннерсберг». Предоставленный им кабинет был невелик, но уютен и располагался в самом тихом и уединенном месте ресторана.

Сделав обстоятельный заказ, Энгельс попросил Д'Эстера и Шмитта поделиться с ним последними новостями. Новостей за три дня его отсутствия оказалось немало. Во-первых, семидесятилетний польский генерал Феликс Ракийе заменен на посту главнокомандующего пфальцскими войсками генералом Францем Шнайде, тоже поляком.

– Сколько ему лет? – спросил Энгельс.

– Да, видно, под шестьдесят, – прищурил правый глаз Д'Эстер.

– Черт знает что! – вспылил Энгельс. – Войны и революции – это дело молодых. А тут какой-то конкурс стариков, соревнование мафусаилов! Они хотят перехитрить природу, но это еще никому не удавалось. Ну а генерал-то он хоть настоящий или из вчерашних капралов?

– Кажется, настоящий, – неуверенно сказал Шмитт.

– Но вообще-то у этих поляков не поймешь, – опять прищурился Д'Эстер. – У них и ефрейтор держится как генерал.

– Ну и как держится Шнайде?

– С очень большим достоинством! – Д'Эстер поднял указательный палец выше головы. – Первым делом он обзавелся гусарской венгеркой с трехцветными галунами…

– Чтобы представить себя пфальцским Кошутом, – кивнул головой Энгельс. – Но он хотя бы то взял во внимание, что Кошуту всего сорок семь лет – вот в наше время возраст зрелого полководца!

– А еще он уже издал множество приказов по войскам, –

продолжал Д'Эстер. – Большая часть их касается военной формы, знаков отличия для офицеров и тому подобных вещей.

– Кроме того, – вставил Шмитт, – он обратился с призывом добровольно вступать в армию к стрелкам и кавалеристам, уже отбывшим срок службы.

– Да, – подтвердил Д'Эстер, – но с такими призывами обращались уже много раз, и всё безуспешно… Что в его приказах есть ценного и дельного, так это повторение кое-каких толковых приказов и предложений, которые уже исходили от серьезных офицеров раньше, но до сих пор не осуществлены.

– Может быть, для их осуществления не хватало как раз генеральского авторитета? Может быть, теперь стрелки и кавалеристы толпами повалят под знамя Шнайде?

– Посмотрим, – сдержанно проговорил Д'Эстер. – Но как бы то ни было, а я надеюсь, что недостатки Шнайде будут перекрываться достоинствами Мерославского.

– Мерославского? – переспросил Энгельс. – Людовика?

– Его самого. Разве ты еще не знаешь, что он окончательно утвержден главнокомандующим над всеми войсками Пфальца и Бадена?

– Откуда же мне знать?! Это добрая весть. Ведь раньше были одни слухи.

– Вот уж он-то удовлетворяет вполне вашему возрастному цензу, – сказал Шмитт.

– Да, ему никак не больше тридцати пяти, – согласился Энгельс. – Но дело же не только в этом. У него все же есть кое-какой опыт.

Между тем ужин что-то запаздывал. Потеряв наконец терпение, Энгельс встал из-за стола:

– Господа, пойду узнаю, в чем дело. Я умираю от голода.

Он вышел из кабинета и вернулся минут через десять довольный и сияющий:

– Все в порядке! Расстегните пуговки на животе, друзья!

Действительно, лакей с обильно уставленным яствами подносом не замедлил явиться. Когда, переставив все на стол, налив в бокалы вино, он удалился, Энгельс вдруг недоуменно пожал плечами:

– Может быть, я, конечно, ошибаюсь и моя интуиция меня обманывает, но мне все-таки кажется, что в соседнем кабинете находится не кто иной, как его превосходительство генерал Шнайде.

– С чего ты взял? – Д'Эстер уже поднимал бокал с вином и остановился.

– Я шел сейчас мимо, дверь была приоткрыта, я нечаянно

взглянул, вижу – сидит наедине с дамой хорошенький толстячок, в гусарской венгерке, эдакий бонвиван, боящийся упустить свои последние возможности… Мне почему-то показалось, что это именно господин главнокомандующий. Уж очень все было похоже на то, что ты рассказывал…

– Не может быть! – Д'Эстер поставил бокал. – Неужели он находит возможным… Пойду взгляну! – Он вернулся очень скоро со смешанным выражением веселости и негодования на лице. – Представь себе, ты прав! И даже не обеспокоен, чтобы плотно прикрыть дверь!

– А, черт с ним! – махнул рукой Энгельс и засмеялся. – Выпьем же наконец! Не каждый день мне удается ужинать в обществе министров!

– И мы не каждый день ужинаем с человеком только что из тюрьмы, – отвечал Д'Эстер.

– И уж, конечно, ни вы, ни я никогда не ужинали по соседству, буквально в нескольких метрах, с главнокомандующим великой армией, – опять подхватил Энгельс.

Он чувствовал себя в ударе. Его рассуждения были интересны, замечания – метки, шутки – веселы; и пил он и ел с истинным удовольствием. Д'Эстер и Шмитт откровенно любовались им.

Когда ужин подходил к концу, раздался нервный стук.

– Прошу! – крикнул Энгельс, готовый принять сейчас, кажется, хоть самого черта.

Вошел молодой человек. Это был адъютант Д'Эстера, которому тот, еще уходя из тюрьмы, сказал, где будет. Молодой человек был взволнован, его голос прерывался:

– Меня срочно послали за вами… Несколько часов назад прусские войска перешли нашу границу… Они движутся на Хомбург… По неподтвержденным сведениям, город взят…

Все поднялись.

– Ах, канальи! – покачал головой Энгельс. – Какой ужин испортили!

Позвав лакея и быстро рассчитавшись, все вышли из кабинета. Когда проходили мимо кабинета Шнайде, Энгельс толчком распахнул дверь. Шнайде проворно отшатнулся от тарелки и уставился на Энгельса выпученными в бешенстве глазами.

– Ваше превосходительство! – торжественно возгласил Энгельс. – Застегните пуговку. Война!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая.
«Все так просто!..»

Минуло несколько лет после революции 1848 года…

Маркс находил вполне естественным, что поражение революции всегда так потрясает ее участников, в особенности выброшенных в изгнание, что даже сильных людей делает на более или менее продолжительное время словно бы невменяемыми. Они не могут дать себе отчета в ходе истории, не могут понять, что форма революционного движения изменилась. Поэтому часть их впадает в безнадежный пессимизм, отказывается от всякой борьбы и даже ренегатствует, другая часть предается игре в тайные заговоры и путчи, идет на террористические акты, всеми средствами гальванизирует вооруженную борьбу.

Маркс и Энгельс прекрасно понимали опасность и вредность обеих крайностей. Сами они года через два после революции в какой-то мере тоже отошли от открытой партийно-политической борьбы. Энгельс по настоянию отца и для того, чтобы иметь хоть какую-то возможность материально помогать Марксу, жил в Манчестере и занимался делами отцовской торговой фирмы. Но это отнюдь не была капитуляция. Для открытой борьбы пока просто не было эффективных путей. Друзья видели сейчас свою задачу в том, чтобы готовить революцию теоретически, научно.

Маркс, живя в Лондоне, с головой ушел в литературную работу, приступил к главному труду всей своей жизни – «Капиталу».

Вместе с Энгельсом они создавали революционную науку, воспитывали партийные кадры. Это было в ту пору единственно возможным и необходимым революционным делом. А трусы и авантюристы, при всем их внешнем различии столь схожие в плоско-упрощенном подходе к жизни, лишь отвлекали от дела. Вот почему с таким гневом Маркс говорил об этих людях, которым «приходит наитие „свыше“», которые не тратят ни малейших усилий на реальную практическую работу: «Зачем этим счастливчикам мучить себя изучением экономического и исторического материала? Ведь все это так просто… Все так просто!»

На Дин-стрит, 28, где Маркс жил со своей семьей вот уже не первый год, к нему раза два наведывался какой-то таинственный господин весьма респектабельного вида. Хозяина он никак не мог застать дома, а на вопросы Женни, кто он такой и с какой целью ему нужен Маркс, в первый раз ничего не ответил, во второй же сообщил, что Маркса ему надо непременно видеть лично по крайне важному делу.

Наконец однажды утром настойчивому визитеру повезло – он нагрянул, когда Маркс еще не ушел работать в библиотеку. Женни проводила его к Карлу и по своему обыкновению не слишком торопилась оставить посетителя наедине с мужем, перебирая на столе бумаги, которые ей надо было сегодня переписать. Гость не представлялся и не начинал разговор. Маркс, указав рукой на кресло, начал сам:

– С кем имею честь?

В последнее время ему чаще всего приходилось сталкиваться с людьми лишь двух упомянутых выше идейно-психологических разновидностей, поэтому Маркс, вглядываясь в гостя, невольно пытался отгадать, кто перед ним на этот раз.

– Видите ли, господин Маркс, я хотел бы поговорить наедине, – негромко, но внятно начал гость.

Маркс улыбнулся. Вопреки ожиданию незнакомец раскрыл себя с первой же фразы. Ну конечно, он из племени заговорщиков и авантюристов. Они были особенно активны в дни самой революции – им не терпелось ускорить ее ход, во что бы то ни стало расширить, перебросить из одной страны в другую. В начале марта сорок восьмого года, когда революция во Франции уже совершилась, а в Германии еще не начиналась и, естественно, никто не мог с уверенностью сказать, что она там непременно вот-вот начнется, – в те дни один из них, Георг Гервег, известный немецкий поэт, начал сколачивать отряд из живших во Франции соотечественников с целью вторгнуться в Германию, вызвать там революцию и провозгласить республику.

Используя революционное воодушевление масс, тупоголовые демагоги осуществили свой замысел. Последствия оказались самыми плачевными. Легион Гервега был разгромлен нюрнбергскими войсками при Нидердоссенбахе, что в земле Баден.

Вспомнив эту внешне красивую, а по существу глупую, жалкую и преступную историю, Маркс болезненно поморщился.

– Моя жена, – сухо сказал он, – в курсе всех моих дел, писаний и встреч.

– И все-таки, господин Маркс, – настаивал гость. – Прошу прощения у мадам, однако…

– Ну хорошо. Ты слышишь, Женни?

Та пожала плечами, повернулась и вышла.

– Позвольте представиться, – начал, смущенно улыбаясь, гость. – Густав Леви, адвокат из Дюссельдорфа. Я безмерно счастлив видеть воочию и пожимать руку великого борца за социализм.

– Приятно познакомиться, – сдержанно-отчужденно сказал хозяин.

– Господин Маркс! – проникновенно воскликнул Леви. – Я убежденный последователь идей социализма. До недавних пор моей путеводной звездой, моим кумиром социалистической мысли был Фердинанд Лассаль. Я, как и тысячи рабочих Германии, от имени которых я к вам приехал…

– Вот как? – заинтересованно перебил Маркс. – От каких же рабочих?

– От рабочих Изерлона, Золингена и некоторых других промышленных городов… Все мы, я повторяю, до недавних пор считали Лассаля своим учителем, вождем, поклонялись ему.

– Так, так, – постучал пальцем по столу Маркс. – Но не слишком ли суммарно вы говорите, не превышаете ли свои полномочия, делая такие заявления от имени рейнского рабочего класса? Я помню, что многие рабочие тех мест почти всегда с некоторой настороженностью относились к Лассалю.

– Нет, господин Маркс, мы его боготворили! Но… – Леви сделал паузу, чтобы видно было, как трудно ему сказать то, что он должен сказать, – но он предал нас. Точнее говоря, готовится предать… Он постыдно подпал под влияние графини Гацфельдт, живет на ее счет и теперь собирается вместе с ней переехать в Берлин. Рабочих, идеи социализма он бросит как ненужное ему теперь оружие и перейдет к буржуазии. В этом уже нет никаких сомнений.

– То, что вы говорите, очень серьезно, – строго сказал Маркс. – Какие у вас основания так думать, какие факты?

– Фактов сколько угодно, множество. Но я приехал не для того только, чтобы информировать вас о падении Лассаля, моя главная цель совсем в другом. Поэтому я позволю себе привести лишь один факт и этим ограничиться. Судите сами. Лассаль прекрасно знает меня как последовательного революционера и убежденного социалиста. И вот недавно я попросил у него взаймы две тысячи талеров. Как же, вы думаете, поступил Лассаль – Фердинанд Лассаль, вождь германских рабочих, светоч социалистической мысли? Он дал мне только пятьсот! – как уничтожающий аргумент Леви энергичным движением выбросил перед своим лицом растопыренную короткопалую пятерню.

За дверью раздался приглушенный смех Женни. Меблированная квартира Марксов была так мала – всего две жалкие комнатки, – что если в одной из них говорили немного громче обычного, то в другой все можно было слышать, даже не желая этого. Ну а сдерживать смех, как муж, Женни никогда не умела.

– Но все-таки дал! – владея собой на этот раз несколько лучше своей жены, воскликнул Маркс.

– Да, но лишь четверть той суммы, которую я просил.

– И следовательно, по вашей логике, он стал теперь лишь четвертью революционера?

– Как? Вас это не убеждает?

– Хорошо, – примирительно сказал хозяин. – Перейдем наконец к главному, ради чего вы приехали. Оставим Лассаля с его графиней и талерами в покое, разберемся во всем этом потом.

– Да, господин Маркс, – Леви обрадовался. – Итак, Лассаль предал. И вот всю свою любовь, всю веру и благоговение, обожание и надежду мы теперь перенесли на вас.

– Я вам уже сказал, – с нажимом проговорил Маркс, – что о Лассале лучше поговорить особо, мне тут многое неясно. Но так как вы не можете отказаться от принятой вами схемы и без нее, вероятно, не в силах закончить изложение своих мыслей, то я не стану больше возражать. И условно допустим, что все взоры обращены на меня. Что дальше?

– Господин Маркс! – по голосу Леви было ясно, что наконец-то он приступает к сути. – У вас скоро день рождения.

Неподдельное удивление и даже растерянность отразились на лице Маркса.

– Ну, не очень скоро, но, конечно, день рождения будет, – проговорил он.

– Я знаю: пятого мая. Но в данном случае это срок небольшой.

– Для чего – небольшой?

– Один момент, господин Маркс. Пятого мая ваш юбилей, вам исполнится сорок лет. И вот в день юбилея великого революционера…

– Извините, прежде всего какой же это юбилей – сорок лет? А кроме того, вы меня несколько старите.

– Неужели? – Леви растерялся и даже как-то сник.

– Уверяю вас – до сорока еще несколько лет. Я пока совсем молодой человек. А сорок – это страшно подумать!

– Ну, как бы то ни было, – довольно быстро пришел в себя Леви, – а пятого мая у вас день рождения.

– Не отрицаю. – Маркс все никак не мог понять, куда клонит

гость.

– В этот знаменательный день мы, ваши единомышленники и почитатели, решили преподнести вам подарок…

– Бог мой! – Маркс сокрушенно развел руками. – Вот к чему городился весь огород! Не надо мне никакого подарка. И без этого мои враги кричат, что я эксплуататор, наживаюсь на рабочих… Но позвольте, – Маркс вдруг насторожился, – ведь о подарках вроде бы не принято предупреждать, а вы почему-то предупреждаете, и к тому же за несколько месяцев. Хотелось бы знать – почему?

– Видите ли, мы решили преподнести вам особенный и очень дорогой подарок…

– Особенные мне особенно не нужны, дорогие тем более. За всю мою жизнь самым дорогим подарком для меня были сорок долларов, которые в Америке один безвестный немецкий рабочий-эмигрант отдал моему товарищу на издание моей брошюры «Восемнадцатое брюмера». То был прекрасный подарок к тридцать четвертому дню моего рождения.

– Нет, господин Маркс, речь идет не о долларах, не о серебре или золоте… Мы преподнесем вам подарок, – голос Леви сделался пророчески-торжественным, – который только и может быть достойным великого революционера, бесстрашного борца, железного вождя пролетариата. Мы преподнесем вам восстание!

– Что?! – крикнул Маркс, вскочив, – он не поверил своим ушам.

– Мы положим пятого мая к вашим ногам, – продолжал декламировать Леви, – революционное восстание рабочих в Изерлоне, Золингене и других городах вашей родины – Рейнской провинции! Подготовка уже началась…

Маркс с трудом владел собой. Он подошел к окну, чтобы скрыть бешенство, полыхавшее в его глазах. Он лихорадочно думал. Как поступить? Легче всего, конечно, вытолкать гостя взашей, обозвав кретином. Но он уже не раз встречался с такими первобытными революционерами, с такими фанатиками, и ему хорошо известно, что они способны на все. Ведь Леви сказал, что подготовка уже началась. Речь идет не только о его, Маркса, репутации, а прежде всего о жизни многих рабочих, которых подобьют на восстание.

Кое-как совладав со своими чувствами, Маркс повернулся к гостю и довольно спокойно спросил:

– Сделать мне подарок – это единственная цель запланированного вами восстания?

– Может быть, оно послужит началом революции. А нет, мы будем рады и тому, если оно окажется лишь подарком ко дню

вашего рождения – и ничем более.

– Господин Леви, – чеканя каждое слово, сказал Маркс, – у меня такое впечатление, что вы и ваши единомышленники не ведаете, что творите. Я уже не говорю о всей дикости и мерзости вашего плана приурочить восстание ко дню моего рождения – этим вы лишь дали бы моим врагам повод называть меня не только эксплуататором рабочих, доктором красного террора, но и Минотавром, требующим кровавых жертв. Дело еще и в том, что восстание в Германии сейчас бессмысленно.

– А разве не вы учили нас, – Леви простер к собеседнику свою короткопалую длань, – что оружие критики не может заменить критики оружием, что материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой? Мы стремимся эти ваши смелые революционные мысли воплотить в действительность, и только. Все очень просто!

– Ах вот как вы изучали мои произведения… – Маркс безнадежно усмехнулся. – Господин Леви! Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действительность – действительность должна стремиться к мысли. В сорок восьмом году я сам покупал оружие для бельгийских рабочих, но сейчас в Германии нет революционной ситуации. Если нам удастся создать международную социалистическую рабочую организацию – а дело идет к этому, – то и она никогда не будет искусственно вызывать стачки или восстания.

Вплотную подойдя к Леви, Маркс спросил, помнит ли он о походе Гервега.

Да, Леви прекрасно помнит об этом.

А знает ли он о затее Кинкеля?

Готфрид Кинкель, тоже, как Гервег, поэт, долгие годы метался от одной крайности к другой. Не так давно он предпринял поездку в Америку с целью получения там займа в два миллиона долларов – «займа на организацию предстоящей республиканской революции в Германии», а также для сбора предварительного фонда в двадцать тысяч талеров.

Кинкель не только не стеснялся попрошайничать, но, попрошайничая, не стеснялся в Северных штатах выступать против рабства, а в Южных – за рабство. Самая же большая пошлость и глупость состояла, конечно, в том, что Кинкель точно определил, сколько стоит республиканская революция в Германии: ровно два миллиона долларов и двадцать тысяч талеров! Вот только бы достать деньги (около десяти тысяч талеров ему все-таки удалось выцыганить!) – остальное в этой ультрареволюционной затее «все просто»…

Леви знает и о предприятии Кинкеля.

– Гервега и Кинкеля, пожалуй, можно понять и в какой-то мере даже извинить, – старался быть рассудительным Маркс, – потому что оба они поэты, буйные головы, любители красивых безумств, что с них взять, но вы-то, господин Леви, юрист! У вас, казалось бы, должны преобладать трезвость, учет всех pro et contra.

– Что же нам остается – только сидеть и наблюдать? – словно для того, чтобы укор был особенно наглядным, Леви удрученно и растерянно опустил руки.

– Я действительно сижу – сижу все дни напролет в Британском музее, но это не значит, что я только жду революцию – я работаю на нее. Каждый должен найти свое место в этой работе. А поднимать восстание рабочих и вообще возбуждать население, не давая ему никаких твердых, продуманных оснований для деятельности, значит просто обманывать его. Это преступление. – Маркс гневно шагал по комнате и лишь изредка взглядывал на сидящего Леви. – Обращаться к рабочему без строго научной идеи и положительного учения равносильно пустой и бесчестной игре в проповедники, при которой, с одной стороны, полагается вдохновенный пророк, – он ткнул пальцем в сторону Леви, – а с другой – допускаются только ослы, слушающие его разинув рот, – и опять он ткнул пальцем в сторону Леви.

– Значит, – криво усмехнулся гость, – надо полагаться только на распространение научного революционного сознания?

– Вы напрасно усмехаетесь, – очень серьезно сказал Маркс, – сознание такая вещь, которую мир должен, – он произнес последнее слово с нажимом, – должен прибрести себе, хочется этого или нет. А люди без положительной доктрины ничего не могут сделать, да ничего и не сделали до сих пор, кроме шума, вредных вспышек и гибели самого дела, за которое они боролись.

– Возможно, – непонятно о чем сказал Леви, – но в данном случае, господин Маркс, уже поздно рассуждать. Подготовка к восстанию развернулась…

– Ничего не поздно, пока восстание не началось. Вы завтра же поедете в Германию и передадите своим единомышленникам мою точку зрения – мое решительное требование прекратить всякую подготовку к подарочному восстанию! Ясно?

Леви помолчал, что-то взвешивая, потом негромко, упрямо ответил:

– И все-таки я думаю, что выступление уже вряд ли удастся предотвратить. Рабочие встретили с энтузиазмом мысль о восстании. И они твердо уверены, что вы, Энгельс и все ваши друзья немедленно поспешите к ним, так как мы, конечно, будем

сильно нуждаться в политических и военных руководителях.

– Разумеется, если восстание вспыхнет, – Маркс потряс перед собой вытянутыми руками, как бы взвешивая тяжесть возможных событий, – мы сочтем своим долгом явиться к рейнским рабочим, но я сильно опасаюсь, что при ваших весьма упрощенных планах вас четырежды успеют уничтожить прежде даже, чем вы сможете покинуть Англию.

– Так что же нам делать?

– Что вам делать в Германии, я уже сказал, – не скрывая гнева и презрения, ответил Маркс. – А сейчас садитесь сюда и напишите мне обязательство, что вы прекратите всякую подготовку к восстанию, – властным жестом он указал, куда надо сесть.

Леви послушно пересел за стол и написал требуемое. Маркс взял бумагу, внимательно прочитал, положил в стол.

– Твердо запомните, – жестко сказал он, – если до меня дойдут сведения о подготовке к восстанию – а я располагаю немалыми связями с Рейнской провинцией, – то я выступлю в прессе и, используя это ваше обязательство, разоблачу ваш безграмотный, отвратительный заговор. А теперь идите.

Леви вяло, опустошенно встал из-за стола, поклонился и вышел.

Маркс тяжело опустился в кресло…

Через несколько минут вошла Женни.

– Ты слышала, о чем мы тут беседовали с этим господином?

– Я слышала только начало. Это было занятно.

– Дальше пошло еще интересней, – мрачно проговорил Маркс. – Он, видишь ли, разочаровался в Лассале, а так как без идола такие люди жить не могут, то он избрал новым идолом меня. Это вечный тип людей. В области философии они поочередно делают идолами то Платона, то Аристотеля, то Гегеля…

Астроном Кирхер пригласил как-то одного иезуитского профессора посмотреть в телескоп, чтобы убедиться в пятнах на Солнце. Знаешь, что тот ему ответил? «Бесполезно, сын мой. Я два раза читал Аристотеля с начала до конца, и я не обнаружил у него никакого намека на пятна на Солнце. А следовательно, таких пятен и нет».

И вот теперь такие люди добрались до меня. Но у современного идолопоклонника, в отличие от его духовных прародителей, оказывается, есть потребность не только молиться на идола и проверять по нему пятна на Солнце, но и приносить ему жертвы, в данном случае это было названо «сделать подарок». И ты знаешь, какой презент он собирался преподнести мне ко дню

рождения? Вооруженное восстание в Изерлоне и Золингене!

– Господи! – у Женни расширились глаза. – Гекатомба! Как в какой-то древней деспотии, как свирепому божеству или кровавому тирану… Невозможно поверить!

– Я бы и не поверил, если бы собственными глазами не видел этого господина и собственными ушами не слышал его речей.

– Ты его выгнал? – Женни с ее тонким чутьем к смешному, очевидно, уже нашла в случившемся какую-то и комическую сторону.

– Конечно.

– Напрасно! Ты дал маху! Надо было ему вежливо сказать, что такие подарки ты не принимаешь, а вот, мол, если бы к дню твоего ангела организовали ограбление Лондонского банка…

– Женни, ты можешь шутить?

– Что же, и мне надо сделаться такой мрачной, как ты, от бредовой болтовни этого сумасшедшего? Нет, я бы непременно потребовала от него в доказательство преданности и верности ограбить Английский банк, если не сейчас, то хотя бы к твоему пятидесятилетию. Но лучше, конечно, сейчас. Как бы нам это пригодилось!

– Видишь ли, – Маркс уже слушал жену невнимательно, – страшно то, что еще так много людей даже среди искренне мнящих себя революционерами, борцами за социализм, для которых все очень просто. Им хочется отсидеться вдали от революционной борьбы – они сочиняют удобную теорию; им вздумалось учинить революцию – они собирают за границей добровольческий легион вторжения или добиваются на это дело займа в два миллиона долларов; им просто в подарок обожествленному идолу поднести даже восстание! Если мы создадим социалистический рабочий Интернационал, то я уверен, эти люди захотят одному его конгрессу подарить забастовку, другому – восстание, третьему – вторжение в страну, которая покажется им недостаточно революционной, и так далее. Им все просто!

– Ты прав, Карл, таких людей много, – согласилась Женни. – Но я думаю, после твоего «Капитала», – она ласково улыбнулась, – их станет меньше. Поэтому собирайся, я провожу тебя в библиотеку. Тебя ждет работа.

– Да, пошли, – сказал Маркс, собирая бумаги, – меня ждет работа.

Прощаясь с женой у дверей Британского музея, Маркс спросил:

– Так ты думаешь, что по «Капиталу» не будут справляться о пятнах на Солнце или о жизни на Марсе?

– Хотелось бы надеяться, – одобрила Женни мужа и, отойдя два шага, помахала ему рукой.

Глава вторая.
Серебро графов Аргайль

Маркс играл в шахматы с Ленхен.

Женни стояла за креслом мужа и, положив тонкую белую руку на его иссиня-черные волнистые волосы, следила за игрой. Положение Карла было трудным. Он горячился и нервничал. Вдруг в прихожей раздался звонок. Не спеша сделав очередной ход, Ленхен пошла открыть дверь.

– Женни, а ведь я проигрываю, – не отрывая глаз от доски, проговорил Маркс.

– Вижу, – ответила жена. – И вчера ты проиграл.

– Вчера? Нет! Вчера я выиграл!

– Нет, проиграл, – мягко, но настойчиво повторила Женни. – Это в воскресенье ты выиграл.

– Разве?

– Да, в воскресенье. И не в шахматы, а в шашки. Там ты гораздо сильнее.

– Женни, а ты не скажешь Ленхен, если я вот эту пешечку чуть-чуть подвину?

– Как тебе не стыдно, Карл? – тонкая рука утонула в черной львиной гриве и слегка дернула ее.

– Ну, я же, конечно, шучу, – сказал Маркс и все-таки протянул руку, чтобы подвинуть пешку.

Рука Женни опустилась на его руку.

– Перестань дурачиться, Карл. Я хочу поговорить с тобой о деле.

– О каком? – Маркс взял своего короля и положил его на середину доски в знак того, что сдается.

– Ты знаешь, что завтра нам нечего будет есть?

– Во-первых, – Маркс обернулся к жене и взял ее руки, – это, мой друг, еще недостаточная причина, чтобы твои глаза были так печальны. А во-вторых, ты преувеличиваешь.

– Нисколько!

– Не падай духом. Что-нибудь придумаем.

– Но что можно придумать?

– Давай заложим в ломбард какую-нибудь вещь.

– Карл, милый, оглянись вокруг себя. Где ты видишь такие вещи, которые заинтересовали бы лондонский ломбард?

– Неужели ничего такого у нас не осталось?.. Вот не думал!

– Конечно, нет. – Женни сокрушенно покачала головой, постояла минуту, задумавшись, и вдруг тихо сказала: – Впрочем…

•

В ломбарде было много народу, и Маркс обрадовался этому, надеясь, что не привлечет к себе чрезмерного внимания. Он пристроился в хвост очереди и стал незаметно разглядывать людей, которых привела сюда нужда… Бледная, плохо одетая девушка. Она так пуглива и стеснительна, что сразу видно: пришла впервые. А вот старик, должно быть давно уже изучивший все тонкости заклада. Он ни на кого не смотрит. Ему все безразлично. Рядом с ним еще не старая женщина со следами не совсем увядшей красоты на гордом лице. Она, наоборот, со всеми заговаривает, словно оправдываясь, объясняет, почему и как попала сюда: муж почему-то невзлюбил давно висевшую в гостиной картину и велел ее выбросить… Женщину все слушают, сочувственно качают головами, но она видит, что ей никто не верит. Маркс отворачивается – так больно смотреть на это красивое, гордое лицо, которое искажают ложь и унижение…

– Что у вас? – наконец слышит Маркс безжизненный тихий голос.

Маркс кладет на прилавок набор столового серебра. Старичок оценщик медленно перебирает ложки, ножи, вилки, легко касаясь их чуткими бледными пальцами. Затем он сгребает все это и, ни слова не сказав, скрывается за низенькой коричневой дверью. Проходит почти четверть часа, пока он возвращается и говорит:

– Вам придется подождать. Ваш набор требует тщательной оценки. Им занялся старший оценщик.

Маркс отходит в сторону и ждет. Проходит десять минут, двадцать… Внезапно дверь с улицы распахивается и входит сержант полиции. Оценщик встает со своего табурета и голосом, неожиданно обретшим силу, кивнув головой на Маркса, говорит:

– Этот!

– Прошу следовать за мной, – важно произносит полицейский.

– В чем дело? – удивляется Маркс.

– Сейчас разберемся. Идите.

Публика начинает шуметь. Раздаются голоса:

– Кто бы мог подумать? Такая благородная внешность!

– Не верьте никогда внешности!

– Какой ужас!

Маркс, полицейский и оценщик проходят через ту же коричневую дверь и оказываются в небольшой, плохо освещенной комнате. На столе лежит принесенный Марксом набор. Полицейский берет ложку, внимательно разглядывает ее, потом спрашивает:

– Ваше имя, сударь? Род занятий?

– Карл Генрих Маркс. Доктор философии, публицист, литератор. Я прошу немедленно объяснить мне причину моего задержания.

– Причина та, – неторопливо отвечает полицейский, – что вы подозреваетесь в присвоении чужой собственности.

– Я?

– Да!

– Какой собственности?

– Вот этой, – с вилкой в руках выскакивает вперед старичок оценщик. – Вы слишком неопытны и торопливы. Вы не заметили впопыхах, что здесь стоит герб графов Аргайль… Этим ложечкам-вилочкам лет триста, не меньше. Только вот не пойму, что на них написано.

Все наконец поняв, Маркс улыбнулся. Это злит полицейского и особенно старичка.

– Над чем вы смеетесь? – спрашивает полицейский.

– Над прозорливостью этого господина, – Маркс кивает в сторону оценщика и снова улыбается. – Ложечки в самом деле очень старые.

– Объясните все как есть.

– Что ж тут объяснять! Моя жена со стороны бабки, матери отца, происходит из древнего шотландского рода Аргайль. Это серебро ее приданое, и на нем вы можете видеть их девиз: «Справедливость – мой приговор». По-моему, неплохой девиз.

– Слишком просто, молодой человек! – не унимается оценщик. – Кто вам поверит, чтобы женщина графского рода вышла замуж за какого-то публициста…

– Видите ли, – Маркс еще продолжает улыбаться, – среди предков моей жены было немало странных людей. Например, дед Филипп Вестфален (отец ее отца) отказался от звания генерал-адъютанта, которое ему хотели пожаловать. А еще раньше один из графов Аргайль был сожжен на костре как участник восстания за независимость Шотландии. Спустя двадцать пять лет другой Аргайль за такую же странность был обезглавлен на рыночной площади Эдинбурга…

– Я могу допустить даже это, – перебил, желчно скривясь, старичок, – но чтобы женщина графского рода вышла замуж…

– В роду моей жены, – перебивает, в свою очередь, Маркс, – и среди женщин встречались большие чудачки. Женой упомянутого Филиппа Вестфалена, который был прекрасным полководцем, но совершенно безродным человеком, рядовым бюргером, стала не кто-нибудь, а дочь знатного барона, наследница тех самых Аргайлей. Так что моя жена, урожденная баронесса фон

Вестфален, лишь последовала чудаческим традициям своего рода.

– Выйти знатной женщине за полководца, хотя бы и безродного, это вполне понятно, – продолжал клокотать старикашка, – ибо полководцы не бывают бедняками. Но за публи-циста?.. – он опять так скривился, что на лице его стало невозможно различить, где рот, где нос, где глаза.

– Сударь! – гневно прерывает Маркс, терпение которого наконец лопнуло. – Через ваши руки проходят многое, но все-таки мир несколько шире вашего ломбарда, и в мире есть вещи, которые вам никогда не приносят в заклад и о которых вы поэтому не имеете никакого представления.

– И кроме того, – почти визжал оценщик, – уж я-то знаю, что фамильное серебро сдают в ломбард только при последней нужде! А разве можно поверить, господин сержант, что этот человек в такой нужде! Он спокоен, он улыбается. И даже повышает голос на нас… Нет, тут было бы не до улыбок, не до гонора!

Полицейский оказался человеком, видимо, неглупым. На него спокойствие Маркса, его улыбки, а затем и гнев произвели совсем другое впечатление. Он лишь спросил адрес задержанного.

– Дин-стрит, двадцать восемь, – сказал как отрезал Маркс.

– Спросите у него еще, господин сержант, – никак не может утихомириться оценщик, – почему он так беден, если женат на аристократке.

– В самом деле, господин Маркс, почему? – поддается полицейский.

Маркс не отвечает. Он кивает старику:

– Итак, любезный, сколько я могу получить за столовое серебро графов Аргайль?

Глава третья.
Карл и карлик

Известного французского историка и политика Луи Блана, мнившего себя правоверным социалистом, а на самом деле всегда стоявшего за соглашательство с буржуазией, Маркс, конечно, не жаловал. Волна революции 1848 года вознесла Блана на гребень событий – он оказался членом республиканского Временного правительства. И хотя после поражения революции, ввиду своей соглашательской линии, он едва ли мог опасаться каких-либо крупных неприятностей, Блан, однако, счел за благо убраться в Лондон. Маркса же к берегам Альбиона прибили опасности отнюдь не призрачные.

Как-то осенью Карлу стало известно, что Луи Блан хочет повидать его. У Маркса не было желания тратить время на эту встречу, но найти повод отказать во встрече персоне, которую в ту пору многие искренне считали великим историком, которая пользовалась огромной известностью едва ли не во всей Европе, мог только очень ловкий, хитрый человек, каковым Марксу, даже если бы он очень захотел, никогда не удалось бы стать.

Хотя о дне и часе визита условились заранее, Маркс, не слишком заинтересованный в госте, забыл о нем, и звонок в дверь застал его врасплох. Он поспешно скрылся во второй комнате, чтобы там приготовиться к выходу, а Елена пошла открывать дверь. Ей вспомнилось, что вчера вечером Карл сказал: «Завтра к нам пожалует один из величайших людей современности. Будь же на высоте, Ленхен!»

Распахнув дверь, она беззвучно ахнула: перед ней стоял тщательно и модно одетый господинчик такого маленького роста – ну прямо-таки с восьмилетнего ребенка! – что трудно было поверить в его реальность.

– Луи Блан, историк, – торжественно представился он. – Могу я видеть доктора Маркса?

Елена проводила его в первую комнату, а сама направилась на кухню, но не утерпела – больно уж диковинный был господин! – оставила в двери маленькую щелку и потом несколько раз припадала к ней. Дверь во вторую комнату, где спешно переодевался Маркс, тоже осталась неплотно прикрытой, и хозяин видел то, что видела и служанка.

Луи Блан обвел комнату пристальным взглядом и явно остался недоволен ее пролетарским видом. Он даже поморщился, отчего лицо далеко не молодого карлика сделалось особенно

неприятным. «Что, дружок, – мысленно спросил его Маркс, – ты привык к иным апартаментам политических деятелей и государственных мужей?» – «Ах, каналья, – выругалась про себя Елена, – он еще куксится, недомерок несчастный! Скажи спасибо, что я тебя впустила-то сюда».

Тщательно оглядев всего себя, от невероятно высоких каблуков до аккуратно подстриженных ногтей, визитер снова принялся изучать комнату, что-то ища. Наконец увидел в углу весьма убогое зеркало, подошел к нему и стал перед ним прихорашиваться и репетировать величественные позы: отставлял ногу, расправлял детские плечи, выпячивал цыплячью грудь, взбивал волосы… «Ахилл перед боем!» – смеясь, подумал Маркс. «Как кот перед свиданьем!» – чуть не вырвалось у Елены.

Время шло, а гость, кажется, вовсе не был опечален или обеспокоен отсутствием хозяина – так поглотили его заботы о собственной персоне. Уже облачившись в свой нехитрый наряд, служащий для особо важных и торжественных случаев, Маркс долго ждал, когда Блан отойдет от зеркала, чтобы не смутить его своим появлением в момент репетиции. Однако не замечалось никаких признаков, которые свидетельствовали бы, что гостю надоело или вот-вот надоест красоваться перед зеркалом. «Сударь, пора и честь знать!» – мысленно упрекал Маркс. «Вот прилип! – негодовала Елена, а когда Блан, желая рассмотреть себя лучше, взялся за зеркало рукой и немного повернул его, она взмолилась: – Господи, обрушь ты на него если уж не свод небесный, то хотя бы это зеркало!»

Наконец, не выдержав, Маркс довольно громко кашлянул. Великий историк с невероятным проворством («Как камень из пращи», – подумал хозяин. «Ну чисто кот!» – заметила служанка) сиганул от зеркала к креслу и сел в непринужденной позе. Маркс вошел. Медленно поднявшись, Блан склонился в полупоклоне, изящество и величавость которого у него не вызывали сомнения.

И без того не очень-то обрадованный перспективой предстоящей встречи, Маркс вовсе потерял интерес и к гостю, и к беседе с ним, увидев Блана актерствующим перед зеркалом. Он знал, что нет на свете ничего труднее и безнадежнее, чем пытаться в чем-нибудь переубедить самовлюбленного человека, а ведь только в этом и мог таиться для него смысл всей встречи. Поэтому Маркс решил терпеливо отбыть повинность – слушать гостя, ни в чем ему не возражать и мирно проститься.

Такая позиция собеседника вполне устраивала Луи Блана. Он поучал, предостерегал, пророчествовал. Особенно охотно и много гость рассуждал о религии, о вере и безверии, об их связи с философией и политикой.

– Нельзя забывать, – он поднимал палец кверху, – что атеизм в философии имеет своим неизбежным последствием анархию в политике.

«Вполне социалистическая идея! – усмехнулся про себя Маркс. – Неужели это все, что он извлек из изучения мировой истории?»

Гость вдруг прервал поток своих сентенций и спросил:

– Вам сколько лет, доктор Маркс?

Маркс ответил.

Блан помолчал, прикидывая, насколько он старше, – оказалось, на целых семь лет. Видимо усмотрев в этом дополнительное обоснование своего права на менторский тон, Блан удовлетворенно произнес:

– Ну вот.

Потом подошел к Марксу и, уперев свой пальчик ему в грудь, что из-за роста было непростым делом, продолжал:

– Помните о том, что Руссо – представитель демократии, основанной на единстве и братской любви! Но помните и о том, что та самая рука, которая дала нам «Общественный договор», содержащий протест против официальной религии, написала «Исповедь савойского викария», где отстаивается необходимость естественной религии, веры в бога, основанной на чувстве.

Маркс слушал оратора и думал: «Как царь Мидас превращал в бесполезное золото все, к чему ни прикасался, так пошлый человек делает пошлым все, что ни попадет в поле его зрения».

За время, пока Луи Блан разводил свои рацеи, в комнате под разными предлогами побывали все члены семьи: уж очень интересно было посмотреть на карлика, поучающего Карла.

Когда в комнату вошла старшая дочь, Луи Блан подозвал ее к себе, потрепал по щеке и, хотя она была с него ростом, умиленно сказал:

– Какая прелестная малышка!

Довольно неожиданно Луи Блан достал из жилета огромные часы и озабоченно взглянул на них:

– О, мне уже пора!

«Должно быть, у него еще несколько таких визитов», – с облегчением подумал Маркс и пошел проводить гостя. Когда они проходили мимо зеркала, Блан вдруг остановился и, будто обрадованный тем, что мог забыть, но вот все-таки не забыл, вспомнил, произнес еще несколько длинных сентенций. На самом же деле ему просто не терпелось бросить еще несколько взглядов на себя в зеркало. Он ушел в полной уверенности, что оставляет здесь своего неофита.

Как только за гостем закрылась входная дверь, все бросились

к Марксу. Елена с шутливой озабоченностью несла ему стакан воды. Жена гладила его по голове и голосом, полным сострадания, говорила: «Бедный, бедный Мавр!..» Женни, Лаура и даже совсем маленький Муш, вероятно подученный сестрами, ходили вокруг отца, время от времени притрагивались к нему, как бы желая удостовериться в его целости, и трагически повторяли: «Карлик сразил Карла – какой ужас! Карлик победил Карла – какой кошмар!» А Маркс только стонал, охал и пил воду

Когда все вволю натешились этой игрой, он спросил:

– Ну, а как бы вы его назвали?

В доме Марксов всем давали прозвища. Это происходило по-разному. Иногда прозвища возникали из комических случаев и забавных совпадений. Второго сына, родившегося в Лондоне пятого ноября 1849 года и нареченного Генрихом, прозвали Фоксиком, или Маленьким Заговорщиком: день его появления на свет совпал с годовщиной знаменитого «порохового заговора» Гая Фокса, намеревавшегося в 1605 году взорвать здание парламента.

Другие прозвища были рождены особенностями внешности, характера или манер. Сам Маркс за свою смуглость был для всех Мавром: первому сыну Эдгару за его подвижность и легкость дали прозвище Муш, что на рейнском диалекте означает воробей.

Старшую дочь Женни чаще всего звали Женнихен, но могли также назвать Кви-Кви – император Китая. Но больше всего прозвищ было у средней дочери – Лауры: за умение шить и со вкусом одеваться ее прозвали Мастер Какаду (так звали модного портного в каком-то старом романе), за кулинарные способности – Стряпухой, за помощь отцу – Секретарем, за пристрастие к стихам – Поэтессой.

Прозвища давались не только членам семьи, но едва ли не всем, кто бывал в доме, с кем вообще так или иначе Марксы сталкивались, – в этом они были беспощадны и неутомимы. Энгельс для детей был Ангельсом, Вильгельма Либкнехта за обилие сказок и историй, которые он знал, дети прозвали Лайбрери (Библиотекой).

Чаще всего прозвища давал сам Маркс. Это было одним из выражений веселого переизбытка его жизненной энергии, неудовлетворенности сущим, нелюбви к однозначности. Одним из проявлений дерзкого желания все вокруг переиначить пли хотя бы подчеркнуть во всем новые свойства, обнажить скрытые грани.

В этом доме, где так любили всякую игру и затею, так ценили хорошую выдумку и острое словцо, нередко после визита нового гостя даже собирались на специальный совет, чтобы решить, какое прозвище дать новичку. И всегда нужное слово находилось.

– Так как же мы назовем Луи Блана?

– Нарцисс! – кто-то предложил тотчас.

– Банально, – отверг Маркс.

– Прелестная малышка, – сказала старшая дочь.

– Это лучше, но не исчерпывающе.

– Крошка Цахес? – неуверенно проговорила Лаура.

– Мало чем отличается от предыдущего.

– Может быть, наоборот, Титан или Трибун? – спросила жена.

– Нет, – решительно возразила Елена, – по мне, тут одно только имя подходит – Кот, мартовский Кот.

Дебаты были долгими, жаркими. То и дело слышалось:

– Голиаф!

– Щеголь!

– Денди!

– Оратор!

– Подзеркальник!

И каждый настаивал на своем, и все приводили убедительнейшие доводы в пользу именно такого, а не иного прозвища, и все шумели, кричали, горячились.

Наконец Маркс сказал:

– Оставим спор. Давайте обратимся к Энгельсу как к арбитру. Отправим ему все прозвища, что пришли нам тут в голову, и пусть он выберет из них или придумает свое.

Так и сделали, хотя это никого не успокоило и все продолжали предлагать новые и новые прозвища. На второй день после того как отправили письмо в Манчестер, Лаура во время вечернего чая воскликнула в сердцах:

– Может быть, Луи Беспрозванный, черт побери!

И тут Маркса осенило.

– Позвольте, – изумленно проговорил он, – что же это мы ломаем головы, когда у него уже есть прозвище! Как я мог забыть! Французские рабочие давно зовут его Луи Маленький. Рядом с Луи Наполеоном это звучит выразительно, и ничего лучшего нам не придумать. Я уверен, что Фридрих будет изумлен нашим письмом и посмеется над нами.

Через несколько дней пришло письмо от Энгельса. Маркс оказался прав: Фридрих действительно очень удивился забывчивости своих лондонских друзей и советовал им впредь не ломиться в открытые двери.

Дружеская усмешка всех примирила. Все согласились:

– Луи Маленький.

Глава четвертая. Поездка на Джерси

Большой и богатый зал ресторана «Золотой лев», одного из самых фешенебельных в Брайтоне, был почти пуст: последний день сентября – сезон кончается, уже многие отдыхающие разъехались, а кроме них, посетители здесь не так уж часты, особенно в будний день.

Лакеи уныло и сонно цепенели на своих местах. Лишь когда открывалась входная дверь, они оживлялись, настораживались, следя за тем, куда, к какому столику направится редкий гость.

Было около восьми, когда дверь распахнулась и вошел высокий, элегантно одетый молодой господин. Он внимательно оглядел зал и направился к уединенному столику у окна, в углу. Лакей, обслуживавший этот столик, мысленно поблагодарил вошедшего за выбор, в то время как у всех остальных его собратьев невольно навернулись на язык слова досады. «Ах, черт!» – воскликнул про себя один. «Ну куда ты!» – прошептал второй. «Везет же старику…» – завистливо вздохнул третий…

Лакей, которому повезло, действительно был уже в весьма почтенных летах и хорошо знал дело. Он не кинулся тотчас к своему новому клиенту, зная, что нельзя показаться назойливым, что надо человеку дать осмотреться, освоиться, изучить карту. Но и промедлить тоже опасно. Выбрав момент, какой ему подсказывали многолетний опыт и профессиональная интуиция, то есть именно тот, что и следовало, лакей подошел к столу.

– Добрый вечер, сэр. Вы весьма мудро поступили, решив провести остаток этого дня у нас.

Молодой господин кивнул в ответ головой и улыбнулся, сделав вид, будто не знает, чего на самом деле сто́ит эта заученная приветливость.

– У нас получена партия прекрасного портвейна, – с гордостью и в то же время с оттенком доверительности сообщил старик.

– Отлично. Принесите бутылку. А свежие ли у вас омары?

– Я очень сожалею, сэр, но, – лакей с выражением как бы скорбного достоинства чуть склонил голову, – омаров нет совсем: сегодня среда. Раньше они у нас были, разумеется, всю неделю, а теперь только по субботам и воскресеньям. Увы, кризис…

– Кризис добрался и до вас?

– И до нас и до омаров, сэр!

Это была, вероятно, уже незаученная шутка, и гость

улыбнулся ей вполне искренне.

– Жаль, жаль, – сказал он и стал делать заказ с поправкой на печальное отсутствие, видимо, очень любимых омаров. Заказ был обстоятельный, тонкого вкуса и, что особенно вдохновляло лакея, на две персоны. «Любовное свидание, конечно», – решил он, направляясь на кухню.

Когда портвейн был принесен, молодой господин тотчас налил себе полрюмки, посмотрел вино на свет, сделал два-три мелких глотка, пошевелил губами и сказал:

– Это действительно неплохой портвейн, но ему надо еще недели две-три полежать.

«О, да вы, сударь, штучка непростая! – с восхищением подумал лакей. – Знать, не так молоды, как выглядите. И, видно, слишком уж хотите угодить своей крошке».

– Вместо этого портвейна принесите бордо компании «Детурнель».

– Шато д'арсен вас удовлетворит?

– Прекрасно, шато д'арсен!

– А как прикажете быть с этой бутылкой портвейна?

– Можете выпить ее за мое здоровье и за мой счет.

Предвкушая радость свидания, клиент был, судя по всему, в отличном расположении духа.

Когда лакей через несколько минут вернулся с бутылкой бордо, молодой господин сидел на другом стуле. «Понятно, – усмехнулся про себя старик, – он боится упустить тот высокоторжественный и радостный миг, когда в дверях покажется его красотка».

– Вот еще что, – медленно проговорил гость, пристально оглядывая стол, уже почти обретший завершенность прекрасной картины большого мастера. – Пожалуйста, уберите хризантемы, а вместо них поставьте несколько гвоздик.

Лакей чертыхнулся про себя и подумал: «Да стоит ли твоя милашка всех этих хлопот и возни? Такой предусмотрительности я, кажется, давненько уже не встречал. Ну, ну, поглядим…» Сменив цветы, он отошел на свое место и замер в безразличной позе.

Время шло, а молодой господин оставался в одиночестве. Он нетерпеливо поглаживал бороду, смотрел на часы, вставал, выходил в вестибюль, опять садился… Все это еще больше подогревало любопытство лакея, и он то и дело переводил взгляд от стола к двери и обратно…

Было уже близко к девяти, когда клиент вдруг вскочил и поспешно устремился ко входу. «Что это он?» – удивился лакей: никакой женщины у входа не было. Там стоял лишь плотный,

среднего роста господин. «Должно быть, решил еще раз заглянуть в вестибюль». Но клиент подошел к плотному, тоже бородатому господину, крепко, двумя руками пожал ему руку и повел за свой стол. «Чудеса!» – у старика отвалилась челюсть. Картина, внезапно вставшая перед ним, наносила удар его многолетнему жизненному опыту…

•

– В чем дело, Мавр? Где ты запропастился? Тебе же отлично известно, что над такими вещами, – Энгельс простер обе руки к уставленному яствами столу, – я люблю потрудиться основательно, не торопясь. А наш пароход на Джерси отплывает в десять. Значит, у нас всего час с небольшим.

– Извини, Фридрих, – Маркс, переводя дыхание, уселся в кресло, – я не мог выехать из Лондона полуденным поездом, как рассчитывал. Видишь ли…

Но Энгельса уже не слишком-то занимало, почему его друг так запоздал, он все-таки приехал, он здесь – и это главное, и радость встречи затмевала все остальное.

Они не виделись месяца три с половиной, с троицы, когда Энгельс, уже больной, приезжал недели на две в столицу по делам фирмы. А потом, по возвращении в Манчестер, проклятая золотуха так разыгралась, что пришлось бросить все дела и поехать лечиться.

Он решился на это не сразу: с каждым днем все более отчетливо и грозно давал о себе знать приближающийся экономический кризис, и дел в конторе фирмы было невпроворот, да все, разумеется, самые неотложные и насущные. Может быть, он и вовсе не поехал бы или поехал позже, если бы не ото дня ко дню возраставшая настойчивость Мавра, если бы не его бесконечные укоры и запугивания возможными последствиями болезни.

– Как ты себя чувствуешь? – перебил Энгельс. – Дома все здоровы? Позволь, – в его голосе сразу прорвалась тревога, – а что это у тебя со лбом?

В правой верхней части лба Маркса было довольно большое синевато-красноватое, по краям уже с желтизной пятно. Оно смягчалось смуглостью кожи, и в первые торопливо-радостные мгновения встречи Энгельс не заметил его.

– А это я несколько дней тому назад, по дороге в музей, упал и ударился головой о тумбу, – Маркс потрогал рукой пятно, показывая, что теперь уже все в порядке и волноваться нечего.

– Да как же ты мог! – страх, досада и даже возмущение слышались в голосе Энгельса. – Наверное, торопился сверх меры?

– Ах, оставим это, – замахал руками Маркс. – Мои домашние все здоровы, а ты лучше расскажи о себе. Ведь сегодня ты у нас болящий. В последнем письме ты писал… Да! Чуть не забыл – тебе письмо от моей жены.

Он достал из внутреннего кармана сюртука аккуратно сложенный плотный листок бумаги и протянул его через стол.

– Надеюсь, можно прочитать потом?

– Нет, читай сейчас.

– Да потом, на пароходе, не спеша…

– Нет, сейчас.

Фридрих развернул листок. «Дорогой г-н Энгельс! – быстро побежал он глазами по отчетливым, ясным строчкам. – Мы все так рады, что Вам снова стало лучше и что Вы чувствуете себя окрепшим. Но Мавр стоит все же на своем, что истинное средство от Вашей болезни – более продолжительное употребление железа… Все современные врачи применяют железо и ставят его выше рыбьего жира…»

«О господи! – мысленно взмолился Энгельс. – Он и жену вовлек в эту дискуссию о железе и рыбьем жире…»

Дискуссия велась давно, с первых дней болезни. Сам больной считал, что медицина, как и всё на свете, подвержена моде, что с некоторых пор возникла, в частности, мода сводить все недуги к недостатку в крови железа и что ему гораздо больше помогает отличный норвежский рыбий жир, а главное – морские купания. Маркс находил такой взгляд легкомысленным.

«Гулять, развлекаться и ничего не делать, – дочитывал Энгельс, – это так же необходимо, как употребление железа».

– Очень милое письмо, – сказал он сквозь зубы. – Завтра же, как только приедем на Джерси, напишу ответ… Ну а сейчас давай, наконец, выпьем за встречу.

– А тебе не кажется, – многозначительно проговорил Маркс, – что прежде следует еще кое-что заказать?

– Как? – изумился Энгельс. – Ты находишь, что тут чего-то не хватает? Вероятно, омаров? Я знаю, ты их любишь, но сегодня омаров нет – кризис добрался и до них, как объяснил мне лакей.

– Нет, я печалюсь не об омарах, – покачал головой Маркс и решительно, как приговор, изрек: – Тебе нужно съесть ростбиф!

Энгельс понял истинные побуждения друга и рассмеялся:

– А вместо вина я должен пить рыбий жир!

– Ты напрасно так беззаботно смеешься, – поднял палец Маркс. – Опираясь на всю новейшую французскую, английскую и немецкую литературу, которую я теперь прочитал в связи с твоей

болезнью, я утверждаю, что там, где рыбий жир оказывает действие через три месяца, железо действует через три недели.

– Ради твоего удовольствия, Мавр, я готов заказать и съесть даже живую змею, но, к сожалению, уже поздно, и мы должны спешить.

– Ты побывал на двух курортах, немного отдохнул, немного почувствовал себя лучше и уже, как я вижу, успокоился, смеешься. А между тем перед отъездом сюда – из-за чего и опоздал на поезд – я заходил в немецкий госпиталь к доктору Лихтенбергу…

«О-о-о! – издал в душе стон Энгельс. – Мало ему Харви, Фрёйнда, Аллена и других эскулапов, авторитетом коих он неустанно бомбардирует меня… Теперь еще какого-то Лихтенберга выискал! Вместо того чтобы как следует лечить ссадину на своем лбу…»

– Лихтенберг, – проникновенно продолжал Маркс, – очень умный человек. И он сказал мне, что принимать железо необходимо даже после окончания курса лечения.

– Очень? – насмешливо спросил Энгельс.

– Что? – не понял Маркс.

– Лихтенштейн действительно очень умный человек? – Энгельс едва сдерживался, чтобы не рассмеяться.

– Не Лихтенштейн, а Лихтенберг! – вспылил Маркс. – Да! Это очень умный человек! Во всяком случае, гораздо умнее, чем твой всезнайка Хекшер!

Энгельс расхохотался.

Немецкий эмигрант Мартин Хекшер был врачом, лечившим Энгельса.

В своем лондонском одиночестве Карл ревновал Фридриха почти ко всем его манчестерским друзьям и знакомым. Но Хекшер, может быть, потому, что Энгельс доверил этому человеку столь важное и интимное – свое здоровье, вызывал у него особенно неприязненное чувство, близкое к недоверию. Он считал Хекшера виновным и в том, что болезнь не была своевременно обнаружена, опознана, и в том, что она так затянулась. Ведь Фридрих, возбужденно рассуждал Карл, никогда ничем серьезным не болел, он отличный наездник, любит плавать, отменно фехтует – и вдруг…

Больному было, конечно, приятно видеть заботу и беспокойство друга, но, встречая в его письмах выпады против Хекшера, он смеялся и каждый раз не переставал удивляться тому, что ревность может ослепить даже такую светлую голову.

Хохот Фридриха подействовал на Карла отрезвляюще. Он понял, что переборщил, и тоже улыбнулся.

– Между прочим, – сказал Энгельс, наливая вино, – я еду на Джерси по настоянию именно Хекшера. Самочувствие у меня вполне хорошее. Видимо, мне удалось утопить злодейку золотуху еще в Ватерлоо, в волнах Ирландского моря, но мой врач находит, что месяца в Ватерлоо и трех недель на острове Уайт для меня все-таки недостаточно, и требует, чтобы теперь я продлил отдых и лечение где-нибудь в более южных местах.

– В таком случае, – смилостивился Маркс, принимая бокал, – твой Хекшер явно прогрессирует.

– Ты знаешь, – Энгельс еще раз внимательно всмотрелся в пятно на лбу друга, – я был уверен, что золотухой болеют только дети. И вдруг она прицепилась ко мне на тридцать седьмом году жизни!

– А я думал, – Маркс уловил беспокойный взгляд собеседника, – что расшибать лбы – это тоже в основном детская привилегия, но вот… – Он хлопнул себя по лбу ладонью, чтобы еще раз показать: все в порядке.

Это, видимо, в самом деле окончательно успокоило Энгельса.

– Жаль, что ты не смог приехать ко мне на Уайт, – он поднял вспыхнувший рубином бокал, – но уж теперь-то, на Джерси, мы отведем с тобой душу… За встречу!

– За встречу!

•

Как только пароход отчалил, почти все пассажиры ввиду позднего времени стали расходиться по каютам. Но друзьям хотелось еще побыть на палубе. В ресторане они так и не успели сказать друг другу ни о чем важном. Поэтому теперь, едва остались одни, Энгельс взял Маркса под руку и, увлекая его вперед, спросил:

– Ну так как же все-таки твои дела?

Маркс ответил не сразу. Видимо, ему не хотелось говорить сейчас об этом. Они молча прошли несколько шагов. Наконец, отвернувшись в сторону и глядя сквозь ночную осеннюю тьму на удалявшиеся огни Брайтона, он сказал:

– Через полгода мне исполнится сорок лет. И вот в преддверии этой уже далеко не пустячной даты не остается ничего другого, как признать, что я совершенный неудачник.

– Ну, ну, это ты оставь! – Энгельс протестующе потряс его локоть.

– Действительно, Фридрих, ты посуди сам, – Маркс повернулся, и глаза его гневно сверкнули. – Этот Дана́ вот уже

несколько недель присылает мне ежедневно «New York Daily Tribune», очевидно, с единственной целью: показать мне, что они ничего из посланных мною статей больше не печатают. За все это время появились лишь какие-то жалкие сорок строк о маневрах Французского банка… Эти бесстыдники около четырех лет печатали все мои статьи от своего имени, как редакционные. Тем самым им удалось вычеркнуть из памяти американцев мое имя, которое уже начало пользоваться там известностью и могло бы позволить мне перейти в другую газету. И какой я осел, что столько лет давал этим молодчикам слишком много за их деньги!

– Но ты, надеюсь, потребовал объяснений, – Энгельс был удивлен услышанным.

– Сейчас у всех объяснение одно: трудности экономического кризиса… Я все-таки пригрозил переходом в другую газету. И вот недавно Дана прислал очень дружественное по тону письмо, суть которого в том, что одну статью в неделю они оплачивают независимо от того, печатают ее или нет, а вторую я посылаю на собственный риск.

– Иначе говоря, они, по существу, переводят тебя на половинный гонорар… И что же ты ответил?

– А что я мог ответить? В новую квартиру мы вложили все наследство, что досталось после смерти тещи. А расходы на семью все растут вместе с ростом детей. Положение мое сейчас еще более отчаянное, чем было пять лет назад. Тогда я думал, что уже испил до дна горькую чашу. Но нет. И хуже всего то, что это не временное затруднение. Я не вижу, как мне из этого выкарабкаться…

Все, что Маркс говорил, было для Энгельса неожиданностью. Он полагал, что, получив наследство старой Каролины фон Вестфален, переехав в новый, просторный дом на Графтон-террес, семья Маркса значительно поправила свои дела, что сотрудничество Карла в «Tribune» идет успешно и он регулярно получает гонорар, что вообще дела идут хорошо… А оказывается, тут опять все летит к чертям!

Он слушал, что говорил друг, и тяжелая волна гнева все выше подымалась в его груди. О проклятое время! О гнусная жизнь! Сколько прекрасных друзей молодости, боевых товарищей по партии, по революции они уже свели в могилу, лишили здоровья или искалечили нравственно. В позапрошлом году, едва выйдя из прусской тюрьмы, тридцати шести лет умер от туберкулеза Даниельс; в прошлом году, не выдержав тягот эмигрантской жизни, еще более молодым в Гаване скончался Веерт; на том острове, куда они плывут, лежит безнадежно больной туберкулезом Шрамм, ему тоже тридцать шесть… Слава богу,

Мавр уже перевалил этот роковой возраст, но если и впредь ему придется столько сил отдавать борьбе за каждый фунт… Если…

В борт корабля резко и глухо ударила неожиданная сильная волна, и Энгельс, словно подхлестнутый ею, вырвал руку из руки Маркса и, досадливо ударив кулаком о ладонь, почти крикнул:

– Чего же ты молчал раньше?

– Какая разница – раньше, позже, – пожал плечами Маркс.

– Да хотя бы та, – Энгельс остановился и повернул к себе за плечи друга, – что недавно отец отвалил мне денег на покупку лошади, решил заблаговременно позаботиться о подарке ко дню рождения. Как назло, тут же подвернулась отличная коняга, и я, будучи совершенно уверен, что у тебя все благополучно, спокойно выложил за эту красивую скотину сто двадцать фунтов!

– Ну и прекрасно, и не жалей.

– Что ж тут прекрасного! – горячился Энгельс. – Ты со своей семьей бедствуешь в Лондоне, а я в Манчестере обзавожусь породистыми скакунами. Тьфу ты господи! А в прошлом году мы с Мери ездили в Ирландию, путешествовали…

Маркс положил ему руку на плечо:

– Но ты же не знал… И потом, тебе давно пора было приобрести хорошую лошадь. Что это за купец, – Маркс улыбнулся, – что за фабрикант без собственной дорогой лошади!.. Как ее зовут? Росинант? Буцефал?.. Кстати, а как звали лошадь Калигулы, которую он ввел в сенат?

Энгельс не был расположен шутить. Он энергично повернулся к Марксу и спросил:

– Сколько ты платишь за свою новую квартиру?

– Тридцать шесть фунтов в год. Вчера как раз исполнился год, как мы переехали.

Энгельс остановился, помолчал немного, видимо что-то прикидывая, и медленно, веско проговорил:

– Впредь ты можешь рассчитывать на пять фунтов стерлингов ежемесячно с моей стороны.

– Фридрих, спасибо, ты очень добр, – тихо ответил Маркс, – но я же прекрасно знаю, что ты сам далеко не богач. Где ты возьмешь такие деньги? Ведь если не ошибаюсь, пять фунтов – твое жалованье за неделю. А такие деньги, как те, что отвалил тебе твой старик, – это же случайность, старик, кажется, никогда не был щедр.

– Все это тебя не касается, – Энгельс взглянул в сторону исчезавших огоньков Брайтона. – Даже если я взвалю себе на шею кучу долгов к новому балансовому году – не важно. И вот что еще: эти ежемесячные пять фунтов не должны мешать тебе обращаться ко мне во всех трудных случаях особо. Договорились?

Обещаешь?

– Обещаю, обещаю, – торопливо ответил Маркс и, словно опасаясь, как бы Энгельс, стоя на месте, не придумал чего-нибудь еще, в свою очередь, взял его под руку и легким толчком пригласил шагать дальше.

– Эти господа из «Tribune», должно быть, думают, – все еще негодовал Энгельс, – что они выжали тебя, как лимон, и могут приняться теперь за выжимание следующего.

– Нет, они так не думают, – усмехнулся Маркс, – какие основания у них так думать? Ведь они, не подозревая об этом, выжимали сразу два лимона – тебя и меня – и должны были бы удивляться и радоваться обилию сока в своем лимоне. Они и радуются, иначе тот же Дана не предложил бы мне писать для «Новой американской энциклопедии». Сейчас эта энциклопедия – моя единственная надежда.

– Работа не очень интересная в большей своей части, – поморщился Энгельс. – Но это может быть для тебя хорошим подспорьем, и я рад. Разделение труда остается у нас прежним?

– Да, ты продолжай писать на военную тему, а я беру на себя философию, экономику, право, биографии и тому подобные вещи.

– А как они намерены платить?

– По два доллара за страницу.

– Грабители! – Энгельс даже топнул ногой.

– Но это не главное, – с ухмылкой в голосе продолжал Маркс. – Они требуют, чтобы статьи были написаны основательно и кратко, так кратко, что, например, для статьи «Эстетика» Дана отводит мне одну страницу.

Энгельс расхохотался:

– Да он, верно, с ума спятил!.. Вся эстетика на одной странице? И за два доллара?

– Но самое худшее, Фридрих, что они продолжают требовать отсутствия в статьях какой бы то ни было партийной тенденции.

Энгельс опять засмеялся:

– Ну, мое положение здесь легче. Надеюсь, в уже полученных тобою статьях «Адъютант», «Аркебуз», «Атака», «Блиндаж», «Бивуак», «Бомба» мне удалось избежать партийной тенденции?

– В этих статьях, пожалуй, удалось. – И Маркс опять улыбнулся. – Но вот о статье «Армия» я то же самое утверждать не стану. Статья эта великолепна. Но ведь ты в ней занимаешься, в сущности, тем, что на весьма специфическом материале подтверждаешь правильность нашего воззрения на связь производительных сил и общественных отношений.

– Неужели? – приостановился Энгельс. – Право, не заметил. И уж во всяком случае, понимая, для кого пишу, не стремился к

этому сознательно.

– Да, твоя статья великолепна, – сожалеюще сказал Маркс, – но прогрессивность Дана, Рипли и других редакторов энциклопедии – это всего лишь весьма непоследовательная прогрессивность американских буржуа. Они от нас ждут статей иного рода. Мне кажется, – в его голосе послышался оттенок легкого довольства и столь же легкого упрека, – в моих статьях глубже скрыты, лучше упрятаны подлинные чувства и пристрастия.

Энгельс ничего не ответил, а только искоса взглянул на друга. Они прошли несколько шагов молча, с наслаждением вдыхая прохладный морской воздух. Ночную тишину нарушал лишь ровный, спокойный гул машины.

– Как велико должно быть все издание? – спросил Энгельс.

– Помнится, Дана писал, что пятнадцать томов.

Энгельс еще помолчал, и вдруг ему стало весело.

– На твоем месте, – сказал он озорно, – я предложил бы Дана поручить нам одним составить весь энциклопедический словарь. Мы бы с этим справились!

– И недурно бы еще, – в том же тоне подхватил Маркс, – предоставить нам полную свободу в выражении своих взглядов.

– О-о-о! – мечтательно воскликнул Энгельс. – Это была бы энциклопедия! Дидро и Даламбер от зависти перевернулись бы в гробах…

– Им было легче, – вздохнул Маркс.

– Во всяком случае, – вернувшись с небес на землю, деловито сказал Энгельс, – возьми на нас столько статей, сколько сможешь заполучить. Если мы будем иметь в каждом томе от ста до двухсот страниц, то это не слишком много. Столько полноценной науки, – он усмехнулся на слове «полноценной», – мы этим господам легко поставим. Лишь было бы в обмен полноценное калифорнийское золото! – И, вскинув голову, он громко засмеялся в темное звездное небо.

…Брайтон уже давно скрылся из виду. Во всех каютах погасли огни. Пароход окружали море, небо и тьма.

– Пошли спать?

– Пора.

В каюте, пока Энгельс зажигал и оправлял свечу, Маркс открыл свой чемодан и достал оттуда книгу.

– Я обещал тебе привезти «Историю Флоренции» Макиавелли. Вот она, – сказал он, кладя книгу на столик. – Поразительное дело: написано почти три с половиной столетия тому назад, а читается – не оторвешься. Шедевр. Я никогда не устаю изумляться этому… Книга тебе пригодится. Тут очень интересное

описание того, как в четырнадцатом – пятнадцатом веках сражались кондотьеры.

– А это что у тебя? – спросил Энгельс, увидев в чемодане какую-то рукопись.

– Это несколько моих статей для энциклопедии, которые я хочу предварительно показать тебе.

Энгельс взял рукопись и не спеша пропустил ее через большой палец. Мелькнули заглавия статей: «Армада»… «Барклай де Толли»… «Беннигсен»… «Боливар»… «Бернадот»…

Когда уже легли, он вынул из-под самого низа последнюю статью: своими советами в письмах и кое-какими сведениями он помогал писать ее.

– Хочешь прочитать? – спросил Маркс. – Отложи до завтра, вот уж приедем, тогда почитаешь.

– Я только посмотрю, – ответил Энгельс и стал читать: «Бернадот, Жан Батист Жюль – маршал Французской империи, князь Понтекорво… родился 26 января 1764 года в По, департаменте Нижних Пиренеев, умер 8 марта 1844 года в королевском дворце в Стокгольме…»

Статья была большая, обстоятельная, и читать ее, конечно, надо на свежую голову, завтра. Но Энгельс все же открыл последнюю страницу и выхватил взглядом несколько фраз: «Когда 5 февраля 1818 года Карл XIII умер, Бернадот, под именем Карла XIV Иоанна, был признан Европой королем Швеции и Норвегии… Его политика в Швеции отличалась посягательствами на свободу печати, преследованиями за преступления, состоящие в оскорблении величества, и сопротивлением прогрессивным мерам…»

«Ничего себе энциклопедическая бесстрастность!» – усмехнулся Энгельс и прочитал самую последнюю фразу статьи: «Если во время царствования Карла XIV Швеция отчасти оправилась от полуторастолетия бедствий и неудач, то этим она обязана не Бернадоту, но исключительно врожденной энергии самого народа и влиянию длительного мира».

Энгельс не выдержал и хмыкнул.

– Ты что? – встрепенулся уже засыпавший Маркс.

– О Бернадоте… Ты тут даешь великолепный образец энциклопедически-беспартийного стиля.

– Что, думаешь, это им не подойдет? Не примут?

– Но ведь иначе ты писать не захочешь, да и не станешь, даже не сможешь… Ладно. Спи. Покойной ночи.

И Энгельс задул свечу. Минуты через две, уже в темноте, он сказал:

– Между прочим, мы с тобой сейчас сами в положении

Бернадота. Служа Бонапарту, он преследовал свои собственные цели. И мы делаем то же самое, служа «Американской энциклопедии» и Дана.

– Пожалуй, – сонно отозвался Маркс.

– Бонапарт чуял, что у Бернадота есть свой план, и вел себя по отношению к нему, как ко всем, у кого подозревал собственные цели, весьма гнусно. Этот урок истории нам надо учесть.

– Ну, Дана не Бонапарт, – зевнул Маркс, – хотя и не лишен проницательности.

– И все же… Ну, спать, спать…

•

Утром после завтрака они сидели на палубе под тентом. И в воздухе, и на море было тихо. Часа через полтора-два справа должен показаться английский остров Олдерни, а слева – берега Франции.

На коленях у Маркса лежали три толстые зеленые тетради.

– Здесь, – сказал он, передавая их Энгельсу, – я регистрирую все факты и события, связанные с кризисом. Вот английская тетрадь, вот немецкая, вот французская… Сведения, которые я получаю из твоих писем, тоже здесь. Полистай эти записи – и ты увидишь, что дело приняло такие размеры, как никогда раньше. Это первый в истории мировой кризис. И я не думаю, чтобы мы с тобой долго оставались зрителями.

Энгельс слегка подбросил в руке увесистые тетради:

– Ты много сейчас сидишь над своими экономическими исследованиями?

– Я работаю над их подытоживанием как бешеный, – Маркс стиснул кулаки и потряс ими у груди, – ночи напролет. Мы должны до потопа иметь ясность по крайней мере в основных вопросах.

Мимо собеседников, то сгущаясь, то становясь реже, неслышно катился людской поток: богатые, респектабельные люди, владельцы заводов и фабрик, финансисты, землевладельцы. Утомленные своими заботами, издерганные страхом перед призраком кризиса, они ехали на Джерси, свой любимый курорт, чтобы отдохнуть и привести в порядок расшалившиеся нервы.

– А еще, Фридрих, хорошо бы нам с тобой вместе на основе вот этих тетрадей написать к весне брошюру, чтобы напомнить всей этой публике, – Маркс брезгливо дернул в сторону толпы

бородой, – и их немецким собратьям тоже, что мы всё еще тут и всё те же самые.

Энгельс посмотрел на толпу и с усмешкой сказал:

– Может быть, на этом ковчеге они уже бегут от потопа?

Маркс ничего не ответил, он лишь поднял глаза на дефилирующую толпу, долго-долго всматривался в нее и лишь потом презрительно произнес:

– Odi profanum vulgus et arceo.

Энгельс знал: это Гораций. «Противна чернь мне, чуждая тайн моих…» Ему тоже пришло на ум одно латинское выражение: «dies irae» – «судный день». И он сказал:

– Да, на сей раз это будет dies irae. И никакой ковчег тут не спасет. Вся европейская промышленность в полном упадке, все рынки переполнены, все имущие классы втянуты…

Маркс опять вгляделся в толпу. Его внимание привлек сутулый широкоплечий детина с длинными, болтающимися вдоль тела руками, с пальцами, унизанными драгоценными перстнями.

– Каков орангутанг! – толкнул он локтем друга. – Наверняка один из сильных мира сего. Ну что он сможет сказать в свое оправдание, если завтра действительно придет судный день и если с него спросят хотя бы только за нынешние дела его в мире?

– Хотя бы только за кровь, что льется сейчас в Индии, в Китае, в Персии, – сказал Энгельс.

Вдруг, не сговариваясь, они встали и пошли, но не налево, вместе с людским потоком, а направо – навстречу потоку. В толпе произошло недоуменное движение. Одни от неожиданности на несколько мгновений стали на месте; другие прижались к борту; кто-то возмущенно проговорил: «Господа! Куда вы? Надо же как все…» Кто-то засмеялся: «Да никак, пьяные!..» А они не спеша и спокойно шли, взрезая встречный поток. За их спиной шушукались, возмущались, покрикивали. А они молчали. Так они прошли почти половину палубы, до самого носа корабля. Тут Маркс опять повторил:

– Odi profanum vulgus et arceo.

Впереди показался остров Джерси.

•

Найти в Сент-Хельере площадь Эдварда не составило никакого труда, ибо это была единственная площадь крошечной столицы острова. А вот и дом под номером три. Ничего, вполне сойдет… Энгельс энергично постучал в дверь. Послышались неторопливые шаги, и дверь открылась. На пороге стояла толстая

пожилая женщина с добрыми внимательными глазами.

– Что вам угодно, господа? – спросила она по-французски.

На Джерси очень многие, даже, пожалуй, большинство, говорили по-французски. Это радовало Маркса, так как его разговорный английский язык был еще таков, что он за него порой стеснялся.

– Я купец из Манчестера, – сказал Энгельс. – Мне рекомендовали вас как хозяйку гостеприимного дома…

– Вы хотите у меня пожить? – сразу оживилась женщина. – Проходите, господа, проходите. Вас двое?

– Я приехал приблизительно на месяц, – ответил Энгельс. – А мой друг, к сожалению, пробудет здесь лишь дня три-четыре. Эти дни мы, конечно, проживем вместе и никаких дополнительных хлопот вам не причиним.

– Ах, какие там хлопоты, сударь, я очень рада. Посмотрите, что я вам могу предложить.

Она провела гостей внутрь и показала три небольшие, но очень уютные, светлые и чистые комнаты.

– Здесь, я думаю, у вас будет гостиная, – тараторила хозяйка, отворяя дверь в первую комнату. – Ведь вы приехали для того, чтобы отдохнуть, не так ли?

– Да, и немного поработать за письменным столом.

– О, лучшего уголка для этого вы не сыскали бы во всей Британской империи. Остров Джерси – это сто семнадцать квадратных километров земного рая. Какие тут ноля, луга! А малины в лесу – пропасть… О пляже Кавель вы, конечно, слышали?

– Да нет, признаться, – улыбнулся Энгельс.

– Вы не знаете, что такое пляж Кавель в Лансоне? – Хозяйка уставила руки в бока, словно изготовившись к драке за честь родного острова. – Вы, очевидно, думаете, что Джерси – это только породистые коровы, молодой картофель да помидоры для Лондона, ну и, конечно, шерсть. А о замке Принс Тауэр вам известно?

– Слышали, – опять улыбнулся Энгельс.

– Ах, сударь вы мои, об этом не слышать, это видеть надо! Пойдемте…

Она провела гостей во вторую комнату.

– Здесь будет ваш кабинет, – торопливо сказала она, ее сейчас волновало другое. – Посмотрите-ка, сударь мои, сюда, – она указала рукой на стену.

На стене висела небольшая акварель, изображавшая средневековый замок. Замок как замок. В Англии таких много.

– Что вы скажете? – не сомневаясь в произведенном

впечатлении, воскликнула хозяйка. – Нашему замку восемьсот лет!

– А кто это? – спросил Маркс, обратив внимание на портрет девушки, висевший поодаль от акварели.

Хозяйка вдруг сразу как-то потухла и лишь после долгой паузы ответила:

– Это моя дочь Анна. Она умерла в позапрошлом году.

Все трое молча подошли к портрету поближе.

– Отчего же она, такая молодая, умерла? – тихо спросил Маркс.

– От чахотки, сударь, от проклятой чахотки. Эта болезнь обычно собирает жатву по весне. Вот и Анну мою забрала весной, в апреле, на шестой день…

Энгельс сделал нетерпеливое движение, желая переменить разговор и уйти из этой комнаты, потому что слова, сказанные сейчас хозяйкой, поразили его, и он знал, что еще больше они поразили Маркса: ведь именно шестого апреля в позапрошлом году умер и его любимый сын, восьмилетний Эдгар.

– Если б вы знали, – вздохнула женщина, – как это тяжело – терять детей.

– Да, – сказал Маркс, – тяжело.

– А у вас есть дети? – спросила она.

Марксу не хотелось отвечать, но он все-таки ответил:

– У меня три дочери, а у друга моего, увы, пока детей нет.

– Берегите своих девочек, – печально сказала хозяйка, – хорошенько берегите. Нет ничего ужаснее, чем терять детей.

Воспоминания разволновали ее, она была уже не в силах показывать квартиру дальше.

– Ну а спальню посмотрите сами. – Она горько махнула рукой и удалилась.

Друзья прошли в спальню. Все было хорошо. Вернулись в кабинет, сели в кресла.

Противоречивые чувства владели Марксом. С одной стороны, квартира была хороша, удобна. Хозяйка производила самое благоприятное впечатление. Более того, узнав о ранней смерти ее дочери, он, отец, потерявший уже троих детей да еще переживший всего три месяца назад драму появления на свет нежизнеспособного ребенка, тут же умершего, проникся к этой женщине глубоким сочувствием. Но все же в найме этой квартиры был один пункт, который его очень беспокоил. Энгельс почувствовал это и прямо спросил:

– Тебя что-то мучает. Это совпадение?

– Совпадение, конечно, поразительное, – задумчиво ответил Маркс. – Подумать только, в пасмурном, туманном Лондоне и в

солнечном благоухающем Сент-Хельере в один и тот же день, может быть, даже час у коммуниста Маркса и у этой тихой обывательницы…

Он встал, сделал несколько шагов по кабинету, остановился против Энгельса.

– Но это, конечно, всего лишь совпадение, случайность, прихоть судьбы. А я хочу тебе сказать, Фридрих, кое о чем другом, иного свойства.

Энгельс насторожился.

– Хозяйка сказала, – медленно проговорил Маркс, – что дочь умерла от чахотки.

– Да, от чахотки, – припомнил Энгельс уже вылетевшие было из головы слова.

– Я думаю, – так же медленно, веско продолжал Маркс, – что тебе надо снять другую квартиру. Здесь опасно. Во-первых, потому что чахотка очень заразна; во-вторых, твой организм чрезвычайно ослаблен длительной болезнью и потому восприимчив к любой инфекции.

Энгельс возражал. Он говорил, что чувствует себя прекрасно. Что квартира ему очень нравится, что со смерти девушки прошло уже два с половиной года, что хозяйка производит впечатление здорового и очень чистоплотного человека, что…

Маркс уговаривал друга часа два. Но тот все-таки не поддался.

Остаток дня ушел на ознакомление с городом и на писание нескольких срочных писем. А вечером было решено, что завтра первым делом они навестят своего старого боевого друга Конрада Шрамма, которого Энгельс не видел уже несколько лет.

•

Весной 1852 года Шрамм уехал в Америку: в результате бесчисленных жизненных передряг, а более всего – нищенской эмигрантской жизни в Англии у него в двадцать девять лет открылась чахотка, и врачи посоветовали ему переменить климат. В Филадельфии жила со своей семьей старшая сестра Конрада, к ней он и направился. Но здоровье от перемены климата не улучшилось, работы молодому революционеру найти не удалось, и после пятилетних мытарств он снова вернулся в Лондон. Здесь он в первые же дни посетил Маркса.

Пролежав затем больше месяца в Немецком госпитале, Шрамм уехал на Джерси. Он сделал это опять-таки по настоянию врачей и своего давнего друга Джорджа Джулиана Гарни,

обосновавшегося здесь два года назад.

Шрамм приехал сюда двадцатого сентября, двенадцать дней назад. Он снял двухкомнатную квартиру в северо-западной части города, на окраине. По сент-хельерским масштабам это довольно далеко от площади Эдварда, но по манчестерским или, тем паче, по лондонским – рукой подать.

– Господин Шрамм дома? – спросил Энгельс женщину, открывшую дверь на его стук.

– А где же ему быть? – неприветливо ответила та. – Он же все дни лежит не вставая.

– Доложите, что к нему пришли доктор Маркс и эсквайр Энгельс.

Женщина удалилась, и скоро послышалось, как она открыла дверь и бросила, видимо, через порог: «К вам!»

Было ясно, что никакого особого приглашения не последует, и друзья – Энгельс впереди, Маркс сзади – переступили порог.

Когда, постучав, они вошли в комнату Шрамма, тот прямо-таки обалдел от неожиданности и радости.

– Вы? На Джерси? И оба? – выкрикнул он, бешено переводя глаза с одного на другого. – Какими судьбами? Я же знал, что ты на Уайте, Энгельс… Погодите, я сейчас встану…

– Ни в коем случае, – в один голос сказали гости.

– Ну, тогда… – Шрамм стукнул кулаком в стенку и крикнул: – Мадам! Бутылку хереса!

– И этого не надо, – мягко остановил Энгельс, – мы принесли тебе полдюжины бутылок, именно хереса, а седьмую мы сейчас разопьем. Я думаю, тебе это не повредит, а наоборот…

– Ха! – озорно воскликнул Шрамм. – За исключением того, что у меня чахотка, я же абсолютно здоров. И если я тут загнусь, то только от тоски и безделья… А с этой подлой курносой госпожой мы еще поговорим. Не на того парня она напала. Вы же знаете, что я бывал еще и не в таких переделках.

– Знаем, знаем, – охотно подтвердил Маркс. – Моя жена до сих пор вспоминает, как однажды, лет семь тому назад, ты поехал куда-то по ее поручению, а лошади вдруг понесли, ты выскочил на ходу из экипажа и, всего окровавленного, тебя принесли к нам в дом.

– Вот видите! – Шрамм горячился, его смуглое лицо горело, а светло-серые глаза сделались темней.

На стук вошла хозяйка. Она сразу поняла, что к чему, исчезла и через пять минут принесла три бокала.

– Помним мы, – сказал Энгельс, откупоривая бутылку, – и твое участие в войне Шлезвиг-Гольштейна против датской короны, и твои аресты, тюрьмы, и даже твою достославную дуэль

с Виллихом.

Дуэль была особенно памятна всем троим.

После поражения революции в Союзе коммунистов, в его Центральном комитете, возникла фракционная группа во главе с Августом Виллихом. Борьба Маркса, Энгельса и их единомышленников против авантюристической группы Виллиха была настойчивой и порой носила резкий характер.

На заседании Центрального комитета в конце августа 1850 года дело приняло особенно острый оборот. Виллих вел себя вызывающе. Он хвастал своим участием в боях и обвинял всех в трусости, в предательстве интересов революции, в буржуазном перерождении. Совершенно ясно намекая на Маркса, он сказал: «Некоторые из ваших вождей сегодня предпочитают грохоту боя уютную тишину Британского музея». И тут случилось то, чего никто не ожидал. Шрамм, писавший протокол, вдруг бросил перо и, подскочив к огромному Виллиху, яростно выпалил ему в лицо: «Солдафон! Ты будешь со мной стреляться!..» «Охотно!» – тотчас ответил Виллих и потребовал, чтобы Шрамм покинул заседание. Центральный комитет не счел нужным удовлетворить это требование, и Шрамм удалился только по просьбе Маркса.

Дуэль должна была произойти одиннадцатого сентября, и не в Англии, а на континенте, около Антверпена.

Марксу, который вместе с Энгельсом сделал все, чтобы поединок не состоялся, Шрамм накануне дуэли написал веселое и беззаботное письмо.

– В мыслях мы тебя тогда уже похоронили, – сказал Маркс.

И действительно, как могло быть иначе, если на другой день вечером на квартиру к Марксу, где с тревогой и нетерпением друзья Шрамма ожидали известий о поединке, появился Бартелеми, второй секундант Виллиха, и на исполненный страха вопрос Женни: «Ну как?» – гробовым голосом ответил: «Пуля – в голову!» А затем отвесил низкий поклон, повернулся и исчез. Женни (самого Маркса дома не было) едва не потеряла сознание.

Через час Энгельс, Либкнехт, Пфендер и другие друзья Маркса уже были извещены, что Конрада Шрамма нет в живых.

На следующий день все собрались у Маркса. Печальные, потерянные, сидели в маленьком кабинете хозяина и тихо переговаривались.

– Это был дерзкий рыцарь, горячая голова, – сказал Либкнехт.

– Да, пылкая, смелая, пламенная натура, никогда не поддававшаяся заботам повседневности, – добавил Маркс. – Но вместе с этим – критический ум и тонкий юмор, оригинальная мысль и наивное добросердечие. – Маркс помолчал и при полной тишине закончил: – Я думаю, Шекспир не мог бы найти лучшего

прообраза для своего отважного и благородного рыцаря Перси Хотспера… Да, это был поистине Перси Хотспер нашей партии…

И едва он произнес последние слова, как в прихожей послышался невероятный шум, голоса, изумленно-радостный крик Ленхен, а через несколько мгновений дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет влетел хохочущий Конрад с повязкой на голове.

Оказывается, сразу после своего ответного выстрела Виллих и его секунданты поспешно удалились. Они видели, что пуля попала в голову, и решили, что Шрамм убит. У них имелись тем большие основания так думать, что врача на дуэли не было…

– Да, мы тебя тогда уже совсем похоронили, – разливая вино, сказал Энгельс.

– Это были не единственные мои похороны, – засмеялся Шрамм. – Дайте-ка я все-таки встану и покажу вам кое-что.

– Может быть, не стоит?

– Нет, нет, встану, покажу. И потом – не могу же я пить херес лежа. Это оскорбительно для прекрасного вина.

Он спустил с кровати бледные, исхудавшие ноги, накинул шлафрок и нетвердой походкой добрался до письменного стола. Там отыскал какую-то папку, раскрыл ее и достал несколько газет.

– Вот шестилетней давности «Кёльнская газета» с сообщением о том, что я утонул в Ла-Манше, – сказал он, подвигаясь со своим креслом к гостям и протягивая им газеты. – Подумать только, хотели отправить меня к праотцам, еще когда мне не было и тридцати!.. А это совсем недавнее «Новое время», выходит в Нью-Йорке на немецком языке. Тут даже некролог. Послушайте, – он взял газету и трагически-торжественным голосом стал читать: – «В Филадельфии от легочной болезни на тридцать шестом году жизни скончался известный деятель немецкого рабочего движения Конрад Шрамм. От нас ушел человек, все помыслы, все силы, вся жизнь которого…» Тьфу ты, черт! – выругался Шрамм и швырнул газету на стол. – Даже смерть человека не может заставить этих газетных крыс сказать хоть одно живое слово… Давай, Энгельс, лучше выпьем наконец!..

– За твое здоровье! – Маркс и Энгельс подняли бокалы.

Бокал Шрамма был налит только до половины, но он, вопреки ожиданию, не протестовал. Гости видели, что оживленность и веселость хозяина порой переходят во взвинченность, что на всю его порывистую, юношески стройную фигуру уже наложила свою печать тяжелая болезнь.

– Вы вообразите только, – поставив бокал, взмахнул рукой Шрамм, – я в Филадельфии. Дела мои плохи, но уж не настолько,

чтобы меня хоронить. И вот однажды мне сообщают, что сегодня в «Новом времени» мой некролог. Я, естественно, одеваюсь и иду на улицу, чтобы купить газету. Подхожу к газетчику, вижу у него «Новое время» и даже некролог вижу, но тут обнаруживаю, что у меня нет денег. Я знаю, что и дома нет. Представляете положение: «известный деятель немецкого рабочего движения» не может купить свой собственный некролог! Ведь при моем знании четырех языков, умении довольно прилично разбираться в торговом деле, при хороших рекомендациях я так и не смог получить хотя бы самое дрянное место в этой свободной Америке.

– Ну, и как же с газетой? – спросил Энгельс.

– Пришлось все рассказать газетчику Он, конечно, не поверил, должно быть, счел сумасшедшим и из опасения дал два экземпляра.

Энгельс еще налил хереса – Марксу и себе полные бокалы, а Шрамму лишь треть, и тот снова не протестовал.

– А, однако же, согласитесь, друзья, – все не умолкал Шрамм, – что на свете не так уж много людей, которые при жизни удостаиваются некрологов.

– Кажется, такое случалось с Талейраном, – заметил Маркс.

– С Талейраном! – едва ли не возмущенно воскликнул Шрамм. – Так ведь он прожил чуть не девяносто лет, а мне еще только будет тридцать шесть… И вот после всего этого, господа, – он встал, опираясь одной рукой о спинку кресла, а другой сжимая бокал, – после того, как меня не разнесли ошалевшие лошади, не подняли на штыки датчане, не застрелил Виллих, не сгноили тюрьмы, после прижизненных некрологов – после всего этого мне бояться чахотки, или, как ныне стали говорить, туберкулеза?

Шрамм, видимо, почувствовал себя хуже и лег в постель. Некоторое время все молчали. Потом уже совсем спокойным и словно усталым голосом он спросил:

– Скажите, друзья, а вы все еще сердитесь на меня за ту антверпенскую дуэль?

– Ведь ты знаешь, – ответил Маркс, – что Виллих и Техов печатно обвинили нас с Фридрихом в том, будто мы натравливали тебя на Виллиха и сознательно вызвали вашу ссору, будто у нас была коварная и жестокая мысль – посредством этой дуэли устранить своего политического противника, то есть его, Августа Виллиха. А Карл Фогт, как я слышал, повторяет и распространяет эти вымыслы и ныне.

– Какой вздор! – Шрамм ударил кулаком по одеялу. – Жаль, что погиб мой секундант Мисковский. Он рассказал бы… Когда мы с ним явились на место поединка, Виллих и его секунданты уже выбрали площадку и отмеряли расстояние. Виллих первый

занял исходную позицию. Когда я пошел на свое место, Мисковский остановил меня и сказал: «Смотри, твой противник стоит в тени, а ты будешь на прекрасно освещенном месте. У него гораздо лучше позиция, чем у тебя». Я в ответ только махнул рукой и сказал: «Пусть будет так!..» Энгельс, дай мне еще хереса, я выпью за погибель этих негодяев.

– Нет, хватит.

– А как мы сделали свои выстрелы! – Шрамм не обиделся на отказ и вроде бы тотчас забыл о хересе. – Когда его секундант Техов подал команду «Сходитесь!», я, не целясь, выстрелил просто в сторону Виллиха и, конечно, не мог в него попасть. А он медленно подошел к самому барьеру, тщательно прицелился и бабахнул в мою разнесчастную голову. Вот, до сих пор метка, – он провел пальцами по длинному шраму с левой стороны широкого лба. – Если бы на один сантиметр поточнее – и все, и о Конраде Шрамме появился бы лишь один-единственный некролог, а «Кёльнская газета» и «Новое время» остались бы без работы…

– Видишь ли, дело не только в бессмысленной опасности, которой ты подвергал свою жизнь, – сказал Маркс, – или в клевете на нас с Фридрихом. Дуэль сама по себе – пережиток пройденной ступени культуры.

– Мавр! – укоризненно воскликнул Шрамм. – Ты что же, принципиальный противник всякой дуэли? Но ведь и сам дрался, и Фридрих, и ваш лучший друг Вольф…

– Лупус? – перебил Энгельс. – Нет, Лупус не дрался. Он лишь вызвал однажды на дуэль Карла Фогта, когда тот произнес во франкфуртском Национальном собрании – они оба были его депутатами – клеветническую речь против только что закрытой «Новой Рейнской газеты». Но до дуэли дело не дошло. Фогт отказался стреляться, его шкура слишком-де драгоценна отечеству, чтобы подвергать ее такому риску.

– Но все-таки он вызвал! – Шрамм ткнул пальцем воздух перед собой. – И дуэль не состоялась не по его вине…

Маркс видел, что Шрамм ждет от него ответа, который до конца разъяснил бы дело.

– Я ставлю дуэль, – сказал он, – всецело в зависимость от ситуации в том случае, что к ней можно прибегнуть в виде исключения при крайних обстоятельствах. В случае с Виллихом обстоятельства были вовсе не таковы.

– Но он же наглец!

– И все же дуэль тут была совершенно неуместной. Два члена Центрального комитета Союза коммунистов едут из Лондона в Антверпен с единственной целью – продырявить друг друга… Времена слишком серьезные, чтобы заниматься подобными

вещами.

– Ну а если бы тебя вызвали на дуэль?

– Скорей всего, я бы в ответ только посмеялся.

– Но все стали бы говорить, что ты трус!

– Плевать мне на это. Я люблю повторять слова Данте: «Иди своей дорогой, и пусть люди говорят все, что им угодно».

– И ты поступил бы так же? – Шрамм повернулся к Энгельсу.

– Конечно, – пожал плечами тот. – Если, разумеется, не будет каких-то особых, исключительных обстоятельств, о которых говорил Мавр.

– Но что вам дает такую спокойную уверенность?

– Что? – Маркс взглянул на Энгельса и продолжал далее как бы от лица обоих: – Дуэль не нами придумана, мы заимствуем ее у привилегированного класса. Требование разных господ, чтобы столкновения с ними разрешались непременно путем дуэли, как принадлежащей им привилегии, необходимо беспощадно высмеивать. Признавать такое требование было бы прямо контрреволюционным. Наша партия, конечно, не может его признавать.

– Я восхищаюсь тобой, Мавр! – Шрамм протянул руку Марксу. – Даже к дуэли ты умеешь подойти с точки зрения революции и партии.

– Потому он и Маркс, – сказал Фридрих.

Все засмеялись.

Вдруг снова послышались шаги хозяйки, стук в дверь и возглас: «К вам!»

– О, это Гарии! – обрадовался Шрамм.

– Господин Гип-гип-ура! – усмехнулся Маркс.

– Теперь его так звать было бы несправедливо. Он уже не произносит возвышенных революционных речей, не восторгается Маратом, не говорит, что рабочий класс Англии может в три дня добиться власти. Он остался политиком, но совсем другим. Вот вы увидите. Он навещает меня ежедневно, а иногда и по два раза на день.

– Гарни, конечно, довольно общительный малый, – с легкой усмешкой сказал Маркс, – но я бы не смог toujours perdrix[8].

– У меня есть особые причины относиться к Гарни с теплотой, – опасливо поглядывая на дверь, сказал Шрамм. – Ведь может статься, что именно он будет автором последнего и достоверного некролога обо мне и именно в его газете «Независимый Джерси» этот некролог появится… Он создал здесь год назад могущественнейшую Лигу реформы, которая ведет борьбу с местными тиранами. Можно сказать, он здесь король оппозиции…

– По пословице: в царстве слепых и кривой – король? – усмехнулся Энгельс.

– Не удивляйтесь, – спешил договорить Шрамм, – если он будет говорить о своей дружбе с Гюго. Два года назад, когда английское правительство приняло решение о высылке с острова французских эмигрантов, он приехал сюда, чтобы вручить Гюго приветственный адрес и выразить сочувствие. Приехал да так и остался. Он уверяет, что Гюго тогда сказал ему…

Дверь распахнулась, и вошел Гарни. Он был старше всех присутствующих. Ему уже исполнилось сорок. Большая черная как смоль борода, которую он отпустил недавно, придавала ему странный, непривычный для всех троих вид. Пока он шумно здоровался, пододвигал себе стул, глаза его несколько раз скользнули по бутылке.

– Выпей с нами, Джордж, – сказал Энгельс.

– Мадам! – крикнул Шрамм и опять ударил кулаком в стену.

Через несколько минут хозяйка вошла еще с одним бокалом.

Когда выпили, Гарни, едва поставив бокал, воскликнул:

– Конрад! Ты только подумай, этот мерзкий феодал Годфри присудил моего друга Артура к штрафу в пять фунтов!

– Чудовищно! – с преувеличенным сочувствием отозвался Шрамм.

– Нет, господа, вы посудите сами, – Гарни захотелось ввести в курс дела непосвященных. – Кроме газеты, которую я редактирую уже второй год, здесь недавно стала выходить на французском языке отвратительная бонапартистская газетенка «Беспристрастный». Ее редактор – бонапартистский шпион Лемуан. Так вот этого Лемуана мой друг Артур…

– Первый бакалейщик острова, – тоном комментатора ставил Шрамм.

– …Артур, имея на то, как вы понимаете, веские политические причины, однажды избил Лемуана.

– Эта битва произошла на Королевском сквере, – тем же бесстрастным тоном опять вставил Шрамм.

– Тот, конечно, подал в суд. И вот наконец…

– Процесс длился целый год.

– Наконец суд выносит решение: оштрафовать Артура на пять фунтов стерлингов! Каково? Я напишу об этом Гюго! Он обещал мне свою дружескую поддержку.

Гарни говорил еще долго… А Маркс и Энгельс с грустью смотрели на него и думали об одном и том же. Они думали, что этот человек ведь, кажется, совсем недавно вместе с Эрнстом Джонсом был самым популярным и авторитетным лидером левого крыла чартизма, членом Союза коммунистов; это он был

одним из редакторов самой большой чартистской газеты «Северная звезда», в которой Энгельс два с половиной года с удовольствием состоял собственным корреспондентом, о которой «Новая Рейнская газета» писала: «Революционная „Северная звезда“ является единственной английской газетой, одобрением которой мы дорожим»; это его Энгельс когда-то хвалил за то, что он не заражен «островной ограниченностью англичан»; это он издавал журнал «Красный республиканец», впервые напечатавший на английском языке «Коммунистический манифест» и провозгласивший своим девизом переход «от идеи простых политических реформ к идее социальной революции»… И вот после всего этого – деятельность на пространстве в сто семнадцать квадратных километров, годовая борьба с каким-то господином Годфри, пятифунтовые страсти!

Друзья знали и раньше о глубокой духовной и политической деградации Гарни, но сейчас они видели все воочию, и это было печально, горько и тягостно.

– Я хочу выпить за вас, за ваше здоровье, – сказал Гарни, уже сам разливая остатки вина по бокалам. – Как когда-то!

– Не надо пить так много за одно и то же, – перебил Энгельс. – И нам пора идти.

Они встали, попрощались, сказали, что до отъезда Маркса, если удастся, еще зайдут вместе («Ну, я-то обязательно буду заходить», – пообещал Энгельс), и вышли.

На улице они несколько минут шагали молча. Потом Маркс невесело усмехнулся:

– Завидую я субъектам, которые умеют кувыркаться. Это, должно быть, превосходное средство, чтобы забыть все горести и житейскую дрянь.

– А ведь сколько я с ним возился, начиная с сорок третьего года! – тотчас отозвался Энгельс.

– Я всегда считал, – с той же усмешкой сказал Маркс, – что у него двойной разум: один ему дал в начале сороковых годов Фридрих Энгельс, а другой – его собственный. Теперь, увы, он живет только своим собственным.

– Я не могу тебе сказать, – тяжело вздохнул Энгельс, – что́ оставило во мне более удручающее впечатление – неизлечимо больной, обреченный Шрамм или совершенно здоровый, бесполезно деятельный Гарни.

– Да, – теперь без всякой усмешки сказал Маркс, – наши ряды опустошает не только смерть. Одни, как Виллих, впали в узколобое сектантство, другие, подобно Дронке, стремятся обзавестись собственным делом, третьи, вроде Гарни, юродствуют и специализируются на бурях в стакане воды… И все это тоже

наши утраты.

Они еще несколько шагов прошли молча, и Маркс спросил:

– А ты знаешь, что поделывает сейчас Фрейлигрaт?

Энгельс не ответил, а лишь вопросительно взглянул.

– Человек, написавший стихи «Мертвые – живым», поэт, которого за стихи судили, которого после оправдания народ на руках отнес из суда домой, который был нашим товарищем и соратником в «Новой Рейнской газете», который писал – ты помнишь? – Маркс приостановился и, в такт стихам ударяя кулаком воздух, прочитал:

В смиренье кротком руки сложить мы не должны.
За рукоятку – правой, а левой – за ножны!
Хватай за горло левой раба и подлеца,
А правой – меч и бейся, сражайся до конца!..

– Теперь этот человек служит управляющим филиала Швейцарского банка в Лондоне. Конечно, его мучает коллизия между его славой поэта и вексельным курсом, но жалованье в триста фунтов, как видно, легко утешает его…

– Что делать! – вздохнул Энгельс. – Подобные вещи мы должны предвидеть. Наше движение проходит через различные ступени развития, и на каждой ступени застревает часть людей, которые не хотят или не могут идти дальше. А некоторые даже скатываются вниз.

– Но мы-то с тобой не имеем на это права. Мы обречены любой ценой идти вперед.

– Да, наша судьба в этом, – снова вздохнул Энгельс глубоко и спокойно.

•

Маркс погостил у Энгельса на Джерси лишь три дня. Они гуляли по острову, собирали позднюю переспелую лесную малину, выходили к каким-то очаровательным маленьким бухтам, любовались длинной туманной полосой французского берега, спорили о том, что видится вдали на севере – остров Гернси или остров Сарк… Но главное – они все время обогащали друг друга наблюдениями, мыслями, сомнениями о том, что происходит сейчас за пределами ста семнадцати квадратных километров рая, там, за линией горизонта, в огромном беспокойном мире.

Энгельс понимал, как полезно было бы Карлу с его больной

печенью, с ревматическими коликами в пояснице, с так часто воспаляющимися от переутомления глазами пожить и побездельничать на этом благословенном острове, подышать его вольным воздухом, послушать тишину лугов и рокот моря, погреться на солнце. Ведь в Лондоне уже глубокая осень, дожди, туманы, слякоть… Все это прекрасно понимал, конечно, и сам Маркс. Но на уговоры друга остаться хотя бы еще на несколько дней он отвечал решительным отказом. В холодном, слякотном Лондоне его ждала начатая в августе рукопись, в которой он подведет итоги своим пятнадцатилетним экономическим наблюдениям и размышлениям. Вся работа будет состоять из шести книг. Он назовет ее «К критике политической экономии». Он изложит здесь наиболее существенные черты теории прибавочной стоимости, теории денег, вопроса обращения капитала. В сущности, это будет выработкой основных положений новой политической экономии. Это надо сделать именно сейчас, чтобы в преддверии потопа вскрыть перед публикой самую основу вещей.

Он знал, что будет работать чуть не каждый день до четырех часов утра, что будет безумно уставать, что обострятся все давние недуги, и все-таки он рвался в Лондон. Он знал, что там тотчас забудет и сияние солнца, и запах лугов, и вкус малины, а будет слышать лишь одно – нарастающий грохот потопа.

Глава пятая.
Провал на экзамене

– Деньги, деньги, деньги… – удрученно повторяла Женин, глядя на несколько пенсов, лежавших на столе. «Хорошо, что деньги, – вздохнув, подумала она, – это такой предмет, изучать который можно, не имея его перед глазами, иначе Карл никогда бы не сделал своих открытий, не написал бы своих книг».

Это была правда: долгие годы ее муж изучает социальную суть, природу, роль денег – и долгие годы он и его семья жестоко страдают от безденежья. Закончив первый выпуск своей работы «К критике политической экономии», Маркс даже не мог отправить рукопись с нетерпением ждавшему ее издателю Дункеру – было не на что. Пришлось просить у Энгельса денег, необходимых для почтовой страховки и пересылки рукописи. Маркс при этом воскликнул: «Вряд ли приходилось кому-нибудь писать о деньгах при таком отсутствии денег! Большинство авторов по этому вопросу состояло в лучших отношениях с объектом своих исследований».

Казалось, Маркс и его семья повидали уже все гримасы, на какие только способны бедность и нищета. Женни помнила долгие дни и даже недели, когда семья кормилась лишь хлебом и картошкой; когда не было нескольких пенсов, чтобы купить газеты и бумагу, необходимые для работы Карла; случалось и так, что вся семья вместе со служанкой Еленой болела, но из-за отсутствия денег нельзя было ни позвать врача, ни приобрести лекарства. Были, наконец, те страшные пасхальные дни 1852 года, когда умерла Франциска, – при рождении для нее не на что было купить колыбель, а через год, когда она умерла, в доме не оказалось денег даже на гроб… И сейчас, вспомнив о тех днях, Женни словно наяву вновь услышала тот особенный, непохожий на другие пасхальный благовест: он оказался погребальным звоном для маленькой Франциски.

Маркс не стыдился своей бедности, точнее сказать, он не скрывал ее перед своими друзьями, единомышленниками, перед людьми, близкими ему по духу. Перед ними у него нередко доставало сил даже пошутить на сей счет. Женни вспомнила, как Карл иронизировал в одном письме к Энгельсу: «Вот неделя, как я достиг того приятного пункта, когда из-за отсутствия унесенных в ломбард сюртуков я не выхожу больше из дома и из-за отсутствия кредита не могу больше есть мяса». Женни помнила и о том, как, отправляя несколько позже американским друзьям свои

«Разоблачения о кёльнском процессе коммунистов», Карл счел возможным в сопроводительном письме заметить: «Вы лучше оцените юмор брошюры, если учтете, что за отсутствием штанов и обуви автор ее находится как бы под домашним арестом, а семья его каждую минуту рисковала и рискует очутиться в полной нищете».

Но это, конечно, не значило, что Маркс смирился с бедностью и уже не противился ей, что она не угнетала его. Как глава большой семьи, как любящий муж и отец, он делал все, чтобы вырваться из цепких лап нужды. Женни видела это и знала, естественно, лучше других. В ту пору, когда семья два месяца пробавлялась исключительно ломбардом, Маркс признавался Энгельсу, прося его помощи: «Уверяю тебя, что я лучше дал бы себе отсечь большие пальцы, чем писать тебе это письмо. Это может прямо довести до отчаяния – мысль, что полжизни находишься в зависимости от других».

Однако Марксу было далеко не безразлично, каким способом обеспечить себе достаток.

Когда перед окончанием университета Бруно Бауэр, бывший тогда ему другом, советовал ему ради места доцента философии и успеха академической карьеры подольститься к министру просвещения Эйххорну, – Маркс не пошел на это.

Когда вскоре после женитьбы ему предложили через советника Эссера, старого друга тогда уже покойного отца, работу в правительственной газете, что могло обеспечить блестящую карьеру – то была первая попытка правительства обезвредить опасного противника, – Маркс брезгливо отверг предложение. Женни с гордостью вспомнила, что она тогда поддержала его в этом.

Когда после революции 1848 года была закрыта «Новая Рейнская газета» и Маркс с семьей вынужден был из Кёльна снова уехать на чужбину – в Париж – и оказался там с малыми детьми без всяких средств к жизни, друзья, оставшиеся на родине, собрали денег и послали их изгнаннику. Но при этом один из них действовал недостаточно деликатно – сделал положение Маркса, по словам очевидца, «предметом обсуждения во всех пивных». Узнав об этом, Маркс сказал: «Я предпочитаю жесточайшую нужду публичному попрошайничеству». Женни прекрасно помнила и это.

Она помнила и то, что Карл не раз повторял: «несмотря ни на какие препятствия, я буду идти к своей цели и не позволю буржуазному обществу превратить себя в машину для выделки денег». Она знала, что это не только слова – это девиз, которому Карл неукоснительно следует. Но будто в отместку за такую

твердость, нищета строила его семье все новые и новые гримасы – это только казалось, что их запас у нее иссяк. В новогоднем письме Энгельсу Маркс посылал будущий год ко всем чертям, если он будет похож на старый. Однако этот год оказался еще хуже предыдущего. Пожалуй, он самый трудный из всех.

…За дверью послышалось движение. Женни быстро смахнула монеты со стола в ладонь и сунула их в карман. Вошел Карл. Кроме постоянной озабоченности, в которой он пребывал уже давно, на нем видна была печать какой-то новой тревоги.

– Женни, – сказал он, стремительно приблизившись, – я только что узнал, что наша старшая дочь всерьез собирается стать актрисой или, во всяком случае, намерена какое-то время играть в театре. Она говорила тебе об этом?

Женни слегка тряхнула головой, как бы сбрасывая недавние горькие раздумья, и вместо ответа спросила:

– Тебя пугает сцена?

– Не сцена сама по себе, – Маркс пожал плечами. – Но откуда она взяла, что может играть?

– Ее внешность… Ты же знаешь, что она с детства мечтает стать актрисой.

– Этого мало, – Маркс досадливо махнул рукой. – И внешности и мечтаний.

– Не только мечтания. Она же отлично декламирует. Помнишь, как она всех нас поразила сценой с письмом из «Макбета»?

– Прекрасно помню, но и этого мало! – Маркс уже не мог от волнения стоять на месте и, по обыкновению, принялся ходить вдоль стола, за которым сидела жена. – Нужен настоящий талант, божья искра, дар – без этого участь актера, особенно актрисы, в наше время ужасна.

– Но спроси Кугельманов да и других, кто ее слышал. Почти все в один голос твердят: талант! Гертруда-Совушка, которой в подобных делах ты всегда веришь, утверждает, что в Женни скрывается талант Рашели или Ристори…

– Боже мой! – всплеснул руками Маркс. – Рашель! Ристори! Пусть Совушка, если хочет, делает Рашель и даже Кина из своей Франциски, а моя дочь не будет играть на сцене.

– Но она уже играла, – тихо, чуть улыбнувшись, проговорила Женни.

– Что ты хочешь этим сказать? – Маркс остановился.

– Ты видел новое синее пальто у Ленхен?

– Конечно. Но оно при чем здесь?

– А при том, что Женни купила его для Ленхен на гонорар, полученный за выступление в роли леди Макбет на сцене одного

лондонского театра. Иначе где бы мы могли взять деньги?

Маркс растерялся. На какое-то мгновение тревогу за дочь в его думе захлестнула нежность к ней, отцовская гордость.

– Милая девочка, – сказал он глухо. – Это так на нее похоже! – Он помолчал, что-то обдумывая, потом взял руку жены, поцеловал ее в ладонь и тихо, но твердо проговорил: – И тем не менее, Женни, я сегодня же поговорю с ней и потребую, чтобы она оставила эту более чем рискованную затею.

– Она, конечно, послушается тебя, – усталым голосом сказала жена, – но я уверена, что через несколько дней придумает что-нибудь другое, например, захочет давать уроки. Ты знаешь, почему она это сделает. Женни все видит, все понимает. Да и не требуется особой наблюдательности, чтобы понять, в каком положении твоя семья, если ты и твои сестры не ходят в школу, потому что нечего обуть; если у тебя самой нет сколько-нибудь приличного платья. Мы не должны забывать, что не успеем оглянуться, как Женни и Лаура станут невестами.

Карл опять остановился.

– Какие невесты! Они еще совсем девочки!

– Дорогой мой, Женни уже почти в том возрасте, когда меня начали вывозить в свет. Не так уж далеко ей и до той поры, когда ты заручился моим тайным согласием стать твоей женой, – видно было, что эти сопоставления мать уже давно сделала.

– О время! – сокрушенно воскликнул Маркс. – Действительно. Может быть, у Женни уже есть поклонники? Может быть, она и сама уже о ком-то вздыхает?

– Не думаю. Они же никуда не ходят, и мы никого не можем принять. С кем они видятся?

– Ты упрекаешь меня? – Маркс горестно покачал головой.

– Нет, я только напоминаю отцу, что его дочери растут.

– Знаешь, Женни, – вдруг сказал Маркс с отчаянием, – я иногда жалею, что у нас дочери, а не сыновья.

– Что ты говоришь! Посмотри, какие они умницы и красавицы!

– Да, да. Ты же знаешь, как я их люблю, но иногда – и теперь все чаще – жалею! С мальчишками нам было бы легче.

Некоторое время они молчали. Мысли каждого были трудными, невеселыми. Потом он, медленно подойдя, коснулся ее руки и сказал:

– Я хочу с тобой посоветоваться, Женни… Я давно уже думаю и вот недавно узнал… недавно узнал… – ему трудно было все сказать прямо и до конца, – узнал, что в одном лондонском железнодорожном бюро есть вакантное место.

Женни сразу все поняла:

– Ты хочешь поступить на службу! О боже, Карл Маркс, философ, революционер, потрясатель основ капиталистического строя, – конторский служащий железнодорожного бюро!

– Ну что делать, Женни, дорогая! Я был там…

– Уже? – усмехнулась она.

– Говорил с владельцем, очень милым молодым человеком. – На самом деле это был наглый, лощеный, рано облысевший хлыщ, который в течение всего разговора с великой завистью взирал на роскошную, уже полуседую львиную гриву Маркса. – Он попросил зайти на этой неделе, он должен будет кое о чем расспросить меня…

– Расспросить! Я не узнаю тебя, Маркс. Ты всегда называл вещи их именами и вдруг разучился. Не расспросить, а проэкзаменовать! Он будет экзаменовать тебя, как экзаменуют всякого чиновника, поступающего на службу. О, это картина, достойная богов: Карл Маркс сдает экзамен для поступления на службу в железнодорожное бюро! Карл Маркс отвечает на вопросы специалиста по товарным перевозкам! Надеюсь, ты уже начал готовиться к экзамену?.. Не нужна ли тебе моя помощь в этом ответственном деле? Карл! – вдруг сорвалась Женни со своего насмешливого тона. – Дорогой Карл, – она встала и обняла его, – ты не сделаешь этого, ты не имеешь права, не должен! Может быть, счастье еще улыбнется нам, может быть, кто-то еще поможет. Ведь умные люди понимают же, что ты работаешь для них, для их детей, для будущего. Помнишь, как появилось в печати твое «Восемнадцатое брюмера»? Помнишь?

– Конечно, помню. Но, милая Женни, нельзя жить надеждами на чудеса. Сейчас их ждать неоткуда. Ты знаешь, что «New York Daily Tribune» вместо договорных двух фунтов за статью недавно опять стала платить по одному фунту. «Presse» платит по одному фунту за передовые статьи и по полфунта – за корреспонденции. Притом обе газеты печатают одну из четырех-пяти посланных мной статей и лишь за эту напечатанную платят. Это неслыханно, это грабеж, но что я могу с ними поделать! А разве можно на эти деньги прожить вшестером!.. Правда, у меня есть еще один план…

Но рассказать о новом плане Марксу не удалось. Елена позвала обедать. За обеденным столом при детях обсуждение таких дел было невозможно. А потом, замученная заботами и хлопотами, Женни забыла расспросить мужа о его втором плане, сам же он тоже, как видно, не очень-то спешил с объявлением этого плана.

Чем ближе становился день, назначенный владельцем железнодорожного бюро для окончательного разговора, тем

крепче – ввиду катастрофического материального положения – делалось решение Маркса все-таки пойти в бюро, как бы ни протестовала Женни. Второй, самый крайний выход из положения, конечно же, огорчил бы ее еще больше.

В разговоре с женой Маркс умолчал о том, что «экзамен» отчасти уже состоялся, что он ответил на многие вопросы, интересовавшие хозяина бюро… Тот – его звали мистер Хили – был дотошен.

– Сколько вам лет, господин Маркс?

Маркс ответил.

– Вероисповедание?

– Лютеранское.

– Вы немец?

– Да.

– Но британский подданный?

– У меня нет подданства. Около двадцати лет тому назад я вышел из прусского подданства и с тех пор не принимал другое.

Это озадачило хозяина, он задумался, удивился и даже перевел взгляд с шевелюры Маркса на его лицо, но ответ на следующий вопрос – об образовании, – видимо, утешил его: было бы лестно иметь под своим началом доктора философии, питомца Бонна, Берлина и Иены.

– Вы знаете какие-нибудь языки помимо английского и немецкого? – продолжил он, опять лаская завистливым взглядом гриву Маркса.

– Я читаю на всех германских и романских языках, – медленно проговорил Маркс и, наслаждаясь глупой оторопелостью собеседника, добавил: – Кроме того, намерен в ближайшее время выучить русский, сербский и древнеславянский, по этот последний, – он улыбнулся, – едва ли мне пригодится на службе в вашем бюро.

– Да, конечно, – вполне серьезно подтвердил мистер Хили лишь для того, чтобы что-нибудь сказать. В этот момент он, видимо, опять представил Маркса своим подчиненным, и дух его взыграл. – Имеете ли вы, доктор Маркс, опыт конторской работы?

– Увы, не имею, – Маркс развел руками.

– Чем же вы занимались до сих пор? – вопрос прозвучал так: если не быть конторщиком, то чем же еще можно заниматься в этом мире?

– Литературной работой, публицистикой…

– Может быть, у вас даже есть свои сочинения?

– Да, есть кое-что, – вяло ответил Маркс, его начинало злить все это. – Но вот уж они-то, мои сочинения, совсем не имеют никакого отношения к моей возможной работе у вас.

– Ну что ж, – сказал Хили, не заметив раздражения Маркса, – теперь нам остается только одно: посмотрим, какой у вас почерк. Вот вам бумага, перо, садитесь сюда, – он указал рукой на конторку.

Маркс стоял недвижим. Он представил себе, как сядет, словно школьник, за конторку, а этот самодовольный болван станет, возвышаясь, рядом и начнет диктовать своим мерзким голосом какой-нибудь вздор, который надо будет послушно записывать. Он уже хотел послать чиновника к дьяволу, как вдруг тот передумал.

– Впрочем, отложим это, – сказал он. – Ведь мне надо знать не только то, каков ваш почерк сегодня, но и то, как, в какую сторону он изменяется. А если со временем он становится все хуже и хуже? Бюро не может рисковать. Поэтому, доктор, – было заметно, что ему доставляло удовольствие говорить «доктор», – поэтому, доктор Маркс, я попрошу вас прийти в четверг на будущей неделе и принести образцы своего почерка за возможно более длительный промежуток времени. Вы меня поняли? Бюро не может рисковать.

– Но ведь это будет на немецком языке…

– Ничего. Мы найдем возможность разобраться.

– Ну, хорошо…

О требовании представить образцы почерка Маркс тоже ничего не сказал жене. Ему вдруг и самому почему-то стало интересно, захотелось узнать, меняется ли у него с возрастом почерк. Он принялся рыться в старых бумагах, стараясь отыскать рукописи ранние и сравнить их с рукописями последующих лет. В самом дальнем ящике шкафа, на самом дне ему попались какие-то пожелтевшие, уже ломкие от времени страницы. Маркс вгляделся в них и радостно изумился: это был черновик его экзаменационной работы на аттестат зрелости – «Размышления юноши при выборе профессии». Вот уж не думал, что он сохранился! Ведь это написано двадцать семь лет назад… И надо же было ему попасться на глаза именно сейчас, когда Маркс, как и тогда, переполнен размышлениями о будущем, когда стоит на пороге новой работы, новой профессии. Маркс горько улыбнулся: только сейчас он в два с половиной раза старше, чем тогда. Он с любопытством пробежал несколько страниц и две из них, наиболее сохранившиеся, отобрал для «экзаменатора». Затем добавил к ним кое-что из экономическо-философских рукописей 1844 года, более поздних лет, хотел взять что-нибудь из нынешних, но, не сумев ничего выбрать – все было еще слишком горячим и живым, – решил, что потом просто перепишет несколько строк из газеты. Да, почерк – это было видно сразу – с

годами делался хуже, неразборчивей. «Но не может же это быть причиной отказа, – думал Маркс. – Не переписчиком же, в конце концов, они возьмут меня на работу».

В четверг утром, никому не сказав ни слова, Маркс вышел из дому. Железнодорожное бюро находилось довольно далеко от дома Марксов на Графтон-террес, но Карл любил далекие прогулки, а кроме того, в пути он еще раз хотел кое-что обдумать и взвесить. Вначале он все пытался вспомнить, была ли в его жизни пора, когда кошмар безденежья не тяготел над ним, пытался – и долго не мог. Потом его вдруг озарило: а студенческие годы! В одном из писем той поры отец писал ему из Трира в Берлин: «Можно подумать, что мы Крезы: за один год сынок изволил истратить чуть ли не семьсот талеров, тогда как богачи не тратят и пятисот». «Бедный старик, – с нежностью подумал Маркс. – Вероятно, я действительно тратил тогда такие деньги, но разве молодой человек, который каждую неделю изыскивает все более и более эффективные способы разрушить старую систему мира и каждую неделю изобретает системы новые, – разве может он замечать подобные пустяки! И ведь к тому же я был тогда не женат. Очень многие неженатые молодые люди не знают цену деньгам…»

Когда еще у него были деньги? В 1848 году в Брюсселе. Он получил тогда причитавшуюся ему часть наследства. И куда же они пошли? Что было куплено? Несколько тысяч талеров было отдано на нужды бельгийских рабочих, на их революционную борьбу. Остальные, уже в Кёльне, были потрачены на финансовое спасение «Новой Рейнской газеты».

«А ведь ты тогда был уже женат, имел троих детей», – упрекнул Маркса какой-то сторонний практический голос. «Да, да, женат и дети! – зло воскликнул в душе Маркс в ответ на этот упрек. – Плевал я на так называемых „практических“ людей и их премудрость. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Но я считал бы себя поистине непрактичным, если бы не помог бельгийским рабочим, если бы не поддержал „Новую Рейнскую“, если бы, наконец, подох, не закончив „Капитала“. Ради окончания этой работы я пойду теперь служить в контору. Я не имею права подохнуть. Это было бы глупейшее расточительство!»

…В железнодорожном бюро Маркса ждал сюрприз. Мистера Хили не было на месте. Он оставил записку, в которой приносил свои извинения доктору Марксу за непредвиденную отлучку, просил его, доктора Маркса, оставить образцы своего почерка в бюро и писал, что он надеется на встречу с ним, с доктором

Марксом, ровно через неделю. Маркс оставил отобранные страницы и ушел – ничего другого не оставалось. В душе он отчасти был рад, надеясь, что, может быть, за неделю хоть что-то изменится и необходимость в этой работе отпадет.

…Неделя прошла, но ничего не изменилось. Наоборот, положение семьи стало еще тяжелей и безнадежней. Поэтому в назначенный день Маркс вновь появился на пороге железнодорожного бюро.

Мистер Хили встретил его уж слишком любезно, и это, конечно, сразу настораживало. Прочитав с помощью двоюродного брата, знавшего немецкий язык, разрозненные страницы Маркса, Хили сразу понял, кто перед ним – враг, непримиримый, сильный враг всего состоятельного сословия и его самого. Он навел справки, и ему удалось установить, что кандидат на должность – тот самый знаменитый Карл Маркс, «красный доктор», которого, как чумы, боятся правительства всех государств Европы. Тогда желание Хили иметь Маркса служащим в своем бюро еще более возросло. Не только потому, что это льстило бы его самолюбию, – он понимал, что такого могучего и лютого врага лучше всего иметь на виду, держать на привязи, чем дать ему делать что угодно и где угодно. Хили поразился тупости и близорукому эгоизму правительств Пруссии, Франции и Бельгии, которые, как он узнал, поочередно выпроваживали Маркса из своих пределов. «Шкурники! Предатели! – возмущался Хили. – Все правительства мира, все состоятельные люди на свете должны быть солидарны между собой, должны помогать друг другу в борьбе против таких, как Маркс!»

Однако, когда пришлось окончательно решать, брать ли Маркса на службу или нет, Хили забыл слова о солидарности и пересилил страстное желание иметь «красного доктора» у себя в бюро на привязи: почерк Маркса был так ужасен, что его невозможно было взять на службу, это принесло бы материальный ущерб Хили. «Почему, в конце концов, должен страдать я? – рассуждал он. – Разве я самый богатый человек в Англии? Есть другие. Пусть они позаботятся».

Понимая, что он не может привязать Маркса, что он вынужден с ним расстаться, Хили решил все-таки позволить себе хоть какое-нибудь удовольствие: видя, как беспомощен сейчас его враг, он захотел поглумиться над ним.

– Доктор Маркс, – начал он, пододвигая гостю кресло, – я эту неделю не только изучал ваш почерк, но и пытался постичь мысли, изложенные вами. Смею вас уверить, ваши мысли очень мне близки. Некоторые из них даже выписал. Я, например, всей душой разделяю вот эти ваши прекрасные слова о всемогуществе

денег: «Они превращают верность в измену, любовь в ненависть, ненависть в любовь, добродетель в порок, порок в добродетель, раба в господина, господина в раба, глупость в ум, ум в глупость… Деньги осуществляют братание невозможностей; они принуждают к поцелую то, что противоречит друг другу». – Хили перевел дыхание, взглянул на Маркса и воскликнул: – Замечательно сказано! Как после этого не понять желание всех людей, вероятно, и вас в том числе, доктор Маркс, иметь денег возможно больше…

Маркс оставался совершенно спокоен, ничем не выдавая своих чувств.

– Или вот вы пишете, – притворно доброжелательным голосом продолжал Хили: – «Если условия нашей жизни позволяют нам избрать любую профессию, тогда мы можем выбрать ту, которая придает нам наибольшее достоинство, выбрать профессию, основанную на идеях, в истинности которых мы совершенно уверены».

Хили подошел вплотную к собеседнику и с ласковой грустью взглянул ему в глаза:

– Доктор Маркс, если бы вы стали работать у нас, то – не сомневайтесь в этом – вы посвятили бы себя именно той профессии, которая придавала бы вам наибольшее достоинство, которая основана на истинах, не подлежащих сомнению.

Он вернулся к столу, на котором лежали разрозненные листы Маркса и его, Хили, выписки. Положил одну, взял другую.

– «Мы можем выбрать профессию, открывающую наиболее широкое поприще для деятельности во имя человечества, – читал он опять, – и для нашего приближения к той общей цели, по отношению к которой всякая профессия является только средством, – для приближения к совершенству».

Опустив листок, Хили тем же взглядом уставился на Маркса:

– Поверьте мне и здесь: работая у нас клерком, вы, доктор Маркс, наиболее успешно приближались бы к совершенству.

Маркс сохранял молчание.

– Наконец, вы пишете, – все изощрялся Хили: – «Тот, кто избрал профессию, которую он высоко ценит, содрогнется при мысли, что может стать недостойным ее». Я уверен, доктор Маркс, что по своим моральным и интеллектуальным качествам вы были бы вполне достойны своей новой профессии, но, увы, как это ни печально, – и тут голос Хили стал искренним, ибо сейчас он говорил правду, – мы не можем взять вас на службу, ваш почерк чрезвычайно неразборчив, и все говорит о том, что станет он еще хуже. Бюро не может рисковать.

– Мистер Хили, – как ни в чем не бывало, спокойно сказал

Маркс, – я только сейчас вспомнил. Ведь я дал вам лишь очень старые образцы своего почерка, а сегодняшнего образца там нет – я все собирался написать несколько строк, да так и забыл…

– Как? – всполошился Хили. Он тотчас горько пожалел о своей глумливой тираде. А вдруг сейчас Маркс пишет сносно? А вдруг его все-таки можно взять на службу? А вдруг это не принесет ущерба бюро и его можно будет держать на привязи, этого монстра? – О доктор Маркс, пересядьте сюда, вот бумага, я вам сейчас продиктую.

– Это излишне. Я напишу сам. – Маркс взял чистый лист, что-то быстро написал на нем столбиком и протянул Хили. Тот нетерпеливо поднес лист к глазам, мгновение смотрел на него, потом с искренним огорчением вздохнул:

– Нет, доктор Маркс, сейчас вы пишете еще хуже, чем раньше. Я не могу прочитать здесь ни слова, – с нарочитым равнодушием он уронил листок на стол.

Вдруг мистера Хили охватило чувство, похожее на жалость. Молчаливость и сдержанность Маркса он расценил как робость. Строки, написанные им сейчас на чистом листке, показались ему последней отчаянной попыткой – это после таких-то насмешек! – получить место. Хили, пожалуй, даже сделалось немного неловко за свою издевательскую речь. Он испытал потребность какой-нибудь неофициальной фразой, житейским вопросом, интимной интонацией сгладить происшедшее.

– Доктор Маркс, – сказал он таким дружеским тоном, что Маркс почувствовал: сейчас должно случиться что-то очень смешное. – Доктор Маркс, после того как наш деловой разговор окончен, я хотел бы задать вам очень приватный вопрос… Мистер Маркс, вот вы уже сравнительно пожилой человек, жизнь ваша была нелегкой, к тому же вы очень много работаете умственно. Я же почти на пятнадцать лет моложе вас, жизнь моя всегда была обеспеченной и… – Хили поискал слово, – и незатруднительной. Наконец, признаюсь вам откровенно, я не люблю переутомлять себя умственной работой. При таких условиях, казалось бы, я должен был иметь роскошную шевелюру, а вы – не иметь ее. Однако в действительности, увы, дело обстоит наоборот. Вы очень ученый человек – чем вы это объясните? Как вы ухаживаете за своими волосами? Есть ли средство, которое могло бы мне помочь? Я бы не пожалел денег…

– Мистер Хили, – очень серьезно сказал Маркс, – я ошибся, когда писал о всемогуществе денег. Есть нечто, чего они не могут, например, – лысого сделать кудрявым. Я обязательно внесу эту поправку.

Хили бросил на Маркса яростный взгляд.

Как только Маркс, не попрощавшись, вышел, Хили бросился к листку бумаги с его английскими каракулями. С огромным трудом, но все-таки он разобрался в них. Это была слегка измененная в первой строке эпиграмма Роберта Бернса, любимого поэта Маркса:

Году, наверное, в тридцатом
(Точнее я не помню даты)
Лепить свинью задумал черт,
Но вдруг в последнее мгновенье
Он изменил свое решенье,
И вас он вылепил, милорд!

…Шагая домой, Маркс не знал, радоваться ему «провалу на экзамене» или огорчаться. Во всяком случае, было ясно одно: с этим кончено. Теперь надо было во всех подробностях обдумать тот второй план, о котором он не успел рассказать Женни. План этот был уже самой крайней, отчаянной мерой. Он состоял в том, чтобы оставить всю мебель в уплату домохозяину, объявить себя несостоятельным должником по отношению ко всем остальным кредиторам, найти обеим старшим дочерям при содействии Кэннингэмов места гувернанток, пристроить куда-нибудь Ленхен, а самому с женой и маленькой Тусси попросить приюта в одном из казарменных домов для бедняков и бездомных.

Чем ближе он подходил к дому, тем тверже становилось его намерение осуществить этот план. Другого выхода нет, нет и нет. Вот сейчас он откроет дверь и все объявит жене. Никаких возражений слушать не будет. Они бесполезны…

Он открыл дверь, и первое, что увидел, было счастливое лицо жены. Она улыбалась, она плакала.

– Что случилось, Женни? Что с тобой? – опасение шевельнулось в душе Маркса.

– Случилось, случилось, случилось! – радостно повторяла Женни. – Случилось то, что и должно было случиться. Что я тебе говорила? Разве друзья дадут нам пропасть! Они же понимают, что такое Маркс… Случилось то, что Энгельс прислал сто фунтов стерлингов!

– Сто фунтов? Где он мог столько взять? – Маркс был и обрадован и смущен. – Ведь он и сам получает несколько фунтов в неделю…

– Он пишет, что собрал эти деньги необычайно смелой комбинацией.

– Что еще за комбинация? Уж не ограбил ли он банк в Манчестере?

– Ради тебя он способен и на это.

– Он способен на большее. Какая трагедия, что он тратит свои исключительные дарования на торговлю!.. Как, когда, чем я смогу расплатиться с ним?

Маркс не рассказал жене ни о визитах в железнодорожное бюро, ни о втором плане. Лишь с Энгельсом он поделился этим в одном из ближайших писем.

Глава шестая.
Белая ворона

Энгельс проснулся в отличном настроении, как это было почти каждый день после недавнего возвращения с Джерси. Ему вспомнилась фраза из полученного вчера письма Карла: «Хотя сам я испытываю финансовую нужду, однако с 1849 года я не чувствовал себя так уютно, как при этом крахе».

Из столовой послышалось тихое позвякивание посуды.

– Мери! – весело крикнул Энгельс. – Посмотри, какой сегодня ветер.

Судя по шороху шагов, жена тотчас подошла к окну, чтобы взглянуть на флюгер, вертевшийся на соседнем доме.

– Восточный, Фридрих, все еще восточный, – громко сказала она, возвращаясь к столу. – Вставай, пора.

Но и эта весть не испортила настроение Энгельсу. Не будет же ветер все время дуть в одном направлении. Ничего, еще день-другой – и переменится!

Он встал, надел халат и сел к столу, чтобы взглянуть на свое написанное вечером ответное письмо Марксу. Оно получилось длиннющим. Зато, кажется, все сказал, что хотел, и ответил на все вопросы дотошного друга. Что еще?..

На всякий случай он опять пробежал глазами его письмо. Рядом лежало письмо Женни. Он заглянул и туда. С особым сочувствием, как и вчера, прочитал в нем последнюю страницу: «Не правда ли, ведь испытываешь даже радость по поводу всеобщего краха и всеобщей перетряски старой дряни… Хотя мы очень ощущаем американский кризис на нашем кошельке, поскольку Карл вместо двух раз в неделю пишет не более одного раза в „New York Daily Tribune“, однако Вы легко можете себе представить, какое приподнятое настроение у Мавра. Вновь вернулась вся его прежняя работоспособность и энергия, так же как бодрость и веселость духа, находившегося в подавленном состоянии в течение ряда лет с тех пор, как нас постигло великое горе – утрата любимого ребенка…[9] Днем Карл работает, чтобы обеспечить хлеб насущный, ночами – чтобы завершить свою политическую экономию».

Энгельс задумался. Конечно, он тоже должен написать о своем нынешнем настроении. Мавр прочитает это с не меньшим интересом, чем описание кризиса в Манчестере.

Энгельс обмакнул перо, еще чуть помедлил и стал писать: «Со мной, кстати, то же, что и с тобой. С тех пор как в Нью-Йорке

спекуляция потерпела крах, я больше не мог найти себе покоя на Джерси и при этом всеобщем крахе чувствую себя необычайно бодро. За последние семь лет меня все же несколько затянула буржуазная тина, теперь она смывается, и я снова становлюсь другим человеком. Кризис будет так же полезен моему организму, как морские купания».

Все? Энгельс положил перо и посмотрел на улицу. Там разгорался ослепительно яркий холодный зимний день. Он минуту-другую подумал, и перо снова побежало: «В 1848 году мы говорили: теперь наступает наше время; и в известном смысле оно наступило; но на этот раз оно наступает окончательно, теперь речь идет о голове».

Он опять остановился, вспомнил об усиленных занятиях Мавра и дописал: «Мои занятия военным делом приобретают поэтому более практическое значение; я немедленно займусь изучением существующей организации и элементарной тактики прусской, австрийской, баварской и французской армий, а сверх того – еще верховой ездой, то есть охотой за лисицами, которая является настоящей школой».

Пожелав в последних строках здоровья жене и детям, Энгельс вложил письмо в конверт, заклеил его, надписал адрес и поднялся из-за стола.

– Мери, – сказал он, входя в столовую и целуя жену, – ты когда нынче пойдешь на почту?

– Часа через два, не раньше. У меня много дел.

– Ну, это мне не подходит. Придется зайти на почту самому.

– Я тебе не советую.

– А что такое?

Не отвечая на вопрос, Мери осторожно подвела мужа к окну, чуть отодвинула у самого края штору и сказала:

– Смотри. Видишь там субъекта в узком сером пальто, похожем на шинель? Он уже третий раз проходит мимо нашего дома и все косит глаза на окна.

Энгельс знал, что за ним ведется усиленная полицейская слежка. В иные дни он не мог и шагу ступить без того, чтобы два, а то и три шпика не следовали за ним по пятам. Утром они сопровождали его до торговой конторы фирмы на Саузгейт Дин-стрит, семь; днем они топтались у подъезда его деловой квартиры в центре города, если у него была там в это время встреча с приехавшим отцом, с кем-то из братьев или с каким-нибудь коммерсантом; вечером они крались вслед за ним до клуба, а потом – до этого тихого дома на окраине, где он жил. Чтобы не волновать Мери, он обо всем этом ни слова не говорил ей, он лишь просил ее отправлять корреспонденцию – то была ее

добровольно взятая на себя обязанность – по возможности на разных почтовых отделениях города: имелись неопровержимые доказательства того, что их переписка с Марксом частенько перлюстрируется.

– Ты думаешь, он интересуется мной? – спросил Энгельс с беззаботностью, наигранность которой Мери тотчас уловила.

– А кем же? – вздохнула она; слежка за мужем давно не была для нее секретом, уже не раз попадались ей на глаза под окнами эти молодцы, но она ничего не говорила лишь потому, что ясно понимала: муж тоже видит их, но не хочет ее беспокоить. А сегодня он в таком особенно радостном настроении, что, кажется, ничего не замечает вокруг. – И если на его глазах ты отправишь письмо, то уж можно не сомневаться, что, прежде чем попасть к Мавру, оно побывает в руках и других благодарных читателей.

– Ну хорошо! – многозначительно проговорил Энгельс и вернулся в свой кабинет.

Через несколько минут с озорным блеском в глазах он вышел оттуда, держа в руке два конверта. В одном из них было письмо к Марксу. Он протянул его Мери:

– Отправишь, как всегда. А это – я сам.

Она взглянула на второй конверт. Крупными, четкими буквами на нем было написано: «Господину Бунзену, послу Его Величества короля Пруссии. Лондон».

– Что ты задумал? – с тревогой спросила Мери.

Энгельс достал из еще не заклеенного конверта листок хорошей бумаги и протянул жене. Она прочитала:

> «Господин посол! Соблаговолите передать в Берлин г-ну полицей-президенту Хинкельдею, что если его агенты будут продолжать столь подолгу и столь сосредоточенно пялить глаза на мои окна, то я сильно опасаюсь, как бы в конечном итоге их не постигла та же скорбная участь, что и нашего обожаемого монарха.
>
> Искренне
> Фридрих Энгельс-младший,
> эсквайр.
>
> Декабрь 1857 года.
> Манчестер».

Мери засмеялась: немецкие газеты сегодня принесли весть о психическом заболевании Фридриха Вильгельма Четвертого.

– А ты не боишься навлечь этим письмом беду на свою голову? – спросила она.

– Ничего они мне не сделают! – весело ответил Энгельс. – Не посмеют. Да им теперь и не до нас. Хватает других хлопот.

– Хватать хватает, но слежка, однако, продолжается.

– Ну, это само собой! Это тот минимум, который они соблюдают всегда…

Энгельс помолчал, а потом, взглянув исподлобья на жену, спросил:

– Мери, как у нас с деньгами?

– С деньгами? До твоего жалованья еще три дня, а у меня осталось всего около двух фунтов.

– Так мало? Жалко! Надо бы фунтов десять послать Мавру, он просил. У меня есть как раз десять, но завтра за ними придет кредитор.

– Конечно, надо бы, но где взять? Придется повременить.

– Увы, как видно, придется…

•

Через полчаса Энгельс вышел из дома, дразняще вертя в руках белый конверт. Шпик не дремал. Он тотчас возник из кондитерской, куда незадолго до того скрылся, чтобы согреться, и засеменил вслед за стремительно шагавшим поднадзорным. Время от времени, когда не было встречных прохожих, шпик переходил на трусцу, а то и на легкую рысь. С белого конверта он не сводил зорких глаз…

Энгельсу надо было в свою контору, но невозможно отказать себе в удовольствии перед конторой заглянуть на биржу. В последнее время он позволял себе это частенько. Там, на городской Манчестерской бирже, картина паники, охватившей английскую, да и почти всю европейскую, даже мировую буржуазию, представала в особенно беспощадной обнаженности:

Энгельс живо вообразил, как сейчас снова увидит эти перекошенные страхом лица, растерянно блуждающие глаза, трясущиеся руки… Еще вчера эти лица светились довольством, эти глаза были надменны, а эти руки так уверенно, сноровисто и неутомимо считали фунты стерлингов, фунты стерлингов, фунты стерлингов!

По пути Энгельс зашел на почту и сдал письмо. Отойдя от нее шагов сорок, он полуобернулся и увидел, как шпик шмыгнул за почтовую дверь. «Почитай, болван, почитай», – подумал Энгельс и прибавил шагу.

Огромный, высокий, мрачный зал биржи тревожно гудел. То кивая головой, то приветственно поднимая руку, то стискивая в

пожатии чью-то ладонь, Энгельс медленно побрел сквозь публику, внимательно прислушиваясь к разноголосому говору.

– В Глазго, кроме крупных, лопнуло еще много средних и мелких предпринимателей. Ими никто не интересуется, о них не пишут газеты…

– Я слышал, сэр, что завтра-послезавтра приедут греческие купцы. Ах, если бы так!..

– Вне всякого сомнения, что семьдесят пять процентов фабрикантов-прядильщиков работают про запас и лишь немногие имеют еще кое-какие действующие контракты…

– Фирма Пибоди спаслась лишь тем, что после двухдневных переговоров вымолила у Английского банка ссуду в один миллион.

– Позвольте, какой Пибоди? Этот богач американец, который ежегодно дает роскошные обеды в день независимости Штатов?

– А разве вы знаете второго Пибоди? Да, тот самый. Дело дошло и до него. Боюсь, в будущем году четвертого июля нам с вами не удастся пообедать за его счет…

– Разумеется, моя фабрика тоже перешла на неполную рабочую неделю. Но, господа, мои расходы идут своим чередом. Затраты на уголь, смазочные масла и другое остались теми же.

– Не лицемерьте! Ведь жалованье рабочим вы сократили, пожалуй, на треть, а то и наполовину?

– Ну, в общем-то…

– В Гамбурге паника, там все обесценено, абсолютно все, кроме серебра и золота…

– Чтоб провалиться этим немцам с их трусостью и жадностью.

– Не ройте яму другому…

– Шрёдера, сударь, я знаю прекрасно. Его фирма одна из самых богатых и старых в Гамбурге. На днях он воззвал к своему лондонскому брату Джону о помощи. Джон телеграфировал: если двух миллионов марок банкнотами будет достаточно, то он готов послать на эту сумму серебра. Христиан тотчас ответил: три миллиона или вовсе ничего. Такую сумму Джон послать не мог, и Христиан Матиас Шрёдер взлетел на воздух…

На Энгельса многие посматривали заинтересованно. Было известно, что молодой купец-немец получает французские, американские, прусские газеты и потому обычно осведомлен о событиях в мире гораздо раньше и лучше, чем все деловые люди Манчестера. К нему хотели бы подойти, с ним охотно поговорили бы, но у него был вид человека куда-то сосредоточенно устремленного, и никто не решался его остановить.

Вдруг Энгельс неожиданно столкнулся лицом к лицу с самим Джоном Поттером, мэром Манчестера. Это был очень толстый

сорокашестилетний господин, рыжий, краснолицый, большой весельчак и бабник, «боров», как его звали в городе. Ни обойти, ни сделать вид, что не узнал, тут, конечно, невозможно, пришлось раскланяться.

– Господин Энгельс! – таким тоном, словно это встреча на охоте или на бегах, воскликнул Поттер. – Какие новости вы нам принесли? Что происходит в этом сумасшедшем мире?

– Новости? – во весь рот улыбнулся Энгельс. – Новостей много, сэр, но все они сегодня отступают на задний план перед новостями, что мы узнаём здесь, в этом зале. За этими новостями я сам сюда и пришел.

Несколько знакомых и незнакомых биржевиков приблизились к Энгельсу и мэру. Образовалась группа, которая постепенно росла.

– Здесь новость отличная! – с преувеличенным энтузиазмом завзятого весельчака ударил в жирные ладони Поттер. – Цена на хлопок поднялась до семи с четвертью пенсов за фунт. Значит, самое худшее миновало!

Это было неожиданностью. Еще вчера цена на хлопок держалась около шести с половиной пенсов, и все говорили о том, что она должна упасть еще ниже. Конечно, и сейчас положение большинства фабрикантов крайне тяжелое, некоторых – отчаянное, восемь или десять мелких текстильных фирм на днях уже лопнули. Но, по расчетам Энгельса, кризис в этой отрасли промышленности лишь тогда станет по-настоящему силен и страшен, когда цена на хлопок опустится до шести пенсов.

– Да, да! – возбужденно колыхал свои телеса Поттер. – Как мэр города я с радостью и гордостью отмечаю, что многие вновь поднимаются на ноги. Я сам видел, что Мендл держит весь свой большой товарный склад освещенным до десяти часов вечера – нагрянули купцы из Индии, из Леванта и покупают огромные партии хлопка, пряжи, тканей…

– Тем самым подготавливая в Индии и Леванте резервный кризис, – со спокойной улыбкой сказал Энгельс.

– Типун вам на язык! – с неожиданным для такой туши проворством махнул рукой Поттер.

– Увы, господа, дела обстоят именно так, – улыбаясь, как при раздаче рождественских подарков детям, сказал Энгельс. – Конечно, в развитии кризиса могут быть и даже вероятны послабления, но они будут носить временный характер. Ведь нет уже никакой новой Австралии или Калифорнии, которые могли бы спасти. Поверьте, уедут индийские купцы с товарами, купленными здесь за бесценок, и Мендл, которому все вы сейчас так завидуете, снова окажется на мели. А цена на хлопок очень

скоро опять упадет.

– Вы Кассандра, Энгельс! – воскликнул кто-то.

Энгельс рассмеялся. И смех его, такой звонкий, беззаботный, веселый, прозвучал столь неожиданно и странно в этом мрачном зале, среди охваченных страхом и отчаянием людей, что все обернулись, а некоторые даже подошли взглянуть на человека, который так смеется здесь в такое время.

– Вы сказали, сэр, – обратился к Энгельсу высокий господин с пышными бакенбардами, – что мы все завидуем Мендлу. Да, это так. Но разве вы сами ему не завидуете? Разве ваша фирма в отличие от всех нас не несет в эти дни никакого ущерба?

– Позвольте, господин Трост, – вмешался владелец трех крупных шелкопрядильных фабрик желтолицый горбун Джон Понди. – Задавать такие вопросы не корректно. В конце концов, это коммерческая тайна…

– Ах, какие теперь, к черту, тайны! – вспылил Трост. – У меня находится в пути на кораблях тридцать пять тысяч мешков кофе, и каждый мешок, прибыв в Англию, станет дешевле на фунт стерлингов. Значит, господин Понди, я теряю на этой операции тридцать пять тысяч фунтов. А это четверть всего состояния нашей семьи. Вот вам моя тайна, съешьте ее!

Казалось, Трост готов был с кулаками ринуться на горбуна, но тот негодующей походкой отошел в сторону. Пожалев о сцене, которая могла бы быть очень занимательной, Энгельс сказал:

– Разумеется, и наша фирма несет ущерб, господин Трост, так что все мы сейчас, как в судный день, находимся в одинаковом положении.

– Но почему вы так беззаботны и веселы, черт возьми, почему у вас такое радостное настроение? – не унимался кофейный торговец.

Энгельс видел, что его настроение злит не одного Троста, а всех, но это-то ему и нравилось, ему хотелось еще подлить масла в огонь, и он сказал:

– Вероятно, потому, господин Трост, что наша фирма пока все-таки понесла гораздо меньший ущерб, чем вы. Я лично потерял лишь триста фунтов; после выплаты дивидендов при благоприятном исходе эта сумма может упасть даже до ста восьмидесяти фунтов.

– На вашем месте я бы и в этом случае не радовался. Разве сто восемьдесят фунтов валяются на дороге? – мрачно пробубнил Трост.

– Я думаю, – Энгельс оценивающим взглядом прицелился в Троста, – что вас может ввергнуть в безграничное уныние утрата даже одного пенса.

– Пенс – это тоже деньги! – вызывающе выпалил Трост. – И я знаю, как из пенсов делать фунты.

– Да, конечно, вы знаете, – охотно согласился Энгельс и отвернулся от Троста. – Надо иметь в виду, господа, что сейчас стоят морозы и дуют восточные ветры, из-за чего ни один корабль не может прибыть в Англию. Если это продлится еще одну-две недели, то цены на все продукты наверняка повысятся.

– Вы в этом уверены? – тревожно спросил кто-то.

– Абсолютно! – беззаботным тоном подтвердил Энгельс. – Как и в том, что при первом же западном ветре, который пригонит огромный флот, цены еще более стремительно полетят вниз, безжалостно разрушая все попытки взвинтить их.

– Значит, нам надо молить бога о восточном ветре? – спросил Трост.

– Все предприниматели Манчестера, кроме вас, сударь, – Энгельс легко повернулся на каблуках к вопрошавшему, – уже давно забыли все другие молитвы.

Трост что-то хотел ответить, но в это время, довольно бесцеремонно оттолкнув его, в самую середину столпившихся фабрикантов и кузнецов ворвался небольшого роста тщедушный человечек и перепуганно затараторил:

– Вы слышали, господа? Вы слышали?.. Вчера в Фейл-суэрте рабочие повесили чучело своего фабриканта Лидла!..

– Кто вам сказал? – перебил тщедушного вестника Поттер.

– Да сам Лидл! Он здесь, вон стоит!

Все посмотрели в сторону, куда указывал человечек. Шагах в пятнадцати в окружении нескольких биржевиков стоял сухопарый элегантный джентльмен и что-то рассказывал, его слушали внимательнейшим образом.

– Вот человек и прославился, – тоном отчаянного завистника сказал Энгельс.

– Как можно над этим шутить! – возмутился тщедушный. – Вчера они повесили чучело Лидла. А вы уверены, что завтра они не захотят продолжить эту ужасную игру? Вы уверены, что завтра они не повесят чучело Пальмерстона, а послезавтра?!

– Я уверен в том, – Энгельс сверху вниз добродушно посмотрел на человечка, – что долго пробавляться чучелами рабочие не станут.

– Что?! – у тщедушного задрожала челюсть. – Вы допускаете мысль… – дальше он говорить не мог.

– Вполне допускаю, – Энгельс кивнул головой. – Но утешением тут может служить другая мысль: если правильна пословица «кому суждено быть повешенным, тот не утонет», то правильно будет сказать и наоборот: кому суждено утонуть, того

не повесят. Так как многим из присутствующих сейчас в этом зале предстоит утонуть в волнах кризиса…

– Оставьте, господин Энгельс!

– Но разве это не правда? Разве уже не утонули около двадцати фабрикантов в нашей шелковой промышленности? Разве не пошли на дно Беннок, Туэнтимен и Ригг? А за границей! Шрёдер – в Гамбурге, Хаймендаль, Линде, Трапненберг – в моем родном Вуппертале. В Вене обанкротились сто пять фирм. В Америке картина еще выразительней… Ясно, что этим людям уже никак не грозит опасность быть повешенными. Кто же вешает утопленников!

– Ах, лучше бы вас не слушать! – в сердцах воскликнул до сих пор молчавший Джемс Тернер, очень богатый шестидесятилетний фабрикант, член парламента. – Я хочу узнать у господина мэра, правда ли, что в последнее время в нашем городе были случаи грабежей и даже – страшно сказать – убийств.

Поттер ответил не сразу, видимо, ему не очень-то хотелось говорить на эту тему, но потом, приняв во внимание, что находится все-таки в своем кругу, он выдавил из себя:

– Да, господа, такие случаи имели место. Более того, я не хочу от вас скрывать, что число их день ото дня растет…

– Странно, если бы дело обстояло иначе, – сказал Энгельс. – Ведь безработных становится все больше. Сперва они лишь бродят по улицам и нищенствуют, но потом им приходит в голову вполне естественная в их положении мысль: а не позаимствовать ли у братьев во Христе – купцов и фабрикантов, когда они встретятся в темном переулке, некую толику их накоплений?

В это время в дверях зала появился Ричард Кук, один из совладельцев огромной текстильной фабрики на Оксфорд-род. Он окинул взглядом публику и, почему-то остановив свой выбор на группе, в которой стоял Энгельс, подошел к ней.

– Господа! – с вызовом бросил Кук, и от него пахнуло вином.

«Прийти на биржу в подпитии? И в такое время? подумал Энгельс. – Этого с английскими деловыми людьми, вероятно, не случалось еще от века».

– Господа! – повторил Кук. – Мы распродаем своих охотничьих лошадей и собак. Гончих уже продали, остались сеттеры. Кто купит? Уступим по дешевке…

– Сударь! Что вы говорите!.. – развел руками Поттер.

– Не верите? Мой брат Дэвид уже рассчитал всех слуг и покинул свой дворец, чтобы отдать его внаем. Кому нужен дворец? Вы мне не верите? Берите дворец! Жалеть не придется…

– Я лично верю вам вполне, – сказал Энгельс и, полуобернувшись к Тернеру, вполголоса добавил: – Вот вам еще

один из тех, кому уже не грозит быть повешенным.

Оборачиваясь, Энгельс заметил человека, показавшегося ему знакомым. Он вспомнил, что этот человек в течение всего разговора был здесь, неподалеку, но Энгельс почему-то так ни разу и не вгляделся в него. Сейчас же, едва бросив еще один, мимолетный, но внимательный взгляд, он сразу понял, кто это: да шпик же, карауливший его утром! Значит, он слышал весь разговор, все доводы и все предсказания Энгельса!.. Ну и что? Если ты не побоялся высказать все это в присутствии члена парламента и мэра, то что тебе жалкий шпик! Плевать на него.

По залу прошло какое-то быстрое, тревожное движение, послышались приглушенный говор, вскрики, несдержанные проклятия.

– Что такое? В чем дело?

– Господа! – дрожащим, словно предсмертным голосом произнес кто-то рядом. – Цена фунта хлопка сорта мидлинг упала до семи пенсов…

Краснолицый Поттер побледнел и стал от этого сразу каким-то неузнаваемым.

– Черт подери! Неужели вы были правы, Энгельс? – бросил он и куда-то ринул свою тушу – видимо, туда, где можно проверить полученное известие.

Вслед за мэром рассеялись и остальные. Шпика нигде не было видно. Энгельс снова решил пройтись по залу и понаблюдать.

– Семь пенсов, семь пенсов… Что же теперь будет?..

– Французские фабриканты обращаются со своими рабочими так бесцеремонно, будто никогда не бывало революции.

– Сэр, чья бы корова мычала…

– Десять и три четверти пенса, сударь вы мой, – это хорошая цена за фунт пряжи. Больше я дать не могу.

– Позвольте, но я продавал за четырнадцать и даже четырнадцать с половиной.

– Это было вчера.

– Ну давайте одиннадцать с четвертью, и по рукам.

– Такую цену давали утром, а сейчас уже близится полдень. И, надеюсь, вы слышали, сколько теперь стоит фунт мидлинга. Мидлинга!

– Хорошо. Ваша взяла.

– Десять и три четверти?

– Да, да, чтоб вам провалиться…

– Еще месяца три – и пляска, мой милый, начнется вовсю..

– Человек, бывший в Ливерпуле в понедельник, уверял меня, что на тамошней бирже лица вытянуты в три раза больше, чем

здесь.

– Скоро все английские бизнесмены станут похожи на лошадей.

– На загнанных кляч, с вашего разрешения…

– Старина Брей, в отличие от многих, еще сохранил чувство собственного достоинства и потому вовсе не предлагает своего товара, видя, что никто ничего не может продать.

– Подумаешь, какой гордец! Брей, Грей, Дрей – все сейчас сравнялись…

– И никто не продает фабрикантам пряжу иначе как за наличные или под верное обеспечение. Наличные – и только! Деньги на бочку – и все! А где их взять?..

– Плохо, почти безнадежно, несмотря на двукратную большую субвенцию…

– И все-таки я утверждаю, что кризисы – это выдумка социалистов.

– Пардон, но факты!

– Это просто случайное стечение неблагоприятных обстоятельств…

– Но вы же сами на этом горите!

– Случайно! Совершенно случайно!..

Прорезая суетящуюся толпу то в одном, то в другом направлении, высокий, спокойный, улыбающийся Энгельс внимательно вслушивался в разнообразно-однообразный панический говор, всматривался в знакомо-незнакомые потерянные лица.

Давно пора было в контору. Когда Энгельс уже направился к выходу, его нагнал Понди, видимо поджидавший удобного момента.

– Извините, сэр, – сказал он, слегка касаясь руками остановившегося Энгельса. – То, что вы говорили нам, ужасно, но, видимо, вы человек сведущий. Могли бы вы ответить мне на два вопроса?

– Если это в моих силах, господин Понди.

Понди благодарно кивнул.

– Во-первых, я хотел бы узнать вот о чем. Мы купили семь тысяч кип шелка. Шелк еще на кораблях в море. Когда корабли прибудут, то, видимо, кое-какую сумму придется оплакать, – горбун сделал жалкую попытку улыбнуться. – Как вы думаете, велика ли может быть эта сумма?

Фирма Джона Понди колоссально разрослась за последние пять лет. Об изощренности способов выжимания соков из рабочих на его фабриках рассказывали легенды. В особенно бесчеловечных условиях работали у него дети. Самодовольный и

беспощадный паук, он сейчас с таким трепетом смотрел в глаза собеседнику, словно именно от этого беззаботного немца зависела величина предстоящего урона.

Энгельс, во всех подробностях знавший экономическую конъюнктуру дня, довольно быстро подсчитал, что на семи тысячах кип шелка Понди потеряет около трехсот тысяч фунтов стерлингов. Не больше, к сожалению.

– Ваши потери на этой операции, сэр, – весело, твердо и честно глядя в глаза горбатому душегубу, соврал Энгельс, – составят не меньше четырехсот двадцати тысяч фунтов.

Как Понди ни крепился, но все же не мог совладать с собой. Он вздрогнул словно от удара.

«Что, каналья, не нравится?» – весело подумал Энгельс.

– Позвольте, позвольте, – горбун судорожно хватал ртом воздух, – на чем основаны ваши расчеты?

– Сэр, у меня нет времени излагать вам все свои соображения в подробностях. О чем вы хотели спросить еще?

Понди, казалось, забыл свой второй вопрос. Он был ошарашен, раздавлен. Но все же, помолчав несколько секунд, перевел дух и, видимо понимая, с каким редким собеседником разговаривает, спросил:

– Ну а как вы думаете, чем все это может кончиться?

– Что – это?

– Все! – Горбун махнул несоразмерно длинной рукой в сторону снующей, гудящей толпы.

– Все это, – медленно и внятно проговорил Энгельс, – может кончиться вторым всеевропейским изданием сорок восьмого года.

– Революцией? – шепотом переспросил Понди.

– А вы думали, скачками на ипподроме?

Энгельс резко, по-военному повернулся. В толпе, совсем близко, перед ним опять мелькнуло лицо шпика. Оставив обалдевшего и перепуганного горбуна на месте, Энгельс вышел из зала.

•

Вечером, окончив дела в конторе и зайдя в свою квартиру, что в центре города, чтобы переодеться, Энгельс направился в клуб «Меркурий». Это один из самых известных и богатых клубов деловых людей Манчестера. Его завсегдатаями были многие из завсегдатаев биржи. Следовало ожидать, что дневные встречи и разговоры вечером продолжатся. И здесь можно будет – а Энгельсу очень хотелось этого – еще и еще видеть панику и страх

среди бизнесменов, еще и еще слышать их стенания, жалобы, вопли. Дело не в удовлетворении мстительного чувства по отношению к врагу, хотя, конечно, картиной переполоха среди богачей это справедливое чувство удовлетворялось, – главное состояло в том, чтобы возможно точнее и глубже знать степень деморализации в лагере противника, знать самому и сообщить об этом Марксу, который не располагал возможностью все это видеть так близко, подробно и многосторонне.

Войдя в клуб, Энгельс сразу понял, что сегодня здесь много пьяных: слишком громко говорили, слишком неуверенно двигались.

Как и утром на бирже, его сразу заметили.

– Господин Энгельс, – крикнул кто-то за ближним столиком, – окажите нам честь. Вот для вас место.

Сквозь табачный дым лица проступали не слишком отчетливо, но Энгельсу было безразлично, с кого начать осмотр этого паноптикума, и он занял предложенное место.

– Какие новости? – спросили его, как и утром на бирже.

– Сейчас, господа, мир живет тремя новостями, – смеющимся взглядом он обвел хмельные физиономии.

– Тремя? Какими же?

– Первая, – Энгельс загнул палец, – смерть Кавеньяка.

– Царство ему небесное! – икнул господин, сидевший справа. – Мог бы, конечно, еще и пожить, ведь ему было лет пятьдесят пять, не больше. Но, скажу честно, меня эта новость не занимает. Я озабочен тем, как бы самому в этой обстановке не дать дуба.

– Вторая новость, – Энгельс загнул еще один палец. – Наконец-то объявлено об идиотизме Фридриха Вильгельма Четвертого.

– Как? Сошел с ума? – удивился тот же сосед справа. – Я об этом не слышал.

– Что значит… наконец объявлено? – спросил толстяк, сидевший напротив.

– Об идиотизме отца нашего отечества мы, немцы, знали давно, однако это считалось почему-то государственной тайной номер один.

Все засмеялись.

– Вы, господин Энгельс, большой шутник, – пьяно покрутил головой толстяк. – Но лучше скажите нам, будет ли безумие вашего короля иметь какое-либо последствие для положения дел на нашей бирже.

– Думаю, что нет, не будет.

– Ах, не будет! Ну, тогда и эта новость нас ничуть не интересует. Какая же третья?

– Вот уж третья-то наверняка не оставит никого из вас равнодушным, – Энгельс снова обвел веселым взглядом все лица. – Тернер-младший женился на балетной танцовщице Анни Пейн! Вся семья в ужасе… Что вы на это скажете?

– Сударь! Да вы издеваетесь над нами! – вдруг вспылил покуда хранивший молчание сосед слева. – Вас спрашивают о деле, а вы… Кого сейчас может интересовать даже самая скандальная женитьба!

– Действительно! – зашумели остальные. – Его о деле, а он порет какую-то чушь: Кавеньяк, Фридрих Вильгельм, девица Пейн…

– Господа! – Энгельс решительно поднялся. – Очень жаль, что наши интересы сегодня так разительно не сходятся. Честь имею!

Он резко, с шумом отодвинул стул, четко повернулся и пошел.

За соседним столиком фабрикант Лидл, ранее известный своей молчаливостью, опять рассказывал, как рабочие повесили его чучело:

– Они это сделали, господа, in optima forma[10], с вынесением приговора и даже с последующим отпеванием. Отпевал, облачившись в шутовскую рясу, один старый ткач. Я его знаю, негодяя. Вместо слов «Да смилостивится господь над душой твоей!» старый шут произнес: «Да наплюет господь на душу твою!»

Лидла слушали очень внимательно, никто не улыбался, хотя по глазам и позам было ясно, что все уже сильно хмельны.

«Ослы, внимающие Валаамовой ослице», – подумал Энгельс.

Прямо на него по проходу между столиками шел совсем уже набравшийся Кук. Приблизившись, он схватил за руку и, видимо не узнавая, пробормотал:

– Купите у меня охотничью лошадь… последняя… все распродал… Коняга отменных статей…

– Благодарю, – дружески улыбнулся Энгельс. – У меня есть лошадь для охоты. Лучше вы купите у меня партию отменной пряжи.

– Сколько? – машинально спросил Кук, но тут же спохватился: – Я? Купить? Сударь, вы наносите мне оскорбление. Вот вам моя визитная карточка. Завтра ждите секунданта.

– К вашим услугам, сэр, – Энгельс вынул свою визитную карточку и опустил ее в нагрудный кармашек Кука. Завтра он, конечно, долго будет вспоминать, как у него оказалась карточка хорошо знакомого ему человека.

Энгельсу захотелось пить. Он подошел к буфету.

– Добрый вечер, господин Энгельс, – приветствовал его

совершенно трезвым и потому столь странно звучащим здесь голосом знакомый бармен.

– Добрый вечер, Харпер! Как идут дела? Кажется, неплохо? Для клубов и ресторанов Англии настала пора расцвета.

– Да, сударь, наши доходы растут, потребление ликера и других крепких вин с каждым днем увеличивается, но, – Харпер смущенно пожал плечами, – меня это все-таки как-то не радует… Они, – он кивнул в сторону зала, – приходят сюда потому, что никто не может усидеть со своими заботами дома. Всем страшно. И кто глубже увяз, тот больше пьет и упорней старается развеселиться… Что выпьете?

– Стакан лимонада.

– О, я вижу, ваши дела прекрасны! – воскликнул бармен, открывая бутылку. – По тому, кто сколько пьет и что пьет, я безошибочно определяю сейчас положение его дел. Лимонад уже давно никто не просил. Да и вид у вас весьма далекий от уныния.

– Есть причины, старина, есть причины!

– А мне, господин Энгельс, как и им, страшно, хотя наши доходы растут. Мы все как на зачумленном корабле…

Энгельс выпил свой лимонад и шутливо крякнул, как после чего-то крепкого.

– Спасибо, Харпер. Пойду посмотрю, что делается в бильярдной.

– Кажется, там пусто…

Действительно, все три бильярда стояли без дела. На среднем, самом большом, лениво и бесцельно гонял шары старший сын Джемса Тернера – Джек, по прозвищу Жирный. Казалось, он был совершенно далек от тех кошмарных страстей, которые терзали сейчас посетителей этого дома. Увидев вошедшего, он оживился.

– На ловца и зверь! Сыграем, господин Энгельс?

Джек Тернер был известен как отличный игрок. Его триплеты и абриколи славились на весь Манчестер. Правда, он уже изрядно выпил, но это едва ли скажется заметно на игре, он почти всегда брал кий в руки именно в таком состоянии и почти всегда выигрывал. Во всяком случае, Энгельсу во встречах с ним еще ни разу не удалось избежать поражения. Несмотря на это, сегодня ему очень хотелось сразиться с отпрыском одного из первых богачей города и если не выиграть, то хотя бы потрепать ему нервы.

Энгельс ответил со смехом:

– Что с евнухом, что с женщиной играть – не все ль равно?

– С евнухом? – удивился Тернер.

– Это не о вас, разумеется, – сказал Энгельс, выбирая кий. –

Так у Шекспира говорит Клеопатра, когда ей приходится решать дилемму, с кем играть: со служанкой или с евнухом. А вы – какой же вы евнух! Вы известны в городе совсем с другой стороны.

Тернер самодовольно улыбнулся.

– Но позвольте, – сказал он через несколько мгновений. – Клеопатра с кием в руках? Разве в античном мире бильярд был уже известен?

– Нет, конечно, – Энгельс достал монокль и вставил в правый глаз.

– Так чего же Шекспир дурачит нам голову?

– Подумаешь! – Энгельс сделал пробный удар по шару, выбранный кий ему понравился. – Велика важность. Если бы все люди, особенно сильные мира сего, допускали лишь подобные ошибки… Как играем?

– Пирамидку.

– Идет. Какая ставка?

– Меньше чем на пять фунтов я, как всем известно, не играю.

Тернер безбожно врал: больше чем фунт здесь никогда не ставили. А пять фунтов были немалой для Энгельса суммой – его недельным жалованьем. Но он, понимая, как шатка надежда на выигрыш, все-таки задорно воскликнул:

– Пять? Хоть десять!

– Десять? – Мелок, которым Тернер намазывал острие кия, хрустнул у него в руках и рассыпался. – Вы готовы поставить десять фунтов, играя против короля манчестерского бильярда?

– Готов, ваше величество! Мне всегда нравилось играть против королей.

– Ну-ну, – зловеще промычал Тернер.

Сделать первый удар досталось Энгельсу. Он не хотел осторожничать и хитрить, его подмывало желание созоровать, показать свое пренебрежение к противнику, и он сильнейшим клапштоссом – ударом в центр битка, при котором биток после столкновения с шаром останавливается, – разнес всю пирамиду.

Тернер удивленно взглянул на противника и лишь потом – на темно-зеленое поле. Странное дело! Шары разметаны по всему пространству, но, кажется, нет ни одного, который бы ложился в лузу легко и верно. «Везет нахалу», – подумал Тернер. Однако наметанный глаз вскоре кое-что выискал. Первый шар он положил в угол изящным карамболем, второй – в боковую лузу простым, но четко выполненным накатом. Но и Энгельс, когда пришла его очередь, с одного кия тоже забил два шара, сперва двенадцатый, потом восьмой. Сумма очков у него оказалась даже больше на четыре, чем у Тернера.

Привлеченные высокой ставкой выигрыша, вокруг собирались

любопытные.

– Что с евнухом, что с женщиной играть – не все ль равно? – повторил Энгельс, намазывая мелом острие кия и большой палец левой руки.

Тернер посмотрел на него с раздражением и плохо ударил: верный шар не пошел в лузу. А Энгельсу снова повезло – он положил в угол очень трудный шар. Человек явно был в ударе.

Вскоре Тернер забил еще два шара, билей у него стало больше, но по очкам он продолжал отставать.

Вдруг в зале послышался какой-то шум, раздался звук падающих стульев, невнятные выкрики. Кто-то вбежал в бильярдную с возгласом:

– Господа! В клуб рвется толпа неизвестных людей! Нападение!

Все бросились в двери. Тернер положил на стол кий с очевидным намерением присоединиться к большинству.

– Сударь, – спокойно сказал Энгельс, – партия начата. Ваш удар.

– Да, но если там нападение… – промямлил Тернер, нехотя беря кий.

– Какое еще нападение! Просто поскандалили пьяные. Кому нападать-то?

– Кому? – под внешним спокойствием и хмелем у Тернера, оказывается, тоже, как у всех, таился страх. – Разве вы не слышали, что в городе начинают пошаливать?

Он ударил, да так неловко, что шар перелетел через борт. Такое случается с ним раз в три года. Король, видимо, потерял твердость руки и остроту глаза.

– Кто же это? – добродушно спросил Энгельс.

– Известно кто – рабочие наших фабрик.

– Конечно, у них есть основание желать разнести в щепки наш клуб. Я думаю, они это могут и осуществить. Но невероятно, чтобы рабочие решили сделать это именно сегодня, когда я впервые выигрываю партию у короля манчестерского бильярда и имею шанс содрать с него десять фунтов.

Тернер, который поначалу, казалось, все больше и больше хмелел, теперь стал совсем трезвым. Он взял себя в руки и положил два отличных шара: один – красивейшим дуплетом в среднюю лузу, другой, висевший над угловой лузой, – труднейшим абриколем, ударом кия в биток, стоящий у самого борта. Да, это был все-таки подлинный мастер! Теперь у него стало больше очков. И тому и другому до победы могло хватить одного шара. Тернеру достаточно было забить любой шар с цифрой не ниже шести, Энгельсу для победы требовалось десять

очков. На поле оставался лишь единственный шар, который мог дать ему победу одним ударом, – шар с цифрой «один», так называемый туз, имеющий одиннадцать очков. Энгельс понимал, что если предоставить противнику хорошую возможность для удара, то он, конечно, возьмет свои шесть очков, и все погибло. Надо было решать дело сейчас. Где туз?..

– Между прочим, ваше величество, – медленно говорил Энгельс, медленно обходя стол, – ваш знаменитый собрат и коллега Карл Девятый в ночь на двадцать четвертое августа 1572 года играл в Лувре на бильярде, когда услышал звон колоколов, призывавший католиков бить гугенотов. То была, как вы помните, Варфоломеевская ночь.

– О, господи! Какие мрачные сравнения! – без тени шутки воскликнул Тернер, опасливо поглядывая на открытую дверь и прислушиваясь к звукам в зале. – Меня, как я вижу, вы хотели бы видеть в роли не короля, а гугенота…

– В ту ночь, – как бы в пространство произнес Энгельс, принимая стойку для удара, – в Париже было убито около двух тысяч гугенотов.

– Перестаньте, господин Энгельс, – нервно передернул толстыми плечами Тернер.

– А потом еще тридцать тысяч в других городах Франции…

– Вы слышите? – всполошился Тернер, указывая кием в сторону зала. – Там опять что-то началось. Пойдемте отсюда!

Энгельс ударил, и неудачно. «Все пропало! – с досадой подумал он. – Сейчас этот тип врежет шар с цифрой „восемь“, и мне придется платить».

– Пойдемте отсюда! – повторил Тернер.

– Сэр! Я не узнаю вас, – усмехнулся Энгельс. – Или я действительно играл не с мужчиной, а с евнухом? Бейте, ваш черед. Мы уйдем отсюда только после того, как закончим партию.

Тернер прицелился. Теперь ему хотелось не столько выиграть, сколько быстрее закончить игру. Он прицелился, конечно, в удобно стоявший восьмой шар, и прицелился тщательно, но руки у него, видимо, дрожали, он потерял кладку, и удара не получилось, шар нелепо ткнулся в борт рядом с лузой. Энгельс понял, что у него появился еще один, и последний, шанс – такую ошибку Тернер уже не повторит. Где же туз?..

– Да, сударь, – Энгельс опять пошел вокруг стола, изучая положение на поле, – было убито за несколько дней около тридцати пяти тысяч гугенотов.

_ Да к чему вы все это? – не вытерпел Тернер.

– А к тому, милостивый государь, – Энгельс выбрал позицию для удара, – что политические страсти и классовая ненависть

гораздо сильнее страстей религиозных.

Раздался топот ног, и в бильярдную вбежал бармен.

– Господин Энгельс! – задыхаясь, проговорил он. – Там ломится в дверь толпа озверевших рабочих. Они убили швейцара… Вы тут единственный трезвый человек, вы тут единственный, к кому у рабочих нет ненависти… Подите поговорите с ними… Спасите нас!

Тернер бросил кий и кинулся к двери.

– Назад, евнух! – Энгельс одним прыжком догнал беглеца, схватил за плечо и крутанул в направлении бильярдного стола. – Я вам сказал, что вы не уйдете, пока мы не кончим партию. Ваша попытка к бегству тем более позорна, что ход мой. Я завтра же поставлю перед правлением клуба вопрос о вашем исключении из членов за такое недостойное поведение… И вы, Харпер, обождите. Я сейчас.

Туз стоял крайне неудобно; неудобно, почти у самого борта, стоял и биток. Энгельс примерился и так и этак. Положить туза можно было лишь сложнейшим триплетом в среднюю лузу. А триплет за всю жизнь Энгельсу удавался не более четырех-пяти раз. Но надо, надо!.. Ударив, Энгельс закрыл глаза и, как ему показалось, очень долго не открывал их. На самом деле он открыл их почти тотчас и увидел, как туз резко ударился о борт, отскочил к противоположному и от него – мягко и точно – в лузу!

Энгельс подбросил под потолок кий и торжествующе хлопнул в ладоши.

– Гоните, сэр, десять фунтов! – воскликнул он, жалея, что лишь один Харпер видит поверженного короля.

– У меня нет денег, – проговорил бледный Тернер.

– Что?! – взревел Энгельс, монокль выпал у него из глаза и повис на шнурке. – У вас нет денег, а вы начинаете игру? Да еще на такую ставку? Ваше величество, самое малое за это бьют по физиономии!

– Я был уверен, что выиграю, – лепетал Тернер.

– Ах, вы были уверены! – Энгельс, как видно, для острастки перехватил кий подобно дубинке, тяжелым концом вниз, и угрожающе двинулся на Тернера. – Даже Карл Девятый не был уверен в исходе Варфоломеевской ночи…

Харпер, видя, что дело может кончиться крупным скандалом, и желая скорее заполучить Энгельса, примирительно сказал:

– Бывает, господин Энгельс, со всеми случается… Я заплачу вам десять фунтов. А господин Тернер потом мне отдаст, – вынув из кармана два пятифунтовика, он протянул их победителю.

– Ни в коем случае, господин Харпер, я не приму эти деньги из ваших рук. – Энгельс поставил кий и глубоко засунул руки в

карманы. – Пусть Тернер возьмет их у вас и передаст мне.

Мгновение помешкав, Тернер схватил деньги Харпера и торопливо сунул Энгельсу. Но тот не спеша, внимательно оглядел всю фигуру дрожавшего от нетерпения и страха Тернера, наслаждаясь этим зрелищем, и лишь потом взял деньги.

– То-то, евнух! – бросил он вдогонку уже летевшему к двери королю. – И завтра же отдайте долг Харперу. Иначе в правлении окажется два моих заявления на вас.

– Скорее, господин Энгельс, скорее! – тянул за рукав Харпер.

Энгельс снова взял кий, как дубинку, и они вышли в зал. Сразу бросилось в глаза, что здесь почти все протрезвели. Лишь несколько совсем уж безнадежных голов свисали над столами. Из вестибюля действительно доносились крики, кто-то неистово стучал в дверь. Энгельс направился туда. Вдруг из-за столика навстречу ему поднялась нескладная, совершенно пьяная фигура. Энгельсу показалось, что это все тот же шпик. Он не ошибся. Шпик, весь день следивший за поднадзорным, весь день слушавший его, был буквально перенасыщен рассуждениями, доводами и предсказаниями Энгельса. Они произвели на него такое гнетущее впечатление, что к концу дня, уже здесь, в клубе, он впал в состояние меланхолической депрессии. Стремясь выйти из этого состояния, он пропустил несколько рюмок. Не помогло. Выпил еще – опять нет желаемого результата. И так, все повторяя и повторяя попытки, он постепенно до того наспиртовался, что совершенно забыл, где он, кто он и что с ним происходит.

Когда шпик увидел приближающегося к нему Энгельса, какое-то подобие должностного рвения слабой тенью мелькнуло на его лице. Он встал, вышел в проход между столиками, что-то промычал в лицо своему поднадзорному и вдруг рухнул поперек прохода.

– Бедняга! – сочувственно сказал Энгельс. – А ведь полицей-президент Хинкельдей так на тебя рассчитывал!

Легонько ткнув несколько раз кием в бесчувственное тело, Энгельс перешагнул через него и, не оглядываясь, пошел дальше.

Вестибюль был пуст. Только в кресле сидел швейцар. Его, конечно, никто не убивал, просто, пользуясь содомской кутерьмой, он каким-то образом тоже набрался и сейчас, мертвецки пьяный, спал.

Дверь трещала под ударами. За ней пыхтели, кричали, ругались. Зазвенело разбитое снаружи одно из окон вестибюля. Было ясно, что те, кто хотел ворваться в клуб, все равно вот-вот ворвутся.

Энгельс отомкнул внутренний замок. Оставалась большая, тяжелая щеколда. Он отошел от двери и издали кием отбросил

щеколду вверх. Дверь распахнулась, и в вестибюль, падая друг на друга, ввалилось несколько человек… Как Энгельс и предполагал, это были, конечно, вовсе не «озверевшие рабочие», а коллеги-бизнесмены, совершенно одуревшие от уже выпитого и от желания выпить еще.

– Вы почему нас не пускаете? Что за свинство! Как вы смеете! – выкрикивали они, поднимаясь с пола.

Когда вновь прибывшие появились в зале, там послышались вздохи и возгласы облегчения.

Зачумленный корабль снова тронулся в путь…

Энгельс еще раз окинул взглядом зал. Шпик все еще валялся. Харпер снова стоял за стойкой. За одним из столов мелькнула рожа Тернера, уже опять наглая и самоуверенная…

– Пропадите вы пропадом! – сказал Энгельс вслух и пошел в гардероб одеваться.

•

…Утром, едва проснувшись и заслышав привычное позвякивание посуды в столовой, Энгельс воскликнул:

– Мери! Какой ветер?

– Западный, Фридрих, западный! – тотчас отозвалась жена. – Я не дождусь, когда ты проснешься, чтобы порадовать тебя. К тому же и шпика, кажется, нет. Посмотри!

Энгельс вскочил с постели и кинулся к окну. В самом деле, флюгер показывал западный ветер, а шпика не было.

– Прекрасно! Теперь им станет еще хуже.

Он быстро оделся, позавтракал и отправился в контору. По пути зашел на почту и послал Марксу те десять фунтов, что выиграл вчера в столь славном бильярдном сражении.

Глава седьмая.
Коммерция в Мейтленд-парке

В день рождения, когда Питу исполнилось восемь лет, отец подарил ему нож, замечательный перочинный нож с красивой костяной ручкой. Пит очень гордился ножом, и многие мальчишки в школе ему завидовали. Нож составлял все богатство Пита; это было единственное, что давало ему превосходство над мальчиками богатых родителей. Их зависть доставляла ему некоторое утешение за те обиды, которые он, самый бедный в классе, часто терпел от них.

Так продолжалось несколько дней, в течение которых Пит был, возможно, самым счастливым мальчиком во всем Лондоне. Но однажды все переменилось. Красавчик Бен, что сидит на первой парте у окна, как-то пришел в школу с ножом, сразу затмившим славу Пита: нож был с двумя лезвиями. Пит старался держаться так, будто ничего не произошло, хотя в душе понимал всю огромность случившегося. Но он был мужественным мальчиком и решил так просто своей славы не уступать.

Пит начал усиленно ухаживать за ножом, чистил его, протирал, чтобы блестел, и то и дело точил. Приходя на уроки, он клал сверкающий нож на край парты и с замиранием сердца ждал, чтобы кто-нибудь его попросил. Пит рассказывал товарищам, будто нож его теперь такой острый, что если бросить пушинку и подставить под нее лезвие, то оно рассечет пушинку надвое. Но почему-то никому даже не захотелось проверить эту отчаянную выдумку Пита, которая самому ему скоро стала казаться правдой. Как только начиналась перемена, кто-нибудь обязательно подходил к Бену и просил у него на минутку подержать нож. Тот почти никому не отказывал, иногда даже разрешал открывать и то и другое лезвие. Пит не подходил к парте Бена.

Шли дни, и Питом все сильнее овладевала мысль: достать ножик с двумя лезвиями! Но где? Как? Денег, чтобы купить, у Пита не было. Оставалось одно – поменяться. Но кто же будет менять нож с двумя лезвиями на нож с одним? Где найдешь такого чудака? Правда, Пит мог дать в придачу еще раковину, великолепную морскую раковину величиной с папин кулак, но все равно шансы были ничтожны – он это понимал. И тем не менее делал одну попытку за другой. Всюду, кроме школы, как только Пит встречал сверстников, он заводил речь об обмене ножами. У многих были такие ножи, о каком мечтал Пит, но

никто и слушать не хотел об обмене на нож с одним лезвием, хотя и очень острым. А один незнакомый хорошо одетый мальчик, к которому Пит обратился на улице со своим предложением, даже сказал, выпучив глаза: «Сэр, да вы просто жулик!»

Положение становилось отчаянным. И тут Питу пришла в голову мысль: а что, если попробовать среди взрослых? Но и здесь он ничего не добился. Взрослые, к которым Пит подходил, смущенно подавляя страх, не слушали его, отмахивались, а некоторые, не разобрав, в чем дело, принимали мальчика за попрошайку и гнали от себя.

Однажды, усталый и совершенно удрученный, Пит возвращался домой через Мейтленд-парк. Вдруг он увидел среднего роста плотного господина с широкой, чуть тронутой проседью бородой и величественной гривой полуседых волос. Господин держал за руку девочку, может быть ровесницу Пита, вероятно, дочь. Они шли не торопясь, как видно, гуляя и о чем-то негромко, но увлеченно разговаривали. Пит разглядел его глаза. Они были карие и такие добрые, такие веселые, что у мальчика от какого-то сладкого предчувствия екнуло сердце.

Не доходя четырех-пяти шагов до господина с девочкой, Пит встал на их пути и неожиданно для себя выпалил:

– Давай меняться!

– Что? – останавливаясь, удивленно спросил господин.

– Видите ли, сэр… – смутился Пит. – Простите, сэр… У меня есть очень хороший нож, замечательный нож. И еще раковина, – Пит похлопал себя по оттопыренному карману. – Ну вот… я хотел бы, если, конечно, вы не против, сэр, посмотреть ваш нож, и, может быть, мы поменялись бы…

– А откуда тебе известно, что у меня есть нож? – едва сдерживая смех, спросил господин.

– Мне так кажется, сэр…

– Тусси, – обратился господин к девочке, – смотри, какой странный мальчик. Ему кажется, что у меня есть нож!

– Но ведь он прав, папа, – сказала девочка и прильнула головой к руке отца.

– Да, он прав. А ну, покажи свой нож… Постой, а как тебя звать?

– Пит, – все более смелея, ответил мальчик. – А тебя… А вас, сэр?

– Карл Маркс, или лучше дядя Чарли.

– А это кто? – Пит кивнул головой на девочку.

– Это моя дочь Тусси. Когда она вырастет, ее будут звать Элеонорой.

Знакомясь, все трое подошли к скамейке под деревом и сели. Пит и дядя Чарли вынули из карманов ножи и положили их рядом. Мальчик минуту не мигая смотрел на чужой нож, потом наклонил голову и, чтобы никто не видел, зажмурил глаза, боясь открыть их: вдруг видение исчезнет! Это был именно такой нож, о каком он мечтал, – с двумя лезвиями! Пит открыл глаза. Нож лежал спокойно-преспокойно. «Конечно, – подумал с тревогой мальчик, взглянув на владельца замечательного ножа, – он потребует в придачу не только раковину, но и еще что-нибудь, если вообще захочет меняться».

Маркс взял оба ножа, подбросил их на ладони, словно взвешивая, и уверенно сказал:

– Мой нож лучше.

У Пита остановилось дыхание. Чуть слышно он спросил:

– Простите, сэр, но чем?

Вопрос был хитрым. Ответ должен был показать, насколько хорошо этот Чарли разбирается в ножах, понимает ли он, каким сокровищем владеет и можно ли с ним торговаться.

– Да как же! – широко улыбнулся Владелец Ножа с Двумя Лезвиями. – Мой нож поновее да и побольше на целый дюйм…

Ни слова о двух лезвиях! Пит влюбленными глазами посмотрел на Маркса. Его взгляд говорил: «Милый бородатый дядя! Ты ничего, ничегошеньки не понимаешь!» А вслух он сказал:

– Конечно, мой нож не так нов и чуть-чуть поменьше. Но посмотрите, какой он острый. – Пит поднял с земли прутик и легким взмахом своего ножа пересек его.

– Замечательно! – воскликнул Маркс, а Тусси подняла прутик и внимательно посмотрела на срез.

«Ты, наверное, и не догадываешься, дядя, что твой нож можно наточить ничуть не хуже», – подумал Пит и сказал:

– Как видите, сэр, если говорить по-настоящему, то мой нож гораздо лучше. Ведь ножи существуют для того, чтобы ими что-то резать. Не так ли?

– Конечно, так – ты прав. У тебя великолепный нож, но все-таки и мой неплох, согласись, – Маркс закончил фразу не очень уверенно.

– Я и не хаю ваш нож, – ответил Пит. Он набрал полную грудь воздуха и сделал отчаянный рывок навстречу успеху или поражению. – Если вы дадите в придачу три пенса, то я согласен с вами поменяться.

– Три пенса? – переспросил Маркс и, уже почти не придавая своим словам никакого значения, добавил как последний слабый довод: – Но у меня два лезвия, а у тебя одно…

– Хорошо! – стремительно выдохнул Пит, почуяв ужасную угрозу своему плану. – Я согласен…

Он хотел сказать: «Я согласен дать в придачу раковину», но, посмотрев в бесконечно добрые, смеющиеся глаза собеседника, закончил:

– …на один пенс.

– Как ты думаешь, Тусси, – обратился Маркс к девочке, которая все еще держала в руке прутик, – мы не прогадаем на такой коммерции?

– Нет, папа, – убежденно заявила Тусси. – Зачем нож с двумя лезвиями? Ведь нельзя резать сразу обоими?

– Конечно, – подхватил Пит и даже засмеялся радостно и облегченно. – Зачем два лезвия? Уверяю вас, мне придется одно лезвие просто отломить. Между прочим, это дополнительная работа…

– Послушай, коммерсант, – вдруг осенило Маркса, – ты что-то хитришь. Твой нож лучше, мой хуже, так зачем ты меняешь лучшее на худшее?

Пит не предвидел такого вопроса. Он понял, что переборщил, и теперь молчал, не зная, что ответить.

В тягостном молчании прошла минута-другая. Пит краснел, пыхтел, переминался с ноги на ногу, но не находил ответа.

– Сэр, я вам все расскажу, – наконец проговорил он, – но пусть леди оставит нас.

Тусси отошла на несколько шагов в сторону.

Маркс взял в свои большие смуглые руки худенькие бледные ручонки Пита:

– Итак, коммерсант…

Не вынимая своих рук из теплых ладоней дяди Чарли, сбиваясь, захлебываясь, торопясь, мальчик рассказал все: о своей бедности, об обидах в школе, о тех нескольких днях всеобщего поклонения, которые ему принес именинный подарок отца, о красавчике Бене и его ноже, о своих долгих и безуспешных попытках выменять нож с двумя лезвиями…

Маркс слушал, и внимательные карие глаза его становились все печальнее. Когда Пит умолк, он пожал его согревшиеся маленькие руки и, выпуская их, сказал:

– Ничего. Это будет не вечно. Придут иные времена. Придут! – Он тряхнул головой, словно желая прогнать грусть, и крикнул: – Тусси, иди сюда! Мы кончили наш мужской разговор… Бери, Пит, мой нож, и вот тебе еще пенс.

– Нет, сэр, это было бы несправедливо, – вздохнул мальчик, стараясь взять себя в руки после разволновавшей его исповеди. – Ваш нож лучше. И я могу его взять только в том случае, если вы

возьмете мой вместе с раковиной.

– Ну, хорошо, беру, но без раковины. Как условились вначале, коммерсант.

Пит засунул в карман нож, зажал в кулаке пенс и сказал уже гораздо спокойнее:

– Напрасно, сэр, вы отказываетесь от такой раковины. Послушайте, как она шумит… Может быть, вы позволите мне подарить ее молодой леди?

– Хорошо. Коли не жалко, дари.

Тусси приняла подарок и вежливо поклонилась.

– До свидания, коммерсант. Приходи сюда, в парк, в ближайшее воскресенье. Будем вместе гулять.

– Непременно приду! – ответил Пит.

В его голосе мешались еще не совсем ушедшая горечь доверительного рассказа и радость давно лелеемой и наконец-то сбывшейся мечты. Ему не терпелось пуститься во все лопатки со своим приобретением домой, но он понимал, что это выглядело бы некрасиво, несдержанно, и потому оставался у скамейки, словно его еще задерживало здесь дело.

Отец и дочь были уже далеко. Вот-вот они скроются за поворотом. В этот момент Тусси обернулась и помахала Питу, все еще стоявшему у скамейки, прутиком, который так и остался у нее в руке.

Глава восьмая.
Маленькая Тусси и великий президент

В апреле 1861 года началась гражданская война в Америке. Она вошла в маленький домик на Графтон-террес не только сообщениями газет. Она вошла новыми раздумьями Маркса, тревогой всей семьи за исход сражений, спорами о возможном ходе событий, досадой и горечью из-за неудач северян, радостью за их успехи, напряженным ожиданием известий, страхом за жизнь друзей, оказавшихся там и принявших участие в борьбе северян…

Все это было ново, неожиданно, волнующе. Но война посещала дом на Графтон-террес не в одних лишь новых романтических одеждах, она не стеснялась заявляться сюда и в старом, обтрепанном, до омерзения надоевшем здесь обличье нужды: порвав десятилетней давности корреспондентскую связь Маркса с американской газетой «Нью-Йорк дейли трибюн», война тем самым лишила его семью весьма существенного источника существования.

Маркс придавал событиям по ту сторону Атлантического океана очень важное значение.

Семья Маркса в той или иной степени всегда жила тем, чем жил он сам, но на этот раз его интерес буквально захватил всех – от Женни и Елены до шестилетней Тусси, самой младшей дочери Марксов. В доме только и разговоров было, что о войне, весь день только и слышались имена политиков, генералов, названия американских штатов и городов, гор и рек. Но чаще всех произносилось, конечно, имя Авраама Линкольна. Дровосек и охотник, ставший президентом огромной страны, вызывал у всех в доме Марксов интерес и симпатию. В нем привлекало все: и плебейское происхождение, и вражда к рабству, и смелость, и сочетающаяся с глубиной народная простота, живость его речей, и физическая сила, о которой рассказывали легенды, и мужественное лицо в решительном обрамлении короткой бороды…

Маленькая Тусси, еще вчера то проливавшая слезы над судьбой несчастной леди Джен Грей, внучатой племянницы Генриха Седьмого, которую дворцовые интриги вопреки ее воле в семнадцать лет возвели на престол, а через девять дней – на плаху, то мечтавшая разделить превратную судьбу с героями морских рассказов Марриэта, то жившая любовью, страданиями и подвигами героев Вальтера Скотта, – теперь все это отодвинула,

забросила и не хотела больше ни слушать, ни читать ни о чем, кроме войны Севера и Юга, и не знала отныне другого героя, кроме Авраама Линкольна.

В начале войны, точнее говоря, почти целых два года, дела северян шли неважно. Четырнадцатого апреля 1861 года мятежники южане захватили правительственный форт Самтер на атлантическом побережье, а двадцать первого июля в первом крупном сражении при Манассасе, в нескольких десятках километров от столицы, их армия, насчитывавшая лишь 31 тысячу штыков, нанесла большие потери 35-тысячной армии северян и заставила ее отступить под самые стены Вашингтона.

В тот день, когда газеты сообщили об этом поражении, они вышли с опозданием, их принесли через полчаса после того, как Маркс уже ушел в библиотеку. Поэтому до самого вечера, пока он не вернулся, все в доме были угнетены, неразговорчивы, за каждым как тень стояли горечь, разочарование, тоска…

У Тусси не хватило терпения дождаться отца, она удрала его встречать, хотя не очень-то уверенно знала дорогу, по которой он возвращался. Маркс подобрал ее, уставшую и печальную, уже довольно далеко от дома.

Едва он показался на пороге с задремавшей Тусси на руках, все кинулись к нему. Маркс успокаивал и ободрял, отвечая на расспросы. Он говорил, что это временные неудачи. Он приводил цифры и факты. На Юге только девять миллионов населения, а на Севере – двадцать два, то есть в два с половиной раза больше, причем почти половина населения Южных штатов – негры. На Севере развитая промышленность, много железных дорог, он богат хлебом, а на Юге ничего этого нет или почти нет, хлеба своего не хватает, его надо ввозить. Все это очень важно для конечного исхода борьбы. А кроме того, Север борется за благородное дело свободы, способное сплотить миллионы, а у южан подобной вдохновляющей идеи нет.

Тусси внимательно слушала отца. Она, конечно, еще не знала, что такое миллионы, но уже имела представление о том, что значит в два с половиной раза больше: Лаура не так давно говорила, что она старше Тусси в два с половиной раза – это много! Она понимала и то, что железные дороги очень нужны, но особенно важным и убедительным ей показался довод, что у южан не хватает хлеба. Ведь Ленхен всегда говорила: «Если хочешь стать моряком (а Тусси ужасно хотела), если вообще хочешь вырасти и быть сильной, то ешь все с хлебом, как я».

Когда, немного успокоенные Марксом, все разошлись по своим делам, Тусси спросила:

– Мавр, ты сказал, у южан мало хлеба. Едят они в день хотя

бы по кусочку?

– По кусочку-то, пожалуй, едят, – улыбнулся отец. – Во время обеда.

– А Линкольн знает обо всем этом?

– О чем? – не понял Маркс.

– Что северян в два с половиной раза больше, что у южан мало хлеба, ну и все остальное, о чем ты говорил.

– Конечно, знает!

– Но ведь у него так много сейчас дел, забот, что он мог и забыть.

– Нет, Тусси, нет, это невозможно, – убежденно сказал Маркс, заканчивая разговор.

Но дочь думала иначе…

Потянулись долгие месяцы затишья. Бездействие южан, как говорил Мавр, объяснялось тем, что они ожидали высадки себе на помощь войск Англии и Франции. Но почему бездействовали северяне? Это, как решила про себя Тусси, лишь потому, что они забыли о своем огромном численном превосходстве; о том, что у южан мало хлеба, северяне, вероятно, вообще не знают. Тусси пришла к выводу, что другого выхода нет – надо написать письмо Линкольну и обо всем напомнить ему.

Приближалось Рождество, бездействие на фронте длилось вот уже почти, полгода. Едва ли не единственной новостью оттуда за все это время было сообщение о назначении главнокомандующим всех войск северян генерала Мак-Клеллана. Но это была тоже нерадостная весть. Энгельс писал из Манчестера, что назначение произошло под давлением крупной буржуазии, что Мак-Клеллан совершенно бездарен, что он реакционер, что даже есть основания подозревать его в симпатиях рабовладельцам.

Тусси чувствовала, что больше молчать не может. Однажды, когда отец пришел из библиотеки, она отозвала его в угол и протянула листок бумаги, исписанный ее старательными каракулями.

– Прочитай, – попросила она тихо.

– Дорогой Авраам Линкольн!.. – начал было Маркс.

– Тсс, – всполошилась Тусси, – читай про себя.

Маркс читал:

> «Дорогой Авраам Линкольн!
>
> Вам пишет Элеонора Маркс. Тусси. Мы все очень уважаем вас и ненавидим южан. Рабовладельцев. Мы переживаем за вас, за ваши поражения, мы желаем поражения южанам, а вам – победы.
>
> Дорогой Авраам Линкольн!

Ваше бездействие меня удивляет.

Чего вы ждете? Или вы забыли, что вас в два с половиной раза больше, чем южан? Вам стоит только собраться всем вместе, и они пропали. У них нет железных дорог, а хлеба так мало, что хватает только на обед по одному маленькому кусочку. А тот, кто мало ест хлеба, у того и силы мало. Так всегда говорит Ленхен, а она зря не скажет.

Дорогой Авраам Линкольн!

Я вам советую сформировать один полк из мальчишек и один полк из девочек, таких, как я. Мы везде можем пройти и все разузнать.

А еще я вам хочу прямо сказать, что вы зря назначили главнокомандующим Мак-Клеллана. Он в душе на стороне южан и плохой полководец. Я советую вам его уволить и назначить главнокомандующим нашего дядю Фреда. Он живет в Манчестере. Мавр говорит, что лучшего знатока военного дела трудно представить. И он большой, смелый и сильный. Вы ему только напишите, он сразу приедет. А я, если вы не возражаете, могла бы быть его адъютантом. Правда, я девочка, но Мавр всегда говорит, что это ошибка, что на самом деле я мальчик. И мне уже девять лет.

Жду ответа.

Элеонора Маркс. Тусси.

Извините, сэр. Поздравляю вас с наступающим Рождеством. Желаю побед и счастья. Есть ли у вас дети?

Элеонора Маркс. Тусси.

Лондон. Графтон-террес, 9».

Маркс прочитал и, хотя его разбирал смех, очень серьезно взглянул на дочь.

– Ну как? – с тревогой спросила она, вытаращив глаза.

– По-моему, очень толково, – ответил отец.

– Ничего поправлять не надо? Или что-нибудь дописать?

– Да нет, все прекрасно, – Маркс минутку помешкал. – Только вот насчет главнокомандующего… Мак-Клеллана, бесспорно, надо сменить, но если Линкольн назначит Энгельса, то как же мы тут без него останемся?.. Да и сама ты с ним собираешься туда…

– Мавр! – возмутилась Тусси. – Как можно так говорить? Там мы гораздо нужней! Там война. И ведь мы же уедем ненадолго. Как только дядю Фреда назначат главнокомандующим, дела там пойдут совсем по-другому, вы увидите. Мы с ним быстро наведем

порядок, – она помолчала и грустно добавила: – Только вот я не уверена, что Линкольн согласится, чтобы я была адъютантом, ведь все-таки я девочка.

– Ну отчего же! – подбодрил Маркс. – Если дядя Фред лично попросит Линкольна… Но вот ты прибавляешь себе целых два года, это нехорошо.

– Ах, какой пустяк! – попыталась отмахнуться Тусси, немного смущенная тем, что ее уличили в обмане. – Семь, девять. Пока письмо идет, пока он пишет ответ…

– Нет, – твердо сказал Мавр, – семь – это семь, а девять – девять, – он взял карандаш и исправил нужное слово. – Да и семь-то тебе еще только будет через две недели.

– Слушай, Мавр, – вдруг осенило дочь. – А может быть, мне не писать ему, что я девочка, а притвориться мальчиком и имя какое-нибудь придумать, как у мальчишки? А когда мы с дядей Фредом туда поедем, я надену брюки, остригусь, и Линкольн ничего не узнает.

– Нет, это тоже нечестно, – решительно сказал отец. – Пусть все будет так, как есть.

Тусси немного помолчала. В ее блестящих черных глазах метались отблески каких-то новых замыслов, предположений, планов. С трудом подавив их в себе – и видно было, что лишь на время, – она спросила:

– Ну а как же теперь отправить письмо? Запечатать в бутылку?

– Что ты! Этот способ хорош там, где нет других, например в океане, на необитаемом острове. А мы должны побеспокоиться, чтобы письмо дошло возможно скорей, – для этого его надо отнести на почту.

– Когда?

– Завтра пойду в Британский музей и занесу.

– Нет, Мавр, это надо сделать сегодня.

– Хорошо. Вот уложу тебя спать и схожу.

– Нет, ты иди сейчас.

Марксу ничего не оставалось, как одеться и, попросив Женни уложить Тусси побыстрее в кровать, пойти на улицу.

Девочка хотела непременно дождаться возвращения отца, но борьба со сном в таком положении, когда твоя голова лежит на подушке, оказалась ей не по силам – она тотчас уснула.

Утром прямо с кровати, в ночной рубашке, Тусси кинулась в кабинет отца.

– Ну как, Мавр? – крикнула она, распахивая дверь.

– Все в порядке.

– Отправил?

– Конечно.

– И оно уже пошло?

– Разумеется.

– А когда Линкольн получит его?

– Трудно сказать… Ты же видишь – война! Доставка почты может быть задержана. Но я думаю, что Линкольн уделяет достаточное внимание почте, ведь он сам в молодости был почтовым служащим и понимает значение ее работы.

Узнав, что Линкольн работал на почте, Тусси успокоилась – как письмо могло не дойти до человека, который сам занимался письмами!

С этого дня вся жизнь Тусси превратилась в ожидание ответа от президента. Каждый раз, когда Маркс писал письмо Энгельсу, она требовала, чтобы отец справлялся у своего друга, не получил ли тот вызова из Вашингтона. Но время шло, а вызова не было и не было ответа.

– Что бы это значило, Мавр? – тревожно спрашивала Тусси. – Уж не перехватили ли мое письмо южане?

– Конечно, такая возможность не исключена, – разводил руками отец, – но все-таки, думаю, она маловероятна. Скорее всего, Линкольн принял во внимание твои советы, а ответить тебе просто некогда. У него же столько дел! Должно быть, он занят подготовкой наступления.

Тусси такое объяснение не удовлетворяло. Она понимала: занят, но ведь ее письмо было государственной важности. Однажды, услышав разговор взрослых об агентах южан в Северных штатах – их называли «медноголовые змеи», – девочка подумала: а не засели ли эти «змеи» и на здешней почте? И не перехватили ли они ее письмо?! Она даже похолодела от предположения о таком коварстве.

Вечером Тусси поделилась сомнениями с отцом.

– Это невозможно, – категорически заявил Мавр. – Там сидит такой милый почтенный старичок, что заподозрить его ни в чем нельзя.

– Какой ты наивный человек! – горячо возразила девочка. – Он же может притвориться! Ты сам читал нам в газете, как шпионы южан действуют в Северных штатах… Я тебя очень прошу, завтра, когда Лаура пойдет провожать тебя в библиотеку, пожалуйста, возьмите меня с собой и давайте зайдем на почту. Я должна видеть этого старичка сама.

На другой день после завтрака Мавр и Лаура повели Тусси на ту почту, с которой обычно отправлялись письма Энгельсу и вся другая корреспонденция. Тусси страшно волновалась, она была убеждена, что тотчас увидит двойную игру старичка и гневно

крикнет ему: «Вы шпион!» На ее крик прибежит полицейский, шпиона схватят, а через несколько дней она получит телеграмму: «Благодарю за помощь. Вы доказали свою преданность нашему делу. Срочно выезжайте вместе с дядей Фредом. Жду. Президент Северо-Американских Соединенных Штатов Авраам Линкольн. Вашингтон, Белый дом».

Когда вошли в помещение почты, Тусси была ни жива ни мертва от волнения.

– Доброе утро, господин Вуд! – приветствовали старичка за барьером Мавр и Лаура.

Тот любезно ответил на приветствие и спросил, глядя на Тусси:

– А кто эта маленькая леди?

– Это моя дочь Тусси, – сказал Маркс. – Она хотела бы с вами познакомиться.

«Ах, что он делает! – ужаснулась Тусси. – Ведь надо же, чтобы никто здесь не знал, кто я!» Старичок, конечно же, был подозрительный. Усы у него наверняка приклеенные, а на голове парик… Но вот он уже вышел из-за барьера и, наклонившись, протянул руку:

– Роберт Вуд, начальник почты.

«Роберт? – пронеслось в мозгу Тусси. – Какой негодяй! Он так уверен в своей безнаказанности, что даже не боится называть себя именем командующего войсками южан – генерала Ли!.. Ну что ж, раз Мавр испортил мне мой план, будем действовать иначе. Посмотрим, как он встретит это!»

Пытливо, не мигая, глядя в глаза почтмейстеру, Тусси протянула ему руку и отчетливо, громко произнесла:

– Элеонора Маркс, друг Авраама Линкольна!

Она ожидала увидеть в глазах чиновника смятение, страх, мольбу о пощаде и уже приготовилась крикнуть ему в лицо: «Как вы смели перехватить мое письмо? Шпион! Рабовладелец! Змея!» Но почтмейстер, потряхивая ее влажную и ледяную от волнения ручонку в своей сухой теплой ладони, тихо засмеялся и переспросил:

– Друг Линкольна?

– Да, сэр! – все еще надеясь, что шпион вот-вот не выдержит, продолжала наступать Тусси. – Я и дядя Фред ждем его вызова. В любой день мы можем отбыть в Вашингтон.

– Вот как! – продолжая спокойно и ласково улыбаться, воскликнул тот, кто называл себя Робертом Вудом. – Очень интересно, очень!

«Крепкий орешек!» – подумала Тусси и решилась на последний, отчаянный выпад. Все так же пронизывающе глядя в

глаза почтмейстеру, она медленно и многозначительно спросила:

– А разве вы, господин Вуд, всего этого не знали?

Как показалось Тусси, что-то изобличающее метнулось было в глазах Вуда, но он тотчас овладел собой и как ни в чем не бывало с удивлением сказал:

– Но откуда же мне все это знать! Доктор Маркс и твои сестры, правда, часто заходят к нам, но они, к сожалению, ничего мне не рассказывали.

Наклеивая марки на конверты, Мавр и Лаура искоса наблюдали всю эту сцену и, в отличие от господина Вуда понимая ее скрытый смысл, едва удерживались, чтобы не прыснуть от смеха.

– А больше вам неоткуда было узнать? – никак не хотела смириться со своим поражением Тусси.

– Решительно неоткуда! – пожал плечами почтмейстер. – Ведь в газетах, кажется, об этом не писали?

– В газетах-то не писали, – с таинственным нажимом на первые слова сказала Тусси, – но могли писать кое-где еще…

Маркс понял, что если Тусси тотчас не увести, то она вот-вот все-таки выпалит, что почтмейстер шпион и что он перехватил ее письмо. Быстро сдав конверты, он распрощался и поторопил обеих дочерей на улицу. Но в дверях Тусси остановилась и, обернувшись, спросила старичка:

– Господин Вуд, а вы знаете, что Авраам Линкольн тоже служил на почте? – она поняла, что игра проиграна, и это было последней попыткой смутить шпиона.

Но шпион выдержал и этот удар.

– Да! – воскликнул он радостно. – Об этом знают все почтовики Лондона, и мы очень гордимся… Доктор Маркс, какая у вас замечательная, образованная дочь!

…На улице Мавр и Лаура не удержались. Они хохотали так весело и дружно, что прохожие останавливались и смотрели на них. Но Тусси не разделила веселости отца и сестры, она была уверена, что стояла сейчас лицом к лицу с коварным агентом южан. Она сказала, что напишет письмо Линкольну, и потребовала от Мавра, чтобы он отправил это письмо с другого почтового отделения. Мавр твердо обещал так и сделать. Он только заметил, что она не имела права называть себя другом Линкольна.

– Конечно, – признала Тусси, – но это была военная хитрость.

Новое письмо было, по существу, повторением первого, только в конце Тусси сделала приписку: «Если бы вы знали, господин президент, в каких трудных условиях нам приходится жить. На каждом шагу нас преследуют медноголовые змеи. Одна

из них, пробравшаяся под видом чиновника на нашу почту, даже перехватила мое письмо к вам. Вероятно, оно уже переслано генералу Ли. Учтите это».

Прочитав приписку, Мавр сказал:

– Тусси, пожалуй, тут преувеличение…

– Никакого преувеличения! – решительно заявила девочка. – Отправь, пожалуйста, письмо в таком виде.

Между тем вести с фронтов приходили нерадостные. Северяне, правда, сколотили довольно большую армию, в 600 тысяч человек, предприняли наступление и на Западном и Южном театрах военных действий, заняли несколько городов. Но это были второстепенные участки; на главном же театре, в Виргинии, успех сопутствовал южанам. Попытка Мак-Клеллана значительно превосходящими силами (185 тысяч штыков) разбить армию южан (115 тысяч), укрепившуюся на реке Потомак, и с севера овладеть их главным городом Ричмондом провалилась. Вслед за этим в боях 26 июня – 2 июля 1862 года южане нанесли поражение армии северян на Йоркском полуострове. Преследуя их, Роберт Ли продвигался к Вашингтону. В сентябре на реке Антьетам северянам было нанесено столь же тяжелое поражение.

В декабре 1862 года и в мае 1863-го северян постигли новые неудачи еще в двух крупных сражениях.

Кажется, единственная отрадная весть, которая за все эти долгие месяцы пришла из Америки, была весть о смещении Мак-Клеллана и замене его генералом Галлеком. В огромном Лондоне больше всех этому радовалась, бесспорно, Тусси. Для нее смещение Мак-Клеллана было доказательством того, что Линкольн получил наконец ее письмо и послушался ее совета.

– Но почему он не назначил на его место дядю Фреда? – спросила она Мавра, несколько придя в себя после приступа буйной радости.

– Видишь ли, – успокоил ее Мавр, – это вопрос тонкий. Я думаю, что Линкольн не решается сразу после Мак-Клеллана назначить главнокомандующим иностранца. Вероятно, генерал Галлек промежуточная фигура. После того как смирятся со смещением Мак-Клеллана его сторонники – а они довольно сильны, – президент, конечно же, учтет твою рекомендацию и назначит нашего Фреда. Ты должна понимать, что положение в лагере северян очень сложное и Линкольн, увы, не всесилен. Был у него, например, храбрейший и талантливейший офицер – командир девятнадцатого Иллинойского полка, молодой русский полковник Иван Турчанинов. Его полк и он сам особенно отличились при взятии Хансвилла и Афин в Алабаме. За его голову южане уже несколько раз повышали плату. И что же ты

думаешь? Медноголовые змеи обвинили его в разграблении взятых городов и добились изгнания из армии. Линкольн отменил безобразное решение, больше того – он произвел мужественного и умелого русского полковника в генералы, но даже это не помогло, и Турчанинову все-таки пришлось уйти из армии. А ты говоришь – почему не назначают дядю Фреда!

Тусси нашла объяснение отца убедительным и снова стала ждать вызова из Вашингтона. Она продолжала писать письма, а Мавр каждый раз должен был во всех подробностях рассказывать ей, как он отправил очередное письмо, что при этом говорил почтовый чиновник, как он выглядел, не было ли в его поведении чего подозрительного.

Тусси внимательнейшим образом слушала все разговоры старших о положении на фронте, все их рассуждения и предположения о том, что следовало бы сделать северянам для успеха дела. Конечно, внимательнее всего она прислушивалась к тому, что говорил Мавр. По его словам выходило, что северяне должны немедленно провести многие решительные меры: объявить принудительную мобилизацию, очистить армию и все органы власти от тайных и явных сторонников южан, принять закон об отмене рабства во всех штатах – не только Северных, но и Южных… Наконец, они должны отказаться от своего главного стратегического плана и от самой тактики ведения войск. Их план состоял в стремлении охватить кольцом все мятежные штаты. Тактика их состояла в равномерном распределении сил по всей линии фронта и в равномерном давлении на врага. Говоря о такой тактике, Мавр однажды с горечью воскликнул:

– Это чистое ребячество! Это возрождение изобретенной в Австрии около 1770 года так называемой «кордонной системы».

Мавр и дядя Фред были убеждены, что надо собирать силы на отдельных участках и наносить удары то там, то здесь, надо рассечь противника на две части и бить их порознь.

В очередном письме к Линкольну крайне огорченная и раздосадованная неудачами северян Тусси писала:

«Господин президент! Что же это вы себе думаете? Или вам мало полученных колотушек? Почему до сих пор вы не проводите в принудительном порядке всеобщую мобилизацию? Почему не принят закон о повсеместной отмене рабства? Вы сместили Мак-Клеллана. Очень хорошо. Но уже пора смещать и Галлека, чтобы назначить на его место дядю Фреда. А кроме того, надо же очистить армию от шпионов. Если они есть здесь, в Лондоне, то можно себе представить, сколько их у вас. Я знаю прекрасный способ, как их обнаружить. Самой, к сожалению, мне не удалось его использовать, но вам я советую. У шпионов всегда

приклеенные усы или борода, а если нет, то парик. Вот и постройте всю армию в одну шеренгу, и вы с одного конца, а генерал Грант с другого идите вдоль строя и дергайте всех за усы и бороду да проверяйте парики. Есть и другой способ. Пусть все солдаты, офицеры и генералы нырнут в реку Потомак или в Атлантический океан. В воде фальшивые усы и бороды, конечно, отклеятся, поэтому, кто нырнет с усами и бородой, а вынырнет без них, тот и есть шпион!

Перейдем к чисто военным вопросам. Вы стараетесь окружить южан и давить на них отовсюду. Я вам прямо должна сказать, господин президент: это чистое ребячество! Это возрождение изобретенной тысяча семьсот семьдесят лет тому назад картонной системы. Подумайте, господин президент, разве может быть надежной такая система?

Привет вам и генералу Гранту от Мавра, Мэмэ, Ленхен, Женни и Лауры. Если вы считаете, что я молода для должности адъютанта главнокомандующего, то я согласна и на то, чтобы быть в вашей армии хотя бы парикмахером. Элеонора Маркс. Тусси».

Считая, что уж на эту-то должность Линкольн возьмет ее немедленно, Тусси срочно начала учиться стричь. Она утащила у Ленхен ножницы и остригла наголо всех своих кукол. После этого она долго уговаривала остричься Лауру, но та не пожелала расстаться со своими роскошными золотистыми волосами и посоветовала сестре перестать валять дурака. После того как Тусси предприняла ужаснувшую всех попытку остричь самое себя, у нее отобрали ножницы и пригрозили о ее проделках написать Линкольну.

…Маркс, конечно, не был пророком, но с течением времени северяне в той или иной степени осуществили именно те меры, предприняли именно те шаги, на которые он указывал как на необходимые, – просто Маркс был серьезным политиком и мыслителем.

Постепенно, исподволь в ходе войны зрел перелом. Первого – третьего июля 1863 года при Геттисберге произошло сражение, в котором южане были жестоко разбиты. В этом же месяце северяне добились успеха в районе Миссисипи, заняли там несколько городов, и южане наконец-то оказались рассеченными на две изолированные части.

Тусси была в восторге. Не только от самих успехов, но и от того, что Линкольн действовал точно так, как она ему советовала.

В начале 1864 года Маркс получил небольшое наследство. Восемь лет назад, когда неожиданно привалило наследство Женни, Марксы переехали на новую квартиру, на ту, где жили

сейчас, на Графтон-террес, 9. И вот опять возник разговор о новой квартире: ведь Женни и Лаура стали вполне взрослыми девушками, да и Тусси неплохо было бы иметь свой угол.

Новая квартира скоро была подыскана на Мейтленд-парк-род, недалеко от старой. Дом был прекрасно расположен у входа в парк, возле дома – большой тенистый сад. Все радовались скорому переезду, и только Тусси решительно заявила, что она никуда не поедет, что она останется здесь, и даже не захотела пойти взглянуть на новый дом.

– Ты не представляешь, до чего он хорош! – увещевала ее мать. – Как в нем светло, просторно, как много солнца и воздуха! А главное – у всех у нас будет своя комната…

Причину странного упрямства Тусси сперва не могли понять, но в конце концов Мавр все-таки догадался: девочка боялась, что по старому адресу придет письмо от Линкольна, а она не узнает об этом. Она было согласилась после того, как Мавр сказал ей, что сходил на почту и послал в Вашингтон срочную телеграмму с новым адресом, но в этот день газеты сообщили, что Линкольн отбыл из столицы в поездку по стране, и Тусси вновь отказалась переезжать. Все вещи уже перевезли, комнаты опустели, а девочка все сидела на подоконнике и ни в какую не соглашалась уйти.

– Хорошо, – сказала Елена. – Я тоже останусь.

Она подложила девочке старый плед, и, когда настал вечер, Тусси не выдержала, прилегла, да так на подоконнике и уснула. Вскоре пришел Мавр, взял ее на руки и спящую понес в новый дом. Елена шагала рядом.

Проснувшись утром в незнакомой, залитой светом комнате, Тусси сперва ничего не поняла, потом подумала, что все еще спит и во сне оказалась в Белом доме, что рядом комната главнокомандующего… Но тут вошла Елена, рассмеялась, и Тусси все стало ясно.

Через несколько дней, снедаемая тревогой и страхом за судьбу президентских писем, она пришла к старому дому и постучала в знакомую и странно чужую теперь дверь. Ей открыла пожилая женщина в чепце.

– Простите, сударыня, – тихо сказала Тусси, – я недавно жила в этом доме. Нет ли мне писем от президента Линкольна?

– От кого? – изумилась женщина. – От Линкольна? А не ждешь ли ты письма от Магомета?.. – Она засмеялась, но почти тотчас сказала: – Впрочем, постой, действительно есть несколько писем, и одно, кажется, из Америки, – она ушла и скоро вернулась, неся три конверта.

Одно было из Америки! Тусси выхватила письма и, даже не сказав спасибо, помчалась домой.

– Мавр, Мавр! – кричала она, взбегая к нему по лестнице на второй этаж и размахивая конвертами. – Письмо от Линкольна! От Линкольна!

Мавр взял конверт и, успокаивая девочку, погладил ее по голове. Письмо из Америки было от старого друга Иосифа Вейдемейера…

Тусси, конечно, ужасно огорчало, что президент не отвечает, но скрепя сердце она его извиняла. В глубине души девочка даже довольна была тем, что и дядя Фред не получал вызова: она очень любила его, а пойти на войну – это все-таки большой риск, к тому же и без дяди Фреда дела на фронте шли сейчас хорошо. И потом, если дядя Фред уедет на войну, то прекратятся поездки в Манчестер, а Тусси всегда так ждала их!

В ноябре 1864 года Линкольн был на второй срок избран президентом, победив сторонника компромисса с рабовладельцами, все того же Мак-Клеллана. Тусси с самого начала была уверена в победе Линкольна, она даже негодовала: о каком выборе между этими двумя людьми может идти речь! Кому может взбрести на ум голосовать за Мак-Клеллана, за опозорившегося вояку, за тайного пособника южан? Она была поражена, когда узнала, что такие люди все-таки нашлись и что их оказалось немало…

В связи с победой Линкольна на выборах Генеральный совет Интернационала по предложению Маркса послал ему приветственную телеграмму. Текст ее составил Маркс. Он взял на себя эту обязанность, как писал Энгельсу, для того, чтобы те фразы, к которым обычно сводятся подобного рода сочинения, по крайней мере, отличались от демократической вульгарной фразеологии. Маркс назвал Линкольна в этой телеграмме «честным сыном рабочего класса», которому «пал жребий провести свою страну сквозь беспримерные бои за освобождение порабощенной расы».

Приветствий Линкольн получил много, но большинство их было выдержано в духе той самой демократической вульгарной фразеологии, которую так ненавидел Маркс и которой, как видно, не слишком-то симпатизировал и Линкольн. Во всяком случае, лишь на приветствие, написанное Марксом, президент ответил в очень дружелюбном и сердечном тоне, остальные его ответы были вежливыми благодарностями.

Противоречивые чувства овладели Тусси, когда она узнала, что Мавр получил ответ Линкольна. Тем, что ответ пришел на первую же телеграмму отца, она очень гордилась, но одновременно была уязвлена: ведь сама-то она почти за три года так и не получила ни одного ответа на свои бесчисленные

письма!..

– Ну, видишь ли, – пытался утешить ее Мавр, – ведь я послал телеграмму не от себя лично, а от всего Интернационала. Для личной же переписки у Линкольна, вероятно, по-прежнему нет времени. Ты только сопоставь: международная, почти всемирная организация и – маленькая девочка Тусси…

Но Тусси не хотела сопоставлять, она все-таки обиделась, она считала, что уж за три-то года Линкольн мог прислать ей хотя бы одно письмо. Обида, копившаяся по капле, стала вдруг такой острой, что она эгоистично решила: «Не буду больше писать, пусть-ка он повоюет без моей помощи! Посмотрим, как пойдут у него дела». Она даже не отправила два уже написанных письма. Одно было адресовано, как всегда, Линкольну, а второе – генералу Гранту. Кроме очередных рекомендаций по ведению военных действий и борьбе с лазутчиками врага, в частности советов использовать негритянские батальоны и полки в ночное время (ведь негров ночью не видно), оба письма содержали нечто новое. В связи с началом интенсивных завершающих операций по разгрому южан Тусси советовала Линкольну быть особенно осторожным в смысле личной безопасности, не лезть на рожон, не подставлять свою голову под шальные пули. Письмо же Гранту содержало прямое требование усилить охрану президента. Тусси спрятала эти письма в большой том Шекспира и вскоре почти забыла о них…

Наступление северян на Ричмонд развивалось успешно. Хотя войска генерала Ли яростно сопротивлялись и даже предприняли контрнаступление на Вашингтон, они были отражены и разгромлены. Третьего апреля 1865 года войска Гранта вошли в Ричмонд. Девятого апреля армия генерала Ли сдалась. Со дня на день, ожидалась капитуляция и остальных войск южан… В доме Марксов все поздравляли друг друга, ликовали, словно настал большой и веселый праздник.

Газеты в эти дни ожидались с особым нетерпением и читались с невероятным тщанием. Сначала их читал Мавр, потом – остальные, затем газеты вновь возвращались в кабинет Мавра.

Шестнадцатого апреля, как всегда, Мавр забрал после завтрака все газеты и скрылся в своем кабинете на втором этаже. Но почти тотчас он вышел из кабинета и стал спускаться в столовую, где вся семья еще сидела за столом. В руках он держал одну газету. Спустившись до половины лестницы, он остановился и тяжело оперся о перила. Газета упала. На нем не было лица. Даже сквозь его обычную сильную смуглость проступила мертвенная бледность.

– Что?.. – раньше всех своим чутким на беду сердцем угадав

несчастье, вскочила Женни. В ее голосе была такая тревога, что внезапно все притихли.

– Вчера… позавчера, – никто никогда не видел Мавра косноязычным, – позавчера… в театре Форда… убит Линкольн…

За столом не раздался ни один звук. Минуту длилась глухая тишина… Вдруг – резкий удар упавшей на пол вилки и тотчас – захлебывающийся, отчаянный, безысходный крик Тусси:

– Что я наделала! Что наделала!… Это я, это я… я виновата! – она вскочила, с треском отшвырнула стул и бросилась в свою комнату.

…Когда через несколько минут к ней вошли, она лежала ничком на своей кровати, в беспамятстве, а на полу валялся большой черный том Шекспира.

Глава девятая.
«Плачешь ты или смеешься…»

В последнее время Энгельс поздно возвращался из конторы. Уже приближалась середина сентября, а он все не мог разобраться и покончить с делами, скопившимися за время его месячного путешествия по Швеции, Дании и Германии в июле – августе. И сегодня утром, уходя, он сказал, что вернется часов в семь. Поэтому, когда в начале пятого Лиззи[11] увидела в окно возвращающегося мужа, она сразу поняла: что-то случилось…

– Лиззи, милая! – крикнул Энгельс, распахнув через минуту дверь. – К нам едет Мавр!..

Ах, вот оно что! Ну конечно. Как она могла не догадаться? Ведь только эта весть да еще, пожалуй, признаки экономического кризиса – за ним, как полагали Маркс и Энгельс, может последовать революция! – способны привести в такой восторг мужа. Лиззи вспомнила, каким ошалевшим от радости, дурашливым мальчишкой был ее сорокасемилетний супруг в конце мая, накануне предыдущего приезда своего друга. Тогда Мавр только что вернулся из Ганновера от Кугельмана, где вычитывал первые листы начавшей наконец поступать из Лейпцига корректуры «Капитала», и сразу примчался сюда.

– Читай! – Энгельс торопливо поцеловал жену и на мгновение развернул перед ее глазами синюю бумажку. Это была телеграмма. «Выезжаю с Юстонского вокзала 4.15 пополудни», – успела схватить взглядом Лиззи.

– Погоди, но когда? Сегодня? Завтра?

– Сегодня! Сегодня! Сегодня!

– Но ведь это значит, что Мавр уже в пути…

– Да, в пути! Да, в пути!.. – как слова какой-то веселой песни-заклинания, пропел Энгельс.

– Перестань дурачиться! Лучше подумай о том, что у нас ничего не готово…

– Как это – ничего? – Энгельс в изумлении сделал шаг назад. – У нас есть прекрасный рейнвейн, кларет, даже есть шампанское! То есть у нас имеется мощная основа для достойной встречи. Остальное – дело твоей сообразительности и ловкости, в которых ты еще ни разу не дала мне повода усомниться. Словом, сделай все, что делаешь в таких случаях всегда. Мне тоже надо произвести некоторую подготовку, а потом я пойду его встречать.

Наскоро пообедав, Энгельс удалился в свой кабинет, а Лиззи занялась хозяйственными хлопотами.

Через полчаса, немного придя в себя после первой буйной радости, Энгельс вышел из кабинета все с той же телеграммой и с двумя письмами Маркса в руках.

– Знаешь, Лиззи, – сказал он голосом, в котором слышались одновременно и задумчивость и недоумение, – теперь, когда я вновь обрел некоторую способность сопоставлять факты и размышлять, приезд Карла рисуется мне и странным и загадочным.

– Что такое? – подняла голову жена.

– Да видишь ли, он пишет в письме: «Я очень сердит на Мейснера». В письме, отправленном на другой день, снова негодует: «Медлительность Мейснера ужасна…» В этом негодовании все дело! Мавр торчит дома, и ему, конечно, не работается, потому что со дня на день он ждет экземпляры своего «Капитала», а их все нет и нет… Издатель действительно страшно затянул дело. И я был убежден, что, пока экземпляры не придут, Мавр, конечно, никуда не тронется из Лондона. Его можно понять. В этой книге столько лет его жизни, бессонных ночей, сил, ума и сердца, нервов и крови… И вдруг сегодня эта телеграмма!

– Вероятно, она означает, что экземпляры наконец получены…

– Ты гений, Лиззи! Я сам думаю так же! А кроме того, я подозреваю, что Мавр появится перед нами с «Капиталом» в одной руке и с женихом Лауры – в другой. Понимаешь, насколько все это важно и ответственно?

– Ты почему-то всегда уходил от моих расспросов о Лафарге. Что все-таки ты о нем думаешь как о будущем муже Лауры?

Что он думает? Имя Лафарга стало появляться в письмах Мавра года полтора назад в связи с рассказами о делах в Генеральном совете Интернационала – Лафарг занимал там должность секретаря-корреспондента для Испании. Он креол, родился на Кубе, в семье виноторговца, ему двадцать пять лет, на три года больше, чем Лауре. По словам Мавра, это красивый, интеллигентный, энергичный парень… Казалось бы, все хорошо, но были, однако, некоторые обстоятельства, заставлявшие относиться к сватовству Лафарга с немалой осторожностью. Прежде всего, он еще, как говорится, не стоит на своих ногах. За участие в международном студенческом конгрессе в Льеже его на два года исключили из Парижского университета, где он учился на медицинском факультете. Переехав в Лондон, Лафарг стал работать в Интернационале и посещать медицинскую школу при знаменитом госпитале святого Варфоломея. Там он намерен получить диплом врача. Но будет ли этот диплом действителен и

во Франции, куда Лафарг, вероятно, предполагает вернуться с молодой женой, – это еще вопрос.

Кроме того, в буйной голове недоучившегося студента еще недавно бродило немало прудонистских и других завиральных идей. Их отзвуки слышны порой и теперь. В своих статьях, в речах на заседаниях Генерального совета он и его друзья-студенты из Франции, например, объявляют войну отжившей и словно бы уже не грозящей ныне человечеству; нация, национальность для них предрассудок вчерашнего дня истории, бессмыслица. И вообще, всех, кто, по их понятиям, усложняет социальный вопрос «суевериями» старого мира, они склонны почитать реакционерами, а себя, разумеется, подлинными творцами прогресса и революции.

В своих прудонистских взглядах Лафарг проявлял порой большую твердость. Когда Энгельс в последний раз ездил в Лондон, Лаура со смехом показала ему письмо Мавра, посланное в свое время из Маргета, где он лечился и отдыхал. В самом конце была фраза: «Этот надоедливый парень Лафарг мучает меня своим прудонизмом и, должно быть, до тех пор не успокоится, пока я не стукну крепкой дубиной по его креольской башке».

– Как ты думаешь, дядя Фред, – с шутливым испугом расширив свои прелестные зеленоватые глаза, спросила Лаура, – Мавр может дубиной?

– Еще как! – уверенно воскликнул Энгельс. – Но будем надеяться, что до этого дело все-таки не дойдет. Я убежден, что пройдет два-три месяца тесного общения с Мавром, и прудонизм твоего избранника улетучится подобно… – Нужное сравнение почему-то не приходило на ум. Лаура нетерпеливо тряхнула головой, ее пышные каштановые волосы с золотистым солнечным оттенком затрепетали. – Как туман с восходом солнца, – закончил Энгельс и мягко положил руку на голову Лауры.

Действительно, прудонизм Лафарга не слишком страшил ни отца Лауры, ни Энгельса. Они считали, что это временное и поверхностное увлечение молодости. Серьезную тревогу вызывало другое – крайности характера, необузданность темперамента Поля, да еще отсутствие у него законченного образования и профессии, – все это могло сильно осложнить семейную жизнь. Ведь и помолвка-то, вернее, довольно условная «полупомолвка», как выражался Энгельс, была в значительной степени результатом этой крайности: родители Лауры согласились на нее лишь после того, как у них возникли опасения, что буйный кубинец может, чего доброго, наложить на себя руки.

А что творилось с Лафаргом, как он неистовствовал в тот день, когда Лаура решительно объявила ему, что для настоящего формального обручения должно быть получено согласие Энгельса!

– При чем тут Энгельс? При чем? При чем? – негодовал ошарашенный полужених. – Кто он тебе? Родной дядя? Духовник? Душеприказчик? Он в Манчестере, а мы в Лондоне…

– Не смей так говорить! – топнула ногой обычно сдержанная Лаура. – Энгельс для меня Энгельс. Этим сказано все. А если ты не согласен…

– Я согласен! – обреченно ударил себя в грудь обоими кулаками Лафарг. – Но где гарантия, что после Энгельса вы со своим папочкой не потребуете, чтобы я добился еще и согласия Гарибальди?!

Лаура засмеялась.

– Отличная мысль! Надо будет обсудить ее с Мавром и Мэмэ.

Будучи человеком остроумным и богато одаренным чувством юмора, Лафарг, однако, совершенно не понимал шуток, когда они касались его отношений с Лаурой.

– Что?! – с неподдельным страхом воскликнул он. – Ты серьезно?

Лаура знала: если она потребует, чтобы Лафарг получил согласие не только Гарибальди, но еще и тибетского далай-ламы или русского царя Александра Второго, то Поль, извергнув из своей груди целый вулкан негодования, все-таки примирится и с этим. Ей стало жаль его, и она протянула ему для поцелуя ладошку.

– Ну хорошо, – сказала она, – согласие Гарибальди не обязательно, но без согласия Энгельса ни о чем не может быть и речи.

– Между прочим, у твоего Энгельса, – сказал все еще взвинченный Лафарг, – насколько я могу судить по фотографиям, борода растет вбок. Странно, что вы никто этого не замечаете.

– Энгельс – красавец! – Лаура выдернула руку из медлительных рук Лафарга. – Его борода так же прекрасна, как борода Мавра. Запомни это на всю жизнь, если ты действительно хочешь, чтобы я стала твоей женой.

…Со времени «полупомолвки» минуло больше года. Все это время Мавр очень часто подшучивал над Лафаргом. Каких только прозвищ он ему не давал! Рыцарь печального образа, Дитя природы, Негритос… Однажды в письме к Элеоноре, которая в то время вместе со старшими сестрами находилась в Гастингсе, он даже назвал его «потомком гориллы», который с трудом переносит разлуку с «бархатной мышкой», то есть с Лаурой.

Энгельс, сам большой охотник до всяких прозвищ, называл Лафарга в письмах Электриком за то, что тот возлагал большие надежды на электричество при лечении разных болезней.

Но за шутками, дружескими усмешками, подтруниванием весь этот год в душе и Мавра и Энгельса таилось беспокойство и опасения за будущее Лауры. Весь год Лафарг, ранее приняв требование Лауры о получении согласия Энгельса, пытался, однако же, то так, то этак обойти это требование или уговорить Лауру отказаться от него. Но наконец понял, что его старания бесполезны. И вот он едет в Манчестер. Все решится там.

– Ты спрашиваешь, Лиззи, что я думаю о Лафарге и почему ухожу от расспросов, – задумчиво проговорил Энгельс. – Ухожу потому, что слишком мало знаю о нем, еще ни разу не видел его. А думаю я о Поле мыслями Мавра. Помнишь, он писал в прошлом году, что, мол, по правде сказать, мне нравится этот парень, но в то же время я ревниво отношусь к его захватническим планам по отношению к моему старому «личному секретарю». Я тоже не могу не ревновать. Ты знаешь, что всех детей Мавра я люблю как родных. И ощущаю это с каждым годом тем сильнее, чем очевиднее становится, что своих детей судьба, кажется, нам так и не пошлет…

•

Маркс и Лафарг ехали в своем отделении одни. Пользуясь вынужденным досугом и тем, что им никто не мешал, они, то возбуждаясь, то приглушая голоса, вот уже второй час говорили, говорили, говорили… Руки того и другого были заняты. Маркс держал большую увесистую книгу – только сегодня утром присланный Мейснером первый том «Капитала» – подарок Энгельсу. Рядом на диванчике лежала широкая плоская коробка. И она, очевидно, таила в себе что-то интересное. В руках у Лафарга обернутый куском старого пледа огромный полуторалитровый бокал, который он привез из Бордо, где был недавно у своих родителей, – тоже подарок Энгельсу.

Маркс, привыкший во время беседы прохаживаться, порой клал книгу, вставал, делал два шага и, уткнувшись в дверь, удрученно садился на свое место, причем каждый раз коробке грозила опасность быть раздавленной. Лафарг тоже и гораздо чаще, чем собеседник, ставил свой бокал, вскакивал, но не устремлялся шагать, а делал несколько как бы разряжающих его волнение жестов и садился. И все это так резко, энергично, что Маркс настороженно протягивал руку, опасаясь, как бы не упал

на пол и не разбился бокал. Еще бы! Ведь Лафарг говорит, что это редчайший сорт хрусталя и отменная работа. Фред будет рад, он умеет ценить подобные вещи…

Со стороны эти поочередные вскакивания выглядели довольно комично, но ни маститый философ, ни молодой влюбленный медик не видели и не могли сейчас видеть себя со стороны – так они были увлечены беседой.

– Да, дорогой мой, да, – говорил Маркс, слегка ударяя кулаком по книге. – Если вы хотите продолжать отношения с Лаурой, то нужно отказаться от своего метода, так сказать, ухаживания. Вы прекрасно знаете, что твердого обещания еще нет. Но если бы даже она была помолвлена с вами по всем правилам, то и тогда вам не следовало бы забывать, что слишком большая интимность более чем неуместна. Вы поразили меня с самого начала. Я с ужасом наблюдал перемены в вашем поведении изо дня в день за геологический период одной только первой недели вашего знакомства…

– Первой недели? – изумленно переспросил Лафарг. – Вы помните первую неделю нашего знакомства?

– Прекрасно помню.

– А для меня все это время с того дня, как я увидел Лауру, слилось в один сплошной, нерасчленимый кошмарный поток.

– Это вижу не только я… – усмехнулся Маркс и, минуту помолчав, продолжал: – На мой взгляд, истинная любовь выражается в сдержанности, скромности и даже робости влюбленного по отношению к своему кумиру.

– Кумир – это уже попахивает восемнадцатым веком, религией…

– Да, кумир, чем бы это ни попахивало!

– Ваша жена была для вас кумиром?

Маркс ответил не сразу. Он что-то перебирал в памяти, вспоминал, видимо, подыскивал аргумент поубедительней. Потом медленно проговорил:

– Вот послушайте несколько стихотворных строк… – Он набрал полную грудь воздуха и прочитал:

Исполниться надежде
Настал желанный срок,
Обрел я то, что прежде
В мечтах лишь видеть мог.
Все то, чего мой разум
Не одолел трудом,
Открылось сердцу разом
Во взгляде дорогом!..

– Это ваши стихи, Мавр? – удивился Лафарг.

– Да, мои. Таких стихов тридцать лет тому назад я написал три тома. Все они были посвящены невесте… Стишки так себе, и даже менее того, но в этих восьми строках разве не видно отношение к любимой как к кумиру?.. А у вас я вижу слишком непринужденное проявление страсти да преждевременную фамильярность.

– Но, Мавр! – взмолился Лафарг. – Меняются времена, меняются и нравы.

– Да, нравы меняются, но мы, коммунисты, должны заботиться о том, чтобы они менялись к лучшему, пока хотя бы лишь в нашей среде.

– Сделайте же наконец скидку на мой креольский темперамент! – Лафарг вскочил. – Вы родились в Пруссии, а я кубинец, в моих жилах течет не только французская, но и негритянская кровь!

– Если вы не перестанете ссылаться на свой темперамент креола, то моим отцовским долгом будет встать с моим немецким здравым смыслом между вашим темпераментом и моей дочерью. – Маркс действительно встал, шагнул к двери и, прислонившись к ней спиной, продолжал говорить, словно вырезая по камню каждое слово: – Если, находясь вблизи нее, вы не в силах проявлять любовь в форме, соответствующей лондонскому, а не гаванскому меридиану, не в состоянии умерить свой пыл до уровня английских нравов, то Лаура – уж позвольте мне быть откровенным до конца – безо всяких церемоний выставит вас за дверь, и вам придется любить ее на расстоянии… Имеющий уши да слышит.

Яростно вращая огромными белками, выделявшимися на его смуглом лице, Лафарг опустился на сиденье и, снова взяв в руки бокал, горестно прижал его к себе. Маркс тоже примирительно сел. Ему хотелось шуткой разрядить напряжение, и он сказал:

– А между прочим, дорогой Лафарг, в своей личной жизни вы стоите совсем на иной, даже прямо противоположной позиции, чем в общественной. В Генеральном совете Интернационала вы доказываете, что нации – это пережиток, фикция, а здесь требуете себе особых прав на том основании, что по рождению вы кубинец и в ваши жилы от бабушки-мулатки проникло несколько капель негритянской крови…

Молодой человек, как видно, не слушал. Он сидел неподвижно, весь поглощенный какими-то своими мыслями. Вдруг он словно проснулся, опять вскочил и воскликнул:

– Но поймите же, шестого августа исполнится уже год, как мы помолвлены!

– Уже год? – Маркс сделал ударение на «уже». – Я бы сказал «еще только» год. Вы знаете, сколько лет были обручены мы с Женни?

– Знаю! Семь! Но уж не хотите ли вы сказать, что все последователи Маркса должны проходить такой срок? Может быть, вы внесете такое требование в Устав Интернационала или в новое издание «Коммунистического манифеста»?

Маркс расхохотался. Нет, этот парень за словом в карман не полезет…

– Да, я внесу такое требование, – сказал он с преувеличенной решимостью, хлопнув ладонью по книге. – Но поскольку вы, мой возможный будущий зять, никакой не последователь Маркса, а завзятый прудонист, то для вас можно установить срок… ну, пожалуй, всего в пять лет.

– Пять?! – испуганно воскликнул Лафарг, как всегда не поняв шутки, поскольку она касалась его отношений с Лаурой.

– Пять, – спокойно подтвердил Маркс. – Вот если бы вы были лассальянцем, я бы ограничился тремя. И пожалуй, только для бакунистов можно установить срок в полтора года. Но вы не выдержали еще и такого срока.

Лафарг наконец сообразил, что над ним шутят. Он немного успокоился и сказал:

– Но ведь вы, Мавр, хоть и ждали свою Женни семь лет, однако в моем возрасте были уже женаты. Я же не виноват, что не встретил Лауру раньше.

– Вот тут мне возразить вам нечего, – развел руками Маркс. – Резонно. Да, я женился на двадцать шестом году. Но, дорогой друг, я к тому времени уже был доктором философии. А вы все еще студент. Ваша карьера во Франции наполовину разбита событиями в Льеже, а для вашей акклиматизации в Англии у вас пока что отсутствует необходимое условие – совершенное знание языка. В лучшем случае ваши шансы проблематичны.

– Вы еще не знаете, на что я способен! – жарко перебил Лафарг.

– Догадываюсь, – многозначительно покачал головой Маркс. – Наблюдение убедило меня в том, что вы по природе не труженик, несмотря на приступы лихорадочной активности и добрую волю. В этих условиях вы будете нуждаться в поддержке со стороны, чтобы начать жизнь с моей дочерью. Я вам такую поддержку оказать не смогу.

– Ну о чем вы говорите! Мой папá… – снова вскочил Лафарг.

– Сядьте и слушайте, – властно усадил парня Маркс. – Да, я

вам помогать не смог бы. У меня в свое время были средства, но вы знаете, что все свое состояние я принес в жертву революционной борьбе. И не сожалею об этом. Наоборот. Если бы мне нужно было снова начинать свой жизненный путь, я сделал бы то же самое. Только я не женился бы.

– Неужели? А кумир? – Белки Лафарга заметались.

– Кумир остается кумиром. Но я не женился бы. Именно потому, что Женни всегда была для меня кумиром и я слишком люблю ее. На ее хрупкие плечи я взвалил нечеловеческую тяжесть. Я не могу себе этого представить, но, может быть, лучше, если бы я любил ее издалека. Поскольку это в моих силах, я хочу уберечь мою дочь от рифов, о которые так долго и больно билась и бьется жизнь ее матери. Вы должны быть сложившимся и крепко стоящим на ногах человеком, прежде чем помышлять о браке.

– Мой папа́… – опять попытался что-то вставить Лафарг, но Маркс не дал себя перебить и решительно закончил:

– Как ни суровы мои слова, но, я надеюсь, они не удивили вас, ибо вы, убежденный реалист, не можете ожидать, чтобы я отнесся к будущему моей дочери как идеалист.

– Спасибо, что вы хоть назвали меня реалистом. – Лафарг слегка наклонил голову. – Так вот, как реалист, я напоминаю вам, что я единственный сын своих родителей. Мой папа́ довольно состоятельный человек…

– Я глубоко уважаю господина Франсуа Лафарга, – поняв, что хочет сказать собеседник, остановил его жестом Маркс. – И это очень хорошо для вас, что у него есть кое-какие средства, но поймите же, в двадцать пять лет строя свой семейный очаг, закладывать в его основание камни, которые называются «мой папа́» и «моя маман», крайне несерьезно.

– Ну хорошо, хорошо, – сдался наконец Лафарг; ему стало неудобно за «папа́», хоть бы «отец» сказал. – Я приложу все силы, чтобы в ближайшие несколько месяцев получить диплом врача.

– Иного решения вопроса и не может быть.

– Но только не чините мне новых препятствий, подобных необходимости согласия Энгельса. Я понимаю, вы с ним старые друзья…

– Сказать, что мы с Энгельсом друзья, значит еще ничего не сказать о подлинной сути наших отношений, – голос Маркса стал мягче и глуше. – Друзей у меня было и есть много. Кугельман, Вейдемейер, Вольф, Гейне… Всех не перечислишь. А Энгельс… Как бы вам сказать?.. Без Энгельса я бы не стал Марксом, а без меня, вероятно, он не стал бы Энгельсом.

– О! – откинулся на спинку сиденья Лафарг. – Я думаю, что первое из этих утверждений невероятно преувеличено.

– Ах, как вы ничего не понимаете!.. – досадливо воскликнул Маркс. – Известно ли вам, что мое имя, чем я до сих пор чрезвычайно горжусь, блистало под пером Фреда еще до того, как мы близко сошлись? Один раз это было в прозе – в статье «Успехи движения за социальное преобразование на континенте» – он назвал мое имя среди других младогегельянцев. А другой раз даже в стихах! Они были в сорок втором году опубликованы в Швейцарии.

– Уж не помните ли вы их тоже наизусть спустя четверть века? – улыбнулся Лафарг.

– Конечно! И сейчас с удовольствием прочитаю вам. – Маркс встал, отошел к двери и начал декламировать:

– Тот, что всех левей, чьи брюки цвета перца
И в чьей груди насквозь проперченное сердце,
Тот длинноногий кто? То Освальд – монтаньяр!
Всегда он и везде непримирим и яр…

– Освальд – это псевдоним Фреда в ту пору, – пояснил Маркс. – А дальше речь о вашем покорном слуге:

Кто мчится вслед за ним, как ураган степной?
То Трира черный сын с неистовой душой.
Он не идет – бежит, нет, катится лавиной,
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный…

Маркс прервал чтение, засмеялся:

– Ну, тут, как видите, бездна всяких романтических гипербол, свойственных молодости и самому стилю, избранному двадцатидвухлетним поэтом, но есть и две глубоко правдивые, реалистические детали.

– Какие? – Лафаргу не терпелось.

– Дослушайте до конца:

А руки он простер взволнованно вперед,
Как бы желая вниз обрушить неба свод.
Сжимая кулаки, силач неутомимый
Все время мечется, как бесом одержимый!

Теперь уже засмеялись оба – и чтец и слушатель.

– Да, смешно, – сказал Маркс, садясь на свой диванчик. – Смешно и трогательно… А две правдивые мысли вот какие. Во-

первых, я тогда действительно был словно одержим бесом – бесом философских исканий, бесом добывания истины.

– Этот бес не отпустил вас до сих пор. Он разве что лишь сменил философское обличье на экономическое.

– Если угодно, да, – согласился Маркс, – в соавторстве с этим бесом мы написали вот эту книгу, – он взвесил на руке том «Капитала», – и готовим еще две такие. Свод неба я не обрушил, но эти книги когда-то хорошо помогут обрушить устои буржуазного общества… Вторая же мысль – ради нее-то я и обратился к юношеским стихам Фреда – состоит вот в чем: «Кто мчится вслед за ним, как ураган степной?» Вы слышите? Черный сын Трира мчится вслед за монтаньяром Освальдом…

– Я все-таки думаю, что это тоже романтическая гипербола.

– О нет! Эти слова, написанные тогда, возможно, и без особых раздумий, в общем-то оказались пророческими.

– Каким образом? – все не соглашался Лафарг.

– А таким, что у меня все приходит позже, чем у него, и я всегда следую по его стопам.

– Я бы поверил, если бы эту книгу, главный труд вашей жизни, – Лафарг подтолкнул «Капитал» ближе к Марксу, – книгу, производящую полный переворот в нашем представлении о современном обществе и его будущих судьбах, написал он, а не вы. Но, насколько я понимаю, дело обстоит не так.

– Я запрещаю вам так говорить! – Маркс поднялся. – Энгельс семнадцать лет занимается постылой ему торговлей едва ли не исключительно ради того, чтобы я мог работать над этой книгой и над другими. Кто может предвидеть, что совершил бы Фред, если бы эти семнадцать лет были для него годами свободы, а не каторги… Вы читали его «Наброски к критике политической экономии»?

– Кажется, нет… Нет еще… Времени не было, – смутился Лафарг.

– Ну вот! – Маркс удрученно опустился на свое место. – На пустомелю Прудона у вас время нашлось, а великолепную, да что там, гениальную – учтите, я не бросаюсь этим словом, подобно многим людям, – гениальную работу Энгельса вам прочитать недосуг… Мы с Арнольдом Руге напечатали ее в «Немецко-французском ежегоднике» в феврале сорок четвертого года. До этого я видел Фреда лишь один раз – осенью сорок второго в Кёльне, когда он зашел ко мне – к редактору «Рейнской газеты». Первая наша встреча ведь была довольно неприязненной. Я полагал, что он целиком под влиянием Бауэров и заодно с ними. Представляете картину: человек славит меня в прозе и стихах, а я смотрю на него бука букой…

– Представляю, – быстро нашелся Лафарг, чтобы еще раз напомнить о своем больном вопросе. – Приблизительно та же ситуация у меня с Лаурой. Только вы со второй, кажется парижской, встречи стали закадычными друзьями, а у нас полтора года все еще длится «кёльнская встреча»…

Маркс засмеялся:

– Вы все о своем! Не сбивайте меня… Прочитав тогда «Наброски», я сразу понял, что такое Энгельс. И неудивительно, что при второй встрече – она действительно произошла в Париже в конце августа сорок четвертого – мы так прекрасно поняли друг друга. Мы провели тогда вместе незабываемые десять дней. Фред был в ту пору чуть-чуть моложе, чем вы теперь, а я чуть-чуть старше. Да, мы были в те дни так же молоды, здоровы и счастливы, как вы сейчас!

– Обо мне можно только сказать, что я молод и здоров, – буркнул Лафарг.

– Нет, мой друг, вы и счастливы! Даже если Лаура не станет вашей женой…

– Мавр! Я выброшусь сейчас в окно!

– Но-но! Я только один раз мог поддаться на подобные демарши. Второго раза не будет. – Маркс взял Лафарга за руку, посадил. – Запомните: даже неразделенная любовь – великое счастье. Подробнее вам об этом расскажет Энгельс.

– У него была неразделенная любовь? По тому, что я о нем знаю, это трудно представить.

– О нем у многих, даже у тех, кто встречался с ним довольно близко, порой очень превратное представление. Либкнехт и тот однажды назвал его первым грубияном Европы, а между тем у Фреда – уж я-то знаю! – чуткое, любящее сердце… Но вы опять меня перебили. Так вот, если хотите знать, именно «Наброски» Энгельса натолкнули меня на мысль о необходимости заняться политической экономией. Более того, книга, которую я сейчас везу ему в подарок, в зародышевой форме вся содержалась в этих изумительных «Набросках». Да что там говорить! Фред – блистательный ум. А сколько он знает! Это настоящая энциклопедия. Работать же он может в любое время дня и ночи, сразу после плотного обеда и голодный как волк, трезвый и навеселе, да притом соображает и пишет быстро, как черт…

Лафарг уже привык к тому, что старик – многим двадцатипятилетним кажутся стариками те, кто вдвое старше их, – старик нередко употребляет довольно крепкие словечки, и потому «черт» его не удивил.

– Помню, в Кёльне, – продолжал Маркс, – в бурные дни осени сорок восьмого года прокурор Геккер отдал приказ о розыске и

аресте Фреда. Приказ был опубликован в верноподданной «Кёльнской газете». Я до сих пор храню этот экземпляр от четвертого октября. Там рядом с приказом приведены еще и приметы Энгельса. Рост, глаза, нос… Все это, в общем, соответствовало истине. Но, представьте себе, прокурор попытался охарактеризовать еще и лоб Фреда. И что, вы думаете, он написал? «Лоб – обыкновенный»! Каково, а? Лоб Фридриха Энгельса – обыкновенный!..

Лафарг улыбнулся.

– Вы что смеетесь? – насторожился Маркс. – Тогда я был этим так взбешен, что даже забыл об опасности, грозившей Фреду, и хотел послать прокурору Геккеру вызов на дуэль за оскорбление.

– И послали?

– Да нет… Время было такое, что некоторые номера «Новой Рейнской» мне приходилось готовить самому от первой до последней строки. Словом, так был занят, что не собрался! Но до сих пор жалею!

– Лаура мне рассказывала, что однажды вы все-таки вызвали кого-то на дуэль из-за Энгельса.

– Вы, очевидно, имеете в виду этого сикофанта Мюллер-Теллиринга, который оклеветал Фреда? Нет, девочка преувеличивает. Я только припугнул его дуэлью и пообещал разделаться с ним на ином поле – на поле публицистической борьбы.

Чем дальше Лафарг слушал Мавра, тем сильнее завидовал ему, его дружбе с Энгельсом. Словно угадав его мысли, Маркс вдруг сказал:

– Я ничего вам в жизни так не желаю, Поль, как того, чтобы Лаура, если она станет вашей женой…

– Мавр! Опять ваши «если»! – с необыкновенной легкостью вновь вспыхнул Лафарг.

– Ну, ну, хорошо. – Марксу уже не хотелось возвращаться к прежней теме. – Я желаю, во-первых, чтобы Лаура была вам такой же женой, какой мне всегда была Женни; во-вторых, чтобы судьба послала вам такого же друга, какого она послала мне в Энгельсе; в-третьих, я не могу не пожелать, чтобы у нас с вами сложились такие же отношения, какие были у меня с отцом Женни.

Всю оставшуюся часть пути Маркс, который вот-вот мог стать тестем, рассказывал Лафаргу о своем тесте – старом Вестфалене, человеке большого ума и благородного сердца.

•

Они ввалились в прихожую с шумом и смехом – Фред, Мавр и Лафарг.

– Лиззи! – воскликнул Энгельс. – Мы с тобой были совершенно правы. Вот тебе «Капитал», – он протянул ей книгу, которую еще на вокзале взял у Маркса и всю дорогу держал в руках.

– Ого! – вырвалось у Лиззи, когда она ощутила тяжесть тома.

– Иначе нельзя было, дорогая миссис Лиззи, – засмеялся Маркс. – Немцы такой народ, что легонькую книжечку они и читать не станут. У них пользуются доверием лишь фолианты в двадцать, сорок, пятьдесят листов. Ну я и накатал почти все пятьдесят.

– А вот тебе Лафарг, – продолжал Энгельс, – соискатель звания супруга Лауры.

Лафарг поклонился и поцеловал руку Лиззи. «Хорош креол! – тотчас отметила она про себя. – Строен, лицо как точеное, а глаза-то… Ну, положим, нашу Лауру тоже из десятка не выкинешь».

– Дорогой господин Маркс! – сказала Лиззи. – Прежде всего я хочу от всего сердца поздравить…

– Э, нет! – воспротивился Энгельс. – Я не могу допустить, чтобы это произошло кое-как, в прихожей. Только за столом, только под звон бокалов!

При слове «бокалов» Маркс вспомнил о подарке Лафарга.

– Фред! Ты посмотри, что тут тебе приготовил мой гипотетический зять, – он взял из рук Лафарга бокал, развернул его и поставил на подзеркальник. – Редчайший сорт хрусталя. А какова работа!

Бокал был действительно отличной работы, но Энгельс, разбиравшийся в подобных вещах несравненно лучше своего неопытного в житейских делах друга, даже не притрагиваясь к бокалу, не щелкая по нему, сразу увидел, что это никакой не хрусталь, а просто хорошее стекло. «Ах, шельмец! – весело подумал он о Лафарге, поняв, что это он, конечно, внушил простаку Мавру мысль о хрустале. – Это тебе так не пройдет».

– Очень тронут. Прекрасный бокал! Такой хрусталь я уж и не помню, когда видел.

– А это, миссис Лиззи, – сказал Маркс, доставая из-за спины коробку, – с гонорара за «Капитал»!

Лиззи поблагодарила и открыла коробку. Там лежало прекрасное зеленое платье, купленное в одном из лучших магазинов Лондона.

– Наша старшая дочь потребовала, – сказал Маркс, – чтобы платье непременно было цвета ирландского знамени. Она сама

сейчас носит польский крест на зеленой ленте и уверяла меня, что для вас, ирландки, в нынешнюю пору небывалого напряжения борьбы за свободу Ирландии платье зеленого цвета будет особенно приятно. Я ей поверил.

– И не ошиблись, господин Маркс, не ошиблись. – Лиззи действительно было очень приятно.

– Я хочу, – сказал Энгельс, – чтобы ты сегодня украшала наше мужское общество в этом платье.

– Разумеется, – радостно согласилась Лиззи и пошла переодеваться.

– Вот погодите, – шутливо пригрозил Маркс. – Дайте срок, выйдет мой «Капитал» на английском, на французском, а то и на русском, и я сделаюсь богачом. Тогда вы ахнете, увидев, с каким вкусом ваш Мавр может выбирать подарки.

Энгельс знал, что «Капитал» вышел ничтожным тиражом в одну тысячу экземпляров, что гонорар за этот гигантский двадцатилетний труд Маркс получит издевательски мизерный – 60 фунтов; он понимал и то, что издание книги на других языках – дело чрезвычайно сложное и уж наверняка это не принесет Марксу сказочных богатств. Но он видел, что его друг действительно рассчитывает с выходом «Капитала» решительно поправить свои дела, обрести наконец-то – в пятьдесят лет! – полную материальную независимость, – и сердце Энгельса больно сжалось от ясного сознания несбыточности надежд Мавра.

…Праздничное застолье, пожалуй, перевалило уже свою вершину, когда пришел доктор Гумперт, друг Энгельса и Маркса, немец, единственный врач, которому Мавр доверял.

– Вот кстати! – обрадовался Энгельс. – Эдуард, если бы ты знал, какое событие мы сегодня отмечаем… Как ты думаешь, кто этот господин? – он указал на кресло между собой и Марксом, где на высокой подушке стояла прислоненная к спинке, развернутая посредине большая книга. – Этого господина зовут «Капитал». Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать его рождение. А он, видишь, сидит как настоящий именинник и от тщеславного удовольствия слегка пошевеливает страницами… Лиззи, бокал! Шампанского!

Пока Лиззи подавала новый прибор, Гумперту представили Лафарга, о котором он, конечно, до этого слышал.

– Мы уже пили за него, – сказал хозяин, – а ты, Гумперт, выпей до дна за этого гениального и ненавистного, долгожданного и трижды проклятого новорожденного.

Гумперт выпил, и Энгельс, воскликнув «Молодец!», продолжал:

– Мне всегда казалось, Мавр, что эта книга, которую ты так

долго вынашивал, была главной причиной всех твоих несчастий и что ты никогда не выкарабкался бы, не сбросив с себя этой ноши. Эта вечно все еще не готовая вещь угнетала тебя в физическом, духовном и финансовом отношениях, и я отлично понимаю, что теперь, – Энгельс встал и пошевелил расправленными плечами, – стряхнув этот кошмар, ты чувствуешь себя другим человеком, и мир, в который ты опять вступаешь, кажется тебе уже не таким мрачным, как раньше.

Маркс встал с бокалом в руке:

– Ты сказал, Фред, кошмар… Да, эта книга была для меня высочайшим наслаждением и одновременно диким кошмаром. В жертву ей я принес слишком многое. Но этот кошмар преследовал меня не один, ему всегда сопутствовал другой, не менее ужасный… Ведь только тебе, Фред, я обязан тем, что первый том готов. Без твоего самопожертвования ради меня я ни за что не смог бы проделать огромную работу и по двум остальным томам… Без тебя я никогда не смог бы довести до конца все это циклопическое дело, и – уверяю тебя – мою совесть постоянно именно как кошмар давила мысль, что ты тратишь свои исключительные способности на занятия коммерцией и даешь им ржаветь главным образом из-за меня… Прошу вас, друзья, выпить за моего Фреда.

Все встали. Маркс и Энгельс обнялись над креслом, в котором покоился «Капитал». Чтобы скрыть волнение, Энгельс, смеясь, воскликнул:

– Ты слышала, Лиззи? Мавр объявил твоего мужа заржавевшей железкой. Не пожелаешь ли ты после столь авторитетного заявления выбросить меня на свалку или сдать старьевщику?

– Господа! – вдруг подал голос Гумперт. – Я счастлив, что в такой знаменательный день оказался с вами, но, к сожалению, мне пора идти: я завтра утром еду в Ливерпуль, и еще надо кое-что сделать перед отъездом.

– Ты уезжаешь в Ливерпуль? – удивился Энгельс.

– Дней на десять.

– В таком случае, пожалуйста, осмотри и выслушай сейчас Мавра, а то он возьмет да уедет раньше, чем ты вернешься.

– Фред, я чувствую себя прекрасно, никакой осмотр мне не нужен, – попытался противиться Маркс.

– В этом вопросе я разбираюсь лучше знаменитого автора «Капитала», – непререкаемым тоном сказал Энгельс и выпроводил Маркса с Гумпертом в свой кабинет.

Вскоре Лиззи удалилась по каким-то своим делам на кухню, и Энгельс с Лафаргом остались в столовой одни. С первого

взгляда еще на вокзале они понравились друг другу. А перед тем как садиться за стол, Лафарг улучил момент и шепотом сказал Мавру: «Я влюбился в вашего Энгельса». Шепотом же Маркс ответил: «Хотел бы я видеть хоть одного порядочного человека, который не влюбился бы в него». Но теперь, внезапно оставшись одни, Энгельс и Лафарг на мгновение почувствовали стесненность, не зная, как подойти друг к другу.

– Как я завидую вам! – вдруг выпалил Лафарг.

– Кому? Мне? Мавру? – улыбнулся Энгельс.

– Вам обоим!

– Мне, если уж так хочется, можете завидовать, моей бороде, например, или тому, что у меня есть лошадь, но Мавру – не надо.

– Почему же? – искренне удивился Лафарг.

– Потому что нехорошо завидовать гению. Я не понимаю, как тут можно завидовать. Это настолько своеобразное явление, что мы, не обладающие его даром, заранее знаем, что для нас его вершины недостижимы, и, чтобы завидовать этому…

– Вы не поняли меня! – смутился Лафарг. – Я завидую вашей дружбе. Лаура рассказывала, что стоит Мавру занемочь, как вы уже пишете ему: «У меня нет покоя ни днем ни ночью». А как только вы замешкаетесь с ответом на его письмо, он тотчас в тревоге строчит: «Дорогой Энгельс! Плачешь ты или смеешься, спишь или бодрствуешь?»

– Да, это действительно так, – глухо проговорил Энгельс, – плачем мы или смеемся, спим или работаем, сидим дома или бродим в далеких краях – мы всегда вместе. Вот уже столько лет…

– Извините, может быть, вам покажется бестактным…

– Бестактность – это не то, что может меня испугать.

– Мавр всю дорогу, да и раньше уверял меня, что всегда и во всем идет по вашим стопам.

Энгельс рассмеялся:

– Это его любимый конек. Он не только вас, но даже и меня пытается в этом уверить.

Энгельс налил вина Лафаргу, себе и сказал тихо:

– Пока никого нет, давайте ради знакомства выпьем за что-нибудь сепаратное и тайное. Страшно люблю всякие тайны.

– Я бы мог предложить один тост, – замялся Лафарг.

– Представьте, я о нем догадываюсь, – улыбнулся Энгельс. – Вы, конечно, хотели бы выпить за мое согласие на ваш брак с Лаурой.

– Угадали, – мрачновато подтвердил Лафарг.

– Предлагаю несколько иную формулировку. За то, чтобы я счел возможным и нужным дать согласие. Идет?

Лафарг тяжело вздохнул:

– Идет.

Они выпили. Поставив бокал, Энгельс с сочувствием посмотрел на влюбленного.

– Я, разумеется, тоже завидую вам. Как вы понимаете, у человека моих лет много причин завидовать тому, кто на двадцать два года моложе. Но моя зависть, как и ваша, совершенно бескорыстна. Я завидую вашей муке, ибо самая благородная, самая возвышенная и самая индивидуальная из мук – мука любви.

Лафарг вспомнил намек Мавра на когда-то пережитую Энгельсом любовную драму, но спросить о ней не решился.

– Знаете, что лучше всего помогает при любовной муке? – Энгельс, видимо, сам был расположен поговорить на эту тему. – Мне известно лишь одно верное средство. Это путешествие. В сорок первом году, будучи, следовательно, года на четыре моложе вас, я бежал из родного края с разорванным и опустошенным сердцем. Я пустился в странствие по Швейцарии и Северной Италии, я бродил по Альпам и изливал свои чувства перед лицом прекрасной природы, которая одна только и достойна быть их свидетельницей.

– И помогло? – спросил Лафарг.

– Ну, в общем, как видите, остался жив. У Гейне есть такое четверостишие, написанное, кстати, в ту пору:

С жизнью я уже прощался,
Ждал меня могильный мрак;
И я все же жив остался,
Но не спрашивайте: как?

– Судя по стихам, Гейне был человеком весьма любвеобильным, – заметил Лафарг.

– О да! – засмеялся Энгельс. Ему, видно, многое тут было известно. – Но, видите ли, наш друг Гейне полагал, что наряду с путешествием вернейшее средство от старой сердечной боли – новая любовь. Он так и писал:

Когда тебя женщина бросит, – забудь,
Что верил ее постоянству,
В другую влюбись или трогайся в путь,
Котомку на плечи и – странствуй…

– Из того, что Мавр говорил мне о любви, – Лафарг вспомнил

вагонную беседу, – я могу заключить, что он это стихотворение воспринимает, видимо, как вы.

– Конечно, мы, очевидно, оказываем друг на друга влияние даже в таких вопросах. Что же касается нашего учения, – Энгельсу захотелось вернуться к оставленной теме и внести тут окончательную ясность, – то я не стану перед вами отрицать, что принимаю известное самостоятельное участие в его разработке. Но…

Вошла Лиззи.

– Я услышала, что тут читают стихи.

– Со стихами мы уже покончили, Лиззи. Сейчас речь совсем о другом. Призываю тебя в свидетельницы справедливости того, что я хочу сказать нашему молодому другу о его будущем тесте… То, что вношу я, дорогой Лафарг, Мавр может легко сделать и без меня, за исключением, может быть, двух-трех специальных областей. А то, что сделал он, я никогда не мог бы сделать. Маркс стоит выше, видит дальше, обозревает больше и быстрее всех нас, его единомышленников и друзей.

Лафарг вопросительно взглянул на Лиззи.

– Фред напрасно призвал меня в свидетельницы, – покачала она головой. – Я не берусь судить о таких вещах. Я только знаю твердо, что они не могут жить друг без друга.

– О женщина! – воскликнул Энгельс. – Мы только что так возвышенно говорили о вашем роде, и вот ты явилась, чтобы все опровергнуть… Нет, дорогой Лафарг, это не слепое восхищение. Я действительно всю жизнь играю вторую скрипку и чрезвычайно рад, что у меня такая великолепная первая скрипка. Особенно ясно это всегда становилось в кризисных ситуациях в дни революционного развития событий. В момент, когда надо действовать быстро, Мавр, как никто, умеет найти верное решение и тотчас направить удар в самое важное место. В спокойные времена случалось, что события подтверждали мою, а не его правоту, но в революционные – его суждение почти всегда безошибочно.

– Фред! Ты послушай, какую хулу изрыгает на меня этот неблагодарный человек! – В двери столовой появился Гумперт, а за ним его многолетний пациент.

– Да, – входя вслед за врачом, сказал Маркс. – Я утверждаю, что мой «Капитал» был бы окончен гораздо раньше, если бы он не давал мне от моих проклятых карбункулов мышьяк. Я от мышьяка глупею!

Всем стало смешно. И когда разошлись по своим комнатам, то еще долго улыбались, вспоминая жалобу Мавра.

•

Бракосочетание Лауры и Лафарга состоялось весной следующего года – второго апреля. Маркс и Энгельс присутствовали при этом в качестве свидетелей. Но на свадьбе, которую справили восьмого апреля, Энгельс из-за неотложных деловых обстоятельств быть не мог.

Получив от Энгельса очередное письмо, Маркс позвал Лауру с Лафаргом и сказал им:

– Оказывается, ваша свадьба отмечалась повсеместно. Смотрите, что пишет Фред. – Он взял листок и прочитал: – «Свадьбу мы здесь тоже отпраздновали. И с большой торжественностью: собакам надели зеленые ошейники, для шести ребят был устроен званый чай, огромный стеклянный кубок Лафарга служил чашей для пунша, даже ежа напоили пьяным».

– Как это мило! – сказала Лаура.

А Маркс вдруг снова вгляделся в текст письма и воскликнул, видимо обиженный за своего зятя:

– Позвольте, почему Фред пишет «стеклянный кубок»? Он же хрустальный!

– Нет, Мавр, – бесстрашно глядя в глаза тестю, проговорил Лафарг. – Кубок действительно стеклянный.

– И вам это было известно?

– С самого начала, Мавр. Еще в Бордо.

– Да как же вы посмели морочить мне и Энгельсу голову?

– Я бы, конечно, мог сослаться на безумие влюбленного, но не делаю этого. Мои действия были совершенно сознательные. Я знал, что вам будет более приятно, если я подарю Энгельсу не стекло, а хрусталь, и вы больше расположитесь ко мне, что, в свою очередь, могло приблизить наш брак с Лаурой.

– Но Энгельс! – продолжал ужасаться Маркс.

– Энгельс, я это заметил, сразу понял, что кубок стеклянный. Как благородный человек, он промолчал об этом тогда и молчал еще семь месяцев. Но как человек, для которого истина дороже всего, он теперь, после свадьбы, разоблачил мою военную хитрость. Видимо, в воспитательных целях он хочет, чтобы мы с самого начала совместной жизни привыкли к сочетанию меда и дегтя.

– Как всегда, Фред поступил мудро, – решительно, но и с ноткой примирения в голосе сказал Маркс.

Глава десятая.
Последний день неволи

Энгельс сидел после завтрака в своем кабинете и листал газеты. Через полчаса ему надо идти в контору. Но до этого обязательно должно произойти некое замечательное событие, предвкушением которого он живет вот уже несколько дней. С треском распахнется входная дверь, послышится быстрый топот легких ног и с захлебывающимся от радости криком: «Ангельс! Ангельс! Где ты? Это я – Кво-Кво, китайский принц!» – в дом ворвется девчонка. Она вихрем пронесется по всем комнатам, как бы ища его, хотя прекрасно знает, что он ждет ее здесь, в кабинете; где-нибудь по пути громко чмокнет Лиззи и, наконец, подобно снаряду – дверь настежь! – ворвется сюда. Он выйдет из-за стола ей навстречу и удивленно спросит:

– Ты китайский принц Кво-Кво?

– Да! – звонко ответит она и яростно, отчаянно тряхнет густыми черными волосами.

– Это неправда, – сурово скажет он, – ты злой карлик Альберих из старой сказки.

– Да! – еще звонче крикнет она и еще отчаяннее тряхнет волосами.

– Нет, – совсем сурово, почти мрачно скажет он, – ты не китайский принц и не карлик Альберих, ты лондонская замухрышка Тусси!

– Да! Да! Да! – как галчонок, прокричит она и чуть не от порога кинется ему на шею, повиснет, прижмется лицом к бороде и заболтает в воздухе ногами. Потом он поставит ее на пол, поцелует в обе щеки и скажет:

– Ну, выкладывай…

Энгельс был уверен, что все будет именно так: этого требовал ритуал, освященный давней традицией. Как он возник, как сложился – они уже не помнили, но он существовал, и нарушить его не мог и не хотел никто, и уж менее всех – сам Энгельс, большой консерватор в делах житейских.

…До его чуткого слуха донесся звук открываемой двери, глухой говор, движение. Нет, это, конечно, не Тусси. Наверное, кто-то к жене. Он подумал, что посторонний человек может помешать пунктуальному соблюдению ритуала встречи, но тут услышал, как дверь закрывают, все стало тихо, и он решил, что посетитель ушел. Энгельс вновь погрузился в состояние приятного ожидания встречи.

Скрипнула дверь в кабинет. Это, конечно, Лиззи – хочет сообщить, кто приходил. Но вдруг раздался голос, тихий и словно неуверенный в правомерности произносимых слов:

– Ангельс? Это я – Кво-Кво…

В ту долю секунды, когда Энгельс оборачивался, он с недоумением и даже, пожалуй, страхом подумал: что могло нарушить давнюю традицию?

В дверях стояла, конечно, Элеонора. Но это была уже не девчонка-сорванец, о которой сами родители, и Карл, и Женни, в один голос говорили, что тут ошибка природы, что на самом деле, в душе, она мальчишка, – перед Энгельсом стояла если еще не девушка, то уже и не девочка: женское существо, которому шел пятнадцатый год.

«Так вот что ломает давние традиции! – с грустью подумал Энгельс. – Их ломает время, их ломает жизнь. Может быть, теперь ее следует звать уже не Тусси, а Элеонора?» Но грусть в его сердце сладко мешалась с радостью встречи, с восхищением при виде того, как выросла младшая дочь Маркса за несколько месяцев, какой милой, очаровательной девушкой она становится.

Энгельс понял, что она уже не кинется, не повиснет на шее, и поэтому сам подошел к ней. Делая вид, словно ничего не изменилось, словно именно так они всегда и поступали, Энгельс и Элеонора взялись за руки, поцеловались и вышли в гостиную.

Неловкость первых минут скоро прошла – слишком близки были эти два столь разных человека и слишком дороги друг другу, чтобы радость встречи не захлестнула все остальное. Они обменялись первыми, самыми важными, новостями. Тусси передала ему цветочные семена – подарок сестры, Женни-младшей («Это специально для тебя дядя Иоганн прислал ей с мыса Доброй Надежды!»), и он, вздохнув, сказал:

– Ну, мне пора.

– Как? – изумилась Тусси. – Ты и сегодня, в такой день, в день моего приезда, пойдешь в свою распроклятую контору?

– А разве когда-нибудь было иначе с тех пор, как сразу после революции отец прислал меня сюда? – ответил он. – Вот уже почти двадцать лет изо дня в день Фридрих Энгельс-младший ходит в контору, если только он не за пределами Манчестера. Дело есть дело. И я считаю, Тусси, что если ты за него взялся, то обязан освоить не хуже других и исполнять, как должно. Но сегодня, Тусси…

Лиззи подала сапоги; скинув туфли, он стал натягивать эту свою служебную официальную обувь; сегодня она почему-то плохо слушалась его, он кряхтел, нетерпеливо подергивал головой, а когда наконец обулся, глубоко вздохнул, расправил

грудь и, звонко притопнув сперва правым, потом левым сапогом, радостно закончил:

– …В последний раз!

– Что? – не поняла Тусси.

– Сегодня я иду в контору последний раз! – торжественно произнес он. – Сейчас от вас уйдет раб, а через несколько часов он вернется к вам свободным человеком. Так что сегодня у нас двойной праздник – твой приезд, Тусси, и мое освобождение. Все готово к торжеству? – обратился он к жене.

Тусси захлопала в ладоши, несколько раз подпрыгнула на месте, а Лиззи ответила:

– Конечно, Фред, все.

Энгельс ушел, оставив женщин одних.

Тусси не совсем понимала радость Энгельса по поводу освобождения от конторы. Он и так всегда казался ей совершенно свободным, ни от чего не зависящим человеком, и сейчас она была удивлена, услышав слова о рабстве, но раз Ангельс так говорит, значит, так и есть, и, помогая Лиззи в последних приготовлениях на кухне и в столовой, она нетерпеливо ожидала его возвращения.

•

Придя в контору в то же время, как и всегда, Энгельс так приступил к делам и так весь день работал, что самый зоркий наблюдатель, самый опытный психолог не мог бы заподозрить, что человек отбывает последний день почти двадцатилетнего каторжного срока. Была на свете лишь одна пара глаз, от которой не скрылось бы тайное его ликование, – глаза Маркса. Их наблюдательность была бы обострена не только любовью к другу, не только старинной дружбой, но и ясным пониманием, какую жертву принес Энгельс ради его, Мавра, научной работы.

Конечно, пойти на эту каторгу, на долгие годы едва ли не совсем отказаться от собственного научного творчества, чтобы иметь возможность регулярно отправлять в Лондон банкноты в один, пять, десять, а потом и в сто фунтов стерлингов, для такой редкостно одаренной натуры, как Энгельс, было трагично. Но он шел на это сознательно и добровольно, никому не жаловался, ни на что не сетовал, ибо знал, что так необходимо, чтобы сохранить для пролетариата и партии лучшую умственную силу, что без этих проклятых фунтов не будет выковано идейное оружие революции.

Впервые Энгельс всерьез подумал о том, что может оставить

контору, два года назад – лишь после того, как первый том «Капитала» был издан. Но подготовка к уходу потребовала еще много времени. И вот только сегодня настал день, когда он может наконец послать ко всем чертям эту собачью коммерцию, как он всегда называл свою торговлю.

•

В пятом часу Лиззи и Тусси, празднично одетые, вышли к воротам встречать Энгельса. Его высокую статную фигуру они увидели издалека. Он энергично шагал по полю, расстилавшемуся перед домом, размахивал в воздухе тростью и, задрав бороду, что-то громко пел. Когда подошел ближе, Тусси стала различать слова:

Вот и наш черед настал сразиться
И, быть может, даже умереть…

Тусси никогда не видела его таким. Он был воплощением радости и счастья. Она не выдержала и побежала ему навстречу.

Но зато страна преобразится,
И никто рабом не будет впредь!..

Шагов за пять он остановился, швырнул вверх трость и шляпу, растопырил свои огромные руки, подхватил подбежавшую Тусси и поднял ее над землей. Лиззи стояла у ворот, смотрела на них, и в глазах у нее все плыло, дрожало, дробилось. Она-то понимала, что значит для Энгельса нынешний день..

Когда сели за стол и налили по бокалу шампанского, Тусси спросила:

– Что это за песню ты пел, Ангельс?

– Песню? Сейчас отвечу, только прежде ты мне скажи, можно ли тебе пить вино.

– Ну вот, спохватился, когда бокалы уже полны, – с шутливой досадой махнула рукой Лиззи.

– Ангельс, что ты! – вскинула брови Тусси. – Я уже давно пью!

Энгельсу все сейчас было прекрасно и весело, он готов был смеяться над каждым пустяком, расхохотался и над словами Тусси.

– Ах, вы давно пьете, мисс? Позвольте узнать, две недели или уже три?

– Ангельс, я не шучу. Когда наша Мэмэ болела оспой?

– Это было почти девять лет назад, – сказала Лиззи.

– Ну вот, значит, я пью уже девять лет, – решительно заявила Тусси.

– Какая же связь между маминой оспой и началом твоей разгульной жизни? – спросил, улыбаясь, Энгельс.

– Самая прямая. Когда Мэмэ заболела, нас отправили к Либкнехтам, – вы это помните. Мы жили там несколько недель как в ссылке, не видя ни Мавра, ни Мэмэ. Мы умирали от тоски. Однажды я сидела на подоконнике и смотрела, как птица из клетки, на улицу. Вдруг вижу – идет Мавр, похудевший, мрачный, идет, ни на кого не смотрит. Я подождала, пока он поравнялся с окном, и крикнула у него над головой страшным голосом: «Привет, старина!» Мавр остановился, поднял голову и помахал мне. А вечером нам принесли от него в утешение две бутылки бургундского. Сестрицы, конечно, не хотели мне давать ни капли; сказали, что так как бутылок только две, то ясно, мол, что они предназначаются лишь им, двум старшим. Но я не отступалась. Я говорила им, что если бы не крикнула из окна Мавру, то он вообще забыл бы о нашем существовании, а две бутылки он прислал лишь потому, что больше у него просто не было. И что же вы думаете, я оказалась права! Когда мы вернулись из ссылки, Мавр признался, что это были последние две бутылки из ящика, который ты, Ангельс, прислал нам еще к рождеству. Вот так с тех пор я и стала пьющей, – закончила Тусси, улыбаясь и решительно подымая свой бокал.

– Ну так выпьем за тебя. – Энгельс поднял свой и чокнулся с Лиззи, потом с Тусси. – За твой приезд, за твои исключительные способности, которые уже в пятилетнем возрасте позволили тебе понять, в чем заключается одна из прелестей жизни!

Лиззи встрепенулась, видимо, хотела что-то возразить и неуверенно остановилась, но Тусси поняла ее.

– Нет! – сказала она. – Сначала, Ангельс, за твое освобождение.

Все выпили до дна, и стало еще веселей и отрадней.

– Ну а теперь расскажи, что за песню ты пел, – напомнила Тусси.

– О, это старая песня, милая девочка, я пел ее, когда был молодым.

– Ангельс! Что значит «был»? Ты самый молодой из всех, кого я знаю.

– Тусси, – Энгельс откинулся в кресле, – уж не приехала ли ты в Манчестер с тайной целью основать здесь общество взаимного восхваления!

– Да! – с веселой готовностью согласилась Тусси. – А тебя изберем президентом. Вот!

– Опять в кабалу? Но мы же только что выпили за мою свободу!

– Ну хорошо, не будешь президентом, – смилостивилась девушка, – только расскажи, что это за песня.

– Я не пел эту песню двадцать лет. – Голос Энгельса был все еще весел, но в нем проскользнули какие-то новые, незнакомые нотки. Он помолчал. – Я думал, что давно забыл ее, но сегодня, в день моего освобождения, она сама сорвалась с языка. – Незнакомые нотки крепли, ширились. – Это песня солдат и волонтеров баденско-пфальцского восстания сорок девятого года. Слова не очень-то складны, но мы все равно распевали ее с великим рвением – это была наша «Марсельеза»… Когда нас было всего пять-шесть тысяч, пруссаков – около тридцати, когда нас – двенадцать-тринадцать, их – шестьдесят. Словом, на каждого повстанца всегда приходилось по пять-шесть врагов.

Своим чутким юным сердцем Тусси поняла: раз Энгельс ушел в далекую страну своей молодости, то его не надо торопить оттуда, он сам вернется, когда настанет время. Она лишь спросила:

– Мавр рассказывал, что ты с оружием в руках участвовал в четырех сражениях и все восхищались твоей храбростью. Это так?

Энгельс будто не расслышал ее слов.

– И вот когда на тебя идут пятеро, шестеро – шестеро прекрасно обученных профессиональных вояк, – а ты едва ли не впервые взял в руки ружье или саблю, то что же тебе еще остается, как не запеть, чтобы бросить им в лицо свое презрение, ненависть и одновременно – проститься с жизнью!

Каким-то незнакомым, надсадным и хриплым, словно перехваченным жаждой, отчаянием и ненавистью, голосом Энгельс запел:

От бесстыдной своры дармоедов
Надо нам Германию сберечь!
В бой за землю прадедов и дедов!
Не страшны нам пули и картечь!

Горящими глазами Тусси смотрела на него, слушала песню, боясь проронить хоть одно слово, пыталась представить картину неравного боя – и вдруг ей стало жарко: она физически ощутила накал давней молодой страсти, горевшей сейчас в Энгельсе.

Он кончил петь, отхлебнул глоток вина; по его лицу было видно, что он оставляет, оставляет, оставляет далекую страну

молодости. Как бы прощаясь с ней, он сказал:

– Они разбили нас в решающей битве на Мурге, но это была подлая победа – они нарушили нейтралитет Вюртемберга и обеспечили себе возможность обходного маневра. Двенадцатого июля наш отряд перешел швейцарскую границу.

– Говорят, прикрывая товарищей, ты отошел в числе самых последних? – не желая, чтобы возвращение из прошлого было слишком резким, и даже почему-то опасаясь этого, спросила Тусси.

– Говорят, говорят… Кто говорит? – Энгельс уже вернулся совсем. Не в его обычае было занимать дам такого рода разговорами, и сейчас он, пожалуй, даже жалел, что позволил себе забыться.

– Мавр говорит.

– Ах, Мавр… Если, Тусси, в качестве филиала упоминавшегося мной общества тебе вздумается еще учредить добровольное общество по безмерному восхвалению Энгельса, то лучшего президента для него, чем Мавр, ты не найдешь.

– Мавр зря не скажет, – многозначительно вставила Лиззи.

– Конечно! – подтвердила Тусси и попросила: – Расскажи еще что-нибудь о восстании.

Но Энгельс, как видно, уже не хотел говорить об этом серьезно. Он помолчал, вспоминая что-то, потом сказал:

– Видишь ли, восстание в Пфальце имело свою и веселую сторону, что вполне естественно в такой богатой и благословенной Вакхом стране. Народ радовался тому, что удалось сбросить со своей шеи тяжеловесных, педантичных старобаварских любителей пива и назначить чиновниками веселых и беззаботных ценителей местного вина. Первым революционным актом пфальцского народа было восстановление свободы трактиров.

– Ты морочишь мне голову! – засмеялась Тусси.

– Выдумает же! – улыбнулась и Лиззи.

– Ничуть. Это действительно так, – серьезно ответил Энгельс. – Ведь Пфальц превратился тогда в большой трактир, и количество спиртных напитков, уничтоженных за шесть недель восстания под видом тостов во имя пфальцского народа, не поддается учету. Временное правительство Пфальца состояло почти исключительно из любителей вина, но нельзя отрицать, что они вели себя несколько лучше и делали сравнительно больше, чем их баденские соседи… У них была, по крайней мере, добрая воля и, несмотря на их любовь к вину, – более трезвый рассудок, чем у филистерски-серьезных господ из Карлсруэ… За это я и хотел бы сейчас выпить – за любовь к дарам Вакха, сочетающуюся

с трезвостью рассудка!

– Ура! – крикнула Тусси. – Теперь я понимаю, почему Мэмэ и Мавр избрали для свадебного путешествия именно Пфальц.

– Дитя мое, – шутливо-наставительно и одновременно с гордостью за друзей заметил Энгельс, – твои родители с молодых лет не только весьма просвещенные люди, но и вкус у них всегда был отменный.

Минуту все помолчали. Потом Энгельс печально вздохнул:

– Ах, как давно это было! Пролетело двадцать лет…

Тусси, словно только теперь поняв, что Энгельс действительно не так уж молод, осторожно спросила:

– А твои товарищи по восстанию живы? Ты знаешь, кто из них где?

– Командир отряда Август Виллих жив. Он на десять лет старше меня. Значит, ему вот-вот стукнет шестьдесят.

– Как он?

– О, с ним мы хлебнули горюшка! – Энгельс на мгновение даже зажмурился словно от слишком резкого света. – Видишь ли, Тусси, люди имеют свойство меняться, и притом порой очень быстро и глубоко.

– Твой командир отошел от революции, стал заурядным бюргером?

– Нет. В некотором смысле даже наоборот; ему не терпелось продолжать революцию любой ценой, несмотря на то что революционная ситуация полностью себя исчерпала. Он впал в сектантство, заразился авантюризмом. Прошло немногим больше года после баденско-пфальцского восстания, как он стал обвинять Маркса в том, что мы слишком дорожим своим покоем, что мы трусы…

– Мавр трус?! Ты трус?! – возмущенно выпалила Тусси.

– Однажды дело дошло до дуэли. Наш благородный и бесстрашный друг Конрад Шрамм не вытерпел оскорбительных выпадов Виллиха против нас и бросил ему вызов.

– И они дрались? – Тусси негодующе расширила глаза.

– Да. Как ни силились мы с Карлом предотвратить дуэль, она все-таки состоялась.

– И что же?

– По счастью, дело обошлось довольно благополучно: Конрад был легко ранен в голову, и только.

– Выходит, еще бы чуть-чуть, и он уложил его насмерть? Ну и хлюст этот Виллих!

Энгельс помолчал, теребя бороду, сделал небольшой глоток из бокала, сказал:

– Да, тогда мы все думали о нем так же и негодовали… Но,

Тусси, никогда не спеши с окончательным выводом о человеке, он для этого слишком сложен.

– Но, Ангельс!.. – Девушка нетерпеливо всплеснула руками.

– Представь себе, позже Виллих оправдал себя в наших глазах, если не вполне, то уж во всяком случае в значительной мере. И как человек, и как революционер.

– Да возможно ли это?

– Года через три после нашего разрыва он уехал в Америку и, когда там началась гражданская война, принял в ней самое деятельное участие на стороне северян, снова показав себя отличным офицером и бесстрашным бойцом за дело свободы. И потом, Тусси, мы не имели права и не хотели забывать его заслуги в баденско-пфальцском восстании.

– Ну, пожалуй, – смягчилась девушка. – Если помогал северянам…

– Между прочим, на стороне северян сражались и другие участники баденско-пфальцского восстания, к которым тогда, в дни восстания, у нас было довольно много претензий: Франц Зигель, Фридрих Аннеке, Людвиг Бленкер… И тоже не ударили в грязь лицом. Возможно, наше восстание послужило для них хорошим уроком. Как бы то ни было, а их бескорыстного участия в гражданской войне американцев нельзя не принимать во внимание, когда пытаешься дать оценку их деятельности в целом.

Опять помолчали. Энгельс еще налил в бокалы понемногу вина. Тусси потрогала кончиками пальцев прохладную стенку своего бокала и спросила:

– Ангельс, а что ты намерен делать теперь, когда обрел свободу?

– По-моему, – опередила мужа Лиззи, – прежде всего он захочет также освободиться от необходимости писать письма Мавру…

– Ну? – изумилась Тусси. – Разве писать Мавру – это тягостно? Я думала – наоборот. Ведь твои письма так радуют его! Самые ранние мои воспоминания связаны именно с твоими письмами. – Она поерзала на стуле, словно готовясь к долгому рассказу. – Однажды утром, совсем маленькой, я проходила мимо двери Мавра и услышала за ней его восклицания: «Ах, какой ты молодец!», «Ну нет, все-таки дело обстоит не так!» «Вот в этом ты прав!»… Я знала, что в комнату Мавра никто не заходил, и потому, конечно, очень удивилась. Тихонько приоткрыла дверь и через щелочку увидела, что Мавр в самом деле один, но держит в руке листок бумаги и разговаривает с ним, как с человеком. Что-то скажет ему, потом послушает, как листок тихо-тихо ответит, потом опять скажет. Меня это изумило и даже напугало.

Страшней всего было то, что листок отвечал так тихо, что я его не слышала, а Мавр слышал. Я побежала к Лауре и притащила ее к двери. Та посмотрела и сказала: «Мавр читает письмо дяди Фреда».

– Да, Тусси, – печально сказал Энгельс. – Мавр, конечно, радуется моим письмам, как я радуюсь его. Но еще больше мы эти письма ненавидим. Мы написали их, должно быть, около полутора тысяч. И каждый раз я, как и он, при этом думал: «Если бы можно было не водить пером по бумаге, а поговорить с глазу на глаз, услышать его голос, сразу узнать его мнение…» Словом, письма всегда напоминали нам о разлуке, были лишь подменой живого общения. Поэтому Лиззи права, моя первая забота сейчас – избавиться от его и от своих писем.

– То есть, – Тусси вцепилась в рукав Энгельса, – вы собираетесь переехать в Лондон?

– Какой сообразительный ребенок! – засмеялся Энгельс. – Мавр мог бы спокойно поручить тебе редактирование «Капитала».

Тусси вскочила и бросилась целовать Энгельса и Лиззи.

– Вот здорово! Вот здорово! – кричала она, прыгая вокруг стола. – Долой Манчестер! Да здравствует Лондон!

– Освобождение от конторы, Тусси, – сказал Энгельс, поймав ее за руку, – это не только избавление от тяжелой обязанности, не только возможность целиком отдаться серьезной научной работе, это еще – самое главное – возможность быть рядом с Карлом и всеми вами.

– И наконец-то Мавр перестанет мучиться ревностью. – Тусси остановилась за спиной Энгельса и обхватила его сзади за шею. – Он же ревнует тебя ко всем и ко всему. То к Муру, то к Гумперту, то к светским раутам.

В словах девушки содержалась немалая доля правды. Маркс действительно ревновал друга, и главной причиной этого были долгие годы разлуки. В одном из недавних писем он признавался: «К некоторой ревности с моей стороны ты ведь уже привык, и по существу меня злит то, что мы теперь не можем вместе жить, вместе работать, вместе смеяться».

– Нет на свете мук ужасней мук ревности, – засмеялся Энгельс. – Но если венецианский мавр от них погиб, то нашему Мавру мы этого не позволим. Однако прежде чем перебраться в Лондон…

– Что – прежде? – настороженно замерла Тусси.

– Прежде, – голос Энгельса стал медлительно загадочным, – мы предпримем втроем одно путешествие…

– В Африку?! – выпалила Тусси.

Энгельс опять засмеялся: нет, она все-таки еще девчонка!

– В Африку, на Танганьику или Лимпопо, к львам, крокодилам и удавам ты через несколько лет поедешь в свадебное путешествие со своим бесстрашным избранником, – сказал он, доставая ее рукой из-за спинки кресла и усаживая снова за стол. – А пока мы съездим на родину Лиззи, в Ирландию. Это будет моя первая акция как свободного человека.

– О, Ирландия это ничуть не хуже Африки! – не унимала своего восторга Тусси. – Я всю жизнь мечтала побывать в Ирландии!

Энгельс видел, что Тусси в том возрасте и в том состоянии духа, что, если бы он сказал сейчас, что они поедут на остров Борнео или в Калифорнию, на Северный полюс или в русский город Калугу, она и тогда в любом случае приняла бы известие с великой радостью. «О, я всю жизнь мечтала побывать в Калуге!» – воскликнула бы она.

– Видишь ли, – сказал он серьезно, – в Африке, может быть, интересней, но мы все-таки поедем в Ирландию. И не только потому, что мне очень хочется побывать на родине Лиззи. Дело прежде всего в том, что в Ирландии зреют большие события. Может быть, в самом ближайшем будущем она станет ареной ожесточенной борьбы за свободу. Ты не помнишь, вероятно, что осенью позапрошлого года…

– Двадцать третьего ноября, – тихо вставила Лиззи.

– Да, двадцать третьего ноября здесь, в Манчестере, казнили четырех ирландцев, боровшихся против британского гнета. Этот день стал днем национального траура Ирландии.

– Как это не помню! – обиделась Тусси. – Преотлично помню. Тогда еще наша Женни надела траурное платье, а свой польский крест стала носить на зеленой ленте.

– Да, зеленый цвет – это цвет Ирландии, – так же тихо сказала Лиззи.

– В тот день, – продолжал Энгельс, – двадцать третьего ноября, я обещал Лиззи, что мы съездим в Ирландию, и что я напишу историю ее многострадального народа. Ирландия – это поистине Ниоба среди других наций. Только за несколько лет в середине нашего века из-за голода, эмиграции и разорения англичанами ее хозяйства она потеряла больше двух с половиной миллионов своих детей. Так что, милая девочка, приготовься к тому, что наше путешествие будет состоять не из одних лишь радостей и удовольствий. В сущности, нам предстоит боевая рекогносцировка. История Ирландии, которую я намерен написать, может оказаться очень современным и даже злободневным сочинением.

– Ах, как жаль, что с нами не поедет Женни! – так же

искренне, как до этого радовалась, теперь огорчилась Тусси. – Ведь она последнее время только и живет Ирландией. Собирается даже что-то писать, вроде тебя…

– Что ж, надеюсь, ты поможешь ей своими наблюдениями, которыми тебя обогатит поездка.

– Конечно! – горячо согласилась Тусси.

– Ну а теперь, мои дорогие, – ласково, но решительно сказала Лиззи, – пора спать. Завтра первый день твоей свободы, Фред, и он должен начаться хорошо, то есть прежде всего ты должен встать с ясной головой.

– Вы правы, тетушка Лиззи, – поддержала девушка, – но, прежде чем мы разойдемся, я, если позволите, предложу еще один тост, последний. – Она набрала полную грудь воздуха, восторженно-влюбленными глазами посмотрела на Энгельса, на Лиззи и выдохнула: – За Ирландию!

– За Ирландию! – как эхо повторили они, вставая.

Тусси уже собралась было пригубить вино, но вдруг остановилась, что-то все еще бурлило в ней и искало выхода. Она снова подняла руку с бокалом и дрогнувшим голосом произнесла:

– За вас, тетушка Лиззи, за тебя, Ангельс, еще раз – за твою свободу. – Она помолчала несколько мгновений и с возрастающим жаром продолжала: – За Мавра, за Мэмэ, за Женни и Лауру, за зеленое знамя Ирландии…

Ее щеки и глаза горели, а сердце переполнялось восторгом перед этим огромным распахнутым миром, и слезами – от ясного сознания невыразимости своего восторга, от смутного предчувствия невозможности охватить все, что ни есть в жизни, ко всему приникнуть, во всем принять участие.

– …За Лондон, за «Историю Ирландии», за «Капитал», за песню, с которой вы отбивали атаки пруссаков!

Она задохнулась, в ушах звенело, сквозь шум и звон она вдруг услышала, как Энгельс и Лиззи запели:

Вот и наш черед настал сразиться
И, быть может, даже умереть.

Она перевела дыхание и подхватила вместе с ними:

Но зато страна преобразится,
И никто рабом не будет впредь!..

Глава одиннадцатая. Без мудрых избитых слов

Маркс был вне себя, когда узнал о поступке Пфендера. Они виделись во вторник двенадцатого апреля в Генеральном совете Интернационала, и тот, сообщив, что Шаппер уже вторую неделю хворает, умолчал о желании больного, чтобы Маркс навестил его. «Черт бы побрал такую заботливость обо мне!» – возмущался Маркс, хотя сейчас действительно и без Шаппера у него столько тревог и огорчений, печалей и забот. Ведь беда в самом деле не приходит одна.

В канун нового года умер от чахотки Роберт Шо, рабочий-маляр, член Генерального совета, секретарь-корреспондент для Америки. Маркс принимал участие в его похоронах, написал некролог, в котором выразил свое восхищение этим мужественным и благородным человеком. Тяжело терять таких прекрасных товарищей по борьбе, и Маркс болезненно переживал утрату.

А в конце февраля умерла двухмесячная внучка. Маркс, схоронивший троих детей, лучше других мог понять горе молодых родителей. Он писал Лауре и Полю в Париж: «Я слишком много страдал от подобных утрат и потому глубоко сочувствую вам. Но опять-таки по собственному опыту знаю, что все мудрые избитые слова и пустые утешения, произносимые в подобных случаях, бередят истинное горе, а не облегчают его».

Вскоре после этого с тяжелой формой чахотки угодила в больницу жена Дюпона, славного французского товарища, тоже рабочего, тоже члена Генсовета. В эти ужасные дни хозяин фабрики, где Дюпон работал, прогнал его, и вот уже несколько недель с тремя маленькими дочками он сидит на хлебе и воде. Из своих скудных средств Маркс дал ему немного денег, пять фунтов прислал из Манчестера Энгельс, но это не решает дела, и надо ломать голову, как помочь попавшему в беду. А жена его уже умирает…

Да, болезни, смерти, несчастья обступали Маркса в начале 1870 года со всех сторон. Да и сам он чувствовал себя в эти дни прескверно. А вот теперь и Шаппер… Карл Шаппер отнюдь не сентиментальный человек, и, уж если он просит навестить его, значит, положение действительно серьезно. Как же мог Пфендер об этом не сказать! Спасибо Лесснеру, от него Маркс узнал о просьбе Карла и вскоре навестил его.

Шаппер сильно похудел. По всей вероятности, у него

воспаление легких. В пятьдесят семь лет это крайне опасно.

Он обрадовался приходу Маркса, но как следует поговорить им не удалось: явился врач и прервал их свидание. Взяв с Маркса слово, что скоро он опять зайдет, Шаппер отпустил его.

Прошло несколько дней, а Маркс все не мог навестить больного, потому что сам чувствовал себя отвратительно. И состояние Шаппера не улучшалось. Наоборот, все говорило о том, что у него не воспаление легких, а тоже чахотка. Почти каждый день кто-нибудь из общих знакомых сообщал Марксу о его здоровье, Маркс, в свою очередь, писал об этом в Манчестер Энгельсу. Вчера Лесснер передал, что больной опять очень просит прийти. И вот сегодня, несмотря на все свои дела, заботы и болести, Маркс отправился к Шапперу.

…Он шел не торопясь, время от времени останавливался, и со стороны можно было подумать, что человек любуется перспективой улицы, или рассматривает памятник, или прислушивается к веселому шуму молодой листвы в парке. А на самом деле он отдыхал.

Он шел и думал, конечно, о Шаппере. Они знают друг друга вот уже двадцать пять лет. Кем был для Маркса Карл Шаппер? Вместе с Иосифом Моллем и Генрихом Бауэром этот человек был для него первым революционным пролетарием, которого он увидел. Энгельс познакомился с ними года на два раньше и говорил потом, что они – часовщик, сапожник и наборщик – уже тогда были настоящими людьми, в то время как он сам еще только хотел стать человеком.

Это они, Шаппер, Молль и Бауэр, в начале сорок седьмого года пригласили Маркса и Энгельса вступить в Союз справедливых, ставший вскоре Союзом коммунистов. Это Шаппер от себя и от имени своих друзей по Центральному комитету реорганизованного Союза направил в январе сорок восьмого настоятельное напоминание окружному комитету в Брюсселе о том, что если гражданин Маркс не представит в Лондон ко вторнику первого февраля текст «Манифеста Коммунистической партии», составление которого он взял на себя, то против него, гражданина Маркса, будут приняты более сильные и действенные меры. Это Шаппер вскоре правил в Лондоне корректуру «Манифеста», а через несколько месяцев стал корректором и сотрудником «Новой Рейнской газеты» в Кёльне.

…О незабываемый год в Кёльне! При мысли о нем сердце у Маркса забилось чаще. Ведь это был год не испытанного ранее наслаждения открытой борьбой, год великих приобретений и горьких утрат, год любви и ненависти, мужества и самоотречения… И весь этот год Карл Шаппер, неистовый,

бескорыстный, всегда готовый во имя революции на любой риск, был рядом. Он оказался рядом и на скамье подсудимых восьмого февраля сорок девятого года, когда судили членов Рейнского окружного комитета демократов, обвинив их в подстрекательстве к мятежу. Он не только сидел бок о бок с Марксом, но и прекрасно держал себя – спокойно, уверенно, достойно – и произнес отличную речь, в конце которой бросил в зал бесстрашные слова: «Если король имел право разогнать Учредительное собрание, то последнее в гораздо большей степени имело право прогнать короля…» Суд присяжных оправдал тогда всех подсудимых.

После прекращения выхода «Новой Рейнской газеты» Маркс и Шаппер почти одновременно, во второй половине мая, покинули Кёльн. Первый вскоре оказался в Лондоне, а второй поехал к себе на родину, в Висбаден. Но уже через несколько дней, как одного из ораторов революционного собрания в Идштейне, Шаппера арестовали. Маркс пытался сейчас вспомнить, каким по счету был тот арест. Впервые Карл Шаппер вкусил тюремного хлеба еще двадцатилетним студентом во Франкфурте. Три месяца отсидел тогда за участие в заговоре, имевшем целью поднять восстание в Южной Германии. Потом сидел в тюрьмах Швейцарии, Франции, снова Германии… Тогда в Висбадене на вопрос судьи о месте жительства он ответил: «Уголовная тюрьма».

На том висбаденском процессе, который состоялся в феврале пятидесятого, уже после подавления последних очагов революционной борьбы в Германии, Шаппер сказал, обращаясь к судье и к присяжным:

– Господа, меня привели сюда из тюрьмы. Я стою перед вами под охраной жандармов, в наше время право только на стороне силы, мы побеждены силой… Я был арестован уже тринадцатого июня, в противном случае я бы отправился в Баден, где еще шла борьба, чтобы с оружием в руках не на словах, а на деле драться за осуществление конституции… Я отец семейства, но интересы отечества для меня важнее, чем семья, а важнее всего – интересы человечества.

Это говорил человек, у которого только что в Кёльне умерла от холеры жена, оставив троих детей. Самый младший – еще грудной младенец – вскоре тоже умер, а судьба двух других, конечно, терзала отца, который ничем не мог им помочь из-за тюремных стен.

Свою речь Шаппер кончил словами:

– Каким бы ни был ваш приговор, для меня несомненно одно: страдать и умереть за отечество – это самый прекрасный удел, какой только может выпасть на долю человека.

Суд присяжных снова оправдал Шаппера и всех его товарищей.

А что было потом?..

Потом, когда летом пятидесятого года Шаппер приехал сюда, в Лондон, произошло то, о чем сейчас Марксу не хотелось вспоминать. Не сумев разобраться в сложной обстановке, возникшей в Германии и во всей Европе после поражения революции, часть немецких эмигрантов в Лондоне стала на путь революционных авантюр и военных заговоров. Эти люди образовали в Союзе коммунистов свою фракцию, а позже и вовсе выделились в особый союз, Зондербунд. Не брезгуя ничем, даже прямой ложью и клеветой, союз два года вел бешеную борьбу против Маркса, Энгельса и их единомышленников. Во главе Зондербунда стояли Август Виллих, боевой товарищ и командир Энгельса в дни баденско-пфальцского восстания, и Карл Шаппер.

Хотя вред, причиненный этой группой коммунистическому движению, оказался немалым, но Маркс подумал сейчас, что был прав, всегда подчеркивая различие между оголтелым авантюризмом Виллиха и искренними заблуждениями Шаппера. Действительно, ведь уже в июле пятьдесят второго через Имандта тот передал, что раскаивается и хочет вернуться в Союз коммунистов. Правда, окончательное примирение произошло только года через четыре, когда Шаппер полностью осознал свои ошибки и прямо, честно сказал об этом. Маркс не помнил зла, и с тех пор до нынешнего дня Шаппер оставался верным другом и боевым товарищем. Пять лет назад по предложению Маркса он был избран в члены Генерального совета Интернационала.

…И вот старый боец тяжело занемог. Он говорил когда-то, что мечтает умереть на поле битвы, а лежит сейчас в постели, дома, в окружении жены и всех своих детей от двух браков.

Подойдя к дому, в котором жил его друг, Маркс, очнувшись, удивился, как быстро за воспоминаниями миновала дорога. Он поднялся на второй этаж и через несколько минут был уже в комнате Шаппера. Около больного находились жена и старший сын, тоже Карл. Как и при первом посещении, вид поверженного болезнью Шаппера поразил Маркса. Ведь когда-то за богатырское сложение и силу, железную непреклонность и бесстрашие рабочие Кёльна звали его «живой баррикадой». Больно было видеть, как беспомощна эта «баррикада» и как заботливо укутана она одеялом.

Маркс сел на стул рядом с кроватью и пожал горячую влажную руку больного.

– Как хорошо, что ты пришел, – тихо сказал Шаппер, подняв свои серые, снова ставшие в дни болезни яркими глаза. – Ведь у

меня чахотка. Это установлено твердо. И нет никакого сомнения, что скоро, – он посмотрел на жену, на сына, сидевших у окна на диване, и перешел с немецкого на французский, которого те не знали, – как говорится, je ferai bientôt la dernière grimace[12]…

– Я уверен, что ты сильно преувеличиваешь, – сказал тоже по-французски Маркс. – Разве не было случаев, когда чахотку излечивали?

– Ты много знаешь таких случаев?

– Я знаю, что они бывают… Между прочим, у меня у самого когда-то легкие тоже были не в порядке.

– У тебя? – изумился Шаппер. – Это ты придумал сейчас. И, между прочим, совершенно напрасно. Тебе не идет хитрость.

– Нет, я ничего не придумал, – спокойно и серьезно возразил Маркс. – Ты никогда не интересовался, почему я не служил в армии?

– Действительно…

– Я был освобожден в тридцать восьмом году от призыва из-за болезни легких. Позже, как тебе известно, я приобрел немало всяких недугов, но на легкие в зрелые годы я никогда не жаловался.

– Эта история, дорогой Карл, – Шаппер устало прикрыл глаза, – могла бы меня вдохновить, если бы я не был почти на сорок лет старше, чем ты в тридцать восьмом. Лучше скажи мне, какое сегодня число и какой день.

– Двадцать восьмое апреля, четверг.

– И следовательно, когда воскресенье?

– Первого мая.

– Первого мая вы меня и похоро́ните, – Шаппер открыл глаза и пристально посмотрел на Маркса. – Я надеюсь, погода будет приличной.

Маркс опустил глаза под этим испытующим взглядом, помолчал, но скоро нашелся:

– Первого мая не может произойти ничего печального, старина, – тихо улыбнулся он. – Ведь это день рождения моей старшей дочери. Я надеюсь услышать в этот день, что тебе стало лучше.

– Да, конечно, – Шаппер чуть заметно покачал лежащей на подушке головой, – с моей стороны было бы большим свинством сделать такой день днем моих похорон.

Марксу все время хотелось перейти опять на немецкий и потому, что он ощущал неловкость перед женой Шаппера и его сыном, разговаривая на языке, которого они не знали, и потому, что надеялся этим помешать больному говорить о смерти. И он наконец сказал по-немецки:

– Я уверен, что худую весть о тебе не принесет нам ни первое мая, ни десятое июня, ни двадцатое августа, ни тридцать первое декабря.

Шаппер понял, почему Маркс перешел на немецкий. Он горько улыбнулся, помолчал, а потом с промелькнувшей в голосе усмешкой спросил тоже по-немецки:

– Ты слышал, что твой старый приятель Руге снова уверовал в бессмертие души и объявил бессмертие непреложной истиной?

– Да, я читал, – выжидающе ответил Маркс.

– Вот мне и хотелось прибыть туда, – длинным исхудавшим пальцем Шаппер указал вверх, – именно в воскресенье, когда все свободны, чтобы побольше бессмертных душ меня встречало. Ты же знаешь, я всю жизнь любил многолюдство – собрания, митинги, празднества…

– Карл! – воскликнула жена. – Как ты можешь так шутить!

– И передай всем нашим, – словно не расслышав возгласа жены, продолжал по-немецки больной, – что, как только душа Руге прибудет туда, душа Шаппера при первой же встрече набьет ей морду.

Маркс не мог сдержать улыбки, а жена снова взмолилась:

– Карл!

– Что – Карл? – обернулся к ней Шаппер. – Спроси-ка у Маркса, заслужила душа Руге, чтобы набить ей морду, или нет?

– Заслужила, – охотно подтвердил Маркс. – И притом очень давно. Заслужила хотя бы уже за одну фразу о том, что люди, подобные нам с Карлом, – бедные, ограниченные существа, которые хотят, но не могут разбогатеть и лишь поэтому верят в коммунизм и надеются на него.

– А сколько исполнится первого мая Женни? – спросила женщина, чтобы увести разговор в сторону. Оказывается, она поняла слова Маркса, сказанные по-французски. – Кажется, двадцать пять?

– Нет, уже двадцать шесть, – ответил Маркс.

Шаппер снова закрыл глаза. Маркс, понимая, что ему трудно говорить, не нарушал молчания. Вдруг больной стремительно распахнул ресницы. Его глаза сияли каким-то новым, ярким блеском.

– Старик, а ты помнишь таверну «У ангела»? – горячим шепотом произнес он.

– Таверну «У ангела»? – удивился Маркс. – Где это?

– Где! – досадливо воскликнул Шаппер. – На Уэббер-стрит, конечно, здесь, в Лондоне. Неужели не помнишь? Девятнадцатого или двадцатого августа сорок пятого года… Ведь то была наша первая или вторая встреча… Если не помнишь эту встречу и меня,

то, может быть, помнишь хозяйку таверны? Она действительно была прелестна, как ангел. Фридрих не мог оторвать от нее взгляда, а ты все подсмеивался: Ангельс влюбился в ангела!

Маркс теперь вспомнил. Да, это было в августе сорок пятого. Тогда он впервые полтора месяца гостил в Англии. Приехал вместе с Энгельсом из Брюсселя. Фридрих уже неплохо знал страну, он показал в те дни своему другу Лондон, потом повез его в Манчестер, познакомил со многими чартистами, с членами Союза справедливых. А на обратном пути действительно устроили встречу в какой-то таверне. Кто там был? Гарни, Чарльз Кин, Томас Купер, кто-то еще из чартистов, конечно, Энгельс, Молль и Бауэр, и вот Шаппер… Больше он никого не мог вспомнить. Но разве таверна называлась «У ангела»? Это забавно: под крылышком ангела собрались сущие демоны революционной страсти…

– Да, ты подсмеивался над ним: Ангельс влюбился в ангела! – повторил Шаппер, и Маркс видел, как приятны ему эти воспоминания. – Но никто, конечно, не осуждал Фреда: во-первых, он был, кажется, самым молодым среди нас, а во-вторых, свои обязанности на этой встрече он исполнил великолепно.

Конечно, подумал Маркс, во многом благодаря усилиям Энгельса тогда пришли к решению создать общество «Братские демократы». Это было одно из первых обществ интернационального характера, и, несмотря на некоторые ошибки, оно сыграло полезную для своего времени роль.

– Энгельсу известно о моем положении? – внезапно изменившимся голосом спросил Шаппер.

– Да, он знает, что ты болен, я писал ему, – ответил Маркс. – Он просил передать тебе привет.

– Неужели он не может приехать проститься со мной? – тем же голосом произнес Шаппер.

– Видишь ли, – Маркс положил руку на горячую руку Шаппера, – если бы твое положение было действительно таким отчаянным, как ты его рисуешь, то Фридрих, конечно, немедленно приехал бы из Манчестера, но он очень обстоятельно советовался о твоей болезни с Гумпертом, и они пришли к выводу, что положение совсем не так опасно.

– Правда? – оживился Шаппер.

– Правда, – солгал Маркс.

Больной задумался.

Энгельс не ехал совсем не потому, что считал Шаппера вне опасности. Наоборот, он был уверен, что уже опоздал. Сегодня утром пришло письмо, в котором он пишет: «Повидать Шаппера я действительно охотно приехал бы и сделал бы это еще и теперь,

если бы твое письмо не заставило меня предположить, что он уже умер. В Шаппере всегда было что-то истинно революционное, и, раз уже суждено бедняге погибнуть, меня, по крайней мере, радует, что он до последней минуты так достойно себя ведет».

– Эльза, – обратился Шаппер к жене, – оставьте нас одних.

– Хорошо, – покорно ответила жена, – но только ненадолго. Тебе нельзя много говорить.

Она поднялась с дивана и вместе с сыном вышла из комнаты.

– Я попросил их выйти, потому что опять буду говорить о смерти, – сказал Шаппер. – Энгельс со своим ученым Гумпертом ошибаются. Я действительно, Карл, умру в ближайшие дни. Я уже написал завещание. Ты понимаешь, что для меня было несложным делом распорядиться своим движимым и недвижимым – оно почти все в этой комнате, перед тобой.

Шапперу стало жарко. Пользуясь отсутствием жены, он положил обе руки на одеяло и обнажил их по локти. Даже исхудавшие и старые, они производили впечатление силы и красоты. Маркс глядел на них и думал о том, как много они в жизни переделали работы, как много они умели, сколько самого разного выпало им на долю. Они делали работу наборщика и пивовара, корректора и бочара, журналиста и лесничего; они умели писать по-немецки и по-французски, по-английски и по-латыни, умели нянчить младенцев и строить баррикады, обнимать друзей и давать оплеухи врагам; им выпало на долю ласкать теплое, сладостное тело женщины и блуждать по холодным, шершавым, грязным стенам казематов, поднимать заздравные кубки и рыть могилы для погибших друзей.

– Пятьдесят семь лет, – тихо и спокойно продолжал Шаппер, – ведь это, пожалуй, не так уж и много. Умирать в таком возрасте тяжело. Но есть обстоятельства, старик, которые облегчают мне мою участь… Прежде всего, – ты отец трех дочерей, и ты поймешь меня – почти все мои дети так или иначе устроены. Моя старшая дочь, как и твоя Лаура, уже замужем…

Маркс подумал, что да, такое обстоятельство и для него, окажись он сейчас на месте Шаппера, было бы утешением и что в то же время на его душе, конечно, лежала бы тяжестью тревога за будущее Женни и Элеоноры. Правда, Женни своими нынешними статьями по ирландскому вопросу, напечатанными в парижской «Марсельезе» и наделавшими столько шуму здесь и на континенте, показала себя очень способным журналистом; Маркс гордился этим, но все-таки для счастья быть даже великолепным журналистом женщине, увы, недостаточно.

– Старший сын, – удовлетворенно перечислял Шаппер, – приобрел профессию переплетчика, двое младших стали

ювелирами и, представь себе, уже зарабатывают по фунту в неделю. Ведь это неплохо, а? Что ты скажешь?

– Неплохо, – отозвался Маркс.

– Думаю, им не составит труда прокормить мать – она останется с ними. А самого младшего, я надеюсь, возьмет к себе мой брат, он живет в Нассау.

– Да, все устроены, – подвел итог Маркс.

– Устроены… устроены, – Шаппер, видимо, или потерял нить своих рассуждений, или устал, он закрыл глаза и смолк.

– Вторая причина, почему мне не так тяжело, – продолжал он через несколько минут, отдохнув и собравшись с мыслями, – это ты, это то, что ты пришел ко мне, и я могу проститься с тобой и попросить у тебя прощения за те годы, когда я был вместе с Виллихом против вас.

– Перестань! – тотчас прервал Маркс. – Здесь давным-давно мы все выяснили. И ты знаешь, как я не люблю копаться в таком прошлом.

– Нет, Карл. – Шаппер опустил свою горячую пятерню на запястье Маркса. – Тебе всю жизнь поразительно везло на неблагодарных людей. Ими оказывались даже те, что были близки и очень многим обязаны тебе. С покойным Прудоном ты просиживал ночи напролет, вдалбливая ему премудрость Гегеля, а он потом изображал тебя кровопийцей. Вейтлинг, которого ты тоже, не жалея сил, просвещал и поддерживал, публично объявил, что ты стремишься лишить его доступа к переводам, чтобы самому получать хорошие гонорары за них. А ты и после этого не закрыл перед ним своего кошелька… А сколько ты сделал для Фрейлиграта! И представляю, каково тебе было читать статью негодяя Беты, который называл тебя злополучным виртуозом ядовитой злобы, отнявшим у поэта голос, свободу и дыхание.

В числе этих свиней оказался на время и я. Прости меня, Карл, – он сжал руку Маркса изо всех сил, что у него еще оставались. – Прости. Ты понимаешь, что сейчас я не могу ни лгать, ни притворяться. Смерть – это слишком серьезное дело, чтобы перед ее лицом интриговать и суетиться.

– Ну, хорошо, хорошо. – Маркс осторожно взял руки Шаппера и спрятал их под одеяло. – Я и пятнадцать лет тому назад ни секунды не сомневался в твоей искренности.

Они опять помолчали. Шаппер повернулся со спины на бок, отчего стал казаться еще огромней.

– Хочешь знать, в чем третья, самая главная причина? – спросил он.

– Да, – ответил Маркс. – Конечно.

Отчаянный приступ кашля потряс больного. На губах у него

выступила кровь.

– Помолчи, помолчи! – всполошился Маркс. – Прошу тебя, помолчи.

Он хотел позвать Эльзу, но Шаппер остановил его:

– Не надо. Подай мне вон ту белую посудину, что на окне.

Он сплюнул кровь и попросил убрать из-под головы одну подушку. Маркс убрал подушку и укутал больного до подбородка. Несколько минут оба молчали. Потом Шаппер совсем ослабевшим голосом сказал:

– Передай всем друзьям, что я до конца остался верным нашим принципам… Я не теоретик, я человек действия… В годы реакции мне приходилось много трудиться, чтобы прокормить большую семью… Жизнь я прожил как простой рабочий и умираю пролетарием.

Маркс отошел от кровати и, чтобы успокоиться, сделал несколько шагов по комнате. Когда он снова приблизился к больному, тот сказал:

– Это и есть, Карл, третья, самая главная причина.

Маркс опять молча прошелся по комнате. Пять шагов от постели к окну, пять шагов от окна к постели. Пять шагов туда, пять шагов обратно… Он шагал и думал, что утешать и притворно обнадеживать этого человека, который так ясно все видит и так мужественно, достойно и красиво ждет смерти, не только бесполезно, но и кощунственно.

Когда он снова сел на стул, Шаппер сказал:

– Вот я ухожу. Ты знал меня двадцать пять лет, ты видел меня в самой разной обстановке. Скажи мне, каким я останусь в твоей памяти? Как буду чаще всего вспоминаться? – он опять выпростал обе руки и спокойно положил их поверх одеяла. – Неужели вот таким – беспомощным, старым и жалким?

Маркс еще раз посмотрел на эти прекрасные, уставшие, уже все предназначенное им сделавшие руки и тихо ответил:

– Ты навсегда останешься в моей памяти таким, каким я видел тебя семнадцатого сентября сорок восьмого года.

– Семнадцатого сентября? – удивился Шаппер. – Что это был за день?

– Разве ты не помнишь?.. Стоял яркий и теплый, как летом, день. Мы погрузились на шесть больших барж и двинулись из Кёльна вниз по Рейну.

– В Ворринген? – слабо улыбнулся Шаппер.

– Ну конечно! Рейн был тих и прекрасен, а на баржах – песни, шум, смех. Мы плыли и видели, как по обоим берегам тоже двигался народ – пешком, верхом, в повозках. Здесь были люди из Дюссельдорфа, Крефельда, Фрехена – со всей округи, и все

спешили на луг Фюменгер Хейде под Воррингеном.

Вошла Эльза. Ни слова не говоря, она села на прежнее место у окна.

– А на передней барже, – продолжал Маркс, – на которой находился Энгельс, Дронке и мы с тобой, развевался на носу красный флаг. Я помню, как своими сильными ловкими руками, обнаженными до локтей, ты укреплял его там. А потом, когда причалили, ты взял флаг в руки, поднял его над головой и повел за собой огромную толпу на этот знаменитый рейнский луг.

– Тогда там собиралось тысяч десять, – сказал Шаппер.

– Не меньше. И ты был председателем этого прекрасного собрания, которое единодушно высказалось за предложение Энгельса бороться до последней капли крови против контрреволюции.

Эльза заметила, что белая кружка стоит не на том месте, где стояла, заглянула в нее и побледнела, увидев там кровь.

– Все время, пока шло собрание, ты стоял рядом со знаменем, иногда поправляя древко. А когда собрание кончилось, ты снова поднял знамя и повел народ на баржи… Таким я и запомню тебя, Карл, – со знаменем над головой впереди толпы. И запомню руки твои, крепко сжимающие древко. Они, твои руки, многое умели, но, по-моему, лучше всего они делали это – носили знамя.

Шаппер растопырил пальцы, повернул свои огромные ладони вверх, посмотрел на них, сказал:

– Может быть.

Эльза подошла и опять бережно спрятала руки мужа под одеяло.

…Через несколько часов после того, как Маркс ушел, они замерли навсегда, эти руки.

Глава двенадцатая. Ничего, кроме всей жизни

Женни очнулась от забытья; но продолжала лежать недвижно, даже не открывая глаз, – такая слабость была разлита во всем теле. Она прислушалась. В дни болезни у нее что-то странное произошло со слухом: он то необыкновенно обострялся, то как-то удивительно деформировал звуки. Сейчас слух был обострен, и она слышала не только глухое, тихое, недоброе завывание осеннего ветра за окном, но, кажется, даже и шорох мусора, клочьев бумаги, которые ветер гнал вдоль всей Мейтленд-парк-род мимо их дома. Она слышала слабое движение, осторожное покашливание за стеной в комнате Карла. Она слышала здесь, где-то недалеко от кровати, ровное, как у спящей, дыхание Тусси. Бедная девочка! Вот уже три недели, как они с Еленой день и ночь на ногах. Удается ли им хоть немного поспать? Женни тяжело подняла веки и вначале не поверила глазам, увидев у окна не Тусси, а Елену. Как могла она перепутать их дыхание? Ах, это, видимо, опять из-за болезни…

Болезнь была частой, назойливой гостьей в доме Марксов. Она то и дело наведывалась сюда не потому, что Карл, Женни или их дети от рождения отличались слабостью и нездоровьем, – наоборот, в этой большой семье природа почти всех изначально одарила завидной крепостью тела, душевной бодростью, веселой и неутолимой жаждой жизни. Нет, хворь входила в этот дом не по праву естества, не по закону природы – вопреки им ей широко отворяли двери прислужники вовсе не природного происхождения: безденежье, недоедание, квартирное убожество и теснота, нервное и физическое перенапряжение, наконец, – не в последнюю очередь! – клевета врагов.

Женни и Карл часто болели словно по очереди: он, потом она или она, потом он. Это понять нетрудно: оба они так трепетно беспокоились и боялись друг за друга, столько сил вкладывали в уход, не доверяя его никому, столько бессонных ночей проводили у постели, что в конце концов не выдерживали. Разве мог не свалиться Карл после того, как Женни поздней осенью шестидесятого года перенесла оспу? Ведь она осталась тогда жива только благодаря его самоотверженности. И ничего нет удивительного в том, что после острейшего приступа болезни печени, свалившего Карла летом пятьдесят седьмого, Женни была так плоха, организм ее оказался так подорван и истощен, что она разрешилась нежизнеспособным ребенком. Эта прискорбная

очередность, эта изнуряющая взаимозависимость за долгие годы их супружества приобрели почти неотвратимый характер.

Да, понять, почему так происходит, было нетрудно. Труднее поддается рациональному объяснению тот удивительный факт, что нередко Женни и Карл заболевали одновременно. Это повелось со времен их помолвки. Когда осенью 1837 года после сватовства Карла и напряженной, но безуспешной борьбы с родственниками за согласие на брак Женни серьезно заболела, Маркс заболел тоже, хотя он находился не рядом с ней, не в Трире, а далеко – в Берлине, в университете.

Так случилось и на этот раз: они заболели одновременно, точнее говоря, Женни болела вот уже три года – с осени 1878-го. И давно уже было известно, что болезнь неизлечима, что неотвратим мучительный конец. Это был рак.

Летом Женни чувствовала себя еще так сносно, что предприняла вместе с Карлом утомительную поездку из Лондона в Аржантей, маленький городок близ Парижа, чтобы навестить старшую дочь и внуков. Но вот сейчас, глубокой осенью, наступило такое ухудшение, что она уже не встает. А Карл заболел тяжелой формой плеврита, у него начиналось воспаление легких. И теперь они лежали в соседних комнатах: Женни – в первой, большой, Карл – во второй, маленькой.

Сознание, память, речь у Женни все время были почти такими, словно она вполне здорова. Лишь иногда, в моменты особенно острой боли, у нее коснел язык. Но из поездки во Францию Женни привезла прекрасное болеутоляющее средство, и теперь приступов боли нередко удавалось избежать.

Короткими ноябрьскими днями, длинными вечерами, бесконечными ночами она лежала, закрыв глаза, и думала-думала, вспоминала-вспоминала… В шестьдесят восемь лет человеку есть что вспомнить, особенно если он прожил такую жизнь, какую прожила Женни Маркс.

Сегодня ей почему-то больше всего хотелось вспомнить истоки всех радостей и горестей, тревог и забот, первые встречи с ними, их изначальные обличья.

«Что было нашей первой радостью? – думала Женни. – Ну конечно же, незабываемые прогулки на Маркусберг. Сколько веселья, смеха, единственного в мире рейнского солнца было в них!» В ее памяти воскрес вид, открывавшийся тогда с этой горы на Трир, на окрестные дороги и виноградники. Она как наяву увидела маленького Карла: он запрягал в веревочную сбрую своих сестер и гнал их галопом вниз с горы, к городу. Но, всмотревшись в эту картину, Женни поняла, что хотела вспомнить другое. Карл был тогда совсем мальчик, и радость прогулки на Маркусберг

была радостью всей детской компании: ее, брата Эдгара, Карла, его сестер и его братьев. А Женни хотелось вспомнить сейчас лишь их – ее и Карла – первую общую радость… И она вспомнила: это было, конечно, в тот день позднего лета 1835 года, когда под напластованиями своего интереса, расположения, дружеской симпатии к Карлу Женни вдруг с удивлением ощутила совсем иное чувство к нему – как к мужчине.

В этот день Карл демонстративно отказался нанести традиционный прощальный визит содиректору Трирской гимназии Вистусу Лёрсу, шпиону и доносчику, приставленному следить за гимназистами. Из тридцати двух выпускников гимназии на такой дерзкий поступок решились лишь двое – Карл и Генрих Клеменс. У Женни это вызвало восхищение, и она так бурно его выражала, что именно тогда внезапно поняла истинное значение своего чувства к Карлу и не могла скрыть это от него. То был день бессловесного объяснения, день сладкой и тревожной общей тайны, день никому – кроме них – не видимой радости.

Спустя несколько лет Карл читал Женни письма своего отца, тогда уже умершего. В одном из них говорилось, что Карл одержал победу над сердцем Женни «самым непостижимым образом». «Ах, старый, добрый Генрих! – чуть улыбнувшись выцветшими губами, подумала Женни. – Как мало все-таки вы знали своего родного сына, не говоря уж обо мне!»

Видения далекого прошлого пробудили у нее желание взглянуть на себя. Она попросила у Елены зеркало. Та поправила подушки, помогла больной лечь повыше и подала овальное зеркало. Женни долго всматривалась в свое лицо. Изможденное болезнью, старое, бесцветное, со следами оспы, оно все еще сохраняло благородство черт, и при некотором напряжении мысли можно было представить его в иную пору, в дни, когда им восхищались поэты – Гейне, Веерт, Фрейлиграт. Карл иногда говорил о нем по-итальянски: dolce – дольче – сладостное… Однажды в письме он назвал ее лицо словно созданным для поцелуев. Он писал: «Бесспорно, на свете много женщин, и некоторые из них прекрасны. Но где мне найти еще лицо, каждая черта, даже каждая морщинка которого пробуждала бы во мне самые сильные и прекрасные воспоминания моей жизни?..» Это было сказано не в пору тайной помолвки, не в первый год супружества, – они прожили тогда вместе уже лет тринадцать-четырнадцать, родили шестерых детей, она была уже не молода – шел пятый десяток, а ему подбиралось под сорок.

Возвращая зеркало, Женни взглянула на убитую горем Елену и подумала: «Вот и она почти старуха. А ведь мама когда-то прислала ее к нам совсем молодой девушкой. Сколько же ей

теперь?» Женни помнила, что Елена на девять лет моложе ее, но сосчитать, сколько ей сейчас, не могла и только твердо знала, что она уйдет, а Ленхен еще останется, и это несколько утешало ее, ибо она была уверена, что преданная Ленхен поддержит Карла в горе и одиночестве.

Женни снова закрыла глаза – отдалась воспоминаниям. Теперь она, всю жизнь так много волновавшаяся за мужа, силилась вспомнить, когда впервые испытала тревогу за него. Может быть, всего сильней она беспокоилась о Карле в Кёльне в дни революции. Тогда его как главного редактора «Новой Рейнской газеты» то и дело вызывали в полицию и в суд, два раза даже судили, но он так блестяще защищался, что его вынуждены были оправдать. Кроме того, Карл в те незабываемые дни очень много ездил по делам газеты – бывал в Гамбурге, Берлине, Вене, и, провожая его, она никогда не знала, дождется ли назад: такая была обстановка, так опасны были эти поездки. Она охотно сопровождала бы его, но дети…

Острый страх за Карла она пережила и несколько раньше, в Брюсселе, когда поздно ночью на квартиру явились полицейские и увели его неизвестно куда. Но и это была, конечно, уже не первая тревога. А ей хотелось вспомнить непременно первую – самую первую! Когда же? Когда? Когда?..

Если мы долго, но безуспешно что-то силимся вспомнить и наконец все-таки вспоминаем, то изумляемся: как могли мы это забыть! Вскоре изумилась и Женни: как могла она забыть день – в конце тридцать пятого или в начале тридцать шестого, – когда из Бонна, из университета, пришла весть о том, что Карл дрался на дуэли и был при этом ранен. Конечно, именно тогда она пережила первый страх за него. «Серьезно ли ранение? Не следует ли ему приехать домой, чтобы полечиться?» – донимала Женни старого Генриха. Она лишь не спрашивала о причине дуэли. Ведь чаще всего – ей так в ту пору казалось – дуэли случаются из-за женщин. И она вспомнила, как ясное, отчетливое чувство тревоги за Карла, за его здоровье и жизнь переплелось тогда с чувством тревоги иной – смутной, возникшей внезапно, мучительно.

Карл никогда не вспоминал об этой студенческой дуэли и не рассказывал никому о ее причинах. Позже, когда лучше узнала своего мужа, она поняла, что причиной дуэли скорей всего было оскорбление, нанесенное кем-то из однокашников Карла кому-нибудь из его друзей. Много лет спустя, уже будучи вполне зрелым человеком, в Лондоне, в ответ на клеветническое письмо Мюллер-Теллеринга Обществу рабочих об Энгельсе Маркс тотчас написал клеветнику: «Я вызвал бы Вас на дуэль за Ваше

вчерашнее письмо Обществу рабочих, если бы Вы были еще достойны этого после Ваших бесчестных клеветнических выпадов против Энгельса… Я жду встречи с Вами на ином поле, чтобы сорвать с Вас лицемерную маску революционного фанатизма, под которой Вам до сих пор удавалось ловко скрывать свои мелочные интересы, свою зависть, свое ущемленное самолюбие…»

С другой стороны, когда приблизительно в то же время бравый Август Виллих, доведенный до бешенства насмешками Маркса по поводу своих сектантско-авантюристических взглядов, вызвал его на дуэль, Карл ответил на это лишь новым градом насмешек. И тот и другой поступки так характерны для Маркса! Там речь шла о чести друга – и он ради этого готов был на все; здесь дело касалось его самого – и ему безразлично, что говорят или подумают другие.

Позже она, разумеется, все поняла бы верно, но тогда, в юности, еще недостаточно зная Карла, но уже во всем до конца открытая перед ним, она писала ему, что для нее самое страшное в жизни – потерять его любовь: «И вот эта тревога, Карл, постоянное опасение потерять твою любовь, лишает меня радости. Стоит тебе взглянуть на меня, и я со страху не могу вымолвить ни слова, кровь застывает у меня в жилах… Вся моя жизнь – это одна сплошная мысль о тебе…»

– Вся моя жизнь, – шепотом повторила Женни. – Вся моя жизнь… Вся…

– Что? Что ты сказала? – спросила, наклоняясь, Елена.

– Ничего, Ленхен, – тихо ответила Женни, – ничего, дорогая… Ничего, кроме всей моей жизни.

•

Маленькая комната, в которой лежал Маркс, была рядом. Женни и Карл находились в нескольких шагах друг от друга, они могли бы, повысив голос, переговариваться, но ни у нее, ни у него недоставало на это сил. Лишь изредка Маркс улавливал слабые движения в комнате Женни. Он знал, что она не сегодня-завтра умрет. «Смерть – несчастье не для умершего, а для оставшихся в живых», – вспомнил он слова Эпикура. Они звучали сейчас особенно верно и по отношению к умирающей, и по отношению к остающимся в живых. К ней – потому что муки медленной беспощадной болезни были ужасны, а исход предрешен; к нему – ибо ее смерть для него самое большое несчастье из всех, какие могли произойти.

У Маркса издавна имелось одно своеобразное средство

борьбы против душевных мучений – занятия математикой. Он часто прибегал к нему, когда боль становилась уж совсем невыносимой. Только погружаясь в математические формулы, расчеты, уравнения, он мог хоть немного успокоиться. За время этой последней болезни Женни, будучи и сам больным, он написал целую работу по исчислению бесконечно малых величин. По количеству за день исписанных алгебраическими знаками страниц можно было судить, и все домашние знали это, о том, как у Маркса на душе: чем больше страниц, тем ему трудней.

Маркс отложил новую страничку математической рукописи и вернулся мысленно к Женни. Он был уверен, что ее смерть вскоре унесет в могилу и его, поэтому сейчас в своих думах он не отделял себя от нее, как не отделял почти никогда за все эти сорок лет.

Он, как и она, мысленно блуждал по разным годам и событиям их жизни. Он вспомнил, как еще в далеком, почти безмятежном, почти золотом 1836 году ему, восемнадцатилетнему студенту, отец предрекал: «Тебе предстоит, да захочет того Бог, – еще долгая жизнь на твое благо и благо твоей семьи, а также, если мое предчувствие меня не обманывает, – на благо человечества».

Маркс подумал, обращаясь к отцу:

«Ты говоришь, долгая жизнь? Может быть, мою жизнь и можно так назвать: ведь я намного пережил не только всех своих братьев, Давида, Германа и Эдуарда, не только трех из пяти сестер, но уже на семь лет я старше и тебя, отец, – старше того возраста, в котором ты нас оставил. Но все-таки я не знаю, была ли моя жизнь долгой. Теперь она кончается. И я твердо знаю только одно: хотя всю жизнь я работал не покладая рук, не разгибая спины и кое-что успел сделать, мне все-таки не хватило времени, отмеренного судьбой. Если бы она подарила мне еще лет пятнадцать-двадцать, я бы и эти годы до краев заполнил работой.

Что же до личного блага, блага семьи и блага человечества, то они находятся в гораздо более сложном взаимоотношении, чем ты, отец, очевидно, думал – поверь мне, ведь я старше и у меня больший опыт, чем у тебя. В жертву делу всей своей жизни – „Капиталу“ – я принес здоровье, жизненное счастье и семью. Но все это именно для „блага человечества“, ибо „Капитал“ – самый сильный снаряд, выпущенный когда-либо по старому миру, по старым порядкам, мешающим человечеству стать счастливым. И потому я уйду из жизни с сознанием честно исполненного долга, возложенного на меня временем. С таким сознанием уходит и Женни. А разве не это именно и есть „личное благо“?»

Произнеся мысленно имя Женни, Маркс вспомнил, что отец любил ее как родную дочь, считал необыкновенным человеком, порой серьезно и убежденно говорил: «В ней есть что-то гениальное».

В одном из писем сыну-студенту Генрих Маркс писал: «Она приносит тебе неоценимую жертву – она проявляет самоотверженность, и оценить ее до конца можно лишь здравым рассудком. Горе тебе, если ты когда-либо в жизни об этом забудешь!» Слова сорокапятилетней давности вновь отчетливо прозвучали в ушах Маркса. Время придало им вопросительный смысл. Они настойчиво и строго требовали ответа: ты забывал или не забывал?

– Нет, не забывал, – ответил Маркс отцу. – Не забывал, что она, урожденная баронесса, выросла в достатке и холе, что в юности ее толпами окружали богатые и родовитые поклонники, которые были бы счастливы положить к ее ногам и богатство и имя; не забывал, что ей гораздо труднее, чем мне, переносить житейские невзгоды и тяготы; не забывал и о том, что она действительно в высшей степени одаренный человек, который на пути самостоятельного творчества мог бы создать подлинные ценности; не забывал ее многолетней возни с моими рукописями, ее самоотверженной помощи, ее мудрых советов, хотя бы тот, который она дала когда-то еще в молодости относительно моего литературного стиля…

В том давнем письме, которое всплыло сейчас в памяти Маркса, тридцатилетняя Женни советовала своему двадцатишестилетнему Карлу, просила его: «Не пиши так желчно и раздраженно. Ты знаешь, насколько сильнее воздействовали твои другие статьи. Пиши по существу, но тонко, с юмором, легко. Пожалуйста, мой дорогой, мой любимый, дай перу свободно скользить по бумаге: не беда, если оно где-нибудь споткнется или даже целая фраза будет неуклюжей. Ведь мысли твои все равно сохранятся. Они стоят в строю, как гренадеры старой гвардии, исполненные мужества и достоинства и могут тоже сказать: „La garde meurt et ne se rend pas“[13]. А что, если мундир будет сидеть свободно, а не стеснять… Пусть легче дышится – ослабь ремень, освободи ворот, сдвинь шлем, дай свободу причастным оборотам, пусть слова ложатся так, как им удобней. Армия, идущая в бой, не обязательно должна маршировать по уставу. А разве твое войско не идет в бой?! Желаю счастья полководцу…»

– Ничего этого, – горячо продолжал старый и больной полководец, взволнованный воспоминанием, – ничего этого я не забывал и в меру моих сил, в меру возможностей времени и

общества я делал все, чтобы облегчить судьбу Женни и дать проявиться ее личности и талантам. Но, увы, отец, время и общество были к нам жестоки, и поэтому я немногое мог сделать, – ты должен это понять. Я могу сказать тебе, положа руку на сердце…

Голос отца прервал поток мыслей Маркса. Из глубины десятилетий он снова предостерегал и упрекал. Сначала это было в виде не очень решительных полувопросов-полуутверждений.

– Восприимчив ли ты – и это для меня не менее тягостное сомнение – к истинно человеческому, домашнему счастью? В состоянии ли ты – это сомнение меня мучит в последнее время столь же сильно, поскольку определенное лицо я люблю как свое собственное дитя, – дать счастье своему ближайшему окружению?

Потом голос отца стал тверже, уверенней, он уже не вопрошал, а утверждал и пророчествовал:

– Ты взял на себя большие обязательства… Но со всеми преувеличениями и сумасбродствами поэтической любви ты не сможешь создать покоя тому существу, которому ты себя посвятил; наоборот, тебе угрожает опасность нарушить этот покой…

Вероятно, пророчества отца на сей счет потому так настойчиво воскресали в памяти Маркса, что многие люди, знающие его, считали, будто он и Женни должны теперь, в старости, чувствовать досаду и разочарование за столь трудно прожитую жизнь.

На спинке кровати, у изголовья, висел на цепочке медальон с портретом отца. Маркс всегда носил его с собой. Не глядя, он протянул назад руку и достал медальон. Раскрыв его, он пристально стал разглядывать такие знакомые и дорогие, такие родные черты. И вероятно, от этого голос отца зазвучал в его памяти еще настойчивей и внятней. Теперь это были слова опасения за судьбу не только Женни, но и его, Карла:

– Мое сердце погружается временами в мысли о тебе, о твоем будущем. И все-таки иногда я не могу отделаться от трагической, возбуждающей страх мысли: соответствует ли твое сердце твоей голове, твоим дарованиям? Имеется ли место в нем для земных, но святых чувств, которые служат таким существенным утешением для чувствующих людей в этой юдоли скорби?..

Далее от общих и довольно неопределенных тревог и сомнений отец переходил к опасениям и предостережениям вполне конкретным.

– Твои взгляды на право не лишены справедливости, но, будучи приведены в систему, легко могут возбудить бурю, а разве ты не знаешь, как опасны бывают в науке бури.

– Именно об этом я и хочу сказать – о покое и о буре, – через почти полувековую толщу лет опять начал свой мысленный спор с отцом Маркс. – Люди имеют свойство вкладывать в одни и те же слова весьма различный, порой прямо противоположный смысл. В том же письме, в котором ты выражал опасения, что я не смогу создать покоя Женни, ты писал: «Только самым образцовым поведением, только мужественными и твердыми поступками, которыми можно завоевать благосклонное и доброжелательное отношение людей, ты сможешь добиться того, что положение станет нормальным, что она (Женни) успокоится и поднимется как в своих глазах, так и в глазах общества». Но, дорогой отец, что значит «образцовое поведение» или «нормальное положение»? Мое и твое понимание этих слов, как и понимание покоя или значения бури, увы, не совпадают, более того, они противоположны.

В нашей с Женни жизни не было покоя, о каком ты для нас мечтал, – тишины, умиротворенности, довольства. Наоборот, над нами то и дело ревели бури. Когда-то в своей докторской диссертации я утверждал: «Обыкновенные арфы звучат в любой руке; эоловы арфы – лишь тогда, когда по их струнам ударяет буря. Не нужно приходить в смятение перед лицом этой бури…» Так я думал в молодости, и сейчас, завершая жизнь, я еще более уверен в том, что не надо бояться бури. Женни и я – эоловы арфы. Если бы в нашей жизни не было бурь, мы не прозвучали бы. Видел бы ты, как Женни, которую ты звал ангелочком, преображалась в дни таких бурь – хотя бы в дни Кёльнского процесса коммунистов осенью 1852 года или в дни Парижской коммуны и после ее разгрома, когда мы создали Комитет солидарности с жертвами террора, где она пропадала дни и ночи. Это был не ангелочек, а демон революционной бури, действия, воли. Она принимала участие во всех моих начинаниях и схватках, делила со мной все радости и горести борьбы, – так было всю жизнь, и без этого она не могла, в этом ее призвание.

– Но разве не ты, – возразил укоризненный голос отца, – еще в сочинении на выпускных экзаменах писал: «Только из спокойствия могут возникнуть великие и прекрасные дела: оно – та почва, на которой только и произрастают зрелые плоды»?

– Конечно, это писал я, – согласился Маркс. – Вероятно, тут сказалось влияние любимого нами обоими Гёте, который в «Торквато Тассо» говорит:

Талант рождается в тиши,
Характер – лишь в потоке жизни.

Но теперь я отвергаю свою юношескую мысль и мысль Гёте.

– Ты замахиваешься на великого Гёте?

– Я отвергаю сейчас лишь одну его мысль, но должен сказать тебе, что в жизни мне нередко встречались мысли, принадлежащие величайшим людям, которые я находил ошибочными или устаревшими и всегда отвергал их решительно и спокойно…

Так вот, я не кончил. Несмотря на все бури, шумевшие над нашими головами, мы, отец, оставались спокойными. Но это не то спокойствие, о котором я уже поминал. Это покой, которому учили стоики, – атараксия – глубинный покой души, основанный на ясном осознании своей цели, своего назначения в мире, на четком понимании того, к чему ты призван. Только этот стоический покой помог нам с достоинством перенести беды и невзгоды, которые обрушивала на нас судьба…

Тихо вошла Тусси. Она коснулась мягкой прохладной ладонью его лба, справилась о его самочувствии, спросила, не надо ли чего. Нет, ему ничего не надо, спасибо. Маркс закрыл медальон и положил его под подушку.

– Как мама?

– Забылась… Я посижу у тебя.

– Посиди.

Но Женни не спала. Она по-прежнему лежала с закрытыми глазами и, как старую, зачитанную книгу, листала свою жизнь… Вспомнила первое общее горе – смерть отца Карла весной тридцать восьмого года – он так и не успел стать ее свекором, хотя очень этого хотел; потом – первое крушение планов, связанных с надеждами на научную карьеру Карла в Боннском университете; вспомнила первое изгнание – пока добровольное – во Францию и тут же – первый семейный очаг, в Сен-Жерменском предместье, на левом берегу Сены, в скромном доме на тесной улице Ванно; потом рождение своего первого ребенка, Женни… Тут она впервые подумала о том, что судьба так гоняла ее с Карлом по свету, так швыряла из страны в страну, из города в город, из квартиры в квартиру, что дети родились в разных городах Европы – в Париже, Брюсселе, Лондоне – и не было двух детей из всех шестерых, что родились бы в одном доме, но была такая улица, – о, этот проклятый Дин-стрит! – где они потеряли двоих, Гвидо и Франческу… Смерть Гвидо была первой смертью в их семье.

Потом ей вспомнилась первая смерть внука, вернее, внучки – маленькой дочурки Лауры. Потом первая высылка: из Парижа в Брюссель; потом первая помощь друзей: после закрытия «Немецко-французского ежегодника» они остались совершенно

без денег, и друзья по «Рейнской газете» прислали им в Париж тысячу талеров; потом… Потом она вспомнила, что все это не раз повторялось: радость и горе, надежда и страх, помощь друзей и крушение планов, рождение детей, внуков и их смерть, изгнания и убогие квартиры в предместьях… Все приходило и уходило, все повторялось. Неповторимыми были только жизнь, только Карл, только их любовь. Ей вдруг стало страшно, что она сейчас умрет и перед смертью не увидит Карла.

– Ленхен, – сказала она, – как чувствует себя сегодня Мавр?

Но в это мгновение открылась дверь: на пороге, поддерживаемый Тусси, стоял Карл. Он был худ и бледен, неуверенные движения выдавали его слабость, он тяжело опирался на руку дочери.

– Женни! – нежно и тихо произнес он.

Тусси подвела его, он не сел на стул, стоявший здесь, а опустился рядом с невысокой постелью на колени и обнял жену за плечи. Она выпростала из-под одеяла правую руку и положила ее на голову мужа.

– Здравствуй, Карл, – так же тихо сказала она. – Зачем ты встал? Разве доктор Донкин разрешил тебе это? – Женни чуть заметно шевелила пальцами его совсем белые, истончившиеся, ставшие легкими волосы, черными оставались только брови.

– Мне сегодня совсем хорошо, – ответил Карл. – И пришел я не просто так. Посмотри, что я получил – журнал с очерком обо мне и о моих работах. – Тусси подала ему журнал, и он стал листать его, ища нужную страницу. – Некто Белфорт Бакс пишет о твоем Карле с глубокой симпатией и уважением, а мои идеи вызывают у него настоящий восторг.

Маркс знал, что эта весть доставит Женни большое удовольствие – она всегда со страстным интересом и ревностно относилась ко всему, что касалось репутации и оценки заслуг ее мужа. Из этих же соображений он умолчал о том, что биографические сведения были в очерке большей частью неправильны, а изложение его экономических принципов – во многом неверным и путаным.

– Дай журнал, – попросила Женни.

Маркс так и не нашел нужное место. Тусси взяла книжку, раскрыла ее, быстро нашла, что искала, и поднесла к лицу матери. Женни не могла читать, она лишь с восхищением смотрела на текст, и глаза ее, подернутые слезами радости и гордости за мужа, стали еще глубже и лучезарней, чем всегда.

– Знаешь, Мэмэ, – произнося слова медленно, чтобы не потерять власть над своим голосом, сказала Тусси, – я вчера была в Ист-Энде, там на домах расклеены вот такие плакаты. Один я

тайком сорвала. – Она отступила на два шага от кровати и развернула в руках большой лист грубой бумаги.

Это был плакат, большими синими буквами возвещавший публикацию очерка Бакса о Марксе.

Женни смотрела на плакат, не пытаясь его прочитать, и по ее лицу казалось, будто болезнь отступила.

– По некоторым сведениям, – стараясь придать своему голосу легкость, сказал Маркс, – статья эта обратила на себя большое внимание. Ведь это слава, Женни, а? Что ты на это скажешь?

Женни прекрасно знала, как на самом деле Карл относился к славе. Он был предельно честен, когда года четыре назад от своего имени и от имени Энгельса сказал: «Мы оба не дадим и ломаного гроша за популярность». Но она не могла преодолеть горечи от того, что в газетах о ее Карле появлялись почти всегда лишь глупости, нелепости да клевета.

– Такая статья о тебе – это тоже впервые, – сказала она. – Тусси, положи ее мне под подушку. Может быть, я еще прочитаю ее.

– Почему ты сказала «тоже впервые»? – спросил Карл.

– Я вспоминала сегодня все, что было у нас с тобой впервые: первую радость, первое горе, первое изгнание… Вот и доброжелательная, честная статья о тебе – тоже впервые. Но все, о чем я сегодня вспоминаю, случившись один раз, потом повторялось. Неповторима только наша жизнь. И нет на свете второго Карла.

Женни радовалась за мужа, а он радовался ее радостью, и это вливало в них новые силы, они словно выздоровели и снова стали молодыми, влюбленными, красивыми.

– Ты знаешь, что я придумал? – говорил Маркс, опять слегка сжимая ее плечи. – Как только ты поднимешься, мы поедем в Зальцведель. А? Ты согласна?

Это была старая мечта Карла – побывать на родине Женни. То обстоятельство, что он никогда не был там, Карл ощущал как большую потерю, как пробел в своей жизни. Он даже ревновал жену к этому небольшому городку в Альтмарке, к скромному дому Вестфаленов недалеко от церкви святой Марии – зрительно он давно отчетливо представлял и город и дом, – они два года таили в себе тогда еще белокурую, но темноглазую девочку, которую он не знал, не мог знать, но страстно хотел хоть как-нибудь ощутить.

– Да, конечно, мы непременно поедем в Зальцведель, – радостно соглашалась Женни, – но не забывай, у нас еще столько дел. Ведь ты собирался написать «Логику», работу по истории философии, книгу о Бальзаке, драму о братьях Гракхах, очерк по

истории Конвента… Я уж не говорю об окончании «Капитала».

– Разумеется! – воскликнул Маркс. – Как только вернемся из Зальцведеля, сразу засяду за «Логику» и одновременно начну книгу о Бальзаке, это будет как отдых. А еще, Женни, кроме всего названного тобой я хочу написать – угадай, что? Сатирический роман! Да, ты не удивляйся. У меня же есть в этом опыт – еще студентом в Бонне я написал однажды такой роман, назывался он «Скорпион и Феликс». Но с тех пор я кое-чему научился, а сколько за это время перед моими глазами прошло чудаков и монстров, тупиц и графоманов, демагогов и невежд, которые так и просятся под перо сатирика!.. Мы с тобой это еще обсудим…

Тусси и Елена смотрели на стариков, слушали их нежный, радостный говор и, отворачиваясь или опуская лицо, кусали губы, стараясь сдержать слезы: они ясно понимали, что присутствуют не при обсуждении планов на будущее, а при последних словах нежности и любви, при последнем прощании. Навсегда прощались два старых больных человека – два пылких молодых любовника – два израненных бесстрашных бойца – два усталых путника, завершивших сорокалетний совместный – плечом к плечу – переход… И они оба все это тоже ясно понимали.

На другой день, второго декабря 1881 года, Женни умерла. Ее последние слова были обращены к мужу: «Карл, мои силы иссякли…»

Через час после того, как она отошла, явился Энгельс. Как все, он, конечно, ожидал развязки, и, однако же, как всех, она его поразила. Тихий, непривычно сгорбленный, он приблизился к покойной, поправил ей волосы, сложил на груди руки, чего Елена и Тусси не догадались сделать, и когда его ненадолго оставили в комнате одного, он чуть слышно сказал: «Если была когда-либо женщина, которая видела свое счастье в том, чтобы делать счастливыми других, – то это, Женни, вы».

Потом, отдав распоряжения, необходимые в таких случаях, Энгельс прошел в комнату Маркса. Открыв дверь, он увидел: Карл лежал в постели и что-то быстро-быстро писал на листочке, положенном на большой том.

– Мавр!

Тот не повернулся, не отозвался.

– Мавр! Что ты делаешь? – в три своих огромных шага приблизившись к постели, Энгельс положил руку на листок.

– Это ты, Фред? – Маркс поднял глаза, и Энгельсу вдруг показалось, что те два с половиной года, на которые Мавр был старше, превратились теперь в двадцать пять лет. – Я должен решить одно заковыристое уравнение. Убери руку.

Энгельс отстранился, и Маркс снова побежал карандашом по

бумаге. Иногда карандаш останавливался, нетерпеливо стучал по листу и снова бежал. Так продолжалось с четверть часа. Наконец Маркс с нажимом поставил точку, подчеркнул итог и протянул Энгельсу исписанную страницу. Энгельс взял ее и стал читать. Уравнение действительно было заковыристым, но Маркс решил его безукоризненно – точно и изящно. Эта безукоризненность сказала Энгельсу о страданиях друга не меньше, чем его глаза. Да, его ум работал, как прежде, точно, остро и мог подчинить себе даже невыносимую душевную боль, но какими старыми стали глаза!..

Часа через полтора Энгельс вышел из комнаты Маркса еще более печальным, чем был до этого. Подойдя к вешалке, натягивая пальто и думая, что никого рядом нет, он вслух произнес:

– Мавр тоже умер.

Но оказалось, что в темном углу прихожей на стуле сидела убитая горем Тусси, которую Энгельс по близорукости не заметил. Она встала, подошла к нему и, прижавшись к его груди, сквозь новые слезы, ожесточенно, горько и больно воскликнула:

– Нет, Генерал! Нет! Нет!

…Но Энгельс был прав: Маркс умер четырнадцатого марта 1883 года, совсем не намного пережив свою жену.

Глава тринадцатая.
«Если бы Мавр видел это!»

Старый Гайд-парк, ко всему, казалось бы, привыкший за двести пятьдесят лет – с тех пор, как из королевского угодья он стал местом общедоступных прогулок и увеселений, пикников и свиданий, митингов и демонстраций, – никогда не видел ничего подобного. Если бы у него, как у живого человеческого существа, были душа и язык, он, вероятно, сейчас воскликнул бы: «Господи милосердный! Что происходит? Откуда их столько? И кто их ко мне привел?..»

Да, тут есть чему подивиться даже такому видавшему виды джентльмену, как Гайд-парк!

…На ярких весенних лужайках метрах в ста пятидесяти друг от друга вдоль всего парка стоят семь трибун. Это старые повозки, грузовые платформы. На них – группы празднично одетых, оживленных людей. К трибунам с развернутыми знаменами, среди которых преобладают красные, с музыкой, с песнями идут и идут колонны демонстрантов. Гайд-парку не привыкать к разного рода демонстрантам да манифестантам. Но сегодня колонны и отовсюду примыкающие к ним толпы густы и многолюдны как никогда. На пространстве в километр с добрым гаком длиной и едва ли не в полкилометра шириной все забито битком. И что еще удивительней – больше чем три четверти собравшихся рабочие. Об этом говорят и одежда их, и лица, и манеры, и песни, вспыхивающие то там, то здесь…

Над многотысячными массами людей, сплотившихся вокруг трибун, витает дух праздничности, воодушевления и единства.

А как они слушают ораторов! Уж кто-кто, а Гайд-парк насмотрелся и наслушался витий да пророков, обличителей да сладкопевцев, хулителей да панегиристов… Здесь столько раз звучали речи умные и пустые, прямодушные и хитрые, честные и льстивые, неотесанные, даже неграмотные и построенные с учетом всех тонкостей высокого искусства элоквенции. Среди них случались не только любопытные, но порой и по-настоящему интересные, дельные, яркие. Однако никого никогда не слушали в Гайд-парке с таким вниманием, с такой серьезностью, как слушают сейчас этих.

И вот что еще любопытно! На некотором удалении от первых семи трибун, напротив, на другой стороне парка, возвышаются еще семь трибун. Там тоже собираются люди, правда, они идут вразброд, многие запаздывают, и они не составили даже

половины того моря, что вольно разлилось вокруг первых трибун. И там тоже произносятся речи, иногда очень бурные и страстные, но их слушают так, как обычно слушают воскресных ораторов Гайд-парка.

В Гайд-парке два митинга одновременно? Это невиданно! До сих пор министерство общественных работ, в ведении которого находится парк, подобных вещей не разрешало. «Что-то странное случилось в королевстве!» – очевидно, так заключил бы Гайд-парк, будь он человеком…

И действительно случилось! Но не странное, а вполне назревшее и закономерное, и не только в Англии – чуть ли не во всей Европе, даже в Америке; впервые в истории ныне, в 1890 году, рабочие разных стран мира, выполняя решение прошлогоднего Международного социалистического конгресса, предприняли одновременное, согласованное, активное действие – забастовками, демонстрациями, массовыми гуляньями отметили свой праздник – Первое мая, выдвигая везде одно и то же требование: законодательное установление восьмичасового рабочего дня.

Повсюду это произошло в самый день праздника. В Германии прекратили работу двести тысяч рабочих. Во Франции демонстрации состоялись в ста тридцати восьми городах и поселках. На улицы Будапешта в этот день вышло пятьдесят тысяч человек, на улицы Вены – сорок, Чикаго и Нью-Йорка – по тридцать, Стокгольма – двадцать… В Италии публичные шествия были запрещены, но тем не менее они все-таки состоялись в Милане, Турине, Ливорно…

В этот день, с молодым наслаждением работая над предисловием к новому немецкому изданию «Коммунистического манифеста», семидесятилетний Энгельс писал: «„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ Лишь немного голосов откликнулось, когда мы сорок два года тому назад бросили в мир этот клич…»

Энгельс, конечно, еще не знал количества первомайских демонстрантов и забастовщиков в разных городах и странах – сообщения об этом появятся в газетах лишь завтра или послезавтра. Но в повсеместном успехе празднования Энгельс был уверен глубоко. И потому, кратко напомнив о славном пути, пройденном международным рабочим движением со времен революции сорок восьмого года, он убежденно закончил: «Зрелище сегодняшнего дня покажет капиталистам и землевладельцам всех стран, что пролетарии всех стран ныне действительно объединились».

И первомайское зрелище в самом деле показало…

Но предстоял еще один день – еще одна, заключительная

часть великой симфонии пролетарской солидарности – воскресенье четвертого мая. В этот день к собратьям по классу должны были присоединиться Англия и Испания. Надо было сделать все, чтобы финал симфонии оказался достойным остальных ее частей.

И вот этот день наступил.

Гайд-парк шумит, смеется, рукоплещет. Гайд-парк безмолвствует, слушает, размышляет…

Энгельс оказался в самом центре событий. Организаторы митинга, среди которых главную роль играли Элеонора Маркс и ее муж – журналист и драматург Эдуард Эвелинг, пригласили его на четвертую трибуну. Вместе с ним на этой старой большой грузовой платформе – только что приехавший из Франции Поль Лафарг, молодой писатель и музыкальный критик Бернард Шоу, писатель-эмигрант Степняк-Кравчинский, член парламента и опять-таки писатель Роберт Каннингем-Грехем.

Определенный переизбыток литераторов тотчас заметил зоркий, умеющий во всем найти комическую или хотя бы забавную сторону Шоу.

– Не кажется ли вам, господин Энгельс, – сказал он с улыбкой, – что шесть писателей для одной старой повозки – это несколько многовато и чуть-чуть однообразно?

Энгельс считал Шоу, не так давно появившегося на литературном небосклоне с несколькими романами, честным, лишенным всяких карьеристских устремлений парнем, очень талантливым и остроумным беллетристом, но он был убежден также, что как политик Шоу пока абсолютно ничего не стоит. Об этом говорила не только его принадлежность к фабианцам с их оппортунистической проповедью «муниципального социализма», с наивной надеждой обратить буржуа в социалистов и мирным конституционным путем ввести социализм. («Благонамеренная банда», – говорил о них Энгельс). Об этом же, если угодно, свидетельствовал и только что заданный вопрос.

– Да, дорогой Шоу, – сказал Энгельс, тоже улыбаясь, – тут шесть человек пишущей братии. Вы верно подметили сходство между нами. Но как вам могло не броситься в глаза и весьма существенное различие? Вы и Эвелинг – ирландцы, Лафарг – француз, Каннингем-Грехем – англичанин, Степняк – русский и, наконец, ваш покорный слуга – немец. Шесть человек – пять национальностей! Я думаю, что для идеи Международного Первомайского праздника это различие гораздо более важно, чем однообразие, подмеченное вами. Разве не так?

– Пожалуй, – охотно согласился Шоу, видя, что Энгельс хоть и старше его в два с лишним раза, но по меньшей мере не

уступает ему в наблюдательности, – однако если идти и дальше по пути фиксации различий…

Волна музыки прервала Шоу, а когда она схлынула, Энгельс, не дожидаясь, когда тот продолжит фразу, сказал:

– Различий между нами великое множество. Важны существенные различия, а не любые.

– Я как раз и хочу отметить различие едва ли не самое существенное.

– Как говорят мои соотечественники, я повесил уши на гвоздь внимания, – дружелюбно улыбнулся и наклонил голову к собеседнику Энгельс.

Но в это время на платформу вбежал какой-то молодой человек и, пробравшись к Эвелингу – председателю митинга у этой трибуны, – взволнованно сказал ему несколько кратких фраз. Эвелинг тотчас повернулся к Энгельсу:

– Генерал! Получено телеграфное сообщение, что демонстрации и митинги идут в Мадриде, Бильбао, Сарагосе. Но, кажется, больше всего демонстрантов на улицах Барселоны. Называют цифру что-то около ста тысяч.

– Ого! – восторженно откликнулась вся трибуна.

– Это больше, чем в Вене и Будапеште, вместе взятых! – возбужденно и радостно сказал кто-то.

– Новость отличная! – Энгельс, которому в его семьдесят лет даже врачи не давали больше пятидесяти пяти – шестидесяти, казалось, еще помолодел, произнося это. – Поделитесь ею со всеми, Эдуард. Да и вообще пора открывать митинг, иначе народ начнет расходиться. Вы же, мой друг, не для того с таким трудом и отвагой добивались этих трибун и разрешения на контрмитинг, чтобы мы покрасовались здесь и ушли.

– Смотрите, на других трибунах уже началось, – указал направо своей острой бородкой Каннингем-Грехем, – кажется, там выступает Бернштейн.

– Лишь бы он не говорил слишком долго, – слегка поморщился Энгельс. – У парня мания копаться в мелочах. Это всегда бессмысленно, а уж сегодня-то особенно.

Эвелинг сделал шаг вперед и энергично поднял руку, требуя тишины и внимания. Народ тотчас замер в таком полном и глубоком молчании, что на возвышении трибуны вдруг стали довольно отчетливо слышны слова, которые натужно выкрикивали где-то вдали: «Энгельс!.. его сателлиты!.. эти интеллигенты!.. не занимающиеся физическим трудом!.. они!.. представляют собой!.. буржуазную клику!.. стремящуюся!.. поссорить!.. рабочих!..»

На трибуне все, кроме сосредоточившегося Эвелинга,

засмеялись, поняв, что это доносится речь, которую кто-то произносит на том, другом митинге, организованном деятелями из Лондонского совета тред-юнионов и Социал-демократической федерации.

– Узнаете? – поборов смех, обратился Энгельс к Степняку-Кравчинскому. – То глас нашего общего друга сэра Генри Майерса Гайндмана.

Сергей Степняк утвердительно кивнул лохматой головой. Он понял, почему с этим вопросом Энгельс обратился именно к нему. Адвокат и публицист Гайндман был основателем и лидером Социал-демократической федерации, собравшей под свое крыло интеллигентов, многие из которых по ряду вопросов выступают против последователей Маркса. В прошлом году, за месяц до организованного марксистами Парижского конгресса объединенных социалистов, Гайндман напечатал в своей газете «Джастис» статью, в которой утверждал, что под извещением о созыве конгресса подпись русского революционера Степняка-Кравчинского поставлена без его согласия.

Степняк не марксист, хотя очень близок с многими из них. Он дружит с Плехановым, которого года три тому назад денежной поддержкой буквально спас от туберкулеза и смерти. Однако он не примыкает к плехановской группе «Освобождение труда». И вообще, он не придает значения теоретической стороне дела. Для него главное – действие, живая революционная практика, конкретная борьба. На Михайловской площади Петербурга среди бела дня всадить кинжал в начальника Третьего отделения генерала Мезенцева, виновного в казни друзей Степняка, скрыться, а потом еще и написать об убийстве палача брошюру «Смерть за смерть!» – это он смог, а разбираться в различиях и противоречиях между марксистами и поссибилистами, эйзенахцами и лассальянцами, народовольцами и опять-таки марксистами – это он считал делом скучным и необязательным.

Степняк – мужественный, честный и бескорыстный человек. На другой же день он послал в редакцию «Джастис» решительный протест, опровергая лживую выдумку и объясняя, почему он, не будучи социалистом, подписал воззвание о созыве социалистического конгресса. «Я полагаю, – писал он, – что мы, так называемые русские нигилисты, должны использовать каждую возможность, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с великим международным социалистическим движением».

– Каково этому неисправимому завистнику Гайндману видеть, что сегодня весь Ист-Энд с нами! – воскликнул Энгельс.

Эвелинг, так и не опуская поднятую руку, начал:

– Граждане! Товарищи! Братья!..

В краткой вступительной речи он рассказал, как прошло празднование Первого мая в других странах. Цифры, которые он называл, встречались гулом восторга. А когда сообщил, что происходит сейчас в городах Испании, из первых рядов на трибуну полетели цветы.

– Вы заслужили их, Эдуард! – вполголоса сказал Энгельс.

Действительно, руководя организацией митинга, Эвелинг и его жена потрудились немало. Но все-таки, как видно, недостаток опыта в организации таких грандиозных дел ничем восполнить нельзя, и сейчас как председатель четвертой трибуны он явно сплоховал: сразу после вступительной речи надо было бы предоставить слово Лафаргу, а Эвелинг замешкался, возникла пауза, и ею воспользовался какой-то неизвестно откуда взявшийся господин. Он занял место немного отошедшего назад председателя и самочинно начал речь. Это была нудная мещанская декламация на тему всеобщей любви и братства. Сперва в публике стали было раздаваться протестующие голоса, но вскоре монотонность и бессодержательность речи утомили всех и начали словно усыплять.

– По-моему, – сказал Шоу, обращаясь к Энгельсу, – сейчас самое подходящее время, чтобы нам с вами закончить начатый разговор. Можно терпеть все что угодно, только не скуку.

– Бесспорно, – согласился Энгельс, досадуя в душе на оплошность Эвелинга.

– Так я опять же о различиях… Вас не смущает, господин Энгельс, что на этой трибуне лишь три правоверных марксиста – вы, Лафарг и Эвелинг? Что же касается остальных, то они от марксизма более чем далеки.

– Нет, меня это ничуть не смущает, – Энгельс говорил и поглядывал то на собеседника, то на оратора, то на Эвелинга. – Есть вопросы, по которым мы можем охотно выступать вместе с людьми иных идейно-философских взглядов. Вы разделяете идею международной рабочей солидарности, вы поддерживаете требование законодательного установления восьмичасового рабочего дня – этого нам для сегодняшней демонстрации, для совместного пребывания на одной трибуне достаточно. Я вполне удовлетворен тем, что социалистов здесь большинство.

– Позвольте, как же большинство? Три – это ровно половина шести.

– Нет, – засмеялся Энгельс, – нас тут не три, а три с половиной. Сергей Степняк наполовину наш.

Услышав это, Степняк улыбнулся.

– Поверьте мне, – продолжал Энгельс, – пройдет некоторое время, и этот человек станет нашим с головы до пят. А вы,

господин Шоу, тоже недолго проходите в фабианцах; если фабианское общество не умрет вскоре собственной смертью, то фабианство умрет в вас.

В этот момент на трибуне произошло нечто совершенно непредвиденное. Проповедник межклассовой любви и мира, несмотря на свою занудливость, оказался довольно расторопным малым: закончив выступление, он тут же сам объявил следующего оратора, который не замедлил тотчас появиться рядом и спешно начать речь. Он говорил о том же самом: как прекрасен весенний мир, как хорошо любить в этом мире всех, всех, всех, как отвратительна вражда человека к человеку, в частности, вражда рабочего к хозяину…

– Эдуард! – властно сказал Энгельс. – Что происходит? Куда мы попали? Откуда взялись эти болтуны?

Эвелинг лишь растерянно пожал плечами. Сделать уже ничего было нельзя. Не станешь ведь на глазах десятков тысяч стаскивать узурпатора с трибуны. Оставалось ждать, когда он выговорится. Шоу смеялся. А Энгельс рассердился не на шутку, хотя тоже чувствовал некоторую комичность положения.

– Смотрите, чтобы хоть третий-то не появился, – сказал он Эвелингу.

Наконец слово получил Лафарг. Он говорил вдохновенно, пылко и, что удивило Энгельса, на весьма правильном, гораздо более правильном, чем в обычной его речи, английском языке. Он встряхнул слушателей, вновь пробудил в них интерес. Он рассказывал о том, как прошел праздник во Франции. Уже одно то обстоятельство, что оратор специально приехал на этот митинг из Парижа, располагало к нему собравшихся. А тут еще прекрасный английский язык да такая убежденность, страстность, взволнованность… Когда Лафарг кончил, разразилась буря аплодисментов.

Вслед за Лафаргом место оратора тотчас заступил Сергей Степняк. Присутствие на митинге Степняка особенно радовало Энгельса. Пусть он не марксист, пусть многих важных вещей не понимает, но он русский, он из России, из той страны, которой долгие десятилетия запугивали рабочее движение в Европе. А ведь Россия уже давно не та, что была… Хотя перевод Бакуниным «Коммунистического манифеста» многие в свое время склонны были расценивать как литературный курьез, но все-таки не случайно, как видно, именно русские первыми, и притом прекрасно, перевели «Капитал» еще в семьдесят втором году, тогда как в Англии это сделали пятнадцать лет спустя, уже после смерти Маркса; не случайно студенты русских университетов были первыми, кому довелось услышать сочувственное изложение

теории Маркса; не случайно полемика о «Капитале» нигде не была такой горячей и широкой, как в России.

С каждым годом Россия все больше интересовала Энгельса, русские все сильнее влекли его к себе. Среди тех русских, кого он знал и знает лично, столько подлинных рыцарей свободы, людей поразительного мужества и редкого бескорыстия. Они не играют красивыми словами, у них все так серьезно, что за свои убеждения они идут на каторгу и поднимаются на эшафот… Где-то сейчас, подумал Энгельс, в этот прекрасный майский день, первый переводчик «Капитала» неистовый Герман Лопатин? Видит ли он это синее вольное небо? Три года назад его приговорили к смертной казни за попытку освободить из иркутского острога Чернышевского. Как раз в ту пору за участие в подготовке покушения на Александра Третьего в Шлиссельбургской крепости были повешены двадцатилетний студент Ульянов и четверо его товарищей. И тогда, то ли устав от пролития крови, то ли из боязни, царь заменил Лопатину смертную казнь пожизненным заключением в камере, где ожидал смерти Александр Ульянов. А может быть – ведь это же не кто-нибудь, а Герман Лопатин! – он уже на свободе и спешит, спешит что есть мочи в Гайд-парк, на наш митинг? Ему же отовсюду удавалось бежать – из Иркутска, из Вологды и еще бог знает откуда! Если бы Лопатин взошел сейчас на трибуну и, проведя рукой по своим роскошным усам, сказал: «Вот и я!» – Энгельс не удивился бы.

Неожиданнейшие люди эти русские… Среди друзей, знакомых и корреспондентов Энгельса их становилось все больше и больше. Вот из Швейцарии шлет ему письма Вера Ивановна Засулич. Об этой женщине ходили легенды. Из уст в уста передавалась история о том, как она, молодая, неполных тридцати лет, женщина, стреляла в петербургского градоначальника генерала Трепова. А ведь за что стреляла! За то, что Трепов приказал высечь розгами одного члена организации «Земля и воля», боевого собрата Засулич. В поступке Веры все увидели такое острое ощущение чувства человеческого достоинства, дух такого самоотверженного товарищества, что суд присяжных вынужден был оправдать ее. Жандармы окружили здание суда: хотели снова арестовать Засулич при выходе, но она ловко обманула их и скрылась. А Степняк рассказывает, что это тихая, стеснительная женщина, с толстой темной косой… Непостижимо!

Сейчас Засулич уже не станет палить в генералов. Она входит в группу «Освобождение труда». Это первая группа русских марксистов. Ее руководитель Плеханов против тактики

индивидуального террора. С группой «Освобождение», с самим Плехановым Энгельс связывал большие надежды. Плеханов не менее крупная фигура, чем хотя бы Лафарг, думал он.

Как жаль, что Плеханова нет сейчас на этой трибуне! Но хорошо и то, что здесь его друг Степняк. Это он летом прошлого года, после Парижского конгресса, привел к Энгельсу Плеханова. А потом он же, Степняк, вел все переговоры с Энгельсом о статье для журнала «Социал-демократ», который группа Плеханова начала издавать в Швейцарии. Энгельс с удовольствием написал эту статью: «Внешняя политика русского царизма», – и через Степняка переправил Засулич. Недавно Вера Ивановна, опять через Степняка, прислала Энгельсу первый номер журнала, где опубликована половина его статьи, вторая половина появится в следующей книжке.

Проникаясь все большей симпатией к русским революционерам, Энгельс, конечно, знал и о почтительном, любовном отношении их к нему. Он улыбнулся, вспомнив, что они – это ему достоверно известно – за глаза называют его Федором Федоровичем, а иногда, как многие – Генералом.

А Степняк между тем говорил о том, что первомайские праздники в Западной Европе вызвали огромный интерес у его соотечественников. Он заявил, что хотя английские рабочие уже многие годы и даже века борются за свои права, а молодой русский рабочий класс только недавно включился в эту борьбу, но русские рабочие прекрасно понимают английский пролетариат и поддерживают его требование о сокращении рабочего дня. Степняк закончил речь словами о том, что недалек тот год, когда первомайские демонстрации и митинги, подобно этому, состоятся в Петербурге, Москве, Киеве…

Речь русского вызвала такой же бурный восторг демонстрантов, как и речь француза. Для тех, кто знал Степняка, его речь явилась приятной неожиданностью. Каннингем-Грехем восхищенно сказал:

– Оказывается, когда надо, вы умеете и говорить! А мы думали, что вы человек только действия, если не кинжалом, то хотя бы пером.

А Энгельс воскликнул по-русски:

– Молодец!

Степняк по-русски же ответил:

– Рад стараться, Генерал!

Энгельс засмеялся, вспомнив, что Степняк в прошлом подпоручик артиллерии, и тут же спросил его:

– У вас, как у военного человека, тем более артиллериста, должен быть хорошо развит глазомер и способность к

ориентации. Как вы думаете, – Энгельс широко повел рукой, – сколько тут народа?

– Тысяч пятьсот! – опередил Степняка экспансивный Лафарг.

– Ну это вы хватили, Поль, – сказал Энгельс. – Ваша южная кровь выдает желаемое за действительное. Что скажет сын севера?

– Я думаю, – Степняк прищурился, – здесь тысяч двести – двести пятьдесят.

– Мне кажется, это гораздо ближе к истине, – согласился Энгельс, – но ведь все равно грандиозно! Как сказали бы в Америке, где я недавно был, – абсолютный рекорд.

– Смотрите! – воскликнул кто-то. – Там выступает женщина.

Действительно, на соседней трибуне речь держала женщина. Это была Элеонора. Ветерок вырывал из-под шляпки ее темные волосы. Было видно, что она не замечает этого, что она увлечена речью.

– Знаете, как Элеонору называют в Совете рабочих-газовщиков? – спросил Энгельс и сам ответил на свой вопрос с гордостью и нежностью: – Наша матушка!

Только он да Эвелинг знали, сколько сил вложила Тусси в организацию митинга. Конечно, много работы выпало и на долю самого Энгельса. Но все-таки его работа состояла в основном из бесед и писания писем. Надо было Бебелю и Либкнехту внушить мысль о том, что в Германии праздник должен пройти мирно, спокойно. Немецким рабочим не следовало идти на обострение и тем более поддаваться на провокации после блестящего успеха на февральских выборах в рейхстаг. Лафаргу и Геду он писал о том, что во Франции первомайские праздники должны нанести удар по шовинизму и до конца развеять бонапартистский дурман генерала Буланже. Итальянским социалистам он говорил… Словом, в ту пору не обходилось ни одного дня без нескольких обстоятельных писем, без двух-трех бесед. А на плечи Тусси, помимо тех же писем и встреч, легла огромная черновая работа. Ей пришлось позаботиться и о знаменах, и о музыке, и о построении колонн, и о многом другом.

Энгельсу, настроившемуся на русский лад, захотелось и Тусси похвалить по-русски. Уж очень ему нравилось звучное, лихое русское слово «молодец». «Как же будет женский род? – подумал он. – Молодеца? Молодица? Молодца?»

– Молодца! – задорно воскликнул он, глядя в сторону Тусси.

Степняк засмеялся.

– Что, не так? – весело справился Энгельс.

– Не так, – подтвердил Степняк.

– А как же?

– Да так и будет – молодец.

– Но ведь женский же род!

– Все равно.

– Вот и пойми вас, русских! – с преувеличенной досадой махнул рукой Энгельс.

– Вы не жалеете, господин Энгельс, – снова обратился любопытный Шоу, – что праздник Первого мая в Англии пришлось отмечать четвертого?

– Жалею я лишь об одном… – задумчиво начал Энгельс и вдруг оживился. – Но вы же придете сегодня ко мне после демонстрации на чашечку кофе? Приходите. Там я расскажу подробно, о чем сожалею и чему рад.

– А разве сейчас вы не произнесете речь с трибуны? – удивился Каннингем-Грехем.

– Нет, не произнесу, – как о давно решенном ответил Энгельс. – Во-первых, потому, что с годами я стал все хуже и хуже говорить, когда передо мной большая аудитория.

– Это неправда, Генерал, – вмешался Лафарг, который лучше других знал Энгельса и чаще видел его беседующим или произносящим речи. – По меньшей мере это ужасное преувеличение.

– Во всяком случае, перед такой большой аудиторией я никогда не выступал и боюсь, что, кроме общих фраз, не смог бы ничего сказать. Может быть, вы думаете, что мне, как старику, извинили бы пустопорожнюю декламацию?

– Ну какой же вы старик! – сказал кто-то.

– Как это какой? Самый настоящий. Я уже на пять лет старше Мавра… Старик же в роли дрессированного попугая еще более смешон и отвратителен, чем молодой. И я знаю, что Мавр не одобрил бы такого лицедейства. А это для меня важнее всего.

Эвелинг озабоченно спросил Энгельса, не устал ли он – ведь уже несколько часов как на ногах.

– О нет! – воскликнул тот. – По такому случаю, как сегодня, я могу стоять здесь хоть до ночи.

Когда Энгельс последний раз ходил на могилу друга – это было полтора месяца назад, четырнадцатого марта, в день его смерти, – подготовка к Первомайскому празднику на континенте и здесь, в Англии, уже началась. Все говорило о том, что праздник будет мощным и радостным. И вероятно, именно поэтому тогда, в тиши кладбища, Энгельс с новой, особой остротой ощутил горечь и боль теперь уж давней – страшно подумать: семилетней! – утраты.

Вечером того дня в письме Лауре он писал: «Сегодня мы ходили в Хайгет, Тусси была там уже утром, посадила на могиле

Мавра и Вашей мамы крокусы, примулы, гиацинты… Очень красиво. Если бы Мавр видел это!»

«Если бы видел!» – по смыслу письма эти слова относились к цветам на могиле, но думал при этом Энгельс не только о цветах. Он думал о всех радостных, многообещающих событиях последнего времени, в которых незримо присутствовал вклад и Маркса, он думал и о предстоящем празднике…

С того дня эти слова, как неизменный и все усиливающийся горький музыкальный мотив, постоянно звучали в его душе: «Если бы он видел это!» Вот и третьего дня, Первого мая, заканчивая предисловие к новому изданию «Манифеста» уверенными словами о том, что «зрелище сегодняшнего дня» своим размахом и сплоченностью будет поучительным и для угнетателей, и для угнетенных, Энгельс в последней фразе с той же болью воскликнул: «О, если бы Маркс был теперь рядом со мной, чтобы видеть это собственными глазами!»

И сейчас, с восхищением и гордостью глядя на то, как шумит, смеется, рукоплещет, как безмолвствует, слушает, размышляет рабочий Гайд-парк, Энгельс про себя повторяет: «Если бы он был рядом! Если бы он видел это!»

•

Вечером Энгельс устроил праздничный банкет. Собралось человек двадцать пять, большинство тех, кто находился сегодня на трибунах. Дух сегодняшнего Гайд-парка переместился сейчас сюда, в этот светлый дом, где уже двадцать лет живет Энгельс, где каждая вещь хранит память о Марксе. В прихожей, гостиной, в кабинете – возбужденный, радостный, разноязыкий говор. Звучит речь немецкая и английская, французская и польская, русская и итальянская… В просторной столовой накрыт огромный стол.

У каждого прибора – букетик цветов и карточка с обозначением имени гостя. Они на разных языках, каждый находит карточку на своем родном языке.

После демонстрации и митинга, после стольких часов, проведенных на свежем воздухе, все проголодались, и потому никого не пришлось приглашать к столу дважды. Энгельс был во главе стола; на противоположном конце, чтобы все видеть и всем руководить, обосновалась заботливая Елена, которая после смерти Маркса живет здесь в привычной роли домоправительницы. Она зорко следила, чтобы ни тарелки, ни бокалы не пустовали. Специально приготовленный ею к этому дню Maitrunk – «Майский напиток» – был восхитителен.

– Уж теперь-то вы скажете несколько слов, Генерал? – громко, чтобы в случае чего получить поддержку всех присутствующих, спросил Лафарг.

– Теперь скажу. К этому обязывает меня и долг хозяина и долг самого старшего среди вас. – Энгельс встал с бокалом майтрунка в руке. – А может быть, и самого счастливого… Да, друзья, последние месяцы и недели были, вероятно, самыми счастливыми в моей жизни, ибо мы пожинали небывалые плоды наших многолетних усилий. Я не буду говорить о замечательном успехе Парижского конгресса, поскольку это дело уже почти годовой давности…

Открылась дверь, и тихо вошел запоздавший Степняк со своей женой Фанни. Энгельс указал им места рядом с собой: Фанни – справа, Степняку – слева. Пока те смущенно пробирались вдоль всего стола, кто-то, воспользовавшись паузой, вставил:

– Но все-таки очень приятно вспомнить хотя бы о том, что в Париже зал Петрелль был слишком тесен для делегатов конгресса.

– Да, зал был тесен, – подтвердил Энгельс и продолжал: – За конгрессом последовали такие вдохновляющие события, как забастовки в Германии, в которых приняла участие треть миллиона рабочих; в августе – всеобщая стачка лондонских докеров, добившихся успеха; осенью – забастовка на фабрике резиновых изделий в Силвертауне, – Энгельс поискал глазами Тусси и быстро нашел ее: она сидела рядом с женой Степняка. Энгельс протянул руку в сторону Тусси. – Фактически руководителем стачки в Силвертауне была наша дорогая Элеонора Маркс-Эвелинг.

– Не совсем так, Генерал! – смутилась Тусси.

– Мне это знать лучше! – решительно парировал Энгельс. – Хочу особо подчеркнуть как характернейшую черту времени то обстоятельство, что попытки использовать в Силвертауне в качестве штрейкбрехеров французских рабочих полностью провалились. А на помощь лондонским докерам, когда их средства были уже на исходе, своими трудовыми сбережениями пришли собратья из Австралии.

Неловкий Степняк звякнул вилкой. Энгельс взглянул на него и, помолчав, вдруг сказал:

– Господа! Я намерен говорить сегодня очень долго, я имею на это право. Но, отлично понимая ситуацию, предлагаю сейчас выпить за сегодняшний праздник, утолить первый голод, а потом я продолжу.

Кто-то попытался возразить, но хозяин был неумолим.

– Прежде чем заниматься политикой, – сказал он смеясь, –

люди должны есть. Это одно из основных положений нашего материалистического учения об обществе.

Через четверть часа, когда стук ножей и вилок утих, Энгельс встал снова:

– Вспомните, дорогие друзья, что было дальше. В феврале – колоссальный успех социалистов на выборах в рейхстаг. Я предсказывал, что они получат миллион двести тысяч голосов, и был признан всеми чересчур большим оптимистом, но оказалось, что я был слишком скромен. Один только Либкнехт получил сорок две тысячи голосов, сделавших его первым избранником Германии. Если теперь опять, как это случалось раньше, какой-нибудь Кардорф, Хельдорф или еще какой-нибудь Юнкердорф посмеет перебить его речь в рейхстаге, он сможет ему ответить: «Заткнитесь! Я один представляю столько избирателей, сколько дюжина таких, как вы!»

Энгельс изобразил Либкнехта так похоже и произнес его воображаемую реплику с такой страстью, что это всех развеселило.

– Как вы знаете, мы получили в рейхстаге тридцать пять мест, и это несмотря на все меры, принятые Бисмарком. Да и сам Бисмарк отнюдь не из-за разногласий с молодым императором, а главным образом в результате этих выборов в марте подал в отставку.

А затем настал день Первого мая… В этот день мы превратили в зал Петрелль почти всю Европу, Америку, и зал не был тесен. Наконец, настало сегодняшнее воскресенье с его самым грандиозным из всех первомайских митингов.

Я стоял на старой грузовой платформе, служившей нам трибуной, и все время меня не покидало гордое сознание того, что мы, социалисты, – великая держава, внушающая страх своим врагам, держава, от которой зависит больше, чем от других великих держав. Весь мир знает, что именно мы свергли Бисмарка, а Вильгельм Второй вынужден заискивать перед нами; нас боятся французские шовинисты и американские реакционеры, Генри Гайндман и Константин Победоносцев. И можете быть уверены, что сегодняшней демонстрацией и митингом в Гайд-парке мы обеспечили премьеру Солсбери несколько бессонных ночей.

Энгельс отпил глоток вина, обвел взглядом всех гостей и продолжал с новым приливом вдохновения:

– Граждане нашей великой державы – всюду! Они в тюрьмах Сибири, на золотых приисках Калифорнии и даже, как мы убедились прошлой осенью, в Австралии. Думая об этой державе и ее гражданах, я сошел сегодня с трибуны с высоко поднятой

головой, и мне даже показалось, что я стал на несколько дюймов выше ростом.

Энгельс долил вина в отпитый бокал, поднял его над головой и воскликнул:

– За нашу великую державу! За ее бесстрашных граждан!

Тост приняли с энтузиазмом. Потом было провозглашено еще несколько тостов с разных концов стола, а когда уже собрались было вставать, Энгельс сказал:

– В конце апреля в одной буржуазной венской газете я прочитал: «Святой, память которого чтится Первого мая, зовется Карлом Марксом».

За столом прокатился смешок.

– Да, так и написано было: святой зовется Марксом, – продолжал Энгельс. – Меня это страшно разозлило. Газетка хотя и в ироническо-издевательском тоне, но пытается внушить своим читателям мысль, будто для нас, его приверженцев и учеников, Маркс – это святой со всеми вытекающими отсюда последствиями, такими, как бездумное поклонение, вера в его непогрешимость и тому подобное. На самом же деле Маркс больше всего на свете – это он доказал всей своей жизнью и всеми своими трудами, – больше всего ненавидел слепую веру в имена и причисление борцов и мыслителей к лику святых. Маркс для нас не святой, а гений революционной мысли, великий стратег социальной борьбы. И мы, конечно, чтили его, чтим и всегда будем чтить.

– А завтра его день рождения, – тихо произнесла Тусси.

– Совершенно верно! – подхватил Энгельс. – Трудно представить подарок ко дню рождения, который обрадовал бы его больше, чем сегодняшние колонны на улицах Лондона и сегодняшний Гайд-парк.

Энгельс замолчал, и теперь уже никто не спросил его, о чем он сожалеет. Все поняли: сожалеет он лишь о том, что именинник не полюбовался прекрасным подарком и не порадовался ему.

– Последний тост, – сказал Энгельс, – я хочу предложить за два дня рождения: за день рождения Маркса и за день рождения Международного праздника трудящихся. Это прекрасно и знаменательно, что они почти совпали!

Все осушили бокалы и еще не успели поставить их, как кто-то запел «Марсельезу». Песню подхватили в разных концах стола и на разных языках. Энгельс пел по-французски. Стихи и песни он признавал лишь на языке оригинала.

Глава четырнадцатая. Ее знали немногие

Стоя у вырытой могилы Елены, Энгельс думал о многом…

О том, с какой жестокой последовательностью судьба возлагала на него этот скорбный удел – хоронить одного за другим членов семьи Маркса. Девять лет назад, придя сюда впервые, он говорил здесь речь над гробом Женни; спустя чуть больше года ему пришлось писать некролог о Женни-младшей, внезапно умершей в неполные тридцать девять лет; минуло только два месяца – и он снова пришел на это кладбище, чтобы рядом с Женни положить самого Карла, чтобы сказать ему последнее «прости». И вот эта могила снова раскрыла свои недра, и вот он снова здесь…

Он думал в ту пору, что никогда не видел Хайгетское кладбище в летнюю пору, в пышном зеленом убранстве, что горькая необходимость приводила его сюда лишь поздней осенью, зимой или очень ранней, голой и холодной, весной и что это, пожалуй, единственный милосердный жест судьбы: видеть Хайгет и эту могилу цветущим летом было бы для него непереносимо…

Он думал о том, что его и самого уже давным-давно судьба могла бы уложить в землю. Сколько было у нее для этого возможностей!.. И шпага господина фон Краценау, с которым в пору юности он дрался на дуэли, предварительно влепив ему за оскорбление пощечину, и пули правительственных войск в тех четырех сражениях, в которых он участвовал в дни баденско-пфальцского восстания, и преследования агентов королей Пруссии, Франции, Бельгии, и тюремные одиночки, и, наконец, болезни…

Он думал о том, что через три с половиной недели ему исполнится семьдесят лет, что он пережил не только Карла, Женни, многих прекрасных товарищей по борьбе и друзей, но и двух своих горячо любимых жен; он думал о том, что долголетие – это нелегкий дар судьбы…

Да, нелегкий, но он все-таки мечтал заглянуть в двадцатый век, хотя ясно понимал, что едва ли это удастся. Семьдесят есть семьдесят. И ведь предстоящие годы не станут годами блаженного отдохновения да воспоминаний у тлеющего камина. Они, как и прошедшие, будут, конечно, годами труда и борьбы. Как много надо успеть! Сколько замыслов, надежд, начатых рукописей… Он обязан использовать нынешний спокойный период мировой истории и оставшиеся годы жизни, чтобы

сделать как можно больше. Прежде всего надо завершить издание «Капитала». Затем он напишет биографию Маркса. Потом – историю Интернационала. А кроме того, ждет завершения «Диалектика природы», интересно задумана работа «Роль насилия в истории», уже много лет его зовет рукопись по истории Ирландии. Давняя мечта – написать такого же рода книгу о Германии.

Он думал обо всем этом, но больше всего он думал сейчас о самой Елене Демут, о Ленхен, как звали ее всю жизнь в доме Марксов…

Маркс, конечно, никогда не был в глазах Елены великим человеком, вызывавшим у многих, даже очень крупных, людей благоговение, а то и трепет. Ну какой там, в самом деле, трепет, если едва ли не полвека она прожила с ним под одной крышей, если видела его в дни болезни и в дни нищеты, если ей было даже известно, что он любит рыбу и не терпит молоко, если она сама относила в ломбард его сюртук и брюки, доподлинно зная, что великий человек сидит сейчас дома раздетый…

Елена встала перед мысленным взором Энгельса молодой статной крестьянской девушкой с приятными и мягкими чертами лица – такой прислала ее из Германии в Париж в помощь своей только что вышедшей замуж дочери старая добрая госпожа Вестфален, такой и увидел ее впервые Энгельс.

Да, Карл не был для Елены великим человеком, – он был для нее просто добрым и бескорыстным, мужественным и справедливым; он был для нее человеком, за которого она отдала бы жизнь, как и за любого члена его семьи. Она знала Карла и Женни как самое себя, всегда и обо всем говорила им прямо, но она не переносила, чтобы кто-нибудь посторонний сказал хоть одно неодобрительное слово о ком-то из семьи Маркса. У нее существовали порой весьма неожиданные и прихотливые критерии в оценке людей. Лассаля, например, Елена невзлюбила на всю жизнь за его благословенный аппетит, с которым она ознакомилась в июле 1862 года, в пору жесточайшего безденежья Марксов, когда Лассаль приехал из Германии к ним погостить. В те дни, чтобы соблюсти перед гостем хотя бы видимость благополучия, пришлось стащить в ломбард все, что только было можно. А гость, ни о чем не догадываясь, уплетал и уплетал завтраки, обеды да ужины, приготовленные Еленой и приправленные ее проклятьями… Но главным критерием в оценке человека всегда было для Елены его отношение к Карлу, Женни и их детям.

Энгельсу вспомнился рассказ Карла о том, как однажды в сорок пятом году, перед вынужденным отъездом из Парижа в

Брюссель, они с Женни решили отправить Елену обратно в Германию, к госпоже Вестфален, так как их денежное положение было столь отчаянным, что оказалось нечем платить ей жалованье. Ни муж, ни жена долго не могли объявить служанке свое решение, а когда наконец Женни ей сказала, та не поверила своим ушам, потребовала повторить. Женни смущенно повторила:

– Да, ты должна ехать к маме. Пойми, у нас нет денег, чтобы платить тебе.

Елена была ошеломлена. Побледнев, дрожащими губами, сквозь слезы она растерянно проговорила:

– Но разве все на свете измеряется деньгами? – Она помолчала, собираясь с мыслями, а потом зло крикнула, кивнув головой в сторону комнаты Карла: – Это, конечно, он придумал! Кроме своих книг да бумаг, он скоро не будет видеть ничего на свете!

Она убежала в переднюю, потом вернулась с каким-то сверточком в руке и, бесцеремонно распахнув комнату Карла, встала как вкопанная перед его письменным столом.

– Сударь, сколько стоит ваша дочь? – решительно и громко спросила она.

– Что? – удивился Карл, медленно поднимая голову от книги. – Какая дочь? Что значит стоит? Почему стоит?

– Я говорю о вашей дочери Женни, – вызывающе продолжала Елена. – Вы, оказывается, все измеряете в деньгах. Так я хочу знать, сколько стоит девятимесячная дочь Марксов… Вот деньги, которые я получила от вас за все время, – она развернула сверточек и положила деньги перед Карлом. – Хватит их, чтобы купить Женни?

– Что ты лепечешь, безумная? – Маркс встал из-за стола.

– Нет, я говорю вполне серьезно. Вы гоните меня. Но я не могу уйти от вас без маленькой Женни, и вот деньги за нее. Ведь все можно измерить в деньгах, не так ли?

Поняв, что произошло, Маркс сперва чуть не расхохотался над столь неожиданным и комическим демаршем Ленхен, но за ее нелепыми словами, зло-насмешливым голосом и решительной позой так ясно были видны боль, обида и даже страх быть действительно отправленной, что ему стало не до смеха и он не знал, что предпринять.

– Ленхен, Ленхен! – бросилась к ней, чуть не плача, Женни. – Зачем ты так говоришь? Тебе же известно, как мы тебя любим. Но мы сейчас в таком ужасном положении, что просто не знаем, что делать.

– Ах, вы не знаете! – немного успокоившись, сказала Елена. – Вы не знаете? У меня есть деньги, а у вас денег нет, и вы не

знаете, что делать. Конечно, она – баронесса, он – доктор философии, как это они могут сказать: «Ленхен, дай нам взаймы!»

– Но согласись, Ленхен, – пыталась оправдаться Женни, – что брать взаймы у собственной служанки…

– Если я для вас только служанка… – с новой волной горькой обиды в голосе перебила Елена.

– Ну что ты! – в один голос воскликнули Карл и Женни.

– А если «что ты», – передразнила супружеский дуэт Елена, – то берите эти деньги, и дело с концом.

– Но я не знаю, когда мы тебе отдадим, – потерянно проговорила Женни.

– Когда сможете, тогда и отдадите.

– Часть денег мы возьмем. Спасибо, – Маркс отсчитал половину лежавшей перед ним суммы, отодвинул ее в сторону, а остальные деньги снова завернул в платочек и протянул Елене. – Но все-таки ты должна ехать к госпоже Вестфален.

Елена бросила ненавидящий взгляд на Маркса, схватила протянутые деньги и выбежала из комнаты.

Она ушла из дому и через полчаса вернулась с извозчиком. Женни хотела помочь ей собрать немудрящий скарб; Карл схватился было за скобу ее кованого, видавшего виды сундучка, когда настало время грузить его в карету, но Елена презрительно отвергла их помощь. Все погрузив вдвоем с извозчиком, она даже не стала прощаться, а лишь сказала ледяным голосом Марксу:

– Сударь, не соблаговолите ли вы дать мне ваш брюссельский адрес? Он нужен мне, конечно, не для того, чтобы сообщать вам о моем житье-бытье, и не для того, чтобы узнавать новости о вас. Я лишь хочу время от времени справляться о здоровье вашей маленькой дочери.

Маркс и Женни были подавлены. Но что они могли сделать? Избежать разлуки невозможно…

– Я, право, еще не знаю, – вяло проговорил Маркс. – Мне советовали на первое время остановиться в отеле «Буа-Соваж»…

– Благодарю, – отчужденно сказала Елена и, не пожелав слушать ни прощальных слов, ни сожалений, ни напутствий, села на извозчика и уехала.

Маркс и Женни, естественно, думали, что она отправилась на вокзал, чтобы ехать в Германию. Каково же было их изумление, когда в Брюсселе, едва они кое-как устроились, однажды утром открылась дверь и на пороге появилась Елена со своим сундучком на плече. Оказывается, в отчаянии и сомнениях протолкавшись несколько дней в Париже, она после мучительной внутренней борьбы самовольно решила ехать все-таки не в Германию, а в Брюссель. И она была права – в этом Женни и Карл честно

признались перед ней.

С той поры Марксы уже никогда не пытались отправить от себя Елену; что же касается займа у нее денег, то он стал довольно привычным делом.

Энгельс так живо все это себе представил, что не смог удержать слабой, печальной улыбки. Но тут кто-то легко коснулся его плеча и спросил над самым ухом, не скажет ли он несколько прощальных слов.

– Да, да, конечно, – ответил Энгельс, стараясь вырваться из цепких объятий воспоминаний. Собираясь с мыслями, он наклонился, взял горсть земли и, ощутив ее холод, окончательно вернулся в сегодняшний день.

Речь была краткой, но Энгельс рассказал в ней не только о том, что Елена была помощницей Женни в домашних, в семейно-хозяйственных делах. Он подчеркнул, что и сам Маркс частенько обращался к ее здравому смыслу в трудных и запутанных делах.

– Что касается меня, – Энгельс грустно покачал головой, не отрывая взгляда от лица покойной, которое даже и сейчас, в гробу, не потеряло выражения своей всегдашней озабоченности и неизбывной доброты, – то та работа, которую я оказался в состоянии выполнить после смерти Маркса, проделана была главным образом благодаря тому теплу и помощи, что она внесла в мой дом, оказав ему честь своим пребыванием в нем после смерти Маркса.

Вслед за Энгельсом кто-то стал говорить еще. Он слышал слова, но их смысл не доходил до его сознания – он опять оттолкнулся от берега этого тихого осеннего денька и уплыл в прошлое.

Энгельсу пришло на память, что в некрологе о Женни-младшей он писал: пролетариат утратил в ее лице героического борца, но у убитого горем Маркса осталось, по крайней мере, то утешение, что сотни тысяч рабочих в Европе и в Америке разделяют его горе. Елену эти сотни тысяч, конечно, не знали. Ее знали лишь те, кто бывал в доме Марксов, кто ел ее супы и пудинги, кому она приводила в порядок потрепанную в скитаниях одежду, кому ссужала небольшие, но так необходимые суммы из своих скромных средств, – словом, ее знали лишь те, кому она дарила свое внимание и заботу, доброту и ласку. Но все-таки, подумал Энгельс, она тоже была героическим борцом – скромным, незаметным, даже неизвестным для посторонних, но именно героическим. Сколько мужества и находчивости, ловкости и сноровки, терпения и силы духа ежедневно и ежечасно требовалось от Елены, чтобы защитить бастион, в котором жил и работал Маркс, от ежедневных жестоких атак нужды, болезней,

жизненных неурядиц.

Да, это был непрерывный труд, безостановочный бой… Ему вспомнилось, как однажды, отвечая на анкету дочерей Маркса и будучи в шутливо-веселом настроении, он против слов «Ваше представление о счастье» взял да и написал: «Бутылка шато-марго двадцатилетней выдержки». Елена же на этот пункт ответила так: «Съесть обед, который был бы приготовлен не мной». Она, конечно, тоже шутила, но если шутка Энгельса была шуткой, и только, то в словах Елены можно было почувствовать привкус живой горечи – за ними вставали годы и годы самозабвенного, однообразно-изнурительного мужественного труда. Прочитав тогда ее ответ, Энгельс пожалел о своей шутке…

Женни говорила о ней: «Какое это для меня сокровище». Она была сокровищем, конечно, и для Маркса, и для всей семьи. И еще кто знает, удалось ли бы Карлу в полной мере совершить то, что он совершил, не будь она всегда рядом. Карл и Женни понимали это, как родную любили ее, потому и решили, что она будет похоронена в одной могиле с ними. Так что у тех же сотен тысяч рабочих в Европе и в Америке есть все основания, чтобы скорбно почтить Елену Демут, подумал Энгельс.

Кто-то снова слабо коснулся его плеча и шепотом сказал: «Пора!» Энгельс не понял, к чему относилось это тихое восклицание, но тут же почувствовал, как ему в руку вложили ком земли. Очнувшись, он слегка помял землю и, чуть помедлив, бросил ее в могилу. Раздался глухой, одинокий, печальный звук. Вслед за ним послышалась частая дробь ударов, потом – плавный, ритмичный шум сыплющейся земли: это приступили к своему делу могильщики.

С кладбища Энгельс пошел домой пешком. Если бы его спросили, почему он так решил, вероятно, он ответил бы, как и думал на самом деле: лишь потому, что до дома не так далеко. Но действительная причина была иная: неосознанно он хотел оттянуть момент возвращения в опустевший, осиротевший дом. Ведь семь последних лет, как сорок лет до этого у Марксов, его душой, его хозяйкой и мажордомом, его защитницей и добрым гением была Елена.

Выходя из кладбищенских ворот, Энгельс натолкнулся на двух нищих. Нащупав в кармане несколько монет, он подал милостыню тому и другому, но, отойдя от них несколько шагов, вспомнил, что Елена, как и Маркс, всегда питала большое недоверие к лондонским нищим, среди которых действительно встречается много виртуозных пройдох. Маркс никогда не мог устоять лишь перед теми нищими, которые были с детьми.

Однажды в разговоре с Женни Энгельс высказал догадку, что

это недоверие Елена переняла у Маркса. Женни помолчала минуту и задумчиво возразила: «Едва ли. Пожалуй, как раз наоборот: по-моему, Карл проникся недоверием под влиянием Ленхен – ведь она гораздо чаще сталкивается с нищими и, конечно, лучше знает их».

В последние семь лет Энгельс еще более уверился в определенном воздействии Елены на Карла, так как и сам, даже будучи стариком, – а Маркс-то знал ее со времен гораздо более податливого возраста, – бесспорно, ощутил на себе добрую силу ее обаятельной личности.

Энгельс вспомнил, как когда-то его сотоварищ по баденско-пфальцскому восстанию сорок девятого года, а ныне крупный сановник в Соединенных Штатах Карл Шурц рассказывал о молодом Карле: «Все, что Маркс говорил, было действительно содержательно, логично и ясно… Но мне никогда не приходилось встречать такой вызывающей, невыносимой надменности в выступлениях». В таком же духе отзывался о тридцатилетнем Карле другой участник революции сорок восьмого года, прусский лейтенант Техов: «Будь у него столько сердца, сколько ума, столько любви, сколько ненависти, я готов был бы идти за него в огонь, хотя он высказал свое полнейшее презрение ко мне не только обиняком, но под конец совершенно откровенно».

Конечно, по отношению к таким полуреволюционерам, как Шурц и Техов, Карл всегда, до конца своих дней, был пренебрежителен и резок, но все-таки нельзя отрицать, что в молодые годы в нем бурлил определенный переизбыток иронической энергии. И Энгельс сейчас понимал, что если Карл со временем обуздал эту энергию и стал ее полновластным повелителем, то в этом ему помогли не только годы и опыт, не только Женни и дети, но, конечно, и Елена…

Ранние ноябрьские сумерки опускались на Лондон. Справа за Хэмпстедскими холмами дотлевал бледный закат. Туда, к холмам, к еще не закрытым светлым воротам заката по небу плыла длинная гряда облаков. Энгельс остановился, чтобы передохнуть, и повернулся лицом к закату. О эти Хэмпстедские холмы! Сколько раз в летнюю пору, по воскресеньям, вся семья Маркса в непременном сопровождении кого-нибудь из друзей отправлялась на их зеленые просторы! Какие это были веселые и беззаботные прогулки!.. Энгельсу не так уж часто доводилось бывать их участником, но они навсегда запомнились ему неповторимой атмосферой большой дружной семьи, решительно отринувшей от себя на один день все труды, заботы, тяготы.

Энгельс долго смотрел на гряду облаков, которая, медленно меняя прихотливые очертания, все плыла и плыла к холмам.

Вдруг в какой-то момент ее контуры стали такими, что показались близоруким глазам Энгельса странно знакомыми, очень сильно на что-то похожими. На что? Он напряг зрение, всматривался, всматривался, и наконец его озарило: гряда облаков напоминала ту самую, давнюю воскресную процессию, направлявшуюся на Хэмпстед-Хис! Ну да, конечно, вон впереди, взяв за руки маленькую Женни и еще меньшую, почти круглую Лауру, шагает высокий Либкнехт; за ними кто-то из гостей; а вот и ядро процессии – плотный Карл, изящная Женни и еще кто-то, тоже, видимо, из гостей, но этот гость солидней, важнее, чем первый, и Карл повернул к нему гривастую голову, внимательно слушая; замыкают шествие ладная фигура Елены и еще один гость, худой до прозрачности, он помогает ей нести огромную корзину со съестными припасами, – должно быть, кто-то из несчастной эмигрантской братии, и вероятно, так голоден, что весь изогнулся над корзиной и едва не сует в нее свой прозрачный нос… Ах, эта корзина! В ней всегда хранились прекраснейшие вещи! Освященный традицией огромный кусок жареной телятины, хлеб и сыр, чай и сахар, а иногда и креветки или устрицы, а то даже и фрукты…

С каким нетерпением и страстью все мы, особенно молодые прожорливые эмигранты, бросали взгляды на эту корзину! По тому, кто добивался чести помогать Елене нести корзину, можно было заключить, кто из нас самый голодный…

Но тут в небе произошло движение, в гряде облаков что-то перестроилось, изменилось, и вот уже нет ни Карла, ни Женни, ни гостей, только Елена, отобрав у помощника корзину и поставив ее на плечо, все спешила и спешила по темнеющему небу к воротам заката, которые становились все ниже и уже.

Энгельс закрыл глаза – ему не хотелось наблюдать, как видение исчезнет совсем, он был бы рад навсегда сохранить его в памяти. Постояв минуту, он повернулся и, только тогда открыв глаза, снова пошел. Минут через пять он все-таки еще раз взглянул на небо, будучи уверен, что там уже все рассеялось. Но он ошибся. С корзиной на плече Елена все шагала к Хэмпстедским холмам, к почти исчезнувшим воротам заката. И он уже не захотел закрывать глаза, отворачиваться, а смотрел и смотрел, пока Елена не ушла так далеко, что ее совсем не стало видно…

Как ни тягостно рисовалось Энгельсу возвращение в осиротевший дом, на самом деле оно оказалось еще тяжелей. Не зажигая света, он снял шляпу, пальто, бросил их на диван в прихожей и прошел в кабинет. Здесь он долго сидел в темноте у письменного стола, потом зажег лампу, пододвинул к себе бумагу

и взял перо. Хоть мысленно он должен сейчас с кем-то поговорить – одиночество было нестерпимо. С кем же? Ну конечно, с Беккером, – старый боевой товарищ, он не раз бывал в доме Маркса и прекрасно знал Елену, – как никто другой, он поймет его сегодняшнее состояние. «Дорогой Иога…» – начал было писать Энгельс, но вдруг бросил перо и стукнул кулаком по столу. Что это с ним? – ведь уже четвертый год, как старик Иоганн умер! Как мог он об этом забыть? Или смерть Елены размыла в его сознании черту, отделяющую мертвых от живых? Или это видение, что прошло перед ним по закатному небу, оживило в его памяти всех дорогих усопших?..

Энгельс встал и несколько раз прошелся из угла в угол. Потребность сказать кому-нибудь хоть слово оставалась такой же острой. Он снова сел к столу и взял перо. Решил, что напишет в Америку – Зорге. Сообщив о смерти Елены, рассказав о ее похоронах, он написал: «Мы с ней были последними из старой гвардии до 1848 года». Поставив точку, Энгельс почему-то ощутил странное чувство: словно когда-то такую фразу он уже говорил. Да, конечно, как раз Беккеру он писал на другой день после смерти Маркса: «Теперь мы с тобой, пожалуй, последние из старой гвардии времен до 1848 года». Вспомнив эти слова, Энгельс с досадой и сожалением подумал, что тогда не имел права так говорить: ведь была еще Елена! Хотя написанная сейчас фраза почти дословно повторяла фразу из письма семилетней давности, Энгельс ничего не стал поправлять: уж теперь-то каждое слово тут стояло на месте, действительно они с Еленой были последними…

Он обмакнул высохшее перо и продолжал: «Теперь я снова одинок. Если в течение долгих лет Маркс, а в эти семь лет я могли спокойно работать, то этим мы в значительной мере обязаны ей. Что будет теперь со мной – не знаю…» Энгельс провел рукой по уставшим глазам, в сознании всплыла картина похорон, вспомнились слова своей речи, он дописал: «Мне также сильно будет недоставать ее исключительно тактичных советов в партийных делах».

Она снова встала перед ним – на этот раз в двух обликах. Вот она – опять молодая, улыбающаяся, статная, какой он увидел ее впервые в Париже. А вот – уже в годах, отяжелевшая, хотя все еще крепкая и проворная, – такая, какой он ее видел сегодня спешащей с корзиной на плече в Хэмпстед-Хис. Энгельс вспомнил, что в том письме Беккеру по поводу смерти Маркса он еще писал: «Ну что ж, мы останемся на посту. Пули свистят, падают друзья, но нам обоим это не в диковинку. И если кого-нибудь из нас и сразит пуля – пусть так, лишь бы она как следует

засела, чтобы не корчиться слишком долго».

Энгельсу захотелось вновь повторить сейчас эти слова, только теперь вместо «мы», «нам», «нас» всюду следовало написать «я», «мне», «меня». Но он не написал этих слов. Он только подумал: раз смерть неизбежна, то когда бы я хотел ее принять? И, еще раз вспомнив Елену, снова вглядевшись в ее облик, охватив мысленным взором всю ее жизнь, он ответил себе: «Пусть дано мне будет умереть в тот момент, когда я окажусь не в состоянии бороться».

Энгельс запечатал письмо, надписал адрес и встал, чтобы положить его на круглый столик, с которого Елена обычно забирала всю корреспонденцию, предназначенную к отправке. На столике лежало несколько неотправленных писем. А на соседнем, точно таком же, на который клали полученную корреспонденцию, громоздился целый ворох разных конвертов, пакетов, бумаг. Вот уже несколько дней Энгельс сам складывал их сюда, но не разбирал. Здесь были газеты – английские и немецкие, французские и итальянские, русские и испанские, американские и датские, болгарские и чешские, швейцарские и румынские… Здесь были письма, рукописи, книги – из Манчестера и Парижа, из Рима и Чикаго, из Копенгагена и Софии. И все ждало его руки, его глаза, его оценки…

Завтра он примется за все это… Завтра? Он подошел ко второму столику, сгреб все бумаги, свалил их на край своего огромного письменного стола и начал разбирать.

Глава пятнадцатая.
Его ждала Россия

Поезд шел ходко, весело. Молодой человек сидел у окна и то смотрел на деревни, поля, леса, бежавшие навстречу, то заглядывал в тетрадь с какими-то записями. До Вержболова, до России оставалось часа два с половиной. На последней станции сошел сосед, его место никто не занял, и теперь молодой пассажир ехал в отделении один. Ритмичный стук колес, умиротворенные картины ранней теплой осени за окном, одиночество располагали к раздумьям…

Впервые в жизни на четыре с половиной месяца покинуть родину, посетить Женеву и Цюрих, Париж и Берлин, встретиться со многими интереснейшими людьми – это событие, особенно если тебе всего двадцать пять лет и ты еще нигде не бывал, кроме Москвы, Петербурга, трех-четырех губернских да нескольких уездных городов. И он всю дорогу от Берлина обдумывал это событие, перебирал в памяти встречи, беседы, увиденные города, прочитанные книги – книги, которых не достать в России…

Что было самым глубоким и ярким впечатлением поездки? Что больше всего запомнилось? Может быть, красота швейцарской природы? О ней он сразу же по приезде в Женеву написал матери в Москву: «Природа здесь роскошная. Я любуюсь ею все время».

Особенно же благодатную возможность вдосталь налюбоваться швейцарской природой он имел в санатории под Цюрихом, где провел недели полторы, стремясь по совету врачей немного подкрепить здоровье после воспаления легких, перенесенного ранней весной в Петербурге. Слов нет, швейцарские горы и долины, озера и луга незабываемы. Но все-таки он завидовал своим родным: они этим летом путешествовали по Волге. О, там он знавал места, право же, не хуже швейцарских!

…Ну, если не Швейцария, то, может быть, больше всего запомнился Париж?

Да, Париж прекрасен. О нем он писал домой в первые же дни пребывания там: «Впечатление производит очень приятное – широкие, светлые улицы, очень часто бульвары, много зелени; публика держит себя совершенно непринужденно, так что даже несколько удивляешься сначала, привыкнув к петербургской чинности и строгости». Конечно, подумал он сейчас, Париж – город очень неудобный для жизни при скромных средствах и

очень утомительный, но прокатиться, навестить, пожить недолго – нет лучше и веселее города.

В Париже его чрезвычайно радовало и то, что там он легко понимал французский язык, чего не было с немецким языком в Берлине. Но зато в Берлине в отличной Королевской библиотеке он с таким наслаждением и так плодотворно порылся в книгах! А как здорово было по вечерам бродить по берлинским улицам, приглядываться к разноликому люду, прислушиваться, стараясь понять ее, к живой немецкой речи, заходить в кафе рабочих кварталов, посещать простонародные вечера увеселений.

Так, может быть, самое сильное впечатление – Берлин? Возможно. Но ведь и в Париже он тоже неплохо поработал в Национальной библиотеке, покопался в книжных развалах букинистов на набережных Сены, бродил по улицам, наблюдал толпу, посещал собрания и вечера рабочих… А кроме того, в Париже был незабываемый день, когда он посетил кладбище Пер-Лашез, стоял у Стены коммунаров. С 1880 года, вот уже пятнадцать лет, в последнее воскресенье мая трудящиеся Парижа устраивают траурное шествие к Стене коммунаров. В этом году оно было двадцать шестого числа. Он не принял в нем участия – ему хотелось побыть на этом кладбище, у этой стены одному, услышать в тишине голос умолкшей здесь четверть века назад жаркой кровавой схватки, слить с великой скорбью парижан свое личное, свое семейное горе: ведь стояли те самые майские дни, когда дома – вот уже восемь лет! – всегда чтили память брата и – четвертый год – память сестры.

Он знал, что его письма, конечно, будут вскрываться жандармскими чиновниками, и потому был в них очень осторожен. В самый день годовщины смерти брата и сестры он не мог не написать матери, но и не мог ничего поведать о своих подлинных чувствах в этот день. Письмо было вроде бы незначащим: о том, как устроился в Женеве, что посетил крестницу Асю, что очень дорога здесь прислуга, и так далее. Но, ставя дату, он указал число не только по европейскому стилю, как на всех заграничных письмах: двадцатое, а – в скобках – еще и по привычному для матери русскому стилю: восьмое. Восьмое мая – день смерти и Александра и Ольги. Он был уверен, что мать догадается, почему тут две даты, и за второй из них услышит его голос: «Я помню этот день, мама, и мысленно я сегодня с тобой».

Мама, мама… Ей давно бы пора отдыхать да радоваться на выросших детей, ездить бы вот по таким санаториям, как тот, где лечился он, а вместо этого какая трудная старость! За пять лет потерять трех самых близких людей – мужа, двадцатилетнего сына, двадцатилетнюю дочь… Да и сейчас, в шестьдесят лет, одни

заботы и беспокойства.

Он знал, что главная причина ее забот и ее беспокойства – он сам. Не потому, что вскоре после приезда в Петербург, два года тому назад, он вынужден был просить ее о денежной помощи. Не потому, что и во время этой поездки обращался раза два с такой же просьбой. Не потому. Мать помогала с радостью, хотя он, конечно, готов был на все, чтобы иметь возможность не обращаться к ней с такими просьбами. Мать беспокоили не деньги – она была в вечной тревоге за будущее и второго своего сына, за саму его жизнь.

В памяти всплыло лицо матери: живые глаза, совсем уже седые волосы, родинка над верхней губой. В этом лице удивительно сочетались доброта и строгость, нежность и сдержанность. Он видел его таким особенно часто в дни своей болезни, в марте, когда мать приехала в Петербург из Москвы, чтобы ухаживать за сыном. Тогда же она познакомилась…

В дверь вежливо постучали.

– Войдите!

На пороге появился кондуктор.

– Извините, сударь. Нельзя ли к вам на свободное место перейти господину из соседнего отделения?

Молодому человеку не хотелось соседства, ему так хорошо ехалось в одиночестве. Он медленно провел ладонью по высокому лбу, и в медлительности жеста угадывалась досада.

– Чем же этому господину не нравится его отделение?

– Там дите.

– Но до Вержболова остались сущие пустяки…

– Да, ехать теперь недалече, но он говорит, что больно уж устал от ребятенка, отдохнуть хотят…

– А других свободных мест в вагоне нет?

– Кабы были! – кондуктор развел руками. – Да вы не сомневайтесь, господин вполне приличный!

Все это настораживало, но молодой человек понимал, что его несогласие, в свою очередь, тоже может показаться подозрительным, а это не в его интересах. Он пожал плечами:

– Ну что же…

– Уж извините, сударь.

Кондуктор ушел. Молодой человек некоторое время напряженно ожидал нового соседа: перейти из одного отделения в другое – дело пустячное, но тот почему-то все не являлся. «Вероятно, передумал», – обрадовался молодой человек и через несколько минут незаметно для себя вновь погрузился в свои размышления.

…Он снова возвратился мыслью к матери, а от нее – к Наде.

Мать познакомилась с ней в дни его болезни, когда обе они, то вместе, то поочередно, с тревогой и нежностью склонялись над его жарким изголовьем. Кажется, они понравились друг другу. Однажды, когда он начал выздоравливать, ему захотелось развлечь мать, и он рассказал ей, как Надя играла на сцене рабочего клуба. Ставили «Горе от ума». Наде поручили роль третьей княжны. Вся роль состояла из одной-единственной реплики: «Какой эшарп кузен мне подарил!» – но Надя усердно ходила на все репетиции, а в день премьеры перед выходом на сцену так разволновалась, что у нее сел голос и она жалким, чудовищным образом проскрипела: «Какой эшарп кузен мне подарил!» Он вспомнил, как смешно изобразил тогда испуганную, безголосую Надю, как смеялась мать, слушая рассказ и переводя веселый добрый взгляд с него на Надю, с Нади на него, как сама она потом, смеясь, повторяла: «Какой эшарп кузен мне подарил!»

Вслед за Надей в памяти проступил образ Лафарга. Сначала он удивился такому прихотливому и неожиданному ходу своих мыслей, но тотчас понял, в чем дело. Познакомиться с Полем Лафаргом, прославленным деятелем социалистического движения Франции, другом Маркса, повидать его жену Лауру, дочь Маркса, было одним из сильнейших его желаний при посещении Парижа. Лафарга тоже интересовала встреча с молодым русским социалистом, и он пригласил его к себе в Ле-Перре, близ Парижа.

В день условленной встречи – это было еще в июне – он купил в книжном магазине Латинского квартала «Историю Парижской Коммуны» Проспера Лиссагарэ и так с книгой в руках и предстал перед Лафаргами. Поль, несмотря на свои пятьдесят три года, все еще юношески подвижный и изящный, все еще жадный до жизни и ее впечатлений, встретил гостя приветливо, любезно и тотчас же попытался увлечь его в водоворот политической беседы. Но это ему удалось лишь позже, вначале помешала Лаура. Принимая книгу, чтобы куда-нибудь положить ее, она медленно, словно вспоминая что-то очень далекое, проговорила:

– Лиссагарэ… Читаете?

– Только сегодня купил.

– Очень интересная штука! – сказал Лафарг. – Обязательно прочитайте. Маркс называл ее лучшей историей Коммуны. Прочитайте и книгу Лефрансе о Коммуне. Но с именем Лиссагарэ в нашем доме связаны и другие воспоминания, – он взглянул на жену и не заметил, чтобы она была недовольна или протестовала: этот русский сразу расположил обоих к доверию и откровенности. – Дело в том, что когда-то, теперь уж, наверное, лет тринадцать

тому назад, Проспер Оливье Лиссагарэ, или Лиссо, как мы его звали, сватался к Элеоноре, к Тусси, младшей сестре Лауры. Они были даже помолвлены, но в конце концов Тусси так и не решилась на этот брак.

– Он был на шестнадцать или семнадцать лет старше ее, – задумчиво проговорила Лаура.

– Да, но дело не только в этом, – видимо не желая вдаваться в подробности неожиданно возникшей темы разговора, сказал Лафарг. – Скажу лишь, что, когда Тусси дала ему окончательный отказ, все мы с облегчением вздохнули.

– А вы не женаты? – вдруг спросила Лаура.

– Пока нет, – ответил он и вдруг в этом уютном семейном доме при виде дружной супружеской четы с небывалой дотоле отчетливостью подумал о Наде как о своей будущей жене. Именно поэтому ее имя и имя Лафаргов вступили в его сознании в некую внешне довольно нелогичную, но вполне ощутимую связь, и одно из них могло теперь вызывать в памяти другое.

– «Пока» – это значит, что предмет уже найден, – ясновидчески улыбнувшись, прокомментировала Лаура. – Как же ее звать, если не секрет? Русские имена очень красивы, я люблю их.

– Как? – несмотря на сердечное расположение хозяев и их родительский по отношению к нему возраст, он не решался в таком деле открыться до конца и произнести Надино имя, но не мог и промолчать, отринуть их вполне дружеский интерес, и он выбрал третье: назвать подпольное Надино прозвище. – Как ее зовут? Минога.

– Минога? – изумился Лафарг. – Что это за имя?

А Лаура сразу все поняла – и душевное затруднение этого русского, и что такое Минога: ведь она выросла в семье, где всем давали прозвища. Она рассмеялась:

– Чему ты удивляешься? Разве ты забыл, что меня в свое время звали Какаду, Наездница, Фея кухни и даже Птичий глаз, что не менее странно, чем Минога. Энгельс и сейчас никогда не зовет меня по имени.

– Ах, вот оно что! – наконец понял и Лафарг. – Это нам знакомо. Меня Маркс чаще всего называл Негром. Ну а есть ли второе имя у вас?

У гостя оно было. За высокий, с залысинами лоб, за начитанность, за умение подойти к самым неожиданным жизненным вопросам и к самым разным людям, наконец, за то, что среди товарищей социал-демократов и среди рабочих он никогда не становился в позу надменного учителя, а был просто более опытным и знающим товарищем, – за все это петербургские

марксисты прозвали его Стариком. Он уже хотел было произнести это слово, но Лафарг перебил его намерение:

– Маркса, как вы, конечно, знаете, мы все звали Мавром. Так за смуглость его нарекли дети. Но когда он был в вашем возрасте или немного постарше, у него было другое прозвище. В Союзе коммунистов, как рассказывал Энгельс, его звали Vater Marx – Отец Маркс или просто Фатер. Подумайте только, человеку лет двадцать семь – двадцать восемь, а все друзья и единомышленники, среди которых очень многие были гораздо старше, зовут его Отцом! Настолько Маркс превосходил всех, таким общепризнанным был его авторитет! – Лафарг помолчал, видимо вспоминая далекие годы, но через несколько мгновений встрепенулся: – Так что же за прозвище у вас?

Гость немного помедлил, провел рукой по широкому лбу и глуховато ответил:

– Конечно, у меня тоже есть прозвище. Меня зовут Волгарь. Я с Волги, из Симбирска…

Потом Лафарг пригласил его в кабинет, и, пока Лаура накрывала на террасе стол, они отвели наконец душу в разговоре на политические темы. Русского интересовало все. Он расспрашивал хозяина дома о Марксе, о подробностях нынешней политической ситуации во Франции и о многом другом. Казалось, его расспросы довольно хаотичны. Но это было не так. Он хотел получить от многоопытного собеседника прежде всего то, что могло ему пригодиться для развертывания политической борьбы дома, в России.

Лафарг, в свою очередь, расспрашивал о работе социал-демократических кружков в Петербурге, в Москве. Узнав, что в одних проводятся популярные политические беседы, а в других кружках, более высокого уровня, состоящих из грамотных, передовых рабочих, изучают Маркса, Лафарг иронически воскликнул:

– И они читают Маркса?

– Читают, – спокойно ответил русский.

– И понимают? – в голосе Лафарга было еще больше иронии и недоверия.

– И понимают, – ответ прозвучал еще спокойнее и увереннее.

– Ну, в этом вы ошибаетесь, – категорически заключил Лафарг. – Они ничего не понимают. У нас после двадцати лет социалистического движения Маркса никто не понимает.

Собеседник расхохотался:

– Так уж и никто!

При последних словах Лафарга он вспомнил двух своих петербургских друзей: Юлия Мартова, руководителя одной из

социал-демократических групп в столице, и Ивана Бабушкина, рабочего Семянниковского завода. То, что сказал сейчас Лафарг, было похоже на рассуждение Мартова! Он тоже не верил, что рабочие могут понять Маркса и Энгельса. У группы Мартова имелся мимеограф; когда договаривались о совместном издании литературы для рабочих и ему предложили в первую очередь напечатать «Жилищный вопрос» Энгельса, Мартов решительно отказался. Но разве это совершенно непостижимое чтение для такой умницы, как Бабушкин? А ведь он не один такой. Шелгунов, Князев, Яковлев, Меркулов, Боровков, Грибакин, братья Бодровы…

– Может быть, вы полагаете, – видимо несколько задетый смехом и не отвечая на вопросы, продолжал Лафарг, – что русские рабочие способнее французских?

– Нет, господин Лафарг, я так не думаю, – очень серьезно ответил гость, – хотя русский народ и русский рабочий класс действительно чрезвычайно талантливы, и только свободное будущее откроет миру всю их одаренность. Но я думаю, что, во-первых, понимание рабочими Маркса в большой мере зависит от нашего умения объяснить им его, и тут мы, русские социал-демократы, не жалеем сил. А во-вторых, Россия приходит сейчас к марксизму как единственно правильной революционной теории в результате долгих страданий, неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, в итоге беззаветных исканий, разочарований, проверки и сопоставления опыта Европы со своим. И это все помогает понимать Маркса. Речь идет, разумеется, о понимании самой сути его учения, а не тонкостей и деталей…

В дверь снова постучали. Нет, видимо, не передумал господин из соседнего отделения, не передумал, а только замешкался.

– Пардон. Не обеспокою?

В двери стоял человек лет за пятьдесят, с усталым, немного обрюзгшим, скорее хитрым, чем умным, лицом. Одет он был добротно, но невзрачно, как оделся бы тот, кто не хочет привлечь к себе внимания, запомниться. В руках он держал небольшой саквояж, похожий на те, с какими ходят обычно земские врачи.

– Еще раз пардон, – почтительно сказал незнакомец, проходя и усаживаясь. – Я с разрешения кондуктора. Если, конечно, и вы не против… Разделял общество дедушки с внуком. Старичок милейший, но внук до того резв, что сил никаких нет. А ведь ехать еще часа два. Согласитесь, два часа немалый кусок жизни. В мои годы такие вещи понимаешь уже вполне отчетливо. Так почему же этот кусок жизни, подумал я, не провести в

человеческой обстановке, вместо того чтобы терпеть произвол маленького экстремиста?

Он что-то еще говорил, говорил, но думал при этом совсем о другом; совсем не о словах его думал и молодой человек, иногда кратко отвечая на болтливые вопросы. Пришедший знал, к кому пожаловал, а тот сразу догадался, что это за гость, и оба ясно поняли свое положение в возникшей ситуации. И потому тотчас завязавшийся между ними мысленный разговор, состоявший из мимолетных, пристальных взглядов, игры интонаций, жестов, не имел ничего общего с произносимыми словами. Его можно было бы перевести приблизительно так:

«– Рад, искренне рад, уж поверьте, наконец-то видеть вас так близко, господин Ульянов. Если б вы знали, милостивый государь, сколько всем нам доставили хлопот!.. По молодости да по неопытности вы, поди, полагали, будто если уж не сама ваша заграничная поездка, то хотя бы цель ее для нас в некотором роде тайна. Ан нет!.. Их благородию господину Рачковскому, заведующему нашей заграничной агентурой, подполковник Петров из департамента полиции сообщал, что состоящий под негласным надзором Владимир Ильич Ульянов, вы то есть, извиняюсь, двадцать пятого апреля сего года выехали за границу-с. И что, по имеющимся сведениям, названный Ульянов занимается социал-демократической пропагандой среди петербургских рабочих кружков, а цель его поездки – обратите внимание, это-то всего и любопытней: цель! – цель заключается в приискании способов засылки в империю запрещенной литературы и в устройстве сношений упомянутых кружков с русскими эмигрантами за границей. Разве не так?

– Как только вы вошли, я сразу понял, что вы не кто иной, как шпик.

– Ох, какое словцо-то, прости господи! Вы же, господин Ульянов, дворянин, сын действительного статского советника, к лицу ли вам эдакое!.. Я не шпик, а государево око и неусыпный страж народного благоденствия. Господин Рачковский и другие мои коллеги – такие же стражи. Сознанием этого продиктован каждый наш шаг. В том числе решение учредить за вашей деятельностью и заграничными вашими сношениями строжайшее наблюдение. Не вы один – никто не может укрыться от сего ока. Взять хотя бы и господина Плеханова-Бельтова, с коим вы, конечно, не преминули повидаться в Швейцарии. Шесть лет тому назад ездил он в Лондон. И небось тоже полагал, что цель его поездки – секрет за семью печатями. А их благородие господин Рачковский в те самые дни доносил в Петербург: „Плеханов, Аксельрод и другие сторонники рабочего движения завязывают

сношения при посредстве Кравчинского с лондонскими эмигрантами, желая создать при их содействии самостоятельный социалистический орган“. Вот вам и секрет-с!

– А как же вы, страж народного благоденствия, решились пересесть ко мне и не побоялись таким неожиданным поступком насторожить меня?

– Смеяться изволите относительно стража? Ну-ну. Вольному – воля, спасенному – рай!.. Пересел я к вам только потому, что куда ж вы теперь денетесь? Игра ваша, господин Ульянов, сыграна. Ну и не мог я отказать себе в удовольствии – слаб человек! – и после такой-то беготни за вами, стольких-то мытарств полюбоваться на вас вблизи и наедине. Есть все-таки, молодой человек, и в нашей профессии свои радости. Вот вы сидите сейчас передо мной, дышите, говорите, смотрите в окошко, и будто совершенно свободный человек, будто между вами и мной нет никакой связи. А я-то знаю, что и вы сами, и дыхание ваше, и все слова – в моих руках. До чего ж пленительна сия услада!.. Тем более, скажу вам чистосердечно, что за время, пока наблюдаю вас, я прямо-таки весь изошел мучительной завистью. И молодости вашей завидую, и здоровью, и какой-то удивительной свободе, что видна в каждом вашем жесте. Ну а теперь внутренняя, так сказать, свобода, может, и останется, но внешней уже, ау, не будет. Сознавать и предвкушать это мне отрадно и сладко…»

Ульянов отвернулся к окну. Да, положеньице… Но не прыгать же из окна, не давить же этого мерзавца… В Вержболове поезд, разумеется, уже поджидают и другие «стражи»… Что же предпринять сейчас? Ничего… Реальный шанс может появиться только на месте. Там, сообразуясь с обстановкой, конспираторская выучка что-нибудь да подскажет… Для этого к моменту, когда поезд придет в Вержболово, голова должна быть абсолютно ясной, нервы – спокойными. Сейчас надо думать о другом, чтобы попусту не перенапрягаться, не взвинчивать себя…

Поезд шел по бескрайнему, покойному, величественному полю. Верст через пять – семь Ульянову удалось направить свои мысли по тому руслу, по которому он хотел.

Перед ним снова предстали Лафарги. Конец вечера у них был печальным. Ульянов совсем собрался было раскланяться, но, однако же, задал еще один, последний вопрос, который в течение всей встречи не давал ему покоя и готов был то и дело сорваться с губ, – об Энгельсе.

Ульянов мечтал повидать великого старика, поговорить с ним, посоветоваться о своих сложных русских делах, тем более что, как было известно, Энгельс в последние годы много, с неизменным интересом и симпатией занимался Россией. В среде

петербургских социалистов говорили, что года два тому назад в ответ на жалобы русского переводчика «Капитала» Николая Даниельсона по поводу тех бедствий, которые принесло трудовому люду России развитие крупной промышленности, Энгельс писал: «Великая нация, подобная вашей, переживет любой кризис».

На улицах Цюриха, Парижа, Берлина, где Энгельс был всего года два назад в связи с последним конгрессом нового Интернационала, Ульянов порой чувствовал себя словно идущим по его следу. А как он завидовал Плеханову, Аксельроду, Засулич, к которым старый учитель, будучи на конгрессе в Цюрихе, несколько раз заходил!..

Свидание с Энгельсом было самой заманчивой надеждой всей заграничной поездки Ульянова. Но все говорили, что Энгельс тяжело болен, и Ульянову не терпелось узнать у Лафарга, то есть из самого достоверного источника, как он чувствует себя сейчас. Ведь от Парижа до Лондона всего несколько часов езды! А Ульянов был много наслышан о радушии, с которым Энгельс принимает русских, особенно молодежь.

Лафарг, довольно часто упоминая в разговоре имя Энгельса, ни словом не обмолвился о его болезни. Это насторожило Ульянова, ибо могло означать как то, что дела пошли на поправку, так и то, что они совсем плохи. Ульянов не мог уйти в неизвестности. И он наконец спросил, улучив момент, когда Лаура куда-то вышла на минутку с террасы. Лафарг помрачнел и вместо ответа вновь пригласил гостя в кабинет. Видимо, для того, с дрогнувшим сердцем подумал Ульянов, чтобы наедине открыть всю горькую правду.

– Я ждал этого вопроса, – сказал Лафарг в кабинете. – Благодарю вас, мой друг, что вы спросили, когда Лауры не было. Для нее это особенно тяжело. Если бы вы знали, как много Генерал сделал для семьи Маркса, для всех нас и как он нам дорог.

Он подошел к столу, недолго поискал на нем что-то и, найдя, протянул Ульянову несколько листков. Они были исписаны четким красивым почерком.

– Это его последнее письмо Лауре. Прочитайте хотя бы только начало.

Ульянов взял листки в руки. Письмо было написано по-английски. Он читал довольно легко и быстро, ощущая при этом какую-то глубокую внутреннюю напряженность.

«Лондон. 14 мая 1895 г.
41. Риджентс-парк-род, N.W.

Дорогая Лер!

Я сразу ответил бы тебе, если бы не эти проклятые боли, которые в течение недели чуть не свели меня с ума, да и сейчас, хотя они и прекратились, я чувствую себя отупевшим и ни на что не годным. Дело вот в чем. Некоторое время тому назад у меня появилась опухоль на правой стороне шеи… Процесс рассасывания идет сейчас очень удовлетворительно…»

– Процесс рассасывания идет сейчас очень удовлетворительно, – произнес Ульянов вслух.

– Увы, Генерал ошибается, – печально сказал Лафарг, – опухоль не рассосется, и, следовательно, боли возобновятся. Можно лишь поражаться мужеству Генерала, у которого достает сил подробно описывать свою болезнь. Да еще приглашает нас в гости, строит планы совместной поездки в Истборн, его любимый уголок… А в предыдущем письме не поленился разругать мою только что вышедшую в Париже книгу «Происхождение и развитие собственности».

Лафарг протянул гостю еще несколько листков.

Они были исписаны тем же красивым твердым почерком, но на этот раз по-французски.

Ульянов прочитал:

«Дорогой Лафарг!

Я еще не кончил читать Вашу книгу, как получил I том „Истории социализма“ Каутского, разные итальянские журналы и кучу русских журналов (от Н. Даниельсона). Меня заваливают посылками. Но я все-таки прочитал Вашу книгу до конца. В ней сплошь да рядом блестящий стиль, очень яркие исторические примеры, правильные и оригинальные мысли, а лучше всего то, что она не похожа на книгу немецкого профессора, где правильные мысли не оригинальны, а оригинальные – не правильны. („Прекрасно сказано! – отметил про себя Ульянов. – И как это точно подошло бы для характеристики нашего любезнейшего Петра Струве“.) Главный недостаток заключается в том…»

Понимая, что их уединение в любой момент может быть прервано Лаурой, Ульянов не стал читать, в чем заключается главный недостаток книги Лафарга, тем более что саму книгу он еще не знал. Его внимание привлекли несколько русских слов, написанных латинскими буквами: мир, черный передел,

народник. Встретив своего заклятого врага, народника, здесь, во Франции, в кабинете Лафарга, да еще в латинском обличье, он не мог не усмехнуться: «Ну и ну!»

Ему захотелось прочитать весь абзац. Это было конкретное замечание Энгельса к 393-й странице книги. Он писал: «„Черные переделы“ – по-русски черный употребляется в смысле грязный, а также народный, простой, обыкновенный. Черный народ – народная масса, „простонародье“. Черный передел обозначает скорее общий передел, всеобщий, в котором участвуют все, вплоть до самого бедного. И в этом смысле одна газета народников (народник – друг крестьян) в Швейцарии носила название „Черный передел“, что должно было означать раздел дворянских имений между крестьянами».

Ульянов восхитился точностью знания Энгельсом и тонкостей русского языка, и подробностей освободительного движения в России. Конечно, когда старик писал «народник – друг крестьян», то лишь хотел сообщить Лафаргу коренной, исходный смысл слов.

Ульянов ощутил новый прилив желания повидать Энгельса. Он подарил бы ему свою первую, вышедшую подпольно год назад книгу «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». И во что бы то ни стало упросил бы прочитать ее, чтобы Энгельс получил новейшие и исчерпывающие сведения о том, каким не только фальшивым, но даже опасным «другом крестьян», «другом народа» стал нынешний народник с его идеализацией патриархальщины. И сказал бы Энгельсу, что, написав латинскими буквами narodnic, он тем самым очень едко и образно высмеял народников: как латинские литеры чужды русскому слову, так и народники далеки от действительных нужд современной русской жизни, чужды нынешнему русскому крестьянству.

– Как видите, – прервал мысли Ульянова Лафарг, – старик живет так, как жил всю жизнь, – напряженно-молодо, с интересом ко всему на свете. Но это, по всей видимости, уже недолго. Я думаю, до своего семидесятипятилетия в ноябре он не доживет… Хотя после смерти трех наших детей я, врач, отрекся от медицины, проклял ее и никогда больше ею не занимался, но я отчетливо вижу: у Генерала рак горла. Так что ехать вам в Лондон едва ли есть смысл. Зачем? Побеседовать с вами, дать совет вам он уже не сможет. Во всяком случае, это было бы для него очень трудно и утомительно. А поехать лишь для того, чтобы взглянуть на умирающего титана… По-моему, нет зрелища более тяжелого и печального.

– Да, конечно, – тихо сказал гость…

Уже стемнело, и, когда Ульянов, простившись, вышел из ярко освещенной террасы в темный сад, он некоторое время ничего не мог разглядеть. Сделав несколько шагов по направлению к калитке, он остановился, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. С открытой террасы до него долетали голоса.

– Этот русский способен на большое дело, – сказал Лафарг.

– Но знает ли он, через что ему предстоит пройти? – задумчиво и тревожно спросила Лаура.

•

…А поезд бежал все шибче, все веселее. До Вержболова, до России оставалось, должно быть, совсем немного. Ульянов пристально смотрел на соседа, стараясь вспомнить, встречал ли он его когда-нибудь, и если встречал, то где.

«– Так точно-с, – говорил взгляд шпика, – встречи у нас с вами были. И не одна. Как гончая за зайцем, петлял я за вами по всей Европе. Правда, вначале-то у нас промашка вышла. Подполковник Петров на сей раз шляпой оказался.

– Как вы о коллеге-то!..

– А что же делать, господин Ульянов? Я не из тех, кто неустанно витийствует о том, будто у нас на святой Руси все распрекрасно. Надо смотреть правде в глаза. Лишь в одном этом спасение…

– Я тоже так считаю, только мы с вами предполагаем спасать совершенно разные вещи.

– Что верно, то верно – совершенно разные… Так вот, судите сами о Петрове, если донесение о вашем отъезде за границу он направил их благородию господину Рачковскому – хотите верьте, хотите нет – шестого июля, то есть почти через два с половиной месяца со дня вашего убытия. Разве это служба? Живет человек в столице, на виду у начальства, отличная квартира на Литейном, работа тихая, спокойная – вовремя пришел, вовремя ушел, вовремя спать лег – и такое нерадение! Креста на нем нет!

– И ему завидуете? Любопытно.

– Так ведь справедливость же дорога, господин Ульянов! Тут недоедаешь, недосыпаешь, мечешься как угорелый по всему континенту, толкаешься среди этих проклятых немцев, да австрияков, да французиков, а какая благодарность? Разве меня ценят больше, чем этого бездельника Петрова? Ни на грош. Наоборот! А ведь я к тому же и языками иностранными владею…

– Значит, и вы, шпики, тоже за справедливость?

– А как же! Мы за нее больше всех. Можно сказать, мы ее

жрецы… Да, донесение было послано шестого июля, да еще прошло несколько дней, пока его получили их благородие, пока то да се. А вы за это время уже успели побывать в Берлине, Женеве, в Цюрихе, в Париже и приехали опять в Швейцарию.

– Хоть донесение и запоздало сильно, однако мой маршрут вам известен хорошо.

– Ну, не без добрых же людей на белом свете, господин Ульянов. Кое-что нам удается узнавать едва ли не о всех русских, которые выезжают за границу. Так, на всякий случай… В самый день шестого июля, – кстати говоря, именно в тот день, когда подполковник Петров в Петербурге писал свое донесение о вас, – вы находились в санатории и тоже, между прочим, кое-что писали, в частности письмецо своей любезной матушке Марии Александровне. Не правда ли, занимательно? – вы пишете, и одновременно, может быть, в сей же час и миг кое-кто пишет о вас; вы свободным росчерком, как независимый человек, бросаете на бумагу: „Твой Владимир Ульянов“, и кто-то другой, далеко-далеко от вас пребывающий, в ту же минуту тщательно выводит казенным перышком: „состоящий под негласным надзором полиции Ульянов“. Есть в этом, по моему разумению, что-то мистическое…

– Вам, конечно, известно, что я писал в своих письмах?

– Ах, молодость! Ах, наивность! Ну а как же, голубчик? Доподлинно все известно. В упомянутом письмеце родительнице своей вы, к примеру, писали: „Живу я в этом курорте уже несколько дней и чувствую себя недурно, пансион прекрасный и лечение, видимо, дельное, так что надеюсь дня через четыре-пять выбраться отсюда“. И так далее и так далее.

– Но все-таки, где же мы с вами встречались?

– Да уж встречались. И даже, повторяю, не раз. К примеру, в том же санатории в последние дни вашего пребывания там. Я сидел в обеденной зале через два столика от вас. Не приметили? Где ж вам примечать! Вы с таким аппетитом кушали все, что вам ни подавали. Завидовал я вашему аппетиту, ужасно завидовал. Некоторое удовлетворение испытывал лишь в те дни, когда на третье была земляника. Я ее страх как люблю и могу съесть сколько угодно, а вы – в рот не берете. Загадкой это было для меня большой, потом узнал: идиосинкразия у вас. Я, бывало, верите ли, выберу ягодку покрупнее да посочнее и как бы ненароком протягиваю в вашу сторону, вот, мол, какая красота да сладость… Но, сказать откровенно, это утешало слабо.

– А вам не приходило на ум, что патологическая зависть и ненависть гораздо хуже, чем идиосинкразия?

– Как не приходить! Я же говорю: утешало слабо.

– Где же еще мы встречались?

– Помните Немецкий театр на Шуманштрассе в Берлине? Восьмого августа вы смотрели „Ткачей“ Гауптмана. Я и там был неподалеку от вашей персоны, и раза два скользнули вы взглядом по моему лицу… Сказать откровенно, следуя за вами в тот вечер по берлинским улицам, я был сверх меры удивлен, когда убедился, что шествуете вы не куда-нибудь, а именно в театр. Я, конечно, знал, что билетик вы приобрели заранее; принимал в расчет и то, что будет представлена нашумевшая пьеса, сделавшая молодого сочинителя знаменитым; не оставил без внимания (уж потом, разумеется, после спектакля) и саму суть пьесы: голодный бунт ткачей. Как говорится, социальная драма… И все-таки своим посещением театра в этот день вы повергли меня в изумление!

– Понимаю, что вы имеете в виду.

– Да уж как не понять!

– Смерть Энгельса? И ее вы не упустили из сферы своего внимания?

– Если бы и хотел – не смог… И причина этого вы, сударь. Седьмого августа – это по их басурманскому счету, конечно, а по-нашему двадцать шестого июля, почти тут же после ильина дня, когда получилась из Лондона весть о его кончине – царствие ему небесное! Говорят, богатый человек был? – седьмого-то августа довелось мне вашу милость много раз наблюдать довольно близко, и воочию зрил я: весь день на вас лица не было. А помимо скорби виделись мне в вашем взоре и во всем облике такая решимость и сосредоточенность, такое упорство и отрешенность от земной суеты, что оторопь меня взяла, и подумал я с сомнением и даже, знаете, с каким-то непонятным страхом: естественно ли такое состояние духа в двадцать-то пять лет? Меня уже и то удивило, что незадолго до этого, а дни, когда в ваших кругах уже достоверно знали о неотвратимости его кончины, вы почли возможным и нашли в себе душевные силы пойти на собрание социал-демократов в предместье Нидербарним. Когда же на другой день по получении скорбной вести вы направились в театр!..

– По вашему разумению, я должен был несколько дней подряд пить с горя.

– Ну, не обязательно. Хотя, не скрою, мне это представлялось бы понятнее, если угодно, даже человечнее. Но в театр!.. Ведь покойный, как я понимаю, был для вас то же самое, что для меня государь-батюшка. А? Или государь-то сам Карл Маркс, а этот как бы великий князь, что ли?

– Иных отношений между людьми вы себе представить не

можете. А ведь они существуют. Скажем, отношения учителя и ученика…

– Хорошо. Пусть не государь, пусть учитель. Но и идти на сходку, идти, когда дорогой учитель на смертном одре лежит, а назавтра, после вести о его кончине, лицедейством услаждаться вроде бы негоже. Так я по-русски рассуждаю, по-нашему, по-православному… Уж не взыщите.

– Горе каждый преодолевает по-своему. Но, пожалуй, в мире преобладают два основных вида утешения. Одни несут свое раненное горем сердце в „казенку“ – представьте себе не какую-нибудь там на Петроградской стороне или за Бутырской заставой, а некую вселенскую „казенку“, – другие предаются раздумьям и работе, идут к единомышленникам для обсуждения насущных дел. Обычно люди этих двух категорий не понимают друг друга. И вам не понять, что в те дни для меня лучшим утешением было пойти на шумное собрание своих немецких сотоварищей, что истинным бальзамом на рану было посмотреть бунтарскую пьесу, услышать со сцены слова классового гнева и социального протеста.

А кроме того, каждый день и час своего пребывания в Германии я должен был во что бы то ни стало использовать для совершенствования в немецком языке, ибо мне необходимо хорошее знание иностранных языков, особенно, конечно, языка Маркса и Энгельса. А собрание и театр – прекрасные школы языка.

– Между прочим, тогда в театре я окончательно убедился, что разговорную немецкую речь вы понимаете неважно. Это давало мне отрадное ощущение некоторого превосходства над вами хоть в одном пункте. Но я видел, с каким упрямством штурмуете вы препятствие, бесстрашно вступая в разговоры с немцами, и потому понимал, что это мое превосходство призрачно. И с новой силой я завидовал вам, завидовал даже вашему незнанию и неумению.

– Видно, вы вообще патологически завистливый человек. Вон и подполковнику Петрову завидуете.

– Э, нет! Петрову я завидую как своему. Я знаю, что выпади счастливый случай, и я могу оказаться на его месте. А вы… Как бы судьба ни вертела мной, я никогда ни в чем не смогу сравниться с вами. Разве сознание этого не может отравить жизнь?

– Не знаю. Мне такие чувства неведомы.

– Счастливец… А однажды мы даже купались вместе. Не совсем, конечно, вместе. Я, естественно, всегда держался на нужной дистанции. Вы, вижу, большой любитель купаться и

плаваете недурно. С истинным удовольствием, но, признаться, и не без той же зависти – сам-то я пловец аховый – смотрел, как вы каждый день эту самую их Шпрею саженками перемахиваете. И видно было, что не по вам речонка сия, не по вам. Такому пловцу только бы в Волге плавать, а еще лучше в Енисее или в Лене. Впрочем, ведь бог милостив, а вы совсем молоды – в Волге купались, в Шпрее купались, может, еще сподобитесь и в Енисее покупаться… А?

– Рады вы были бы меня на Енисей-то.

– Не скрою – рад. Но не об этом пока речь, сударь. Я о том, что вот прохлаждались вы себе в текучих водах, а ваш покорный слуга любовался вами да сгорал от зависти, особенно когда в конце августа началась эта ужасная жара. Ну почему, думал я, ему, завтрашнему обитателю Петропавловской крепости, все можно и все доступно, а мне, в некотором роде его властелину, ничего нельзя? Так эта мысль меня разъярила, что однажды не выдержал, растелешился и, вопиюще нарушая служебную инструкцию, бултыхнулся в те же волны. Хороша была водичка! От ее прохлады в тот знойный день да от сознания, что вот не один вы наслаждаетесь ею, я тогда так разнежился, что едва не упустил вас…

– Инструкцию надо соблюдать.

– Встречались мы с вами и в магазинах, по которым вы ходили перед отъездом, покупая, надо думать, подарки для родственников. И снова мне было не по себе видеть это. Ведь я доподлинно знал, что денег у вас кот наплакал, а вот, поди ж ты, направляетесь в большой магазин, покупаете то, покупаете се… И с такой это легкостью, беззаботностью, свободой, достоинством, будто вы не помощник присяжного поверенного вовсе, а великий князь или, к примеру, миллионщик Путилов!.. Я в жизни немало всякого люда повидал, в том числе и вашего брата – бунтовщиков да возмутителей, но даже среди них редко встречал такую уверенность в себе и вот эту свободу, что у вас в каждом движении. Да я бы и с большими миллионами так волен душой не был! Вот что меня злее-то всего заедало… Но позвольте-ка, в свою очередь, спросить вас, как вы догадались, кто я, если по тем мимолетно брошенным взглядам в памяти вашей я вполне отчетливо все-таки не запечатлелся?

– Конечно, по выражению лица и по всему облику. Лицо у вас прямо-таки вопиет. Неужели господин Рачковский и другое ваше начальство не понимают этого? Неужели не могут подобрать людей с менее выразительными физиономиями?

– Лицо и вообще внешность, господин Ульянов, могут ввести в заблуждение. Не зря еще лорд Байрон писал…

– Байрон?!

– Понимаю смысл вашего удивления, очень хорошо-с понимаю. Но представьте себе – почитываю. Так вот, Байрон в „Дон-Жуане“ писал:

Обманчива бывает часто внешность,
Судя по ней, нетрудно впасть в погрешность.

– Весьма уважаю Байрона, но другой писатель, и тоже, кстати, английский…

– Имя назвать не хотите? Полагаете, оно мне ничего не скажет?

– …Другой писатель утверждал: „Только очень поверхностные люди не судят по внешности“. Мне эта мысль представляется более верной и глубокой.

– Дерзаете перечить классику мировой литературы?

– Для меня классики существуют не затем, чтобы на них молиться.

– Смело́, смело́… Но вот взять хотя бы и вашу внешность. На первый-то взгляд она ведь ничем не примечательна, пожалуй, даже, уж извините, простонародна. Когда я впервые увидел вас в Швейцарии, то невольно вспомнил слова из одной казенной бумаги, с которой по долгу службы мне довелось ознакомиться: что-де крупнее Ульянова сейчас в революции фигуры нет. Вспомнил и был поражен, насколько ваша внешность не соответствует такой аттестации. Правда, потом, особенно теперь, когда спокойно разглядел вас вблизи, ваш редкостный по очертаниям лоб и ваши темно-темно-карие глаза, – теперь-то я вижу, чего вы стоите. Пожалуй, помянутая бумага права. Человека с такими глазами, как ваши, будь моя воля, я бы, не колеблясь, назначил военным министром, истинный крест!

– Перестаньте на меня пялиться и замолчите. Вы мне надоели».

…Ульянов опять отвернулся к окну. «Туда-да-да, туда-да-да, туда-да-да», – радостно пыхтел паровоз. «Конечно, туда, туда, куда же еще! – подумал Ульянов. – Но что меня там ждет?»

Когда через четверть часа он взглянул на соседа, ему показалось, тот задремал. Но сосед словно только и ждал, чтобы на него обратили внимание, и, поймав взгляд Ульянова, попытался опять завязать разговор.

– Какой у вас элегантный чемодан, – сказал он, кивнув головой в сторону полки, на которой лежали вещи. – Не французский ли?

– Нет, – ответил Ульянов и, помолчав, добавил: – В Берлине

купил.

Только всего и сказал. Но подлинный смысл этого скупого диалога был опять совсем иным, гораздо более широким и многозначительным.

«– Умно, господин Ульянов, – мысленно проговорил шпик. – Не клюнули на мою французскую удочку. Чемоданчик-то действительно куплен в Берлине. Даже точный адресок могу назвать: Манштейнштрассе, три. Проживает там один негодник под видом переплетчика. Он-то и снабжает вас, российских собратьев по преступным замыслам, такими, с позволения сказать, чемоданчиками. Уж не раз я обращал внимание соответствующих немецких чинов на этого искусника. Да что-то они все мешкают. Видно, какой-то свой расчетец имеют… Не будете же вы отрицать, что чемоданчик сей с двумя донцами? А между донцами-то что? Неужто только берлинский воздух? Неужто он настолько лучше петербургского, чтобы его в такую даль везти?

– Какое вам дело до моего чемодана? Ничего там для вас интересного нет, – говорили глаза Ульянова. – Не полезете же вы проверять?

– Чтобы я полез в чужой чемодан – боже упаси! Но вот мы сейчас приедем в Вержболово, и, прежде чем переступить священные пределы нашего богоспасаемого отечества, надо пройти, извините великодушно, таможенный досмотр. А в таможне там уж такие, знаете ли, барбосики глазастенькие, уж с таким нюхом да слухом, что макову росинку в пределы империи не пропустят, ежели оная росинка беззаконная. Что вы там-то делать будете? Как с помянутыми барбосиками разговаривать станете?.. Ах, искусники, ах, изобретатели! Горе мне с вами, и только! Ведь я уж не один год только и делаю, что денно и нощно слежу за всякими изобретениями вашего брата.

– Пошел к черту, холуй».

Ульянов надел пальто, взял чемодан и направился к выходу: поезд замедлял ход.

Увидев его в полный рост, агент невольно залюбовался им: такой он был ладный да крепкий, такой уверенностью, смелостью, силой веяло от всей его прочно сбитой фигуры. Право же, быть бы ему военным министром, даром что ростом невелик… И агенту на мгновение стало даже досадно и грустно, когда он подумал о том, что ждет этого молодого человека в самом ближайшем будущем.

Положение Ульянова было отчаянным. Чемодан с двойным дном, конечно, был не пуст. Тайное пространство битком набито нелегальной литературой, предназначенной для рабочих

кружков.

Ульянов, разумеется, знал, что этот способ провоза литературы через границу известен полиции, и, принимая в расчет, что за ним, по всей вероятности, очень тщательно следят, все время пребывания за границей не держал в уме намерения тащить с собой в Россию что-нибудь недозволенное. Но в последний момент не выдержал – искушение привезти новейшую пропагандистскую социалистическую литературу было слишком велико, да и чемодан сработан прекрасно и мог пригодиться в будущем. Сейчас Ульянов ругал себя за такой опрометчивый шаг, как ругал он себя позапрошлой зимой после того, как на рождественской вечеринке в доме Залесской на Воздвиженке среди незнакомых ему людей, где вполне мог находиться и провокатор, он не сдержался и открыто, яростно обрушился на маститого Василия Воронцова, который с поразительной самоуверенностью излагал замшелые народнические взгляды. Тогда, опомнившись, он тотчас ушел с вечеринки. А куда уйдешь здесь? Нет, это непростительно. Никогда в жизни он больше не позволит себе ничего подобного. Ведь ясно, что если его не арестуют тут же, на перроне, то уж чемодан-то проверят обязательно, и самым дотошным образом. Как же быть? Выбросить чемодан или его тайное содержимое на станции невозможно – шпик, конечно, идет сзади и не спускает глаз. Что делать?..

Провоз через границу нелегальной литературы грозил несколькими годами тюрьмы или ссылки. В такой момент совершенно выбыть на долгий срок из политической жизни?..

Ему, уже несколько лет яростно боровшемуся против Михайловского, Воронцова, Южакова и всех нынешних народников с их теорией «толпы» и «героев», было совершенно ясно, что подлинным творцом истории является народ, личность же, отдельно взятая, способна сделать на пути прогресса не столь многое. Лишь бы возникло подлинно закономерное, социально обусловленное и широкое движение, а уж о его руководителях история позаботится сама. Но Ульянов отчетливо понимал и то, что в силу ряда причин многие линии политической борьбы и исторического прогресса России сходились сейчас на нем и выдвигали именно его во главу движения. Он уже не был изолированной личностью, отдельно существующим человеком.

Прежде всего, он первый, кто так остро и отчетливо осознал, что заканчивается период «мирного» плавного развития капитализма и начинается совершенно новая и особенная эпоха – эпоха революционных бурь и глубочайших социальных потрясений. Пребывание за границей, до отказа насыщенное

пристальным наблюдением за общественно-политической жизнью Запада, с одной стороны, еще более утвердило Ульянова в правоте его предвидения; с другой, из встреч с марксистами Германии и Франции он убедился, что даже наиболее серьезные из них – тот же Лафарг или Вильгельм Либкнехт – не сознавали столь ясно приближения новой эпохи. Что касается Плеханова, то при встречах в Женеве он высказал по этому вопросу несколько мыслей, близких Ульянову, но Георгий Валентинович не делал из этих верных мыслей тех последовательных выводов, которые сами собой напрашивались.

В Цюрихе Ульянов не раз думал о том, что именно здесь, в этом городе, два года назад на заключительном заседании конгресса Второго Интернационала прозвучали слова Энгельса, произнесенные им на немецком, французском и английском языках: «Социализм из маленьких сект развился в могущественную партию, приводящую в трепет весь официальный мир». Бродя по улицам, Ульянов порой повторял про себя эту фразу на тех же языках – немецком, французском, английском, – но чаще всего он произносил ее, конечно, по-русски и с горечью: в России такой могущественной социалистической партии еще не существует. И главный вывод Ульянова, который он делал из анализа современной обстановки, перед которым в раздумье останавливался Плеханов, касался именно партии. Он был глубоко убежден, что перед лицом новой драматической эпохи нельзя оставлять пролетариат безоружным, вернее, вооруженным таким устарелым самодельным оружием, как мелкие раздробленные кружки, пора кончать с этой кустарщиной, надо создавать единую Всероссийскую социал-демократическую рабочую партию – дисциплинированную, централизованную, гибкую, – которая вполне отвечала бы требованиям времени. Это будет партия совсем особенная, новая. То, что готовых образцов или хотя бы далеких прообразов для нее нет в истории русского революционного движения, Ульянов знал и раньше: «Народная воля» и все другие подобные организации в России были, по существу, партиями заговорщиков-идеалистов. Теперь, побывав в Западной Европе, пристально все разглядев в упор, дотошно все ощупав, он окончательно уверился также в том, что приемлемых образцов нет и на Западе. Какие уж там образцы, если даже в Германской социал-демократической партии, самой крупной в Европе, руководимой известнейшими учениками и даже друзьями Маркса и Энгельса, устав разрешает члену партии не состоять в одной из ее организаций и, следовательно, не соблюдать партийную дисциплину! Нам такое не подходит. Нам нужны организованность и дисциплина, дисциплина и

организованность, еще раз дисциплина и еще раз организованность. Нам нужна железная когорта. Иначе царизм растопчет нас в два счета, как растоптал декабристов, петрашевцев или народовольцев.

Но партию не создашь величественным мановением руки. Прежде надо объединить в единую организацию все марксистские рабочие кружки Петербурга (их около двадцати). То же самое надо сделать в Москве, Киеве и других крупных городах. Затем основать нелегальную социал-демократическую газету, которая будет вести марксистскую пропаганду и явится организатором рабочих, центром объединения революционных сил. Только после этого – съезд, партия. И то лишь при условии, что к тому времени удастся довести до конца идейный разгром народничества – большое дело, начатое Плехановым и продолженное им, Ульяновым, в книге «Что такое „друзья народа“…». Но книга напечатана на гектографе, она выходила отдельными выпусками, нелегально, и тираж ее не превысил двухсот пятидесяти – трехсот экземпляров. Что это для необъятной России! Нет, свою новую книгу Ульянов издаст, может быть, под псевдонимом, но обязательно в настоящем издательстве и настоящим тиражом, как Плеханов под псевдонимом Бельтов издал недавно свою книгу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Ульянов мечтает о своей новой книге, готовится к ней еще со времен Самары. И назовет он ее по примеру Плеханова как-нибудь академически спокойно – скажем, «Эволюция российского капитализма», – чтобы скрыть от кого надо, как скрыл Плеханов, взрывную силу ее содержания.

Но ни для народников, ни для марксистов такое заглавие не прозвучит сухо и бесстрастно – ведь именно вокруг этого и ведутся все споры: будет в России развиваться капитализм или не будет? Ульянов скажет: капитализм уже давно и стремительно развивается, и выбора нет, и надо идти навстречу событиям, а не кутаться в иллюзии об особом пути России. Эта книга совместно с газетой добьет народников…

Да, но за книгу надо еще засесть и отдать ей несколько месяцев, а то и год-два-три напряженнейшего труда. А газету еще надо создать, еще предстоит над ней ломать да ломать голову: как изыскать средства и место для издания, подобрать редакцию, сколотить коллектив корреспондентов, наладить распространение… Боже мой! Сколько исторически неотложных, всероссийски важных, невероятно трудных, но и архиувлекательных дел ждет в Петербурге! И все летит к чертям из-за чемодана с двойным дном?

Ну нет! Он еще посмотрит…

Ульянов вышел на перрон. «Здравствуй, родина, – сказал про себя. – Ты встречаешь меня после такого долгого отсутствия взглядами шпиков? А я скучал…»

Вдруг Ульянов заметил, что агент исчез. Побежал куда-то за указаниями? Может, попробовать в его отсутствие проскочить таможенный досмотр? Все-таки хоть какой-то шанс. А если там чиновники о нем еще не предупреждены? Стремительно обгоняя пассажиров, Ульянов зашагал в таможню.

В очереди на досмотр багажа он оказался одним из первых. Чиновники делали свое дело быстро и вроде бы кое-как. Через несколько минут Ульянов небрежно бросил свой чемодан на прилавок, за которым стоял таможенник. Тот профессионально ловким движением открыл крышку (она при этом скрипнула, словно вопрошая: «Да?»), не торопясь порылся в вещах, потом опустил крышку (она скрипнула уже иначе: «Нет!»), мгновение помедлив, словно раздумывая, не вернуть ли чемодан, но вдруг повернул его вверх дном и щелкнул по дну четырьмя пружинисто разжатыми пальцами: да! да! да! да!.. Легкая бледность волнения прошла по смуглым скулам Ульянова. Чиновник поднял на него глаза и уже словно не для себя, а только для владельца чемодана крепким ногтем указательного пальца влепил еще один звонкий укоризненный щелчок: да! Затем он вновь перевернул чемодан, видимо намереваясь снова открыть его. «Влетел!» – с какой-то веселой злостью подумал Ульянов, но в это мгновение, не отрывая спокойного взгляда от нагло-торжествующих глаз чиновника, он увидел боковым зрением, что немного сзади стоит знакомый шпик и, тоже глядя на чиновника, чуть заметно качает отрицательно головой. Чиновник взглянул на агента и понял, что открывать чемодан не надо. Он поставил его на ребро, ласково и как бы с сожалением погладил ладонью по дну, еще раз глумливо щелкнул – да! да! да! да! – и подвинул владельцу.

Ульянов тоже сразу все понял. Значит, решили здесь его не брать. Значит, слежка будет продолжена. Хотят, чтобы он навел их на неизвестные им адреса, помог обнаружить тайные связи, новых подпольщиков. «Ну-ну, – подумал он, – вы увидите, какая из меня подсадная утка…»

Билет у него был до Вильны. Вероятно, охранке это известно. В Вильну ему надо попасть непременно, там его с нетерпением ждут. Но как отвязаться от хвоста? Зная, что за ним теперь следит, конечно, уже другой шпик, Ульянов направился в зал ожидания. Там он навел необходимые справки. Оказалось, что поезд на Вильну уходит через час, а совсем скоро отправляется поезд на Москву. Он уже стоит на первом пути, загораживая собой виленский, стоящий на втором. Ульянов подошел к

билетной кассе и встал в очередь. В зале толпилось довольно много народу, и угадать, кто же следит за ним, было невозможно. Но, несомненно, следят. Подойдя к окошку, Ульянов наклонился и, не повышая голоса, но очень внятно и четко спросил, сколько стоит билет до Москвы в вагоне второго класса. Кассир ответил. Затем Ульянов протянул кассиру свой билет до Вильны и уже гораздо тише, так, чтобы слышал один кассир, спросил, действителен ли он. Кассир посмотрел билет, сказал, что да, действителен, но только до Вильны, а не до Москвы, и подал билет обратно. Ульянов взял его, поблагодарил и, отойдя от кассы, стал рассматривать билет и перебирать зажатые в руке вместе с билетом деньги, словно это была сдача.

Новый агент, которому прежний передал Ульянова, находясь неподалеку, безусловно, слышал, как тот спрашивал о билете до Москвы, затем видел, как он протянул что-то в окошко и как, в свою очередь, кассир подал что-то обратно. Сомнений не может быть: он передумал ехать в Вильну, сдал один билет, купил другой и направляется прямо в Москву, к матери, к родным. Видно, уж очень соскучился. Что ж, это вполне понятно.

Можно было бы, конечно, на всякий случай справиться в кассе о билете, купленном Ульяновым, но чего же справляться, если сам все слышал своими ушами и видел своими глазами! Да и поезд на Москву уже вот-вот отходит. Агент поспешил вслед за Ульяновым на перрон.

Ульянов знал – это был точный психологический расчет, – что после того, как охранка выследила его и имела полную возможность сцапать, но не сделала этого по своей прихоти, вернее, по своим более далеким соображениям, он теперь не был для нее столь загадочной и неуловимой фигурой, а стал понятней, проще, что ли, он как бы находился отныне у нее в петле, которую можно в любой момент затянуть. И это ощущение рождало беспечность или, уж во всяком случае, несколько притупляло бдительность. В расчете на это была задумана и безукоризненно сыграна сцена покупки билета до Москвы.

Ульянов вошел в московский поезд и, будто ища свое место, двинулся вперед по вагонам к центру поезда. По пути он всматривался в лица кондукторов, стараясь угадать, кто оказался бы податливей на его просьбу. Только в четвертом вагоне кондуктор расположил его к себе. Это был огромный печально-мрачный детина с небесно-синими добрыми глазами. Ульянов позвал его в тамбур и сожалеющим тоном проговорил:

– Будьте любезны… Мне, оказывается, в тот поезд, что стоит на втором пути, а я по ошибке забрался в ваш. Не хочется с тяжелым чемоданом тащиться обратно через весь вагон, да потом

еще обходить состав. Не откроете ли вы мне дверь на ту сторону?

Ни слова не говоря, детина отомкнул дверь и даже помог с чемоданом. Поблагодарив, Ульянов направился к Виленскому поезду. Посадки еще не было, но ему и здесь удалось уговорить кондуктора, и тот пропустил его в вагон.

Войдя в свое отделение, Ульянов протянутой издали рукой осторожно задернул на окне занавеску, бросил наверх чемодан, потом опустился на сиденье и перевел наконец дух. Все? Да ведь, пожалуй. Он тихо засмеялся. «Я вам покажу подсадную утку!» Впрочем, вполне успокоиться можно будет лишь тогда, когда тронется московский поезд. Это произойдет через несколько минут. Надо затаиться и ждать.

Ульянов терпеливо ждал и думал при этом о том, какое важное значение будут иметь последствия смерти Энгельса для всего рабочего движения.

Хотя он был подготовлен Лафаргом к этой смерти, хотя он, конечно, понимал, что семьдесят пять лет это уже такой возраст, когда и без болезней человеку трудно загадывать наперед, но все-таки весть о ней потрясла его. Ах, если бы это была жестокая, бестактная первоапрельская шутка! Но на дворе стоял не мрачный апрель, а ясный, трезвый август… Как было бы неуместно и досадно оказаться арестованным именно теперь!

Уже лет восемь, со времен Казанского университета, Ульянов привык мысленно беседовать с Энгельсом, советоваться, потом мечтал о встрече и как бы держал ее про запас на случай особенно трудный и ответственный. Но вот этот случай приспел – пора начинать труднейшее дело создания партии, – и вдруг оказалось, что встреча уже невозможна. Как дети, даже взрослые, невольно мужают со смертью отца, ощущают новый груз ответственности на своих плечах, обретают во многом иной, более зоркий взгляд на вещи, так то же самое переживал сейчас Ульянов.

Он горько сожалел и о том, что даже не написал Энгельсу ни одного письма. Все откладывал да откладывал. А ведь жизнь уже давала уроки, смысл коих состоит в том, что есть вещи, которые откладывать нельзя.

Когда ему было восемнадцать лет, в трудную пору после исключения из Казанского университета, в деревне Кокушкино он написал письмо Чернышевскому. Ответа не получил. Может быть, он затерялся или попал в руки полиции, а может, из-за болезни или занятости Чернышевский и не ответил. Надо было послать второе письмо, третье, даже съездить к нему – это же так недалеко! И он собирался написать еще, мечтал съездить, но в делах, хлопотах, заботах время шло, шло, минул год, и вдруг

настал скорбный для всей России день, когда вместо чистого листа для письма он вынужден был взять любимую фотографию Чернышевского и написать на ней: «Умер 17 октября 1889 года в Саратове».

…За окном раздался первый звонок к отправлению московского поезда…

Ульянову очень хотелось поехать вместе с Вильгельмом Либкнехтом на похороны Энгельса, но к тому времени на поездку из Берлина в Англию у него уже не было денег.

Кроме соотечественников Энгельса – Либкнехта и Бебеля, Зингера и Лесснера на похоронах присутствовали Лафарг, Элеонора Маркс, старый друг покойного Самюэль Мур и еще несколько человек из самого близкого окружения. Были также социалисты разных стран Европы. От имени революционной России возложили венок и сказали последнее «прости» Вера Засулич и Степняк-Кравчинский.

И в речах на траурном митинге, который состоялся в зале ожидания вокзала Ватерлоо, где был установлен гроб, и в некрологах, появившихся во многих газетах социалистов разных стран, все были единодушны в оценке великих заслуг Энгельса и в оплакивании его кончины, – это выглядело как своеобразная и внушительная демонстрация единства и сплоченности социалистов всего мира.

Но Ульянов был уверен, что это единодушие непрочно. Надвигалось слишком сложное и противоречивое время. Оно непременно расколет социалистов, оно противопоставит настоящих марксистов тем людям, которые хотели бы учение Маркса подправить, пересмотреть, а то и вовсе зачеркнуть да выбросить. Смерть Энгельса колоссально ускорит этот процесс. И при его жизни враги марксизма не бездействовали, но они крепко побаивались его авторитета, его эрудиции и темперамента, его убийственной насмешки. Теперь они вылезут смелее.

Из конца в конец платформы прокатился второй звонок…

Сомнение и недоверие вызывали у Ульянова, несмотря на их внешнюю близость к Энгельсу, а ранее к Марксу, Эдуард Бернштейн – он тоже был на похоронах, – вышедший из недр эклектической схоластики Дюринга, и Карл Каутский, который был то мальтузианцем, то лассальянцем, но никогда – последовательным марксистом. Сегодня эти люди проливают слезы над урной Энгельса. Но что они станут делать завтра? Ульянов не исключал возможности, что завтра, может быть, даже не утерев слез, они пойдут в бой против марксизма. И будут не одиноки. И союзники у них сыщутся не только в Западной Европе, но и в России. Смерть Энгельса вольет новые силы в дряхлеющих

народников, она прибавит храбрости и «легальным марксистам» во главе с Петром Струве, с которым Ульянову уже приходилось схватываться прошлой осенью; глядишь, появятся какие-нибудь и новые ниспровергатели.

Кто же защитит учение Маркса и Энгельса?

Либкнехт? Лафарг? Бебель? Конечно, у этих есть порох, однако первый из них чуть не ровесник Энгельса и порой все-таки бывает склонен к компромиссам, а двум другим подбирается под шестьдесят. Между тем борьба за чистоту марксизма и за само его существование – Ульянов, принимая в расчет характер наступающей эпохи, уверен был в этом – затянется не на год, не на два, а будет длиться, может быть, десятилетия.

Сравнительно молод Плеханов – ему еще нет сорока. Со своей группой «Освобождение труда» он сделал большое дело. Для налаживания сотрудничества Ульянов и приезжал в Швейцарию, и результат налицо: договорились о совместном издании за границей сборника «Работник». Но все-таки Плеханов довольно академичен, и есть у него некоторая склонность полюбоваться своими заслугами и своим действительно прекрасным прошлым, а его чрезмерные симпатии к либеральной буржуазии, по поводу чего Ульянов горячо поспорил с ним при первой же встрече в Швейцарии, говорят о том, что он, вероятно, будет союзником непоследовательным и нетвердым.

Ну а из молодых? Юлий Мартов? Внутренней крепости в нем не хватает, скептичен да еще со склонностью к экзальтации. А тут потребуется прочность и основательность.

Вот Федосеева бы! О нем Ульянов всегда думал с восхищением и теплотой. Умница. Знаток. Кремень. Этот мог бы! Два года назад по пути из Нижнего в Москву Ульянов специально заехал во Владимир, чтобы повидаться с ним, укрепить дружеские отношения, завязавшиеся в переписке, но оказалось, что Федосеев в тюрьме. Вот уже шесть лет он то в тюрьмах, то в ссылке, в Сибири, и когда вернется, да и вернется ли – неизвестно…

Словом, как ни прикидывал Ульянов, как ни ворошил в памяти имена, а все-таки выходило, что в деле защиты марксизма рассчитывать на чью-то помощь пока особенно не приходится.

Нет, эта заграничная поездка прошла недаром! За четыре с половиной месяца, наполненных встречами и беседами, сопоставлением и раздумьями, проверкой и анализом, многие замыслы, планы, решения обрели гораздо большую ясность, а порой и полную отчетливость. Смерть Энгельса сыграла роль катализатора в этой сложной многосоставной реакции.

…Ударил третий звонок. Из глубины вагона Ульянов увидел, как тронулся и стал набирать скорость московский поезд. Новый

шпик, конечно, был там.

Ловкая проделка Ульянова через некоторое время, разумеется, была обнаружена. Но пока агент, убедившись, что поднадзорного нет в московском поезде, телеграфировал об этом в Вержболово, пока оттуда сообщили в Вильну, пока там и здесь недоумевали, ругали подчиненных, строили предположения, в страхе гадали, что скажет Петербург, – Ульянов успел добраться до Вильны и, никем не замеченный, скрылся у надежных людей.

Все полицейские и жандармские силы Виленской губернии были поставлены на ноги. Беглеца искали всюду – и в самой Вильне, и в уездных городках, и даже в деревнях вдоль железной дороги. Прошел день, другой, пятый… Запахло грандиозным скандалом. Держать в руках такую крупную птицу, иметь неоспоримые доказательства преступной деятельности – и упустить!..

Над головой начальника Виленского губернского жандармского управления полковника Черкасова нависли тучи. На десятый день исчезновения Ульянова, когда никаких его следов так и не обнаружилось, а молчать далее о конфузе стало уже невозможно, полковник Черкасов сел за свой роскошный письменный стол и скрепя сердце принялся писать:

> «Секретно.
>
> Имею честь донести Департаменту полиции, что Начальник Вержболовского пограничного отделения жандармского полицейского управления железных дорог сообщил мне…»

В случае удачных действий полковник имел обыкновение первым в донесениях называть себя, здесь же он выдвинул на первое место другое лицо, рассчитывая, что авось оно его хоть немного прикроет,

> «…сообщил мне о прибытии 7 сего сентября из-за границы сына Действительного Статского Советника Владимира Ильина Ульянова по паспорту С.-Петербургского Градоначальника от 15 марта сего года за № 720, указанного в Циркуляре Департамента полиции от 26 мая 1895 года за № 4254, который, судя по купленному билету…»

Написав последние слова, полковник аж скрипнул зубами: он понимал всю несерьезность, нелепость, позорность этого довода: «судя по купленному билету». Он представил себе, как его вызовет в Петербург директор департамента и своим тихим

иезуитским голосом скажет:

– «Судя по купленному билету»? Прекрасно! Почему бы отныне, господин полковник, вам не полагаться также на собственные заявления поднадзорных? Право, я не удивлюсь, если в вашем очередном донесении прочитаю, что социал-демократ такой-то, судя по его собственному заявлению, отказался от противогосударственных мыслей и действий…

Да, полковник Черкасов все понимал, но никаких иных сведений о намерениях Ульянова у него не было, и потому ничего другого не оставалось, как написать:

> «…судя по купленному билету, направлялся в г. Вильну».

Полковник положил перо, встал, прошелся по комнате и, собравшись с духом, написал последний, самый страшный и самый позорный абзац:

> «Собранными же негласным образом справками, пребывание означенного Ульянова в г. Вильне до настоящего времени не обнаружено».

Полковник подписался – подпись получилась не такой размашистой и смелой, как обычно, – означил дату: «16 сентября 1895 года», проставил исходящий номер: «1239». Невольно подумал, внутренне содрогаясь: «Не последний ли, мной подписанный?»

…Донесение Черкасова было получено в Петербурге 18 сентября. Сведений об Ульянове и в этот день ни виленская, ни петербургская полиция не получили. Ни восемнадцатого, ни двадцатого, ни двадцать пятого…

Ульянов – довольный, оживленный, сияющий – приехал в Петербург только двадцать девятого. Кажется, не появись он еще дня два-три, и в Департаменте полиции началась бы эпидемия апоплексических ударов…

Где же он пропадал целых двадцать два дня после того, как ускользнул из-под самого носа полиции? Он провел несколько дней в Вильне, оттуда благополучно добрался до Москвы, где тоже прожил несколько дней, а потом, войдя во вкус безнадзорной жизни – была не была! – махнул еще и в Орехово-Зуево. И только оттуда – в Питер.

Двадцать два дня полной свободы! Ни один из них не пропал у него даром. Всюду его ждало множество дел. В одном городе он договаривался с единомышленниками о доставке из-за границы революционной литературы, в другом – устанавливал связи с

местными социал-демократами, в третьем – проводил совещание… И всюду он делился с собеседниками тем, что привез из-за границы: очень скупо, расчетливо – социалистической литературой, тем самым нелегальным багажом, который мог навлечь такие крупные неприятности при таможенном досмотре, и очень щедро, широко – тем багажом, которому был не страшен ни таможенный досмотр, ни самый тщательный обыск, – идеями, выводами, замыслами, что окончательно сложились у него в беседах с Плехановым и Аксельродом, во встречах с Лафаргом и Либкнехтом, в общении с французскими и немецкими рабочими, в раздумьях над жизнью и смертью Энгельса.

Порой, когда во время этих бесед и совещаний речь заходила о Марксе и Энгельсе, Ульянов горячо восклицал:

– Это – настоящие люди! У них надо учиться. С этой почвы мы не должны сходить.

…Когда он отправлялся за границу, ему жаль было покидать на такой большой срок мать и Надю, сестер и брата, Кржижановского и Мартова, Бабушкина и Шелгунова… Он знал, что будет скучать о них, и думал, что о нем скучать, его ждать будут лишь они. Но эта двадцатидвухдневная поездка показала, что не только родственники и любимая ждали Володю, не только петербургские товарищи-социалисты ждали Старика, не только рабочие-кружковцы за Невской заставой ждали Федора Петровича, – нет, его ждали не только близкие, знакомые, хорошо известные ему люди, которых можно легко пересчитать, его, Владимира Ульянова, ждали также сотни, тысячи и миллионы далеких, совершенно незнакомых, неведомых ему людей. С великим нетерпением ждала Ленина Россия.

Сноски

notes

Примечания

1

По желанию (*лат.*).

2

Для сведения (*лат.*).

3

Dunkel – темный (*нем.*).

4

После праздника, то есть после события, задним числом (*лат.*).

5

Закон суров, но это закон! (*лат.*)

6

Пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие! (*лат.*)

7

Ландвер – войска, составленные из запасников второй очереди, ополчение.

8

Всегда куропатку, то есть всегда одно и то же (*фр.*).

9

Имеется в виду смерть 6 апреля 1855 года первого сына Эдгара, восьми лет.

По всей форме (*лат.*).

11

Первая жена Энгельса Мери Бернс умерла в 1863 году.

12

Скоро я сделаю последнюю гримасу (*фр.*).

13

«Гвардия умирает, но не сдается» (*фр.*).